

Князь Николай Давидович Жевахов

Воспоминания. Том I. Сентябрь 1915 - Март 1917

© Составление и оформление: Издательство "Родник", 1993

© Издательский отдел Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря

Содержание

От издателя

Предисловие

Глава I. Только Матерь Божия спасет Россию

Глава II. Гофмейстерина Е.А. Нарышкина

Глава III. Граф Я.Н. Ростовцов

Глава IV. Свидание с Обер-Прокурором Св. Синода А.Н. Волжиным. Прощальная беседа с протоиереем А.И. Маляревским. Отъезд из Петрограда

Глава V. Белгород и Харьков. Встреча и проводы Песчанской Иконы Божией Матери

Глава VI. По пути в Ставку. Беседа со священником Александром Яковлевым

Глава VII. Прибытие в Могилев

Глава VIII. В офицерском собрании

Глава IX. Протопресвитер Г.И. Шавельский

Глава X. Тезоименитство Наследника Цесаревича

Глава XI. Архиепископ Константин

Глава XII. Высочайший завтрак

Глава XIII. Беседа с Государем Императором

Глава XIV. Возвращение в Петроград

Глава XV. Доклад графу Я.Н. Ростовцову

Глава XVI. В Государственной Канцелярии

Глава XVII. Думы

Глава XVIII. Аудиенция у Ея Величества

Глава XIX. Правда

Глава XX. У сестры

Глава XXI. Свидание с А.Н. Волжиным

Глава XXII. Отъезд в Ставку

Глава XXIII. Накануне

Глава XXIV. Высокопреосвященный Питирим, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский

Глава XXV. Назначение Н.Ч. Заиончковского

Глава XXVI. Старые песни на новый лад

Глава XXVII. Высочайшая аудиенция

Глава XXVIII. Свечной съезд. Визит А.Н. Волжина. Государственный Секретарь С.Е. Крыжановский

Глава XXIX. Разрыв с А.Н. Волжиным

Глава XXX. Оптиная пустынь. Старец Анатолий

Глава XXXI. Беседа со Старцем Анатолием

Глава XXXII. Отставка А.Н. Волжина. Новый Обер-Прокурор Св. Синода Н.П. Раев. Высочайший указ о моем назначении Товарищем Обер-Прокурора

Глава XXXIII. Выводы

Глава XXXIV. Высочайшая аудиенция. Отъезд в Белгород. Курский архиепископ Тихон. Губернатор А.П. Багговут. Посещение церковно-приходской школы

Глава XXXV. Белгород. У раки Святителя Иоасафа. Преосвященный Никодим, епископ Белгородский

Глава XXXVI. Приезд в Харьков. Архиепископ Антоний и его викарий, епископ Старобельский Феодор. Начальница Харьковского женского епархиального училища Е.Н. Гейцыг

Глава XXXVII. Печать о моем назначении

Глава XXXVIII. Вступление в должность и первые впечатления

Глава XXXIX. Игуменья Маргарита (Мария Михайловна Гунароуло)

Глава XL. Политическое настроение России. Церковно-государственная деятельность митрополита Питирима

Глава XLI. Речь в покоях С.-Петербургского митрополита при вручении высокопреосвященным Питиримом Феодоровской Иконы Божией Матери

Глава XLII. Посещение Синодального лазарета имени Наследника Цесаревича и речь к раненым воинам 5 октября 1916 года, в день тезоименитства Его Императорского Высочества

Глава XLIII. Межведомственная комиссия по выработке устава о пенсиях духовенству

Глава XLIV. Комиссия по расследованию злоупотреблений при покупке воска за границей

Глава XLV. Лояльность Синодальных чиновников

Глава XLVI. Думы о прошлом. Роковая эпоха. Депутация бывших сослуживцев по государственной канцелярии

Глава XLVII. Речь члена Государственной Думы Н.Н. Милюкова 1-го ноября 1916 г.

Глава XLVIII. Член Государственной Думы В.П. Шеин

Глава XLIX. Речь члена Государственной Думы В.Н. Львова 29 ноября 1916 г. Свидание с А.Н. Волжиным

Глава L. Беседа с Председателем Совета Министров А.Ф. Треповым

Глава LI. Аудиенция у Ея Величества

Глава LII. Министр внутренних дел А.Д. Протопопов

Глава LIII. Речь к бывшим сослуживцам по Государственной Канцелярии

Глава LIV. Распутин и Добровольский

Глава LV. День Св. Иоасафа, 10 декабря 1916 г. Вызов в Царское Село к Ея Императорскому Величеству

Глава LVI. Русское богоискательство

Глава LVII. Религиозная атмосфера Петербурга. Предшественники Распутина – архимандрит Михаил, священник Григорий Петров и косноязычный Митя

Глава LVIII. Природа русской души. Русские проблемы духа

Глава LIX. Юродство во Христе. Его содержание и психология

Глава LX. Появление Распутина. Старчество и его природа

Глава LXI. Первые шаги Распутина

Глава LXII. У барона Рауш-фон-Траубенберг

Глава LXIII. Аудиенция Государя Императора, данная Распутину, и впечатление, произведенное им на Царя

Глава LXIV. Родители Государыни Императрицы Александры Феодоровны

Глава LXV. Прибытие Государыни Императрицы Александры Феодоровны в Россию и ее первые впечатления

Глава LXVI. Духовный облик Императрицы Александры Феодоровны. А.А. Вырубова. Знакомство Ея Величества с Распутиным

Глава LXVII. Дурная слава Распутина и ее последствия

Глава LXVIII. "Разоблачения" и отношение к ним Государя и Императрицы

Глава LXIX. Борьба с "Царизмом" и ее приемы

Глава LXX. Убийство Распутина

Глава LXXI. Аудиенция у Ея Величества. Поездка в Новгород
Глава LXXII. 1917 год. Доклад Ея Величеству о поездке в Новгород. Высочайший рескрипт на имя начальницы Харьковского Женского Епархиального Училища Е.Н. Гейцыг
Глава LXXIII. Отъезд на Кавказ. Туапсинская Иверско-Алексеевская Женская Община
Глава LXXIV. Евгения Николаевна Гейцыг
Глава LXXV. Прибытие в Ростов. Депутация галичан. Проф. П. Верховский. "Самый плохой ученик"
Глава LXXVI. Прибытие в Туапсе. Главном начальствующий Сорокин. Монахиня Мариам. Священник Краснов. Старец Софроний
Глава LXXVII. Иверско-Алексеевская община. Дознание
Глава LXXVIII. Новороссийск. Екатеринодар и Ставрополь
Глава LXXIX. Таганрог. Легенда о старце Феодоре Кузмиче
Глава LXXX. Возвращение в Петербург и первые впечатления
Глава LXXXI. Первые шаги революции
Глава LXXXII. Памятное заседание Св. Синода, 26 февраля 1917 года
Глава LXXXIII. Облавы
Глава LXXXIV. Торжество хама
Глава LXXXV. Мой арест
Глава LXXXVI. Первый день заключения
Глава LXXXVII. Наблюдения и заметки
Глава LXXXVIII. Отречение Государя
Глава LXXXIX. Страшная ночь
Глава XC. Беседа с солдатом
Глава XCI. Воскрешение мальчика
Глава XCII. Освобождение
Глава XCIII. Сестра
Глава XCIV. Солдат и его племянник
Заключение
 I. Безверие
 II. Результаты
 III. Суд Божий

От издателя

Многие русские эмигранты пишут свои воспоминания; многие, с различных точек зрения, стремятся подвести итоги пережитым годам испытаний, выпавших на русскую долю.

Когда такие записки, воспоминания или заметки обрисовывают события искренно, правдиво и добросовестно, когда они написаны вне предвзятых мыслей, пристрастных предубеждений и тенденциозной партийности, — они всегда интересны и представляют собой более или менее ценный и содержательный вклад в том материале, которым впоследствии будут пользоваться историки, изучая, в объективном отдалении от наших переживаний, современную нам эпоху. Кроме того, все эти мысли и мнения, увековеченные печатным словом, полезны и для современников, помогая им разбираться в весьма сложных явлениях нашего лихолетия и приходить к обобщающим выводам.

Еще больше интереса приобретает подобная литература в тех случаях, когда автором ее является кто-либо из людей, выдвинутых на верхи жизни государственной или общественной, влиявший, или по крайней мере пытавшийся влиять, на очередные повороты колеса Истории.

Среди такого рода "воспоминаний" совершенно исключительное место должна занять книга князя Николая Давидовича Жевахова, по глубокому своему содержанию, по вложенной мысли, по легкому, интересному и талантливому изложению, по чарующей

искренности, которой от нее веет. Я почел для себя особою честью издать эту книгу, и ее появление в печати доставляет мне высокое нравственное удовлетворение.

Думаю, что, ознакомившись с трудом князя, такое же удовлетворение получит каждый чуткий, вдумчивый и честный русский человек, исповедующий монархические убеждения, преследующий национальные идеалы, христиански думающий и чувствующий...

Много есть причин, почему так должно быть: многие характерные штрихи, которыми отмечены "Воспоминания" князя, обеспечивают успех книги среди русских читателей.

Я не буду говорить о себе, ибо я могу быть пристрастен: очень уж я очарован книгой; очень уж полно мое чувство солидарности с каждой мыслью, с каждым замечанием, с каждым выводом князя. Но, рассуждая совершенно объективно, вне личных впечатлений, достоинства книги сами за себя говорят и, разумеется, в "рекламе" (да простится мне это пошлое слово) не нуждаются.

Я, однако, останавливаюсь на них, но конечно не для рекламы, а для запечатления того большого значения, какое будет иметь книга в русской жизни, как только эта жизнь вновь вступит в здоровое русло христианской и национальной эволюции.

Все мы числимся Христианами, по нашим актам крещения и паспортам, но только некоторая часть из нас составляет меньшинство Христиан верующих и способных воспринимать религиозные настроения; еще меньше тех, кто мистически чувствует; еще гораздо меньше таких, которые во всем существе своем мистически проникнуты религиозными верованиями и идеалами; наконец, совсем мало тех одухотворенных людей, которые никогда не расстаются со своим ярко зажженным факелом Веры, освещая им свой жизненный путь, и от видимой всеми "реальности" жизни не отделяют той, для большинства невидимой, но всегда действенной и видимой для избранных, реальности, которая составляет духовную область жизни, основной и всеобъемлющий ее смысл.

К этому последнему меньшинству принадлежит князь Жевахов. И среди этого-то меньшинства, мало известного широким светским кругам русского общества, отодвинувшегося от шума мирской суеты, мудрая и чуткая духом и сердцем наша Государыня Императрица Александра Федоровна сумела найти и избрать, и посоветовать помощника Государю для важнейшего отдела государственного управления, для Управления Церковного...

Как я уже упомянул, "Воспоминания" князя написаны чрезвычайно откровенно и искренно: в каждом слове чувствуется, что оно исходит из души ясной и светлой, и что автор говорит с читателем "как на духу", раскрывая весь свой богатый запас знаний, мыслей и чувств. Нету фальши, нету притворства, нет пристрастного желания выставить себя другим, чем есть на самом деле. И потому читатель, прочитавши книгу, знает автора и, как мне думается, не может не относиться к нему сочувственно.

Узнавши автора, читатель неминуемо приходит к заключению, что для возглавления управления Православною Церковью трудно было сделать лучший выбор, как не остановившись на этом *right man in the right place*.

И лишний раз русский читатель поймет и оценит, увы, – запоздалым сожалением или укором совести, как проникновенно, как участливо и добросовестно наши Государь и Государыня относились к трудному, ответственному, великому делу, Божией Волей предназначенному Божию Помазаннику, Которого, в годы благодного Его Правления, Россия не доросла оценить, Которым позорно мало дорожила и Которого малодушно не сумела оберечь.

Такой помощник Государя, каким, в своих воспоминаниях, обрисовывается князь Жевахов, есть для России желанный тип государственного человека: свято чтущий долг Присяги, всей душой любящий своего Царя, Ему самоотверженно преданный, знающий до основания дело ему порученное, выросший и воспитанный в национальной связи со своим народом, хорошо его изучивший, понимающий его нужды и знающий его быт; поверх всех этих качеств – глубоко верующий сын Православной Церкви,

Если бы у Царя было побольше таких верных и достойных слуг, никакая революция не удалась бы в России...

Переходя к разбору книги, не в меру нетерпеливый и поверхностный читатель, может быть, упрекнет автора за некоторые подробности, кажущиеся по первому впечатлению имеющими слишком личный и субъективный характер. Вообще говоря, субъективность есть неотъемлемое право каждого автора мемуаров; однако в данном случае упрек был бы несправедлив и по другой причине. Дело в том, что, если тот же читатель глубже вникнет в смысл всего прочитанного, то он поймет, что введенные подробности необходимы для цельности получаемого впечатления.

Что же касается живого, талантливой изложения книги, читаемой на каждой странице с неослабевающим интересом, то в этом отношении – думаю мне – самый строгий критик останется удовлетворенным.

Искренне и правдиво пишет князь о всем, что видел, чему сам был свидетелем. Читая эти личные переживания, читатель составляет себе очень ясное представление о всем проклятом времени подготовки и развития дьявольского заговора против России и ее Святого Царя. Мне кажется, что книга не только не страдает оттого, что, описывая события, автор ограничивается только тем, чего был лично участником или свидетелем, но даже – выигрывает в живости и яркости повествования и достоверности приводимых фактов.

В одном письме своем ко мне, автор сам следующим образом высказывается по этому поводу:

"Всех нас, имевших счастье соприкасаться с Двором, считали, что мы всех знаем, знаем чуть ли не закулисные тайны каждого имени, всплывавшего на поверхность жизни. Поэтому я не удивился, когда меня спросили, почему я так мало написал о С.П. Белецком и ничего не написал о других нашумевших именах? Да потому, что я сидел в своей скорлупе и ничего не знал. С Белецким я встретился мельком, во Дворце, о чем написал, и дальнейших сношений с ним не имел.

О Симановиче, Манасевиче, Батюшине и других знал только из газет, но никого из них, равно как знаменитого Князя М.М. Андроникова, даже никогда и не видел.

"Я ничего не утаивал и ничего не скрывал, а писал лишь о людях, с коими соприкасался. Нужно иметь в виду, что я не позволил себе дать место в моих записках ни одному сведению, мне точно неизвестному; я описывал только факты"...

Мне пока удалось издать только первый том "Воспоминаний" князя Николая Давидовича, обнимающий период с 1915-го по 1917-й годы. Но у автора готовы и второй, и третий тома, составляющие продолжение этих воспоминаний с 1917-го по 1923-й годы. Эти последующие части, пожалуй, еще интереснее, чем начало. От отзывчивости читателей зависит, чтоб они скорее появились в печати: ибо – увы! – наши беженские средства очень стеснены, а дороговизна бумаги и прочих расходов по типографии – с каждым днем увеличивается, уже и теперь достигая прямо-таки астрономических цифр. Поэтому, для издания следующих томов, мы находимся в зависимости от степени скорости распродажи первого тома. Чем скорее раскупится первый том, тем скорее появится второй, от успеха которого, в свою очередь, будет зависеть появление третьего тома.

Новых книг за последнее время скопится на книжном рынке сравнительно много. Но такие книги, как Жевахова, всегда и были, и останутся редкими. Было бы обидно и досадно, если бы русские читающие круги их не оценили по достоинству и не оказали им заслуженного внимания.

Будем надеяться, что русское сердце русского читателя откликнется интересом и сочувствием к этой вдохновенной книге и поддержит желание автора послужить спасительному, святому делу просвещения тех, которые часто плохо поступали только потому, что не знали, а еще чаще потому, что были введены в обман.

Автор написал свои книги не в погоне за литературной славой или за денежной наживой. Он писал для того, чтобы вплести венок верноподданнической любви в неувядаемую, лучезарную славу, которой осенены Державные Имена наших благодетелей,

мужественных, самоотверженных и многострадальных Государя и Государыни, являющих высший образец Христианской одухотворенности и Монаршего Величия.

Этой основной мыслью автора благоговейно проникнута вся книга, и это именно составляет для меня ее самое драгоценное достоинство. Поэтому, всей душой отдавшись работе по выпуску ее в свет, я в скромной, пассивной роли издателя нашел высшую степень духовной радости, ибо думается мне, что посильным содействием своим я также в некоторой мере выполнил свой верноподданныческий долг.

Мюнхен, 1-го Октября 1923 года.

Ф. Винберг.

Предисловие

В жизни каждого человека, как в зеркале, отражаются промыслительные пути Божии, и в этом может убедиться каждый, кто рассмотрит свою жизнь с этой точки зрения. Все случайное и непонятное, все то, что является часто результатом непродуманных действий и поспешных решений, все так называемые удачи и неудачи в жизни, радости и печали, все это, рассматриваемое в связи с конечными итогами жизни, являет удивительную и стройную цепь причин и следствий, свидетельствующую о Том, Кто управляет судьбами мира и человека, подчиняя их Своим непреложным законам.

Рассматриваемая с этой точки зрения, жизнь каждого человека явилась бы поучительным свидетельством тех откровений Божьих, какие никогда не прекращались, тех неустанных забот, предупреждений, предостережений и безмерных милостей, какие постоянно изливались Господом на грешных людей и какие бы обогатили человечество новыми запасами потустороннего знания, если бы люди были более внимательны к окружающему, менее горды и не отрицали бы того, чего, по уровню своего духовного развития, не понимают.

Беглыми штрихами я зарисовал один из эпизодов моей жизни, приведший к знакомству с Императрицей Александрой Феодоровной, память о Которой будет всегда жить в моем сердце, полном глубочайшего преклонения перед высотой и чистотой Ее духовного облика.

Еще задолго до своего личного знакомства с Ее Величеством, я знал от близких ко Двору лиц природу той атмосферы, какая окружала Двор, знал содержание духовной жизни Царя и Царицы, Их преимущественные влечения и интересы. Но знал я также и то, что среди близко стоявших к Царской Семье лиц не было почти никого, кто бы понимал природу духовного облика Их Величеств и давал бы ей верную оценку. Густая толпа чуждых мне по убеждениям лиц, плотным кольцом окружавшая Двор, заслонявшая от народа Царя и Царицу, ревниво оберегала свои привилегии царедворцев и никого не подпускала к Царю. При этих условиях, у меня не могло быть даже мысли о личном знакомстве с Их Величествами, и таковое никогда бы не состоялось, если бы Св. Иоасаф Белгородский чудесно не привел меня в 1910 году к Государю Императору, а в 1915 году к Императрице.

С этого последнего события в моей жизни, полного глубокого мистического содержания, я и начну...

Я писал свои "Воспоминания" по памяти, наскоро, между делом, и допускаю неточности в датах, некоторые отступления от выражений, взятых в кавычки, и даже незначительные мелкие ошибки, не говоря уже о пропусках, вызванных тем, что не все сохранилось в памяти... Но эти дефекты не отразились на главном, на существе приводимых фактов. Факты эти были, и оттого, что их могут не признать уста не желающих это сделать, от этого они не исчезнут ни из истории, ни из совести этих лиц.

Останавливаясь на некоторых фактах, имевших личное значение, с некоторыми, быть может, излишними подробностями, я не желал бы, однако, чтобы меня заподозрили в намерениях, каких не было у меня... Я имел в виду не личную реабилитацию, но

реабилитацию старой России, ее старого уклада жизни, основанного на старых истинах, возвешенных Господом нашим Иисусом Христом и так жестоко подмененных новыми теориями человеческого измышления: реабилитацию всего, что было уничтожено и оплевано для успеха революционных достижений. В частности, я желал показать:

1. Высоту нравственного величия и чистоты Государя Императора и Государыни Императрицы, на которой Они стояли и которую толпа не понимала только потому, что эта высота была уже недостижима для уровня среднего человека; желал подчеркнуть преступления одних и недомыслие других, допуская самый факт общения Их Величеств с людьми недостойными.
2. Я желал показать, до чего велик был дурман, проникший во все слои русского общества и охвативший даже правительство и армию, если в разрушении русской государственности принимали участие не только враги России, но и те, коим была вверена охрана России и которые стояли на страже ее интересов.
3. Я желал показать, насколько велико было отступление русского общества от веры в Промысел Божий и до чего возгордился человек, забывший, что судьбы мира и человека находятся в руках Божиих и что нарушение установленных Богом законов влечет неизбежную гибель человека и всех его начинаний, по завету Божьему: "Мне отмщение – Аз воздам".

Н. Ж.

Подворье Святителя Николая.

9/22 Марта 1923 г.

г. Бари.

Глава I. Только Матерь Божия спасет Россию

4 сентября 1915 года, в годовщину прославления Св. Иоасафа, Чудотворца Белгородского, в Вознесенском храме состоялось обычное архиерейское богослужение, а вечером того же дня – Общее Собрание членов братства Святителя Иоасафа. Председателем братства, после генерал-адъютанта адмирала Д.С. Арсеньева, был избран генерал-от-инфантерии Л.К. Артамонов, а товарищами председателя были протоиерей А.И. Маляревский и я. Не помню, что помешало мне быть на Общем Собрании, какому суждено было не только оставить глубочайший след в моей жизни, но и сделаться поворотным пунктом одного из этапов этой жизни...

Вечером, 5 сентября, явился ко мне протоиерей А.И. Маляревский и, выражая сожаление о моем отсутствии на вчерашнем торжестве, рассказал подробно обо всем, что случилось.

"Кончилась обедня, – начал о. Александр, – отслужили мы молебен, с акафистом, Угоднику Божию и разошлись по домам, с тем, чтобы собраться вечером в церковном доме на Общее Собрание. Генерала не было, Вас тоже; открывать собрание пришлось мне. Прочитал я отчет за истекший год, а далее должны были следовать выборы новых членов, речи и доклады и все, что обычно полагается в этих случаях. Вышло же нечто совсем необычное... Не успел я сойти с кафедры, как заметил, что ко мне пробирается через толпу какой-то военный, бесцеремонно расталкивая публику и держа в высоко поднятой руке какую-то бумагу... Он очень нервничал и, подойдя вплотную ко мне, спросил меня:

"Вы председатель братства Святителя Иоасафа?"..

"Нет, – ответил я, – я товарищ председателя".

"Кто же председатель, кто сегодня председательствует?" – нетерпеливо и крайне взволнованно спрашивал меня военный.

"Председательствую я", – ответил я.

"В таком случае разрешите мне сделать доклад братству", – сказал военный. Я попробовал отклонить это намерение, ибо имя этого военного не значилось в числе докладчиков, я видел его в первый раз, доклада его не читал, а его внешность, возбужденное состояние духа не располагали меня к доверию, и я опасался каких-либо неожиданностей...

Однако, военный, видя мое замешательство, мягко успокоил меня, заявив:

"Доклад мой важности чрезвычайной, и *малейшее промедление будет грозить небывалыми потрясениями для всей России*"...

Он выговорил эти слова так уверенно, с таким убеждением и настойчивостью, что, застигнутый врасплох, я только и мог сказать в ответ: "Читайте".

"Я до сих пор не могу очнуться от впечатления, рожденного его докладом", – говорил протоиерей А.Маляревский.

"Кто же этот военный, о чем он говорил?" – спросил я.

"Это полковник О., отставной военный доктор на фронте. Я отметил наиболее существенные места доклада и могу воспроизвести его почти стенографически. Вот что сказал полковник:

"Милостивые Государи... Я не буду заранее радоваться, ибо не знаю, кого вижу в вашем лице... Но то, что составляете собою братство имени величайшего Угодника Божия Иоасафа, дает мне надежду возбудить в вас веру в мои слова. До сих пор меня только гнали и преследовали столько же злые, сколько и темные люди; уволили со службы, заперли в дом для умалишенных, откуда я только недавно выпущен, и все только потому, что я имел дерзновение исповедовать свою веру в Бога и Его Святителя Иоасафа... Верить же – значит делать и других звать на дело... Я и зову, я умоляю... Не удивляйтесь тому, что услышите, не обвините заранее в гордости, или "прелести". Дух Божий дышит, идеже хочет, и не нужно быть праведником, чтобы снискать милость Божию. Там, где скрывают эту милость, там больше гордости, чем там, где громко славословят Бога. В положении военного и, притом, доктора, принято ни во что не верить. Я это знаю, и мне трудно вызвать доверие к себе, и, если бы вопрос касался только меня одного, то я бы и не делал этих попыток, ибо не все ли равно мне, за кого меня считают другие люди... Но вопрос идет о *всей России* и, может быть, даже о *судьбе всего мира*, и я не могу молчать, как по этой причине, так и потому, что получил от Угодника Иоасафа *прямое повеление объявить людям волю Бога*. Разве я могу, поэтому, останавливаться пред препятствиями, разве меня может запугать перспектива быть снова схваченным и посаженным в сумасшедший дом, разве есть что-либо, что удержало бы даже самого великого грешника от выполнения воли Божией, если он знает, что действительно Бог открыл ему Свою волю?!

Вот я и прошу вас, обсудите мой доклад, рассмотрите его со всех сторон, а потом и решайте, точно ли мне было откровение Свыше, или только померещилось мне; в здравом ли уме я излагаю вам свой доклад, или и точно я душевнобольной человек и делюсь с вами своими галлюцинациями...

Года за два до войны, следовательно, в 1912 году, явился мне в сновидении Святитель Иоасаф и, взяв меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему взору открывалась вся Россия, залитая кровью.

Я содрогнулся от ужаса... Не было ни одного города, ни одного села, ни одного клочка земли, не покрытого кровью... Я слышал отдаленные вопли и стоны людей, зловещий гул орудий и свист летающих пуль, зигзагами пересекающих воздух; я видел, как переполненные кровью реки выходили из берегов и грозными потоками заливали землю...

Картина была так ужасна, что я бросился к ногам Святителя, чтобы молить Его о пощаде. Но от трепетания сердечного я только судорожно хватался за одежды Святителя и, смотря на Угодника глазами, полными ужаса, не мог выговорить ни одного слова.

Между тем Святитель стоял неподвижно и точно всматривался в кровавые дали, а затем изрек мне:

"Покайтесь... Этого еще нет, но скоро будет"...

После этого дивный облик Святителя, лучезарный и светлый, стал медленно удаляться от меня и растворился в синеватой дымке горизонта.

Я проснулся. Сон был до того грозен, а голос Святителя так явственно звучал, точно наяву, что я везде, где только мог, кричал о грядущей беде; но меня никто не слушал...

Наоборот, чем громче я кричал о своем сне, тем громче надо мною смеялись, тем откровеннее называли меня сумасшедшим. Но вот подошел июль 1914 года...

Война была объявлена... Такого ожесточения, какое наблюдалось с обеих сторон, еще не видела история... Кровь лилась потоками, заливая все большие пространства... И в этот грозный час, может быть, только я один понимал весь ужас происходящего и то, почему все это происходит и должно было произойти... Грозные слова Святителя "*скоро будет*" исполнились буквально и обличили неверовавших. И, однако, все, по-прежнему, были слепы и глухи. В Штабе разговаривали о политике, обсуждали военные планы, размеряли, вычисляли, соображали, точно и в самом деле война и способы ее ликвидации зависели от людей, а не от Бога. Слепые люди, темные люди!.. Знали ли они, что эти десятки тысяч загубленных молодых жизней, это море пролитой крови и слез, приносились в жертву их гордости и неверию; что никогда не поздно раскаяться, что чудо Божие никогда не опаздывает, что спасение возможно в самый момент гибели, что разбойник на Кресте был взят в рай за минуту до своей смерти, что нужно только *покаяться*, как сказал Св. Иоасаф?! А ожесточение с обеих сторон становилось все больше; сметались с нашего кровавого пути села и деревни, цветущие нивы; горели леса, разрушались города, не щадились святыни... Я содрогался от ужаса при встрече с таким невозмутимым равнодушием; я видел, как притуплялось чувство страха перед смертью, но и одновременно с этим чувство жалости к жертве; как люди превращались в диких зверей, жаждущих только крови... Я трепетал при встрече с таким дерзновенным неверием и попранием заповедей Божиих, и мне хотелось крикнуть обоим враждующим сторонам: "Довольно, очнитесь, вы христиане; не истребляйте друг друга в угоду ненавистникам и врагам христианства; опомнитесь, творите волю Божию, начните жить по правде, возложите на Бога упование ваше: Господь силен и без вашей помощи, без войны, помирить вас"...

И, в изнеможении, я опускался на колени и звал на помощь Святителя Иоасафа и горячо Ему молился.

Залпы орудий сотрясали землю; в воздухе рвались шрапнели; трещали пулеметы; огромные, никогда невиданные мною молнии разрезывали небосклон, и оглушительные раскаты грома чередовались с ужасным гулом падающих снарядов... Казалось, даже язычники должны были проникнуться страхом, при виде этой картины гнева Божьего, и сознать бессилие немощного человека... Но гордость ослепляла очи... Чем больше было неудач, тем большими становились ожесточение и упорство с обеих сторон. Создался невообразимый ад... Как ни храбрился жалкий человек, но все дрожали и трепетали от страха. Дрожала земля, на которой мы стояли, дрожал воздух, которым мы дышали, дрожали звери, беспомощно оглядываясь по сторонам, трепетали бедные птицы, растерянно кружившиеся над своими гнездами, охраняя птенцов своих. Зачем это нужно, – думал я, – зачем зазнавшийся человек так дерзко попирает законы Бога; зачем он так слеп, что не видит своих злодеяний, не вразумляется примерами прошлого...

И история жизни всего человечества, от сотворения мира и до наших дней, точно живая, стояла предо мною и укоряла меня...

Законы Бога вечны, и нет той силы, какая бы могла изменить их; и все бедствия людей, начиная от всемирного потопа и кончая Мессией, Сан-Франциско и нынешней войною, рождены одной причиною и имеют одну природу – упорное противление законам Бога. Когда же одумается, опомнится гордый человек; когда, сознав свой грех, *смирится* и перестанет испытывать долготерпение Божие!.. И в страхе за грядущее будущее, в сознании страшной виновности пред Богом, у самого преддверия справедливой кары Божией, я дерзнул возопить к Спасителю: "Ради Матери Твоей, ради Церкви Православной, ради Святых Твоих, в земле Русской почивающих, ради Царя-Страдальца, ради невинных младенцев, не познавших греха, умиласердись, Господи, пожалей и спаси Россию и помилуй нас"...

Близок Господь к призывающим Его. Я стоял на коленях с закрытыми глазами, и слезы текли по щекам, и я не смел поднять глаз к иконе Спасителя... Я ждал... Я знал, что Господь

видит мою веру и мои страдания, и что Бог есть Любовь, и что эта Любовь не может не откликнуться на мою скорбь...

И вера моя меня не посрамила... Я почувствовал, что в мою комнату вошел Кто-то, и она озарилась светом, и этот свет проник в мою душу... Вместо прежнего страха, вместо той тяжести душевной, которая доводит неверующих до самоубийства, когда кажется, что отрезаны все пути к выходу из положения, я почувствовал внезапно такое умиление, такое небесное состояние духа, такую радость и уверенное спокойствие, что безбоязненно открыл глаза, хотя и знал, что в комнату вошел Некто, озаривший ее Своим сиянием. Престо мною стоял Святитель Иоасаф. Лик Его был Скорбен. *"Поздно, – сказал Святитель, – теперь только одна Матерь Божия может спасти Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, которым благословила меня на иночество мать моя и который ныне пребывает над моею ракою в Белгороде, также и Песчанский образ Божией Матери, что в селе Песках, подле г. Изюма, обретенный мною в бытность мою епископом Белгородским, нужно немедленно доставить на фронт, и пока они там будут находиться, до тех пор милость Господня не оставит Россию. Матери Божией угодно пройти по линиям фронта и покрыть его Своим омофором от нападений вражеских... В иконах сих источник благодати, и тогда смиляется Господь по молитвам Матери Своей"*.

Сказав это, Святитель стал невидим, и я очнулся. Это второе видение Угодника Божия было еще явственнее первого, и я не знаю, было ли оно наяву, или во сне... Я, с удвоенною настойчивостью, принялся выполнять это *прямое повеление Божие*, но в результате меня уволили со службы и заперли в сумасшедший дом... Я бросался то к дворцовому коменданту, то к А.А. Вырубовой, то к митрополитам и архиереям; везде, где мог, искал приближенных Царя; но меня отовсюду гнали и ни до кого не допускали... Меня или вовсе не слушали, или, слушая, делали вид, что мне верят, тогда как на самом деле мне никто не верил, и все одинаково считали меня душевнобольным.

Наконец, только сегодня я случайно узнал, что в Петербурге есть братство Святителя Иоасафа... Я забыл все перенесенные страдания, все передуманное и пережитое и, измученный, истерзанный, бросился к вам...

Неужели же и вы, составляющие братство Угодника Божия, прогоните меня; неужели даже вы не поверите мне и, подобно многим другим неверам, признаете меня психически больным...

Помните, что прошел уже целый год со времени вторичного явления Святителя Иоасафа, что я уже целый год скитаюсь по разным местам, толкаюсь к разным людям, дабы исполнить повеление Святителя, и все напрасно... А война все больше разгорается, и не видно конца; а ожесточение все увеличивается, а злоба с обеих сторон растет...

Или и вы, может быть, думаете, что победа зависит от количества штыков и снарядов... Нет, судьбы мира и человека в руках Божиих, и будет так, как повелит Господь, а не так, как захочется людям...

Спешите же исполнить повеление Святителя Иоасафа, пока есть еще время его исполнить... Тот, Кто дал такое повеление, Тот поможет и выполнить его... Снаряжайте же *немедленно* депутацию к Государю; добейтесь того, чтобы святые иконы Матери Божией были доставлены на фронт; и тогда вы отвратите гнев Божий на Россию и остановите кровопролитнейшую из войн, какие видел мир. Не подвигов и жертв требует от вас Господь, а дарует Свою милость России... Идите навстречу зову Господню; а иначе, мне страшно даже выговорить, иначе *погибнет Россия*, и погибните вы сами за гордость и неверие ваши"...

"Вот какой доклад был полковника, – сказал протоиерей А.Маляревский, – нужно ли говорить о том, какое впечатление произвел доклад на присутствовавших... Дивны дела Божии... Что вы думаете, что скажете?" – спросил меня о. Александр.

"Вы знаете, батюшка, что я думаю и что скажу Вам, – ответил я. – Я верю каждому слову полковника"...

"Спаси Вас Господи! Я знал, что Вы так скажете... Значит, нужно спешить, нужно что-то предпринимать, не теряя времени; нужно сейчас же довести о повелении Святителя Иоасафа до сведения Государя Императора", – сказал протоиерей А.И. Маляревский.

"Но кто же это сделает? – спросил я, – теперь ведь "мистики" боятся как огня; кто же из окружающих Царя поверит рассказу полковника О.; кто отважится открыто исповедовать свою веру в наше время, если даже и имеет ее?"..

"Вы", – ответил о. Александр. Я удивленно посмотрел на о. протоиерея.

"Наоборот, мне кажется, что Вам это легче сделать, – сказал я. Настоятельствуя в церкви принца Ольденбургского, Вы легко можете рассказать обо всем принцу, а принц доложит Государю"...

"Нет, нет! – категорически возразил о. Александр, – сделать это придется Вам; так и смотрите на это дело, как на миссию, возлагаемую на Вас Святителем, Вашим Покровителем... Отказываться Вам нельзя... Дело это деликатное, и браться за него нужно с осторожностью... Здесь еще мало верить, а нужно суметь передать свою веру другому. Не всякий это сделает, да не всякому можно и поручить такое дело... У Вас есть придворные связи; подумайте, поищите путей, но мысли сей не оставляйте, ибо дело это Ваше"...

Упоминание о придворных связях способно было вывести меня из равновесия, и я горячо возразил протоиерею:

"Что Вы говорите, откуда же у меня эти придворные связи... Разве Вы не знаете, что, со времени моей первой аудиенции у Государя Императора, прошло уже четыре года; что, прощаясь со мной. Государь несколько раз сказал буквально: "Так будем же встречаться", а затем несколько раз осведомлялся обо мне, желая меня видеть; а окружавшие Царя не допускали меня ко Двору и всякий раз говорили, что я в отъезде... Где же эти мои связи, когда, получив придворное звание, я до сих пор не имел возможности даже представиться Его Величеству; когда придворная камарилья ревниво не допускает к Царю новых лиц... У меня не только придворных, но и никаких связей никогда не было и нет. Все мои знакомства ограничиваются лишь Мариинским Дворцом, средою моих сослуживцев по Государственной Канцелярии, и вне стен этого Дворца у меня нет влиятельных знакомых... Быть придворным кавалером не значит еще иметь придворные связи; а для такого дела, как настоящее, еще мало шапочного знакомства: нужны обоюдная вера и взаимное доверие друг к другу... Нет, эта миссия не для меня; я даже не могу думать о ней", – закончил я.

"Как Вам будет угодно, – ответил протоиерей, – настаивать не смею, а кроме Вас никто этой миссии не выполнит, и никому другому я о ней и докладывать не посмею; иначе, чего доброго, несчастного исповедника веры снова засадят в сумасшедший дом"...

"А Вы лично убеждены в том, что полковник не душевнобольной человек?" – спросил я протоиерея.

"Не знаю, не знаю, – ответил о. Александр, – полковника я видел вчера в первый раз и ничего о нем не знаю".

"Так как же быть? я совсем теряюсь... Пришлите его, по крайней мере, ко мне, чтобы я мог лично поговорить с ним"...

"Это невозможно: после доклада полковник скрылся, и никто не знает, где он, откуда явился и куда направился", – ответил протоиерей.

"Тогда уж я затруднился бы исполнить Вашу просьбу, если бы даже и имел возможность", – ответил я.

О. Александр встал и начал прощаться.

"Куда же Вы спешите? – остановил я о. протоиерея, – нужно же до чего-нибудь договориться; что же делать? Я ничего не знаю и не придумую"...

"Как положит Вам Господь Бог на душу, так и поступите, – ответил о. Александр, – в человеческих делах нужна и помощь человеческая, а в делах Божиих такой помощи не нужно... Умолчать о доложенном я не мог, а как Вы воспримете мой доклад – не умею сказать... Воспримите так, как Господь положил Вам на душу; а какова будет воля Господня о Вас, тоже сказать не умею"...

"Ну, да это же Ваша обычная манера, – сказал я, улыбнувшись, – прийти, набросать мне в голову разных мыслей и оставить меня одного разбираться в них... Оставайтесь же на минутку, обсудим совместно, что делать... Нельзя же махнуть рукою на этот доклад; нельзя же допустить, чтобы полковник имел бы дерзновение говорить от имени Святителя Иоасафа и приписывать Святителю то, чего Угодник Божий не говорил... На людей клеветают; но чтобы клеветали на святых – этому поверить, думается мне, невозможно... Значит, одно из двух: или видение Святителя Иоасафа действительно было, или полковник душевнобольной человек и делится своими галлюцинациями... В этом нужно разобраться, прежде чем предпринимать какие-либо шаги"...

"Не знаю, не знаю, – снова повторил о. Александр, – знаю лишь, что мое посещение и сделанный Вам доклад не были случайными; а что выйдет из этого, не знаю... Если Господь укажет Вам верный путь к Царю и поведет Вас этим путем, значит – явление Святителя Иоасафа было истинным. А если Вы такого пути не найдете, значит – и не огорчайте себя упреками, что не исполнили воли Божией... Больше ничего не могу сказать и ни советовать, ни настаивать на каких-либо решениях не берусь. Что положит Вам Господь Бог на душу, то и сделаете", – сказал протоиерей А.Маляревский, прощаясь со мною.

Глава II. Гофмейстерина Е.А. Нарышкина

Еще долго после ухода протоиерея А.И. Маляревского я оставался наедине со своими мыслями, обдумывая, что предпринять.

Я хорошо сознавал, что с той точки зрения, какой обычно придерживается так называемый здравый смысл, казалось диким отвлекать внимание Государя Императора, занятого серьезной работой на фронте, содержанием доклада полковника О., к тому же недавно еще выпущенного из больницы для душевнобольных. Но я знал также и цену этому "здравому смыслу" и то, что он находится в непримиримой вражде с верою, отрицает то, чего не усваивает и не понимает, и по этой причине отвергает чудо, ибо не постигает его природы... И в то время как один тайный голос настойчиво требовал, чтобы я не срамился и бросил бы без внимания бредни полковника О., другой голос, наоборот, говорил мне: "верь".

И я поверил... Убеждение в правдивости доклада и в том, что полковник О. снискал себе, своей глубокой верой, милость Божию и удостоился дивного посещения Святителя Иоасафа, было так велико, как если бы Святитель явился лично ко мне... И в этот момент, когда, наряду с моей верою, я проникся страхом Божиим при мысли о том, как близок Господь к призывающим Его, я вдруг вспомнил о гофмейстерине Елизавете Алексеевне Нарышкиной, с которой недавно познакомился и которая благоволила ко мне, к автору книжки, посвященной памяти ее друга, усопшей княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой... На другой же день, утром, я протелефонировал гофмейстерине и в тот же день, в три часа, был принят ею в ее квартире, в Зимнем Дворце. Рассказав в подробностях содержание доклада полковника О. и свою беседу с протоиереем А.И. Маляревским, я сказал Е.А. Нарышкиной:

"Я не знаю, какое впечатление производит на Вас доклад полковника О.; но я этому докладу верю, ибо выдумать его было бы невозможно и беспечно; кажется, еще никто не дошел до того, чтобы клеветать на Матерь Божию и Святых"...

"Я тоже верю, – ответила Е.А. Нарышкина, – и очень благодарю Вас, что Вы рассказали мне об этом. Теперь, ведь, ко мне редко ездят: теперь идут больше к Распутину... Вот посмотрите книгу для записей аудиенции у Ея Величества. К Императрице идут, но через другие двери; а в книге почти нет записей"... Гофмейстерина даже не догадывалась о том, какое тяжелое впечатление произвели на меня ее слова. В устах Е.А. Нарышкиной, глубоко преданной Царской Семье и любящей Ее, эти слова, конечно, имели другое значение; однако, посмотрев на нее с грустью, я подумал: "Зачем она говорит об этом мне, чужому человеку, которого видит у себя в первый раз? Неужели она не сознает, что такими

ненужными откровенностями лишь увеличивает число врагов Императрицы, что к ее словам прислушиваются, и что ее положение при Дворе не позволяет ей так говорить"...

Но, думая так, я хорошо сознавал, до чего далека была благороднейшая Елизавета Алексеевна от тех побуждений, какими руководились враги России и династии, распространяя заведомую клевету, связанную с легендами вокруг имени Распутина... Я видел в словах гофмейстерины лишь отражение общего психоза, охватившего столицу и заставлявшего отмежевываться от Распутина из одного только малодушия, из опасения быть заподозренным в общении с ним. В это время уже всякое назначение на тот или иной пост, всякое высокое положение при Дворе приписывались влиянию Распутина, и, чем ближе к Их Величествам стояли люди, тем более они старались сбросить с себя тяготевшее над ними подозрение в близости к Распутину, тем красноречивее его осуждали. Психоз был до того велик, что о Распутине особенно громко кричали даже те люди, которые никогда его не видели, кто повторял ходячую о нем молву с единственной целью подчеркнуть свою лояльность, любовь к России и преданность династии, не догадываясь даже о том, что эти крики достигали обратных целей, что они были вызваны кучкой людей, работавших над разрушением государства и пользовавшихся именем Распутина как одним из приемов для своей преступной работы. И, смягчая впечатление от ее слов, я сказал:

"Поверьте, Елизавета Алексеевна, что разговоры о Распутине вреднее самого Распутина. Это – частная сфера Их Величеств, и мы не вправе ее касаться. Если бы о Распутине меньше говорили, то не было бы и пищи для тех легенд, какие распространяются умышленно для того, чтобы дискредитировать престиж династии. Ничтожных людей всегда было и будет много. Сегодня они ищут у Распутина; завтра будут пресмыкаться пред другими. Но опасность вовсе не в этом, а в том, что именем Распутина пользуются для революционных целей, и что широкая публика, вместо того, чтобы замалчивать это имя и противодействовать натиску революционеров, только помогает им. Святым же Распутина никто не считает"...

"Напрасно Вы так думаете, – живо возразила Е.А. Нарышкина, – Распутина считают святым не только Их Величества, но и многие другие. Вот, Анечка Вырубова, например. Когда, после крушения Царско-Сельского поезда, она, израненная, лежала под обломками вагона, то не вспомнила ни о Спасителе, ни о Божией Матери, а громко кричала: "Старец Григорий, помоги мне"... Также и Их Величества. Сколько раз Императрица желала познакомить меня с Распутиным, но я не только отклоняла такое знакомство, но даже ни разу его не видела. Я сказала Императрице, что стоит мне только увидеть Распутина, чтобы я сейчас же умерла, после чего Ея Величество перестала настаивать более... Когда я, в другой раз, указала Ея Величеству на соблазн, рождаемый Распутиным, и сослалась на отношение к нему иерархов Церкви, то Государыня убежденно ответила мне:

"Официальная Церковь всегда распинала своих пророков"...

Так же слепо верит Распутину и Государь Император. Как-то однажды Его Величество сказал мне:

"Если бы не молитвы Григория Ефимовича, то меня бы давно убили"... "Что Вы, Ваше Величество, – не удержалась я, – грешно так говорить; за Вас молится вся Россия".

"Нет, нет, – все более воодушевляясь, говорила Е.А. Нарышкина, – пробовали открывать глаза на Распутина; но цели не достигли, а себе повредили"...

"Я этому нисколько не удивляюсь, – ответил я, – ибо пробовали как раз те люди, которые не имели авторитета в духовной области... С моей точки зрения, никакой борьбы с Распутиным не нужно по принципиальным соображениям: во-первых, потому, что его значение преувеличивается умышленно, с преступными целями; во-вторых, потому, что не подобает подданным Царя предъявлять Государю какие-либо требования, а тем более посягать на волю Монарха, да еще в частной жизни Его Величества. Нужно знать, что Распутин является тем рычагом, за который хватаются с целью свергнуть династию и вызвать революцию; личность же его не имеет никакого значения. Следовательно, нужно

бороться не с Распутиным, а с теми, кто пользуется им для революционных целей, главным образом, с Думою.

Между тем, огромное большинство, точно нарочно, играет на руку революционерам и борется с теми, кто верит в святость Распутина... Какое же значение, в широком смысле, имеют эти верующие люди, какой вред они наносят государству своей верою?! Никакого!.. Наоборот, если это искренно верующие, значит они очень хорошие люди; пусть себе верят... Ведь никто из верующих в Распутина не видел его отрицательных сторон и не допускает их, а видел только положительные. Какую же опасность для России представляет их вера в Распутина? Но, если Вы думаете иначе и полагаете, что, в угоду общим крикам о Распутине, как государственной опасности, его нужно удалить от Двора, тогда нужно признать, что неудачными были и практиковавшиеся доньше способы борьбы, неподходящими были и люди, выступавшие на арену борьбы"...

"Что же, по-Вашему, нужно делать?" – спросила меня Е.А. Нарышкина, несколько задетая моими словами...

Нужно, чтобы Их Величества имели случай увидеть истинных старцев и сравнить их с Распутиным. Защищая в лице Распутина мистическое начало Православия, Царь и Царица, естественно, не могут руководствоваться мнением о Распутине генералов и флигель-адъютантов. В этой области даже голос официальной Церкви не будет иметь значения, тогда как суждение какого-либо старца Оптиной Пустыни, Глинской, Саровской, или Валаама, конечно, в состоянии будет поколебать, а, может быть, и переставить точки зрения Их Величеств на Распутина"...

"Где теперь эти старцы!" – вздохнула Е.А. Нарышкина...

"Они есть и всегда будут, – убежденно ответил я. – Я подчеркиваю столько же значение личности старца, сколько и самый принцип, ибо совершенно недопустимо, чтобы устранение Распутина от Двора могло бы последовать против воли Их Величеств. Никто из подданных Царя, уважающих принцип власти, не может посягать на волю Монарха без того, чтобы не колебать устоев государства, и требование об удалении Распутина, от кого бы ни исходило, всегда будет противогосударственным актом"...

Разговор начинал принимать оборот, одинаково тягостный для обеих сторон. Я не мог не замечать того неприятного впечатления, какое производили на гофмейстерину мои слова, и это связывало и стесняло меня. Я знал, что всякий раз, когда я делал попытки останавливать разговоры о Распутине, или высказывал в эти моменты массового психоза мнения, шедшие вразрез с общепринятыми, мои слова толковались как заступничество за Распутина и навлекали на меня всякие подозрения. Да и трудно было не иметь таких подозрений в то время, когда люди, из одного только опасения прослыть "распутинцами", что являлось смертным приговором в глазах общественного мнения, этого идола, которому все служили и во власти которого находились, старались точно перекричать друг друга, изошряясь во всевозможных обвинениях Распутина во всякого рода преступлениях. При этих условиях даже молчание истолковывалось как соучастие в этих преступлениях; тем более невыгодное впечатление производило нежелание вторить этим слухам, высказывание недоверия к ним, или опровержение их. Те, кто верно понимал психологию момента и видел вонне отражение глубоко скрытой подпольной работы агентов революции, осуществлявших задания "Незримого Правительства"; те, кто знал, кем и с какой целью была создана вакханалия вокруг имени Распутина, те не только не поддерживали ее, как бы отрицательно ни относились к Распутину, как к таковому, а недоумевали и удивлялись тому непростительному легкомыслию, с которым люди, принадлежавшие к самым разнообразным кругам общества, позволяли завлекать себя в сети, расставленные агентами революции, и содействовать их преступной работе.

Но Е.А. Нарышкина, конечно, не могла видеть этих глубоко скрытых корней революции, воспринимала лишь внешние факты, видела лишь то, что лежало на поверхности, и неудивительно, что, слушая меня, делала неверные выводы, толкуя их не в

мою пользу. Может быть, желая противопоставить моим суждениям мнения других лиц, с которыми она беседовала по этому вопросу, гофмейстерина неожиданно спросила меня:

"А Вы не знакомы с А.Н. Волжиным?! Он был у меня вчера. Неправда ли, какой это милый человек! О нем говорят, как о будущем Обер-Прокуроре Св. Синода"...

Я подумал, что, верно, А.Н. Волжин, поддаваясь общему психозу, поддерживает мнение гофмейстерины о государственной опасности Распутина, что делали как те, кто в такую опасность действительно верил, так и те, кто сопровождал ходячему мнению о Распутине, желая застраховать себя от всяких подозрений.

"Я недавно познакомился с Александром Николаевичем, у графини С.С. Игнатьевой, – ответил я, – но близко еще не знаю его"...

Наступила короткая пауза. Я встал, чтобы откланяться...

Прощаясь со мною, Е.А. Нарышкина сказала:

"Завтра я буду в Царском Селе. Если Вы приедете ко мне в Большой Дворец, к 3 часам, то к этому времени я успею переговорить обо всем с Ея Величеством".

В назначенный час я приехал в Большой Дворец и застал у гофмейстерины личного секретаря Ея Величества, графа П.А. Апраксина, с которым, незадолго перед тем, познакомился у писателя Е.Поселянина.

Посвятив графа в дело, Е.А. Нарышкина очень любезно и с увлечением начала рассказывать о своем свидании и беседе с Императрицею.

"Когда я назвала Ваше имя, – обратилась ко мне гофмейстерина, – то Ея Величество прервала меня, спросив: "Какой это князь Ж., тот ли, кто написал книги о Святителе Иоасафе, а теперь строит церковь в Бари?".. Я ответила утвердительно, после чего Ея Величество заметила: "В таком случае, пусть князь и едет за иконами и сопровождает их в ставку. Передайте князю, что я сегодня же сделаю все нужные распоряжения и дам указания графу Ростовцову". Императрица с чрезвычайной любовью и глубочайшим вниманием отнеслась к Вашему докладу... Видите ли, князь, как быстро и успешно я выполнила Ваше поручение, – закончила Е.А. Нарышкина, с очаровательной улыбкой. – Завтра, в 2 часа, граф Яков Николаевич будет ждать Вас в Зимнем Дворце".

Поблагодарив гофмейстерину за ее сердечное участие и помощь, я немедленно же вернулся в Петроград, торопясь сообщить результаты свидания с Е.А. Нарышкиной протоиерею А.И. Маляревскому.

События завлекали меня в доньше чуждую мне придворную сферу. Я опасался, что буду в ней чужим и что мне будет трудно слиться с нею.

Глава III. Граф Я.Н. Ростовцов

Еще несколько дней тому назад я считал совершенно несбыточной просьбу протоиерея А.И. Маляревского довести до сведения Их Величеств содержание Доклада полковника О.; а между тем эта просьба была уже наполовину исполнена. То, что я случайно вспомнил о гофмейстерине Е.А. Нарышкиной, у которой раньше никогда не бывал, и которая знала меня лишь понаслышке; то, что гофмейстерина не только не усомнилась в правдивости доклада полковника О., а отнеслась к нему с благоговейным вниманием и вызвала участие Императрицы, еще более утвердило мою веру в содержание доклада и в то, что Господь благословляет предпринятое начинание.

Я не знал графа Ростовцова и нигде раньше с ним не встречался. Я ехал к графу, следуя лишь указаниям гофмейстерины Е.А. Нарышкиной; но не знал, о чем буду беседовать с ним. Подъехав к канцелярии Ея Величества, помещавшейся в Зимнем Дворце, со стороны Дворцовой набережной, я доложил о себе графу и был немедленно принят последним. Граф уже был предуведомлен о моем приезде и ждал меня. Однако подробностей, вызвавших мою командировку в Ставку, граф не знал и, интересуясь ими, стал меня расспрашивать о них.

"Как редки теперь истинно религиозные люди! – воскликнул граф, когда я закончил свой рассказ. – Как мало настоящей веры... В народе ее не существует вовсе: там суеверие;

для интеллигенции же вера только придаток светского обихода... А там, где она еще теплится, там она, все же, мертва. Люди верят теоретически; но верою, как движущим началом, как элементом возрождающим, оживляющим, создающим определенные понятия и налагающим определенные обязанности, не пользуются... Моральное достоинство людей покоится на идейных основах, чуждых вере и черпающих свое начало из совершенно иного источника. Там все, что угодно, кроме веры. Там понятия о долге, фамильной чести и традициях рода, гордость, личное самолюбие, но не вера, не сознание ответственности, не загробная жизнь, не страх Божий..."

Я слушал с раскрытыми от удивления глазами, не веря своим ушам... Это говорил совсем еще молодой человек, один из великолепных представителей большого света, придворный кавалер, коему вопросы веры должны были, казалось, быть столь чуждыми, такими далекими... Я любовался молодым графом, его изящными манерами царедворца, простотою обращения и искренностью, и думал: "Так говорили со мною старцы Оптиной пустыни, духовники мои... Вот какими людьми окружает Себя Императрица... Какими холодными, неприступными, гордыми, ни во что не верующими кажутся все эти царедворцы, пресыщенные благами жизни, не окунувшиеся в глубины житейского омуты, не изведавшие горя и страданий, и какими они являются на самом деле... И лучше, и чище, и благороднее, и благочестивее, и смиреннее многих сотен и тысяч людей, их осуждающих по злобе, по зависти к их преимуществам"...

И, обращаясь к графу, я сказал: "Огромное большинство людей, по гордости своего ума, не сознает того, что является лишь игрушкой в руках дьявола, о котором, в нашем обществе, не принято даже говорить, чтобы не показаться несветским и смешным... Я ничем иным не могу объяснить той странной позиции, какую занимает человек в отношении Бога. Люди точно требуют от Бога доказательств Его бытия, а все то, что выходит за пределы их понимания, называют "мистикою"... Доказательства же на каждом шагу... Они и в явлениях природы, и в явлениях повседневной жизни, и в непреложности законов возмездия, находящих отзвук в укорах совести... Стоит только *смириться*, чтобы открылись духовные очи, и непонятное стало ясным"...

"Да, да, – живо подхватил граф. – Люди даже не предполагают, до чего близок Господь, и какими нежными заботами Свыше они окружены. Благодать Божия еще не покидает людей, и они думают, что так будет продолжаться всегда... Мы даже не представляем себе тех моментов истории, когда благодать отступала от людей, и на них обрушивались кары Божии, до того страшны эти страницы истории... А огромное большинство людей продолжает пребывать в неверии и, потому, не замечает и признаков надвигающегося гнева Божия... Со мною был удивительный случай, какой еще более укрепил мою веру... Вы верно слышали?! Много лет тому назад, я видел необычайный сон. Никогда никаким сном я не верил; сон показался мне даже нелепым, и я вскоре забыл о нем... Мне казалось, что я поднимаюсь на воздушном шаре высоко, высоко, под самые небеса... Вдруг газ загорается, и шар стремительно падает на землю... О спасении не может быть и речи, гибель неизбежна... В этот ужасный момент я слышу голос с неба, повелевающий мне ухватиться за одну из веревок, коими шар был опоясан... Я инстинктивно повинуюсь этому голосу, карабкаюсь на поверхность шара, стараясь удерживаться на упругих частях его, где еще имелся газ, падаю вместе с шаром на землю и... просыпаюсь.

Никогда не летавший на шаре и не собиравшийся летать, я, конечно, не придавал сну никакого значения и настолько основательно забыл о нем, что не вспомнил о нем даже тогда, когда мои знакомые потащили меня в Воздухоплавательный Парк и предложили совершить совместно с ними воздушную прогулку. Если бы я вспомнил тогда о сне, то, будучи верующим, не решился бы разумеется, искушать Господа и от такой прогулки, конечно, отказался бы. Но сон был так давно; я совершенно забыл о нем и охотно присоединился к нашей компании. Погода была великолепная, ветра никакого, и шар плавно поднимался вверх. В корзине поместилось шесть человек, в том числе и молодожены Палицыны, Вы их знаете... Ничто не предвещало катастрофы. Вдруг мы

почувствовали запах гари; в то же мгновение показалось над корзиною огромное пламя... Момент... и огонь, точно острый нож, перерезал веревки, державшие корзину, и мои спутники упали на землю... В этот ужасный момент, когда, согласно всем требованиям науки, я должен был потерять сознание и способность мыслить, я вдруг вспомнил со всеми подробностями свой сон и только благодаря этому не растерялся. Я ухватился за одну из веревок, болтавшихся над корзиною, и в то время, *когда* мои спутники падали на землю, я повис в воздухе и летел, с ужасающей быстротою, вниз, вместе с шаром... Сознание ни на минуту не покидало меня, а, наоборот, обострилось настолько, что я точно слышал голос с неба, прозвучавший несколько лет тому назад во сне, и сообразовался с ним, меняя свое место, по мере сгорания газа, и отыскивая упругие части шара, где газ еще держался, карабкаясь с одного места на другое... Оставляя за собою густые клубы дыма, шар, с быстротою молнии, падал на землю... Однако, газ не успел еще сгореть прежде, чем шар достиг земли, и, потому, замедляя постепенно свой полет, шар грузно опустился на землю, и я упал точно на стог сена, не получив даже царапины... Мои же спутники были частью убиты, частью искалечены... Скажите же, могу ли я, после этого, не верить "мистике"? Нет, не все положения здравого смысла можно возводить в теории, отрицающие над нашими жизнями Промыслительную Руку Господню", – закончил граф.

Чудесное спасение графа Я.Н. Ростовцова было совсем недавно, и столица еще не переставала говорить об этом, объясняя чудо исключительным благочестием графа.

Не чудо родило Вашу веру, а, наоборот, Ваша вера вызвала это чудо, – сказал я. – Кто действительно верит, тот делается свидетелем сплошных чудес, кто же сначала требует чуда, чтобы потом поверить, тот никогда не дожидется"...

"Да, дивны дела Божии", – вздохнул граф.

А этот случай, доклад полковника О., который познакомил меня с Вами и привел меня сегодня к Вам, разве не чудо? – спросил я. – Вы, верно, мало еще знакомы с личностью недавно прославленного Угодника Божия, Святителя Иоасафа, и с особенностями Его духовного склада... Я заинтересовался психологией Его характера, этим сочетанием молитвенной настроенности, доходившей до пределов созерцания, с теми приемами отношения к служебному долгу, какие применялись Святителем в сфере Его церковно-государственной деятельности. С одной стороны, безграничное милосердие и незнающая пределов любовь к ближнему, с другой – необычайная строгость к греху, к проступкам и преступлениям, за что позднейшие биографы Святителя называли Его даже жестокосердным... Жизнь Святителя была непрерывной борьбой с мягкотелостью и теплохладностью, и эта борьба поражала своей смелостью и размахами. Святитель не смешивал христианского милосердия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, как будут относиться к нему лично; не покупал популярности и любви к себе ценою измены долгу и правде... Он был чист и безупречен и ничего не должен был миру и, кроме Бога, никого не боялся... В этом – источник Его прямолинейности и строгости... В наше время всеобщего непротivления злу и сентиментальности, когда власть или боится проявлять себя, или, в погоне за популярностью, изменяет своему долгу, личность Богом прославленного Угодника приобретала в моих глазах двойное значение, и я настолько увлекся своей работою по собиранию материалов для жизнеописания Святителя, что даже покинул Петроград и свою службу в Государственной Канцелярии, отдавшись всецело своей частной работе... Казалось бы, что от этого должен был произойти только ущерб в сфере моих служебных интересов... Мои частые отлучки, конечно, не могли нравиться моему начальству, и, тяготясь своей службою в Мариинском Дворце, сознавая, что нельзя служить одновременно двум господам, я два раза заявлял о своем желании выйти в отставку. Между тем обстоятельства складывались так, что моя частная работа не только возвращала меня обратно в Государственную Канцелярию, но и довела меня до Государя Императора, заинтересовавшегося моими книгами; а вот теперь Святитель Иоасаф посылает меня в Ставку"...

Не знаю, как долго бы продолжалась моя беседа с обаятельным графом, если бы в кабинет не вошел помощник графа, камергер Никитин, с целым ворохом бумаг к подписи.

Просмотрев некоторые из них, граф сказал мне:

"Ассигновка будет готова завтра; распоряжение по поводу вагона-салона, который будет ожидать Вас в Харькове и в котором будут следовать иконы в Ставку, министр путей сообщения А.Ф. Трепов сделает, надеюсь, сегодня же. Вам же остается только исходатайствовать отпуск у Государственного Секретаря, после чего я и сделаю доклад Ея Величеству"...

Сердечно простившись с графом, я уехал в Государственную Канцелярию. Предстояла тягостная и до крайности трудная миссия переговорить со Статс-секретарем С.В. Безобразовым об отпуске. Прошло всего несколько дней после моего возвращения из каникул. Не все мои сослуживцы даже съехались. В моем отделении никого еще не было; передать свою работу редактора Полного Собрания Законов было некому... Все это, в связи с моими частыми отлучками из Петрограда, нервировало меня. Я не мог не чувствовать к себе того отношения, какое не высказывается, но от этого становится вдвойне тягостным и обидным... Но я не мог также разрушить всякого рода сомнения и предположения, подчеркивая значение мотивов моих отлучек из Петрограда, ибо знал, что эти мотивы имели значение только в моих глазах и в "мистику" никто не верил.

Но в данном случае было еще одно деликатное соображение, какое до крайности меня смущало. Я ехал "просить" об отпуске в то время, когда имел уже Высочайшее повеление Государыни Императрицы ехать в Ставку, переданное мне через гофмейстерину Е.А. Нарышкину и графа Я.Н. Ростовцова, и это повеление последовало не только не по воле, но даже без ведома моего начальства... И, хотя я сознавал, что, докладывая гофмейстерине содержание моей беседы с протоиереем А.И. Маляревским, менее всего мог думать, что выбор Императрицы падет на меня, а был убежден, что такая миссия будет возложена на кого-либо из приближенных ко Двору; хотя я и знал, что в отношении своего начальства не сделал ни малейшего промаха, однако не мог отрешиться от некоторого смущения и обдумывал вопрос о том, что лучше – просить отпуск или об отставке...

Мои колебания были столь сильны, что ни в этот, ни в последующие дни я ни в какие беседы с С.В. Безобразовым не вступал, а решил дожидаться исхода переговоров с графом Я.Н. Ростовцовым.

Прошло несколько дней. Я снова поехал в канцелярию Ея Величества.

"У меня уже все готово, – встретил меня граф, – написан даже доклад Ея Величеству"... И, передавая мне бумагу, граф просил меня прочитать ее.

"Нет, граф, этого доклада нельзя подавать Императрице", – сказал я, прочитав бумагу.

"Почему?" – спросил меня граф, удивленно посмотрев на меня.

"Из-за этого места, где Вы спрашиваете, не будет ли Ея Величеству угодно дать мне личные указания пред отъездом. Это место легко может навести Императрицу на мысль об аудиенции"...

"Конечно, – ответил граф, – но именно это я и имел в виду. Вы едете в Ставку, будете видеть Государя и Наследника, и совершенно естественно, что, получив командировку от Императрицы, Вам нужно откланяться Ея Величеству... Притом ведь Государыня может быть пожелает передать через Вас какие-либо поручения Его Величеству... Что же Вас смущает?! Я думаю, что Вам не следовало бы уклоняться от аудиенции", – говорил граф.

Не знаю, в состоянии ли я был передать графу то волнение, какое испытывал в тот момент, и объяснить причины, удерживавшие меня от знакомства с Ея Величеством.

"Знаете ли, граф, – начал я, – что и до сих пор еще я не решился просить свое начальство об отпуске: до того смущает меня и самая командировка в Ставку, и тот туман, какой стал уже витать вокруг моего имени... Люди злы... Вы знаете, чем вызвана командировка, Кто дает ее мне, и Вы, так же, как и я, верите, что посылает меня в Ставку Святитель Иоасаф... А много ли людей мы найдем, которые так думают?... Не будут ли люди говорить, что я сам придумал себе эту командировку, не припишут ли мне самых грязных,

недостойных намерений?! И это даже тогда, когда моя командировка окончится только выполнением возложенного на меня поручения и не оставит после себя никаких других результатов... Что же будут говорить злые люди тогда, когда Вы присоедините к моей командировке еще Высочайшую аудиенцию у Ея Величества... Представившись Государыне Императрице теперь, перед своим отъездом, я буду вынужден ходатайствовать об аудиенции и после своего возвращения, и это подаст только повод к всевозможным суждениям... Ведь теперь спекулируют и на вере и святыню пускают в ход для карьерных целей, и Вы не осудите меня за желание отмежеваться от таких людей... Я смотрю на свою миссию, как на поручение, возложенное на меня Святителем Иоасафом, и хотел бы, чтобы ничто человеческое к этой миссии не пристало и чтобы она была выполнена вне каких-либо земных соображений... Я хотел бы и поехать, и вернуться обратно так, чтобы об этом никто не знал – и чтобы результаты моей миссии не давали бы никому повода делать неверные выводы"...

Внимательно слушал меня граф и затем сказал:

"Я понимаю вас... Вы хотите остаться в тени... Я перепишу доклад и изменю заключительные строки"...

Крепко пожав мою руку и вручив все нужные бумаги, граф сердечно простился со мною, пожелав успешно выполнить святую миссию.

Прошло еще несколько дней, явились незначительные препятствия, задержавшие меня в Петрограде, и, получив отпуск, я мог уехать в Ставку только в двадцатых числах сентября.

Глава IV. Свидание с Обер-Прокурором Св. Синода А.Н. Волжиным. Прощальная беседа с протоиереем А.И. Маляревским. Отъезд из Петрограда

Протоиерей А.И.Маляревский всячески торопил меня с отъездом из Петрограда, и я был рад, когда получил возможность сказать, что все препятствия к отъезду уже устранены и остается только телеграфировать Преосвященным Харьковскому и Курскому о дне моего прибытия.

"А у Обер-Прокурора Св. Синода Вы были?" – спросил меня неожиданно о. Александр.

"Нет, – ответил я, – зачем?"..

"А как же Вы возьмете иконы, не спросив хозяина... Нужно, чтобы и Преосвященные были предуведомлены Обер-Прокурором о Вашей командировке и успели бы сделать нужные распоряжения на местах"...

Ничего не оставалось, как отправиться к А.Н. Волжину, всего несколько дней тому назад назначенному Обер-Прокурором.

Осведомившись столько же о самой командировке, сколько и об обстоятельствах, ее вызвавших, и о том, кто дал ее мне, А.Н. Волжин проявил ко мне самое нежное внимание.

Я мало знал А.Н. Волжина... Мнения о нем были различны, и я не прислушивался к ним. Однако мои друзья предостерегали меня от излишней доверчивости к нему и называли его неискренним. Этого рода предостережения были обычными, и я настолько уже привык к ним, что не придавал им значения, а после своего свидания с новым Обер-Прокурором находил их даже неосновательными. А.Н. Волжин очаровал меня своею любезностью и именно теми качествами, какие за ним отрицались... Он проявил в отношении меня, с которым был очень мало знаком, столько доверия и искренности, что заподозрить его в лицемерии я никак не мог.

Свою беседу со мной А.Н. Волжин начал с указания на чрезмерную трудность своего положения, на массу дел и отсутствие помощников и, в заключение, воскликнул: "вы не поверите, какое тяжелое наследство досталось мне после Саблера... запущенность в делах неимоверная"...

Может быть, при меньшей доверчивости к людям, я и должен был удивиться такому признанию со стороны А.Н. Волжина, сумевшего в течение двух-трех дней после

вступления в должность Обер-Прокурора разобраться в сложных делах своего ведомства и заметить эту "неимоверную запущенность". Может быть, я должен был найти параллели с Саблиным, всю жизнь свою ведавшим церковные дела, несколько рискованными для А.Н. Волжина, никогда этими делами не занимавшегося; однако в тот момент эти мысли не явились ко мне, и, в ответ на горькие жалобы нового Обер-Прокурора, я, в утешение, сказал ему:

"На Ваше ведомство всегда сыпались жалобы со всех сторон; но это, ведь, и неудивительно... 200 лет существует Синод, а в течение этого времени ничто в нем не изменилось, и даже штаты остались прежними"...

"Да, да, – живо возразил А.Н. Волжин, – вы все так говорите, а помочь мне никто не хочет... Ну вот и помогите мне"...

Не зная еще, что А.Н. Волжин обращался с такою просьбою ко всякому посетителю, я был даже польщен его словами и, по возвращении из Ставки, обещал снова посетить его.

Меня тронула эта просьба о помощи, и я увидел в ней ту непосредственность и откровенность, каких не замечал у других министров, не только никогда не жаловавшихся на свою беспомощность, а, наоборот, подчеркивавших полноту своей власти и свои знания. Сопоставляя с ними нового Обер-Прокурора, я делал выводы в пользу А.Н. Волжина и желал искренне и бескорыстно оправдать его доверие ко мне. Я знал, что дела ведомства были новыми для А.Н. Волжина, как знал и то, что он не был знаком с личным составом своего ведомства, с представителями которого мне приходилось так часто сталкиваться, и я имел в виду предложить новому Обер-Прокурору целую программу реорганизации ведомства, указать на то, что никакие частичные изменения в механизме Синодального управления не достигнут цели, пока Церковь не будет изъята из ведения Государственной Думы, пока Синод не будет разгружен от дел, подлежащих ведению епархиальных архиереев, пока, наконец, не будут порваны те нити, какие, в лице некоторых Синодальных чиновников, связывают Синод с левыми представителями Думы... Параллельно с этим, я считал первейшей задачей Обер-Прокурора учреждение при Синоде Кодификационного Отдела и создание писанного церковного законодательства, находя совершенно недопустимым оставлять в обращении Устав Духовных Консисторий, изданный в 1842 году и в значительной своей части отмененный позднейшими узаконениями, не вошедшими однако в последующие его издания, включительно до 1916 года... Я усматривал в этих мероприятиях фундамент для всех последующих реформ, какие бы сдвинули Синод с мертвой точки, оживили бы церковную жизнь России, перестроив ее на канонических началах, что казалось мне невозможным в настоящее время, когда церковно-государственные функции Синода взаимно пересекались и даже враждовали между собою. Я был убежден, что церковная жизнь государства должна находиться в исключительном ведении иерархов, регулирующих ее в строгом соответствии с требованиями "Книги Правил", созывающих два раза в год поместные Соборы и, в целях объединения деятельности последних, Соборы окружных митрополитов; что функции Обер-Прокурора должны быть ограничены и заключаться не в контроле деятельности иерархов, а лишь в согласовании ее с требованиями общегосударственными, вследствие чего роль Обер-Прокурора свелась бы к роли Государственного Секретаря, а Синод превратился бы в Государственную Канцелярию по церковным делам, с самыми разнообразными и сложными функциями, которые не задевали бы, однако, специально церковных и не стесняли деятельности Собора епископов, как единственного органа, которому надлежало бы вести церковную жизнь России.

Такой реформированный Синод, или точнее Главное Управление по делам Церкви, включая в своем составе и департамент духовных дел иностранных исповеданий, и церковно-кодификационный отдел, и финансовый, и хозяйственный, и юридический, существенно бы отличался от нынешнего, где все эти функции смешивались с делами, связанными с Синодом, как собором епископов, где Синод был одновременно и

канцелярией этого Собора, находившейся в ведении и подчинении Обер-Прокурора, или, вернее, ареною борьбы иерархов с Обер-Прокуратурою.

Как, однако, ни важно было поделиться этими мыслями с новым Обер-Прокурором, человеком верующим и переполненным, как мне казалось, благих намерений, однако я считал момент для беседы с ним неподходящим и мысленно откладывал ее до возвращения своего из Ставки.

"Кстати, – сказал А.Н. Волжин. – Вы будете в Белгороде... Поставьте за меня свечку Святителю Иоасафу и, если Вас не затруднит, справьтесь о старушках Л. Это мои родственницы, Белгородские старожилки. Вы, верно, слышали о них?"..

"Да, это имя мне знакомо и даже встречается в 4-м томе моего издания о Святителе", – ответил я.

Любезно простившись со мной и пожелав мне счастливого пути, А.Н. Волжин направил меня к своему Товарищу, П.Д. Истомину, вскоре после этого покинувшему свой пост, а этот последний просил меня обратиться к директору канцелярии Обер-Прокурора В.И. Яцкевичу, который и заготовил нужные бумаги Преосвященным Харьковскому и Курскому.

Вечером того же дня приехал ко мне протоиерей А.И. Маляревский.

"Все уже сделано", – сказал я о. Александру. – Преосвященным будут посланы соответствующие уведомления, и, кроме того, я заручился еще и личным удостоверением, какое, в случае надобности будет предъявлено Владыкам".

"И с Обер-Прокурором виделись?" – спросил меня о. Александр.

"Да, – ответил я, – производит самое лучшее впечатление... Благожелателен, простосердечен, не рисуется своими знаниями, а, наоборот, откровенно признается в своем бессилии, и даже просит помочь ему... Ни хитрости, ни лицемерия я в нем не подметил... Жалуетесь на запущенность в делах ведомства и на тяжелое наследие Саблера"...

"Ну да, это так нужно, конечно... Всякий новый начальник должен жаловаться на своего предшественника: это уж обычай такой, прости Господи"...

Я невольно улыбнулся...

"Ну, вот, а теперь поезжайте себе с Богом, – сказал о. Александр. – И месяца не прошло, как все совершилось во славу Божию. Только, как приедете в Харьков, не забудьте сказать архиепископу Антонию (ныне митрополит Киевский, председатель Высшего Церковного Управления за границей) о крестном ходе. Великая это святыня – обретенная Святителем Песчанская икона Божией Матери... И встретить, и проводить ее нужно крестным ходом"... "Да, да: об этом уже я позабочусь", – сказал я в ответ. "Когда же Вы думаете ехать, послали ли уже телеграммы?" – спросил меня о. Александр.

"Нет еще, и посылать не хочется", – ответил я.

"Устали от хлопот?! Ничего, во славу Божию трудились; в дороге отдохнете", – успокаивал меня о. протоиерей.

"Нет, не устал, а раздумал ехать", – ответил я. О. Александр, с тревогою и беспокойством посмотрел на меня.

"Видите ли, батюшка, – сказал я, – до сих пор я двигался по инерции, и хотя те мысли, какие я хочу высказать Вам, и преследовали меня, но я на них не останавливался, ибо иначе пришлось бы прекратить все начатые хлопоты. Но теперь, когда все уже закончилось, и я могу обнять все дело в его целом, эти мысли вновь завладели мною, и я не могу в них разобраться. Если бы Вы не пришли ко мне, то я бы полетел к Вам за разъяснениями, в зависимости от которых и решил бы вопрос, ехать ли мне в Ставку, или отказаться от этой миссии"...

Протоиерей А.И. Маляревский даже перепугался и забросал меня вопросами: "Ведь в первый раз Государь Император так милостиво принял Вас, что, наверное, помнит Вас. Чего же Вам смущаться!.. Или, может быть, Вы перестали верить в явление Святителя Иоасафа и Его грозное повеление, или смущаетесь тем, что говорят по поводу Вашей командировки злые люди?!"...

"Нет, батюшка... Кто раз видел Царя, тот захочет и во второй раз удостоиться этой радости... И не это меня смущает. Считается с тем, что говорят злые люди, я также не могу; что же касается моего отношения к явлению Святителя полковнику О., то именно потому, что я верю в это явление, именно по этой причине я и не могу отделаться от мыслей, какие меня тревожат. Ведь Святитель Иоасаф явился не мне, а полковнику О. Почему же не полковник, а я должен ехать в Ставку?! Угодно ли это Святителю?.. Не предвосхищаю ли я миссии полковника, не сажусь ли в чужое кресло?!"

Может быть, все дело, с самого начала, было поведено неправильно; может быть, я не должен был вовсе рассказывать гофмейстерине Е.А. Нарышкиной содержание доклада полковника, а должен был ограничиться только просьбою исходатайствовать полковнику О. аудиенцию у Ея Величества, чтобы он лично обо всем рассказал... Вспомните, что полковник говорил о "депутации" к Царю... Может быть он, бедный, не надеясь, по смирению своему, на возможность единолично выполнить миссию Святителя, рассчитывал войти хотя бы в состав депутации... Не обидим ли мы полковника, если я один поеду в Ставку; не навлечем ли и гнева Святителя?! Вот Вы все говорите, что это мое дело, что меня посылает в Ставку Святитель Иоасаф... И пока я этому верил, до тех пор, как видите, и работал энергично... А вот теперь эта вера моя и поколебалась, и я не знаю, кого хочет послать в ставку Святитель – меня или полковника; и то, что я этого не знаю, то мучит меня и волнует"...

"Искушение, князь, искушение, – убежденно сказал протоиерей А.И. Маляревский. – Враг подстерегает всякое доброе намерение... Гоните его от себя... Если бы Господь не благословлял Вашей поездки, то и не допустил бы ее"...

"Смотрите, батюшка, чтобы не согрешить... Вопрос идет о спасении всей

России... Если моя поездка не будет угодна Божией Матери и Святителю, тогда вся ответственность должна будет пасть на меня... Где полковник?.. Может быть, можно взять его с собою и представить Государю?"..

"Адреса своего полковник не оставлял, – ответил о. протоиерей, – и никто не знает, где он. После своего доклада он не являлся ко мне. Если он в Петрограде, то не мог не слышать о Вашей командировке. Почему же он не явился ни к Вам, ни ко мне, и не заявил о своем желании присоединиться к Вашей поездке в Ставку?! Возможно, что его и нет в Петрограде... Да и кто бы решился ходатайствовать о Высочайшей аудиенции никому неизвестному полковнику?! Тревоги Ваши от врага... Вы ведь не просили о командировке... Гофмейстерина Е.А. Нарышкина тоже не просила Государыню командировать Вас; я тоже не думал о возможности Вашей личной поездки, а рассчитывал, что, в лучшем случае, пошлют какого-нибудь генерал-адъютанта, или свитского генерала... А, если вышло так, что ехать приходится Вам, значит – такова воля Божия; значит – так угодно Матери Божией и Святителю Иоасафу... Нет, нет, пусть Ваши мысли не смущают Вас... Это – искушение, чтобы вызвать уныние и отнять веру в святость миссии Вашей... Имейте сами эту веру и в других возгревайте"...

"Я поеду, – ответил я, – но боюсь, что убеждения в необходимости именно моей поездки у меня не будет"...

"Напрасно, – возразил о. Александр. – Ваши мысли таковы, что последовательное проведение их должно вызвать Ваш формальный отказ от Высочайшей командировки. А, как Вы думаете, не порадовался бы враг такому решению?"..

"Пожалуй, что порадовался бы", – ответил я.

"В таком случае и все, что вызвало бы такое решение, нужно приписать его козням", – сказал протоиерей А.И. Маляревский.

Убежденный доводами о. Александра, я в тот же вечер отправил нужные телеграммы, а на другой день выехал в Белгород с тем, чтобы оттуда следовать в Харьков.

Глава V. Белгород и Харьков. Встреча и проводы Песчанской Иконы Божией Матери

В Белгороде я пробыл только несколько часов. Встретивший меня на вокзале о. благочинный проводил меня в Свято-Троицкий монастырь, к мощам Святителя Иоасафа, а затем я прошел к Преосвященному Никодиму (замучен большевиками в Белгороде, в 1919 году), епископу Белгородскому, от которого получил предназначенный для Ставки Владимирский образ Божией Матери. После совершенного Владыкою напутственного молебна, исполнив поручения Обер-Прокурора, я отбыл на вокзал и со следующим поездом уехал в Харьков, где, предуведомленный о моем приезде архиепископ Антоний уже ожидал меня.

Согласно распоряжению архиепископа, Песчанский образ Богоматери должен был, ко времени моего приезда в Харьков, быть привезен из села Песков настоятелем Песчанского храма, священником Александром Яковлевым, на которого возлагалось и поручение сопровождать образ в Ставку. Был разработан также и порядок шествия крестного хода для встречи святыни... С вокзала чудотворный образ Богоматери должен был быть перенесен крестным ходом в ближайшую к вокзалу церковь и оставаться там всю ночь, а на другой день, этим же порядком, доставлен обратно на вокзал и установлен в салон-вагоне, для следования в Ставку. Приехав в Харьков, я еще не застал святой иконы, прибытие которой ожидалось лишь к 5 часам пополудни.

К этому времени на вокзале собралось все Харьковское духовенство, с архиепископом Антонием во главе, и гражданские власти, с губернатором Н.А. Протасовым. Огромные толпы двигались по направлению к вокзалу, и скоро вся предвокзальная площадь была запружена народом. Лишь немногие счастливицы могли пробраться на перрон; все же прочие терпеливо ждали прибытия святыни на площади... Крыши домов, балконы, заборы и даже деревья были усеяны народом, охваченным тем настроением, какое и непонятно, и не может быть объяснено не испытавшим его... В полном облачении ожидало духовенство прибытия святыни. Вот показался поезд. На перрон вышел архиепископ Антоний, в сопровождении своих викариев и прочего духовенства, и встретил святыню, благоговейно приложившись к чудотворному образу.

Шествие началось... Народ почтительно расступался, давая дорогу. Еще момент, и дивный образ Богоматери показался народу, стоящему на площади. Я никогда не забуду этого момента...

Я чувствовал, как волна религиозного экстаза захватила меня и уносила все дальше и дальше от земли... Я не видел ни чудотворного образа, ни людей, которые несли его и шли за ним; я видел только Божию Матерь, Ея Пречистый Лик, Ея безмерную любовь, изливаемую на грешных, немощных людей... И то, что испытывал я, то испытывали, вместе со мною, все эти десятки тысяч народа, и я понимал, почему эти люди плакали, почему оглашали воздух громкими стенаниями и рыданиями, почему эта огромная толпа, всегда живая и жизнерадостная, всегда гордая и самоуверенная, вдруг смолкла и притихла... Потому что в этой толпе не было ни одного человека, который бы не содрогнулся при встрече со святынею, озарившей его внутреннюю, греховную скверну и смилившей его; потому что все вдруг почувствовали тот страх Божий, который обесценил в их глазах все земное и напомнил о Страшном Суде Господнем...

И слезы раскаяния смывали эту скверну и делали человека смелее и дерзновеннее, и он, с надеждою, простирал свои грешные руки к Богоматери и тянулся к Ней, и покорно шел за толпою, сосредоточенный и смиренный...

Крестный ход медленно подвигался вперед... Густое облако молитвенных волн стояло над толпою... Невидимые нити соединяли небо и землю... Начинало смеркаться... И на фоне вечернего полумрака это шествие чудотворной иконы Божией Матери в храм, эта необычайная процессия, с высоко поднятыми хоругвями и зажженными свечами, где слезы и рыдания заглушались перезвоном церковей и хором певчих, где общее горе и страдания и

затаенный страх за исход ужасной войны связали всех надеждою на помощь Матери Божией, – производила потрясающее впечатление...

Только к полуночи крестный ход дошел до ближайшего к вокзалу храма, где чудотворная икона Богоматери была встречена Харьковским епархиальным миссионером, архимандритом Митрофаном (ныне епископ Сумской, викарий Харьковской епархии), и где в продолжение всей ночи служились молебны о ниспослании победы на фронте.

Я шел за процессией вместе с губернатором Н.А. Протасовым. Толпа плотным кольцом окружила нас... Кто-то дотронулся до меня... Я оглянулся... Подле меня шел какой-то нищий, в лохмотьях... Когда наши глаза встретились, он загадочно, шепотом, сказал мне:

"Целый год тебя ждали... Спешу, чтоб не было поздно"...

В этот момент толпа оттеснила его, и я потерял его из виду... Я спросил губернатора, что могли означать его слова; но никто не мог объяснить их... Поздней ночью я вернулся к архиепископу Антонию, у которого имел пребывание... Архиепископ также не мог объяснить мне загадочных слов нищего. На другой день святая икона была так же торжественно, крестным ходом, перенесена обратно на вокзал и установлена в салон-вагоне, в котором и должна была следовать в Ставку.

Момент прощания с иконою вызывал такие сцены, каких я никогда не видел, каких никогда не могло себе представить никакое воображение.

"О, русский народ, – думал я, глядя на эти душу раздирающие сцены, – до какой высоты ты способен подниматься, в какие заоблачные, небесные дали способна залетать душа твоя"...

Как в зеркале отражало это прощание сокровенные думы и мысли плачущих, те чувства, какие живут на дне души и прячутся от людей, все то дорогое и ценное, и нежное, что не выносится наружу, а отдается только Богу... Там была та бесконечная любовь русского народа к Матери Божией, та несомненная вера в Ея небесную помощь, какая ждет чуда и творит чудо, там было такое раскаяние и самобичевание, какие изгоняют всякую стыдливость, и робость, и смущение, какие с корнем вырывают всякий грех, все то, что мучило и терзало человека, о чем напоминала совесть...

Салон-вагон был засыпан цветами...

Подле чудотворного образа стояли ставники и горели свечи...

По очереди входили в вагон прощаться с иконою...

Вслед за архиепископом Антонием вошел в вагон и губернатор Н.А. Протасов. Опустившись на колени, он долго молился пред святым образом, с умилением приложился к нему и затем простился со мною, трижды облобызавшись со мной...

Мог ли я думать, что это прощание будет последним, и я не увижу более этого замечательного человека...

Вскоре губернатор скончался, и его похороны повторили картину описанного крестного хода... За несколько месяцев своего управления Харьковской губернией, он стяжал себе такую необычайную славу, что его считали святым. "Это были не похороны, а открытие мощей", – говорила мне бывшая на погребении Н.А. Протасова. В 5 часов дня, 3-го октября, поезд медленно отошел из Харькова.

Глава VI. По пути в Ставку. Беседа со священником Александром Яковлевым

Когда поезд тронулся, то, находясь еще под впечатлением Харьковского крестного хода, я сказал о. Александру Яковлеву:

"Как неправы те, кто видит в крестном ходе только церемонию, а высокий религиозный подъем, какой в этих случаях всегда наблюдается, приписывает массовому гипнозу... Природа этого подъема совсем иная..."

Здесь не только выражение собирательной воли к добру, но и момент массового пробуждения от греха, когда раскаяние одного заражает другого, когда вдруг вся внутренняя скверна озаряется каким-то небесным светом, и видна даже пылинки греховная,

где-то глубоко спрятавшаяся; когда требования совести настолько обостряются, что даже малейший грех тяжелым камнем давит сознание, и является потребность очиститься"...

"Что же удивительного, что так объясняют, – ответил о. Александр, – науке теперь больше стали верить, чем Церкви Божией; а про то забывают, что хотя наука и многое приоткрыла, да не все, а, когда дойдет до своего предела, тогда и Церкви не станет отрицать, а сольется с нею... Загордился человек, верит лишь тому, до чего своим разумом дошел; а разум-то не у всех одинаков, вот потому и веры нет... Да и на что она таким людям, коли они своим разумом живут, да на него полагаются?!"

"Да, да, – ответил я, – удивительно это стремление гордого человека засадить каждую Божественную истину в скорлупу своего разума... Что влезет в эту скорлупу, тому и верят и того не отрицают; а что не влезет, то отвергается... Это называется "научным обоснованием"... Как будто такое обоснование является большим авторитетом, чем слово Божие... Вы знаете, батюшка, до чего теперь додумались в Америке?"

"Любопытно послушать", – ответил о. Александр.

"Заметили там люди, что при общей молитве настроение гораздо более повышенное, чем когда молятся в рознь, и что Господь чаще внимает, когда молятся вместе, и что такие молитвы доходнее к Богу... И вот, стали люди собираться, иной раз уже не в храмах, ибо храмы не вмещали молящихся, а на площадях, или даже за городом, и там возносить свои горячие молитвы к Богу... А в моменты каких-либо бедствий, рассылались даже приказы по всей Америке, чтобы в назначенный час возносились бы повсюду моления к Богу. Особенно подчеркивалось, чтобы эти моления возносились не только в определенный час, в назначенную минуту..."

И Господь Милосердный внимал этой массовой молитве... И как же, Вы думаете, американцы объяснили милость Божию и то, что Господь услышал их просьбы и исполнил их?! Объяснили "научно"...

Они создали целую теорию о "молитвенных волнах", о так называемых "флюидах", и даже фотографировали эти "волны", какие отражались на пластинке в виде электрических нитей, исходящих от каждого человека и поднимавшихся к небу, причем эти нити не у всех были одинаковы... У одних они были ярче и длиннее, у других короче и бледнее... На пластинке, точнее – на фотографическом снимке, эти нити выражались в виде белых линий, частью пересекавших одна другую, частью параллельно восходивших к небу... Все это может быть и очень хорошо, но почему же не верить просто, почему эта страсть к "научному обоснованию" явлений духовной природы!

Очень возможно, что такие молитвенные волны действительно существуют и, конечно, несомненно, что "флюиды" молящегося разнятся от "флюидов" человека, сидящего в театре; но зачем же уподобляться Фоме неверному и забывать обращенные к нему слова Спасителя: "Ты поверил, потому что увидел Меня... Блаженны не видевшие и уверовавшие" (Иоан. 20, 29).

"Что же, американцы думают, что открыли что-нибудь новое? – спросил о. Александр, – а не помнят ли они, как Моисей еще заставлял Израильян молиться вместе с ним, подымая руки к небу... И когда все стояли коленопреклонно, с воздетыми к небу руками, тогда Господь внимал их молитвам; а как опускали руки, Господь отвергал их, и молитва отдельных лиц не доходила к престолу Божию... Да и Церковь наша призывает к общей молитве: на то ведь и храмы Божии установлены"...

"Наука, конечно, великий дар Божий, – сказал я, – и отрицать ее нельзя, и стремиться к ней нужно; но, когда человек пытается залезать туда, куда не следует, когда, с помощью науки, желает изучить природу духовных явлений, постигаемых, к тому же, совершенно другим путем, тогда получается впечатление, что он точно проверяет Господа Бога и не верит Ему на слово. Не знание, ведь, дает веру, а вера – знание"...

"Грехи наши тяжкие, – вздохнул о. Александр, – прогневляет человек Господа; ох, как прогневляет"...

Поезд быстро мчался вперед; маленькие станции мелькали одна за другой, Весть о следовании в Ставку чудотворного и повсеместно чтимого образа Божией Матери быстро разнеслась повсюду... Не только большие, но и малые станции были запружены народом, с зажженными свечами в руках, встречавшим святую икону... Все уже знали, что Царица Небесная спешит на фронт помогать Царю спасти Россию; все желали приложиться к образу и вознести свои молитвы... И было невыразимо больно видеть, когда поезд пролетал мимо малых станций, не останавливаясь на них, как народ медленно расходился по домам, покидая станцию... На больших же станциях, во время остановок, служились непрерывно молебны, и повторялись те же сцены, что и в Харькове... В полном облачении, с хоругвями и зажженными свечами, встречали местное духовенство и народ святую икону, и поезд задерживался на станциях даже более положенного времени...

Задумчиво сидели мы в салоне-вагоне и оба молчали... Огромное количество свечей озаряло Пречистый Лик Богоматери... Только теперь я рассмотрел чудотворный образ и заметил, какое множество драгоценностей украшало его, как крупны были те бриллианты, коими был унизан венчик вокруг Пречистой Главы Матери Божией...

А эта икона стояла в сельском храме!..

"Отчего Вы так поздно приехали?" – вдруг неожиданно спросил меня священник Яковлев.

Я встрепнулся и мгновенно вспомнил, что этот же вопрос предложил мне нищий, в лохмотьях, при крестном ходе в Харькове, и что никто не мог объяснить мне его загадочных слов...

"Почему поздно?" – испугался я.

"Мы Вас еще в прошлом году ждали, – начал свой рассказ священник Яковлев, – живет в нашем селе старичок Божий; великий он праведник; мы так и почитаем его за прозорливца... В самом начале войны, значит, примерно в конце августа прошлого года, было ему видение Святителя Иоасафа... Явился к нему Угодничек Божий и крепко выговаривал за грехи людские и сказал, что обижают люди Господа несправедною жизнью и грехами своими, что приближается уже время Суда Божия над людьми, что и война послана в наказание, чтобы одумались и образумились люди и покаяться, и горем, страданиями и слезами очистили свои души... Грозил Святитель, говоря, что отступит Господь от людей и отнимет до времени благодать Свою от России... Но по милосердию Своему, чтобы люди не отчаялись, не попустит Господь погибнуть Земле Русской, но что до тех пор не вернет Своей благодати, пока люди не призовут на помощь Царицу Небесную, *ибо теперь только одна Матерь Божия может помочь людям и замолить грехи их у престола Всевышнего и спасти Россию*. Сказав это, старичок Божий повелел нам собирать деньги на крестный ход и нести нашу чудотворную Песчанскую икону Матери Божией на фронт, и добавил: *"Матери Божией самой угодно пройти по линиям фронта и благословить армии наши"*. Тут, известное дело, некоторые и усомнились и указывали старичку, что не только на фронт, но даже и в Ставку никого без разрешения не пускают; но старичок пригрозил маловерам и твердо заметил им:

"Не сомневайтесь: приедет посол Царский... Война послана в наказание, а не на погибель нашу... Еще терпит Господь Милосердный, и, если послушают Святительского гласа Угодника Божьего Иоасафа, да сделают то, что Он приказал сделать, выполняя волю Матери Господней, то не бойтесь: *одолеет Пречистая* супостатов, и не ради вас грешников, а ради Царя, Помазанника Своего, помилует Россию... А как не послушают Святителя, да не поверят Его словам, тогда познают люди такую скорбь, что и сказать нельзя, и даже подумать страшно, и лучше не дожить до лютого часа того...

Мы и начали собирать деньги и тысяч пять собрали, и все ждем и ждем Вас. Наконец и ждать перестали... А, чтобы не было соблазна, я и вернул обратно деньги"...

С затаенным дыханием я прислушивался к каждому слову священника Яковлева... Трудно передать, что я испытывал в эти моменты встречи с еще одним новым

свидетельством безграничного милосердия Божия к людям и грубого ответного невнимания последних к голосу Всеблагого Творца...

"А потом, – продолжал священник Яковлев, – вышел приказ от благочинного везти нашу икону в Харьков... Мы и догадались, зачем; народ и повалил к старичку, кто за расспросами, а кто просто хотел повиниться пред ним за маловерие свое"...

"Что же, старичок, – прервал я рассказ о. Александра, – сказал что-нибудь?"..

"Горько кручинился старичок Божий, но говорил с неохотою... Может быть и знал что-нибудь, да сказывать не хотел; а все больше повторял то, что прежде говорил: "Как поверят Святителю Иоасафу, тогда еще смилосердится Господь; а как не поверят, тогда наступят беды одна другой горше, и ниоткуда уже не будет помощи", – сказал батюшка.

"А не говорил ли старичок, что теперь уже поздно ехать на фронт, что Господь прогневался за то, что мы целый год не исполняли повеления Святителя Иоасафа?" – спросил я.

"Нет, этого не говорил", – ответил о. Александр.

"Батюшка, – спросил я снова, – а Вы сообщали кому-нибудь о явлении Святителя старцу? Знал ли об этом архиепископ Антоний и, если знал, то почему же не довел до сведения Царя?"..

"О том, знал ли о видении нашего старичка Божьего Владыка, нам неизвестно: люди мы маленькие, с архиереями не сообщаемся; а нашему благочинному, как же, сейчас же обо всем донесли. Сами же мы верили попросту и, как сказал старичок, так и сделали, чтобы быть готовыми на случай: выйдет приказ выступать с крестным ходом, чтобы деньги, значит, были наготове. А доносил ли благочинный архиепископу или нет, того не знаем"...

Сомнений не было... Было очевидно, что Святитель Иоасаф явился одновременно полковнику О. на фронте и благочестивому старцу в селе Песках.

И я рассказал священнику Яковлеву подробности доклада полковника на Общем Собрании братства Святителя Иоасафа, о безуспешных попытках полковника довести об этом докладе до сведения Государя Императора, о бывшем видении еще за два года до войны, об обстоятельствах, вызвавших, мою командировку в Ставку, и, в заключении, добавил:

"Я узнал о докладе полковника О. лишь 5 сентября, вечером. На другой же день я предпринял уже нужные шаги для того, чтобы осведомить Ея Величество об этом докладе... Государыня Императрица узнала обо всем 7-го сентября и в тот же час сделала все нужные распоряжения Своему секретарю, графу Ростовцову, Около трех недель потребовалось для выправки разных бумаг и документов, получив которые я сейчас же поехал в Белгород, а оттуда к Вам"...

"Дивны дела Божии, – сказал растроганный о. Александр, выслушав мой рассказ... – Не только нас, грешных, но и Вас, значит, предупредил Святитель... Коли бы послушались Святителя в первый раз, то не было бы войны, – убежденно сказал о. Александр"...

"Я тоже так думаю", – ответил я.

"А помните ли Вы, – вдруг, неожиданно, сказал священник Яковлев, какие победы были у нас на фронте, в самом начале войны... Даже немецкую границу наши войска перешагнули... Прав, значит, был наш старичок, когда сказал, что не для гибели, а для покаяния в грехах наших ниспослал Господь эту войну... Вот тут то и нужно было сейчас же взмолиться к Матери Божией и идти крестным ходом, с нашей иконою, на фронт, и тем исполнить повеление Святителя... Господь бы и помиловал Россию за молитвы Своей Матери и попридержал врагов, и не пустил бы войне продолжаться дальше... Тогда ведь все в один голос кричали, что война только на три месяца рассчитана... Может быть и точно. Господь установил такой срок и ждал, что люди покаются... Воля Божия помочь была, да, видно, человеческой воли не было... Тут-то и пошло поражение за поражением, отступление за отступлением, и чем бы все это несчастье кончилось, если бы Сам Царь не пошел на фронт, да в Свои Царские руки команду не взял – одному Богу известно... Ради

Царя, Помазанника Своего, Господь отогнал врага и еще милует Россию... Может быть и сейчас еще не поздно"...

Помолчав немного, точно обдумывая мысль, о. Александр как-то особенно выразительно сказал:

"Нет, нет, не поздно еще, спасет Господь Россию; иначе не попустил бы нам грешным, ехать сейчас в Ставку; не прошли, значит, еще уготованные Господом сроки... *Лишь бы там вняли голосу Святителя*", – как-то неуверенно окончил священник Яковлев.

Еще долго длилась моя беседа с достойнейшим сельским пастырем, так располагавшим к себе своим простосердечием и искренностью, своей глубокой верой и любовью к Святителю...

Приближалась ночь; простившись со святынею, прочитав вечерние молитвы, мы разошлись каждый в свое купе...

На прощание, о. Александр сказал мне:

"А как же объяснит наука это одновременное явление Святителя Иоасафа нашему старичку в селе и полковнику О. на фронте?"..

Глава VII. Прибытие в Могилев

"Мог ли я, никому не известный сельский священник, думать когда-нибудь, что увижу Царя Батюшку", – сказал мне на другой день о. Александр.

"И не только Царя, но и Наследника увидите; и даже, может быть, через несколько часов, на вокзале; ибо, наверное, и Государь, и Цесаревич выйдут, вместе с крестным ходом, навстречу Царице Небесной", – ответил я.

"Спаси их Матерь Божия", – сказал священник Яковлев и перекрестился.

"А заметили Вы, батюшка, что Царица Небесная прибывает в Ставку как раз к самому дню Тезоименитства Наследника-Цесаревича... Сегодня ведь 4-ое октября, а завтра 5-ое".

"Да, да, – живо отозвался о. Александр, – значит, крестный ход придет в собор к началу всенощной... Лишь бы только поезд не опоздал"...

"Это ничего, если и опоздает: без Царя всенощной не начнут, да и начинать будет некому, потому что и протопресвитер, и прочее духовенство пойдут с крестным ходом", – ответил я.

"Пожалуй, что и так", – согласился о. Александр. Поезд уже приближался к Могилеву. До сих пор, проезжая огромные пространства, мы не замечали никаких признаков войны, точно ее и не было вовсе. Но, по мере приближения к Ставке, нам все чаще и чаще попадались транспортные поезда, эшелоны войск, двигавшиеся по направлению к Ставке и обратно. Ближайшие к Могилеву станции также отражали картину военного времени, на перроне, кроме серых шинелей, никого не было.

Священник Яковлев и я, оба несколько взволнованные, высматривали из окна вагона, рассчитывая увидеть на перроне Государя, Наследника и духовенство, с протопресвитером Шавельским во главе.

"Хоругвей что-то не видать", – сказал о. Александр.

"Крестный ход ожидает, верно, на площади, перед вокзалом", – ответил я. Постепенно замедляя ход, поезд грузно остановился у перрона.

Наш вагон-салон был прицеплен к последнему вагону и находился в конце поезда... Мы не выходили из него, ожидая, что кто-нибудь выйдет навстречу святыне. Прошло, однако, несколько минут томительного ожидания, а к нам никто не приходил... Никого не было и на станции: военные, в походной форме, лениво прохаживались по перрону взад и вперед, очевидно даже не зная о прибытии святыни...

"Что бы это значило, – думали мы оба, не решаясь, однако, высказывать друг другу своих тревог и опасений... Разве телеграмма случайно не дошла? Нет, не может быть этого"...

Вдруг появился секретарь протопресвитера Е.И. Махароблидзе, и мы радостно и облегченно вздохнули... Я знал его давно по его участию в делах братства Святителя Иоасафа, где он исполнял иногда мелкие секретарские обязанности.

"О. протопресвитер прислал автомобиль, – скороговоркою сказал он, только, к сожалению, подъехать к главному подъезду вокзала теперь нельзя, придется небольшое расстояние пройти пешком... Но это недалеко, совсем близко; разрешите, я проведу Вас", – говорил он, обращаясь ко мне и точно не замечая стоящего рядом со мною священника Яковлева.

"Зачем автомобиль? – нетерпеливо сказал я. – Я пройду со всем крестным ходом"...

Е.И. Махароблидзе замялся.

"Крестного хода не будет", – смущенно сказал он.

"Как не будет? Что Вы говорите такое, Ексакустодиан Иванович! – воскликнул я в изумлении. – Разве протопресвитер не получил моей телеграммы?"

"Никак нет; телеграмма получена вчера... Я не знаю... Я не знаю... Так распорядился протопресвитер", – растерянно отвечал Е.И. Махароблидзе.

Я переглянулся со священником Яковлевым и прочитал в его глазах такую невыразимую скорбь, такое горе, что мне стало жалко его...

Для сельского пастыря, воспитанного в условиях, создающих определенные точки зрения на начальство, и связывающего высоту служебного положения с высотой личных качеств, такое отношение протопресвитера к святыне явилось неожиданным ударом и глубоко оскорбило его религиозное чувство.

"Какие проводы, и какая встреча! – подумали мы, – вместо крестного хода, с Царем во главе, вместо торжественной встречи чудотворного образа Божией Матери, прибывшего в *Ставку по повелению святителя Иоасафа для спасения России*, будущее которой становилось все более грозным и тревожным, – на вокзале один Е.И. Махароблидзе, с автомобилем".

И хотя я знал протопресвитера Шавельского и то, что это мало верующий человек, один из тех прогрессивных батюшек, для которых священнодействие являлось только обязанностью службы, однако такого небрежения к святыне я не мог ожидать... Тем меньше мог допустить его проникнутый благоговейным почитанием святыни настоятель Песчанского храма, священник А.Яковлев, свидетель бесчисленных чудес, изливаемых на верующих от иконы самою Матерью Божиею названной "источником благодати" для всей России С большим трудом, священник Яковлев, я и Е.И. Махароблидзе вынесли святую икону, высотой свыше двух аршин и весом около двух пудов, из вагона и, с еще большим трудом, донесли ее до автомобиля, бережно прикрывая дорожным пледом драгоценные украшения ее. Окруженные толпою зевак, мы долго мучились, пока поместили икону в небольшой, грязный, походный автомобиль, с брезентовым верхом, установив ее так, как перевозят зеркало или картину в раме... Е.И. Махароблидзе сел впереди, рядом с шофером, а священник Яковлев и я кое-как примостились, стоя одною ногою на ступеньках и держась то за икону, то друг за друга, чтобы не свалиться. Автомобиль быстро помчался вперед... Никогда не высыхающие в провинциальных городах лужи забросали и святыню, и нас грязью.

"Что бы сказал Царь, – думали мы оба, – если бы увидел этот переезд наш с величайшей святыней, прибывшей на именины Наследника, спешащей на помощь Царю в один из самых ужасных моментов истории, когда, по свидетельству Святителя Иоасафа, никто, кроме Матери Божией, уже не мог спасти Россию!"

Мы подъехали к собору. Ни вокруг собора, ни в самом соборе никого не было. Только сторож ходил с тряпкой в руках и сметал пыль. Снова засуетился Е.И. Махароблидзе и побежал искать людей, чтобы с их помощью вынести икону из автомобиля. Однако никого не удалось найти, и когда Е.И. Махароблидзе вернулся, то мы, общими усилиями, вытащили икону и внесли ее в собор.

Посреди храма стояли два аналоя, на которых лежали Федоровская икона Божией Матери и образ Преподобного Сергия Радонежского.

Мы не знали, куда установить прибывшую икону... Протопресвитер не озаботился даже приготовить место для святыни.

Священник Яковлев чуть не плакал от огорчения. В этот момент протопресвитер вышел из алтаря и, холодно поздоровавшись со мною, едва протянув руку священнику Яковлеву, распорядился поставить икону на пол, у правого клироса, прислонив ее к стенке.

"Но отсюда Государь даже не увидит иконы", – сказал я протопресвитеру.

"Завтра найдем другое место, а сейчас некогда, – небрежно ответил о. Шавельский, – нужно начинать всенощную; придут Государь с Наследником"...

Сказав это, протопресвитер направился в алтарь, пригласив и о. Александра следовать за собою. Я остался один в соборе, и Е.И. Махароблидзе указал мне место, где я должен был стоять, вместе с Царской свитой.

Вскоре приехал министр Двора граф В.Б. Фредерикс, дворцовый комендант генерал В.Н. Воейков, затем Великий князь Георгий Михайлович, генерал М.В. Алексеев, позднее Великий князь Дмитрий Павлович и др.

С минуты на минуту ждали Государя.

Однако, протопресвитер, не ожидая прибытия Его Величества, начал всенощную, что, по-видимому, никого, кроме о. Александра и меня, не удивило. Вдруг послышался шум подъезжавшего автомобиля, и Е.И. Махароблидзе бросился открывать боковую дверь собора, примыкавшую к левому клиросу, где было Царское место.

Государь Император и Наследник Цесаревич медленно входили в храм, осеняя себя крестным знамением.

Я не сводил глаз с Царя. Как изменился Государь за эти пять лет, истекших с момента моей последней встречи... И мельчайшие подробности аудиенции воскресали в моей памяти, и в ушах еще звучали приветливые слова Государя, сказавшего мне при прощании: "Так будем же встречаться"... Но прошло пять лет, и я видел Государя только издали, хотя и знал, что Государь осведомлялся обо мне и пригласил бы к Себе, если бы не верил тем, кто говорил Царю, что я в отъезде...

С какой любовью глядел я на Царя, с какой болью читал в скорбном выражении Его чудных глаз ту муку и страдания, какие Царь выносил на Своих плечах за грехи России...

Несколько раз мои глаза встречались с глазами Государя; я видел, как часто Царь оглядывался в мою сторону и смотрел на меня, точно стараясь припомнить знакомое лицо, какое где-то видел...

И эти движения Государя наводили меня на мысль о том, что, может быть, Его Величеству даже не докладывалось о моем приезде, ничего не говорилось о том, чем этот приезд вызван, что Государь даже не знает о прибывшей в Ставку святыне...

Я любовался этими движениями и той непосредственностью, какая за ними скрывалась... Я знал уже немножко Царя по первой аудиенции и то, что у Государя не было ни одного искусственного жеста, не было ничего деланного, что Царь был воплощением искренности и простоты... И, глядя теперь, как Государь оглядывался на молящихся, зная, что сотни глаз устремлены на Него и следят за каждым Его движением, я мысленно спрашивал себя, каким образом Государь, прошедший школу придворного этикета, связанный положением Монарха величайшей в мире Империи, мог сохранить в Себе такую непосредственность и простоту, такие искренность и смирение...

Наследника я раньше никогда не видел и теперь увидел в первый раз. Это был уже большой и стройный мальчик; та же простота и искренность отражались в каждом Его движении и располагали к Нему.

Прошло не более четверти часа, и всенощная кончилась... В первый раз я был на всенощной, какая длилась не более двадцати минут... Государь и Наследник медленно сходили с амвона...

В северных дверях иконостаса показался священник Яковлев, с напряженным вниманием следивший за каждым движением Государя... Окидывая всех печальным взором, Государь с Наследником направлялся к выходу из собора... Впереди бежал Е.И. Махароблидзе, торопясь распахнуть боковую дверь. Ни Государь, ни Наследник даже не оглянулись в сторону чудотворного образа Божией Матери.

Было ясно, что протопресвитер даже не докладывал Государю о прибытии Святыни в Ставку. Государь уехал.

Священник Яковлев вышел из алтаря, подошел к святой иконе и, опустившись на колени, долго молился.

Простившись с иконою, я, вместе с ним, вышел из храма. Предчувствие чего-то ужасного и неотвратимого сковало наши уста. Мы шли вместе и оба молчали...

То, что для священника Яковлева явилось лишь выражением нерадения протопресвитера к святыне и так изумляло его и оскорбляло религиозное чувство смиренного сельского батюшки, то вызывало во мне гораздо более глубокие переживания и причиняло мне тем большую боль, что я не мог высказать ее о. Александру.

Я не хотел посвящать его в те сомнения и колебания, какие возникали у меня перед самым отъездом из Петербурга, когда мне казалось, что не я, а полковник О. должен выполнить повеление Святителя Иоасафа, и когда я был близок к решимости отказаться от командировки в Ставку...

Я не мог поделиться с ним теми мыслями, какие явились только теперь и какие говорили мне, что я не должен был отклонять предложение графа Ростовцова об аудиенции у Ея Величества, что мне следовало лично довести до сведения Императрицы о докладе полковника О. и заручиться всем тем, что обеспечивало бы успех моей миссии, включительно до письма Ея Величества к Государю Императору.

Я сознавал, какую огромную ответственность перед всей Россией взял на себя, и боялся, что не в силах буду выполнить возложенную на меня задачу.

И потому, как ни возмущали меня действия протопресвитера Шавельского и его пренебрежительное отношение к святыне, но я видел в них и тот сокровенный смысл, какого не мог видеть священник Яковлев и какой рождал во мне мучительную боль от сознания, что, может быть, и в самом деле Господь не благословляет моей миссии; может быть, мои ощущения, заставлявшие меня колебаться перед отъездом из Петербурга, не обманывали меня, и, может быть, неправ был протоиерей А.Маляревский, настоявший на моем отъезде...

"Не будем унывать, – сказал я, в утешение самому себе, стараясь в то же время успокоить и о. Александра, – завтра, после обедни, мы увидим Государя и тогда обо всем расскажем лично; ибо, кроме нас, конечно, никто этого не сделает... Увидим мы завтра и архиепископа Константина... Я давно знаю и люблю Владыку: он поможет нам".

"Дай Бог", – ответил священник Яковлев.

Было только 7 часов... Через полчаса мы вышли из гостиницы и направились в одно из зданий, принадлежавших Штабу, куда военные и гражданские власти сходились к завтраку и обеду, и куда мы были приглашены. Там, среди этих служащих, были и мои знакомые по Петербургу и бывшие сослуживцы по Государственной Канцелярии, и меня интересовало свидание с ними, с целью ознакомиться с общим положением на фронте и свежими новостями, ежедневно прибывавшими в Ставку. Там только я мог застать и протопресвитера Шавельского...

Глава VIII. В офицерском собрании

Помещение, куда мы вошли, напоминало собою, как по виду, так и по настроению находившихся в нем лиц, курзал, клуб, или офицерское собрание в провинциальном городе, затерянном где-то в захолустье.

Из передней дверь вела в продолговатую комнату, где были расставлены небольшие квадратные столы, покрытые белой скатертью, с приготовленными уже для ужина

приборами, предназначенные для штабных служащих. Далее, в глубине, поперек комнаты, стоял длинный стол для высших чинов. Там были места генерала Алексеева и его приближенных. Лакеи, с салфетками в руках, бегали между столиками, расставляя бутылки с вином. Налево от передней находилась небольших размеров квадратная комната, в углу которой стояло пианино, а посреди – круглый стол, с разложенными на нем, в беспорядке, разорванными журналами и газетами...

Сюда собирались после завтрака и обеда, и эта комната являлась чем-то вроде гостиной и курительной.

Мы вошли в нее... Здесь уже находились незнакомые нам лица и несколько священников, прибывших с фронта и вновь назначенных. Между этими лицами шла оживленная беседа: они весело разговаривали, балагурили и громко смеялись. Мало-помалу, один за другим, они переходили в столовую и занимали места за столиками, продолжая начатый разговор и бросая на ходу недокуренные папиросы на пол... Скоро столовая наполнилась вошедшими... Каждый спешил занять свободный столик... Ни священник Яковлев, ни я не знали, были ли места нумерованы, и садились ли каждый на свое место, или же выбирал любое, оставшееся свободным; и потому мы стояли в нерешительности, не зная, куда нам идти, и искали глазами свободное место...

В этот момент вошел, вернее, вбежал, в столовую, необычайно быстрою походкою, ни на кого не глядя, с опущенными вниз глазами, точно стесняясь присутствовавших, генерал Алексеев и, обратясь ко мне, сказал: "Не хотите ли к нам, за общий стол?" – и, не дождавшись моего ответа, так же быстро прошел к своему месту. Не желая оставлять священника Яковлева среди совершенно ему незнакомых людей и не зная, относилось ли приглашение также и к о. Александру, я оставался в нерешительности до тех пор, пока нас не заметили мои знакомые, сидевшие за маленьким столиком, и пригласили к себе.

Заняв место, я стал искать глазами протопресвитера Шавельского, но нигде не находил его.

В столовой царил тот характерный шум, какой наблюдается в ресторанах, когда обедают одновременно десятки лиц, и лязг посуды, ножей и вилок чередуясь с хлопаньем вытаскиваемых из бутылок пробок, смешивается с гулом разных голосов... Я не выносил этого шума, и он всегда мне был противен... По этой причине я никогда не принимал приглашения на званые обеды, ибо не понимал, как можно делать из обеда занятие и просиживать часами за обеденным столом...

Наблюдая эту картину, это настроение тех людей, которые находились, казалось, у самого порога бездны и своими усилиями сдерживали натиск врага, стремившегося свергнуть в эту бездну всю Россию, я делал невольные параллели между тылом и фронтом, между Могилевом и Ставкой, между этим Офицерским Собранием и тем, что находилось за его порогом...

И чем глубже я всматривался в эти параллели, тем понятнее были мне речи моих собеседников, тем мрачнее казались перспективы, тем безнадежнее положение... Не оживление и веселье окружающих вызывало у меня мрачные мысли и рождало уныние; даже не слепая уверенность в победе, какая, как психологический фактор, была ценной, смущала меня... Все это имело свое объяснение, отражало физическую потребность рассеяться, отдохнуть от напряженной работы и было мне понятно... Но я не мог понять того, каким образом все эти самоуверенные и самонадеянные люди связывали свою уверенность в победе только со стратегическими соображениями и не постигали того, что воля Божия может обесценить все эти соображения, опрокинуть все человеческие расчеты и что нужно считаться с этой волей и служить ей. Не понимал я и того, как могло согласоваться настроение людей, бывших в Офицерском Собрании, с тем настроением, какое царило не только повсеместно в России и за порогом этого Собрания, когда в том же Могилеве нельзя было встретить ни одного человека, на лице которого не отражались бы безысходное горе и глубокая скорбь, когда отовсюду только и слышались жалобы на

чрезмерную работу в Ставке, от которой люди сбивались с ног, когда даже для молитвы к Богу не хватало времени и всенощная длилась только двадцать минут...

Станным казалось мне и то, что эти же самые люди, по выходе из Офицерского Собрании, точно сговорившись, надевали на себя маску уныния и принимали озабоченный вид, и я спрашивал себя, где же истинное отражение действительного положения на фронте: там ли, в столовой Офицерского Собрании, где весело смеялись и рассказывались анекдоты, или здесь, на улице, где люди шли с поникшей головою...

"Верно, Вы даже не предполагали, что увидите здесь такое оживление, спокойствие и хладнокровие", – сказал мне один из моих бывших сослуживцев по Государственной Канцелярии.

"Да, не предполагал, – ответил я, – и не только оживление и хладнокровие, но я вижу здесь такое веселье, какого давно уже не замечал даже в столице. Точно Вы не в Ставке, вблизи фронта, точно и войны нет никакой"...

"Браво, браво, князь", – чуть не захлопал в ладоши мой собеседник. "Это оттого, что ни в ком из нас нет ни малейшего сомнения в исходе войны; что все, начиная от генерала и кончая солдатом, скованы уверенностью в самой блестящей победе... Вдребезги разнесем Тевтонию"...

"Да на чем же Вы строите такую уверенность?" – спросил я удивленно... "Как на чем?! На всем!" Я вопросительно посмотрел на собеседника. "Это все Петербург наводит на всех панику, – продолжал он, – если бы Вы знали, как отравляет нас этот вечно ноющий тыл, эти бабьи страхи... Когда вы вернетесь в Петербург, то расскажите всем, что Вы здесь видели... Скажите, что мы здесь чуть только не танцуем"...

"Вам виднее, – ответил я, – но у меня лично такой уверенности нет. Я понимаю, что прифронтовой службе полезно питать преувеличенные надежды, чтобы своим настроением вдохновлять фронт, но"...

"Нет, нет, – перебил меня собеседник, – мы искренне исповедуем свою уверенность: Германия будет побеждена, она должна быть побеждена!"

"Может быть и будет, – ответил я, – но в том, что она должна быть побеждена, я сомневаюсь, ибо одинаково невыгодно как России уничтожать Германию, так и Германии Россию"...

"Ну да: Вы известный германофил", – ответил мой бывший сослуживец. "Нет, не потому; а потому, что, кроме воли двух враждующих сторон, из которых каждая, естественно, хочет остаться победительницею, есть еще третья воля, наиболее беспристрастная... Одни называют эту волю – волей Божией, а другие – законом исторической необходимости. Война с Германией есть безумие с обеих сторон. Каждая из этих сторон воюет, в сущности говоря, против самой себя... Победа или поражение Германии будет победою или поражением России, Господь не допустит такой явной бессмыслицы, и война кончится вничью"...

Мой собеседник рассмеялся и, наклонившись ко мне, шепотом сказал мне:

"Вы знаете, если бы кто-нибудь услышал Ваши слова, то Вас бы повесили".

"Действительно, ради этого не стоило бы приезжать к Вам в Ставку", – ответил я, улыбаясь...

"А союзные обязательства, а это постоянное стремление Германии колонизировать Россию, ее наглый тон, с каким она диктовала нам свои требования, наконец ее отношение к Сербии, поведение в Бельгии, разве Вы все это забыли? Давно было пора обуздать эту вечную угрозу европейскому миру"...

"Нет, не забыл, – ответил я, – но эти причины, оправдывающие войну, растворяются в одной, запрещающей нашу войну с Германией. А Вы забыли, спрошу и я Вас, в свою очередь, что Россия и Германия являются единственными в Европе монархиями, но не по имени, а по структуре и существу, единственным оплотом монархического начала, единственным барьером, сдерживающим натиск революции... Рисуете ли Вы себе те результаты, какие сделаются неизбежными в том случае, если Россия победит Германию, а

Германия выведет из строя Россию? Придет Англия и превратит Россию в колонию, как сделала с Египтом. Меня еще в гимназии, когда я был в 3-м классе, учили, что Англия является хищным ястребом, живущим чужой добычей; что знаменитый Британский Музей состоит только из награбленных сокровищ других народов... Потому-то я и являюсь германофилом, что отдаю себе ясный отчет в той исторической роли, какую играла Англия по отношению к России. Германия не могла играть такой гнусной роли хотя бы потому, что для нее невыгоден разгром России; а для Англии это выгодно... И Франция, и Англия одинаково боятся могущества как России, так и Германии, и тем больше – взаимной дружбы последних; поэтому к разрыву между нами и немцами были направлены все их усилия... А мы, как всегда, опростоволосились... Попались на удочку этих интриг и немцы"...

"Вот Вы и скажите об этом генералу Алексееву: смотрите, он еще сидит за столом; спешите, а то он сейчас выбежит отсюда", – сказал мой собеседник, сдерживаясь от смеха.

"Княже, княже, видно, что Вы только что из Питера прибыть изволили... Ведь Петербург бредит о мире, разве мы этого не знаем... Но что же получится?! Повторится история Японской войны, когда Петербург вырвал победу из рук Линевица, а Витте подписал позорный мир в Портсмуте"...

Упоминание о графе С.Ю. Витте заставило меня вспомнить один из эпизодов прошлого года, когда русские, застигнутые войной, не могли возвращаться домой через Германию, а устремлялись в Италию, чтобы из Бриндизи ехать в Константинополь, а оттуда в Одессу. Среди этих русских, заехавших сначала в Бари, где я в то время находился, занятый постройкою Святителю Николаю, а затем собравшихся на пароходе в Бриндизи, были граф С.Ю. Витте, С.С. Манухин, бывший тогда вице-председателем Государственного Совета, светлейший князь П.П. Волконский, княгиня М.Барятинская, граф А.Тышкевич, В.Малама и др... Все до крайности возмущались зверствами немцев и на все лады обсуждали случай с г-жою Туган-Барановской, которую немцы выбросили из вагона на полотно железной дороги, и где она, израненная, скончалась в страшных мучениях...

"Этого быть не может... Это клевета на немцев!" – закричал граф С.Ю. Витте.

"Война с немцами бессмысленна... Уничтожить Германию, как мечтают юнкера, невозможно... Это не лампа, какую можно бросить на пол, и она разобьется... Народ, с вековой культурой, впитавший в свою толщу наиболее высокие начала, не может погибнуть... Достояние культуры принадлежит всем, а не отдельным народам, и нельзя безнаказанно посягать на него"...

Я вспомнил, какие горячие возражения последовали тогда со стороны спутников графа, охваченных общим негодованием против немцев и проникнутых симпатиями к Англии. Возражая им, граф, в свою очередь, горячился и сказал:

"Да поймите же, что нам невыгоден разгром Германии, если бы он даже удался. Результатом этого разгрома будет революция сначала в Германии, а затем у нас".

И сказав эти слова, граф С.Ю. Витте расплакался, как ребенок. Я вспомнил об этом эпизоде и рассказал о нем своему собеседнику.

"Что же, – ответил он, – революция в Германии возможна; но что она будет в России, это уж Витте перехватил через край"...

"Все Вы здесь дети Сазоновской школы, – сказал я, – все Вы англоманы; но в вопросах широкой политики нужно принимать во внимание не личные симпатии к нации, а политические выгоды; а в том и сказывалось роковое значение нашей дипломатии, что она всегда забывала эту истину. Вот Вы сказали, что Германия всегда являлась угрозой европейскому миру... А я скажу Вам, что, если бы между Россией и Германией существовала подлинная дружба, то никакая война в Европе не была бы возможна... Потому-то Германия и бряцала оружием, что не была уверена в нас, что мы бросались то в объятия Франции, то в объятия Англии, и естественно, что Германия боялась нашего союза с ее врагами. Есть кто-то третий, кому выгодна гибель и Германии, и России"...

"Книга Нилуса", – перебил меня мой собеседник и закатился смехом. Он смеялся таким заразительным смехом, что я только и мог сказать ему:

"Да перестаньте же, на нас все смотрят"...

Но он не унимался и, трепля меня за рукав, сказал мне деланно серьезным тоном:

"Знаете, князь: Вы действительно приехали в самый раз... Тащите сюда скорее всю Ставку; смотрите, там еще все сидят за столом; скажите им: "Поворачивайте оглобли... Повоевали с Германией, и будет с вас: а теперь кидайтесь на Англию, а затем на Францию, чтобы всем досталось понемножку; а то, что же, в самом деле, наседаете на одну Германию и рвете ее на клочья"...

"Где же тут справедливость!.. Ах, как досадно, что Вы не привезли с собою Нилуса... И что бы было взять его с собою!.. Если приедете в другой раз, непременно привезите его с собою... Хорошо?"..

"Хорошо", – ответил я, любуясь жизнерадостностью моего собеседника. "Держите его, держите!" – полушепотом закричал он, указывая на генерала Алексева, сорвавшегося со своего места и почти выбежавшего из столовой.

"Ах, досада какая, упустили... А теперь не догонишь его и с гончими"’...

Обед кончился. Шумно раздвигались стулья, и столовая быстро опустела.

Беседовавший с каким-то незнакомым мне священником, о. Александр подошел ко мне, и я стал прощаться с моим собеседником.

"Не забудьте же Нилуса", – сказал он, делая серьезную мину и крепко пожимая мою руку.

В крайне подавленном состоянии духа возвращался я, вместе со священником Яковлевым, в гостиницу...

Я был уверен, что, заранее предупреденный о моем приезде в Ставку, протопресвитер Шавельский сделает все нужные распоряжения к достойной встрече святынь; но вот первый день моего пребывания в Ставке уже кончился, а о моем приезде никто даже не знал, и появление мое в Офицерском Собрании явилось для всех неожиданным.

Прибыв с вокзала прямо в Собор ко всеобщей, я услышал от генерала Воейкова, в ответ на мою просьбу доложить Его Величеству о миссии, возложенной на меня Государынею, что вопрос касается не коменданта, а протопресвитера... Но протопресвитер, немедленно после окончания всеобщей, куда-то скрылся, и я не мог найти его. Меня направили в Офицерское Собрание; но и там его не оказались... Сказали, что протопресвитер, вероятно, обедает с Государем... Все это нервировало меня... Но особенно угнетало меня то, что священник Яковлев, смиренный сельский пастырь, был свидетелем той картины, какую видел в Офицерском Собрании и какая так поразила его; и я понимал, почему он так глубоко вздыхал и отмалчивался...

Мы молча простились с ним, и каждый ушел в свой номер. Я решил отправиться к протопресвитеру Шавельскому завтра, рано утром, до начала литургии, в его канцелярию, которая помещалась в Штабе.

Глава IX. Протопресвитер Г.И. Шавельский

Я шел по улицам, разукрашенным, по случаю Тезоименитства Наследника Цесаревича, флагами... Было только 8 часов утра... Встречных было мало... Прошло несколько минут, прежде чем я нашел канцелярию протопресвитера. В первой комнате сидел за столом Е.И. Махароблидзе... Он был правой рукою всеильного протопресвитера, и в его движениях сказывалась уверенность человека, довольного своим положением. Протопресвитер находился в смежной комнате. Я прошел к нему...

"Вот видите, как мы живем здесь, – сказал мне Г.И. Шавельский, указывая рукою на стоявшую в углу кровать, – вот и все наше убранство... Здесь моя квартира, здесь и канцелярия".

Не желая терять времени, я перешел непосредственно к тому, что меня угнетало, и сказал протопресвитеру:

"Никогда бы я не подумал, что Вы окажете такой прием чудотворному образу Божией Матери, пред которым сам Святитель Иоасаф коленопреклонно молился, со слезами... Я был уверен, что Вы встретите святыню еще более торжественно, чем ее встречали в Харькове и по пути следования в Ставку, когда даже на маленьких станциях, ночью, духовенство и народ, с хоругвями и свечами в руках, ждали прибытия поезда, чтобы приложиться к иконе, и служились непрерывно молебны о ниспослании победы на фронте... Мне казалось, что Вы встретите Царицу Небесную на вокзале крестным ходом с Царем во главе, пройдете с вокзала в Собор, отслужите пред Нею молебен и поставите икону на подобающее святыне место; а увидел я только одного Е.И. Махароблидзе, с брезентовым автомобилем, на котором разъезжают солдаты"...

"Какие там крестные ходы! – запальчиво ответил Г.Шавельский, – это архиепископу Антонию делать нечего; он и устраивает крестные ходы, да всенощные служит по пяти часов: а нам здесь *некогда*. По горло заняты"...

Я обомлел от этих слов; однако, не допуская еще такого издевательства над религиозным чувством, я спокойно сказал о. Шавельскому:

"Позвольте, здесь, верно, какое-то недоразумение... Вы должно быть не знаете, что я командирован в Ставку по повелению Ея Величества, и того, чем вызвана моя командировка... И что, по возвращении в Петербург, я должен буду представить Государыне доклад о своей поездке".

Г.И. Шавельский промолчал... Рассказав о докладе полковника О., о бывших ему дважды явлениях Святителя Иоасафа, о таком же явлении старцу в селе Песках, я добавил:

"Совершенно не подобает мне утверждать пастыря Церкви в вере; однако же я думаю, что Вы берете на себя великую ответственность, не выполняя повеления Святителя Иоасафа... Если бы я был даже неверующим, то и тогда одновременное явление Святителя в разных местах двум разным лицам – одному – живущему в месте пребывания святой иконы, в селе Песках, а другому – находящемуся на фронте, и переданное им одинаковое повеление Божие, поколебало бы мое неверие... Святитель приказал не только привезти святыне иконы в Ставку и здесь их оставить, а повелел обойти с ними фронт и предупредить, что *такова воля Матери Божией, и что только при этом условии Господь помилует Россию*; а вы не встретили святыни на вокзале и не предупредили Царя"...

"Да разве мыслимо носить эту икону по фронту! – возразил протопресвитер. – В ней пуда два весу... Пришлось бы заказывать специальные носилки..."

А откуда же людей взять... Мы перегружены здесь работой, с ног валимся. Все это Ваша мистика; это Петербург ничего не делает, ему и снятся сны; а нам некогда толковать их, *некогда заниматься пустяками*", – говорил о. Шавельский, все более раздражаясь.

"Так неужели же Вы дерзаете вовсе не исполнить повеления Святителя? – спросил я изумленно, – если Вы берете на себя эту смелость, тогда отслужите хотя бы, всенародный молебен, с коленопреклонением, здесь на площади, в присутствии Государя", – сказал я протопресвитеру.

"Некогда! С утра до ночи люди в Штабе, за работою", – отрезал он. Я откланялся.

Через полчаса этот человек пошел в собор служить обедню. Никакое горе, никакое несчастье, казалось, не могло нанести мне большего удара, чем эти слова, этот тон, это глумление над верою, со стороны того, кто являлся духовным пастырем армии и флота...

"Да ведь этот один человек погубит всю Россию, – думал я, возвращаясь в гостиницу... – Бедный Царь, бедная Россия"...

Мне знаком был этот тип людей, и психология о. Шавельского меня не удивляла... Случайные сановники редко привыкают к своему положению настолько, чтобы не иметь нужды подчеркивать его, и часто делают это такими способами, какие только выдают их скромное прошлое. Не заносчивость и самоуверенность о. Шавельского, граничившая с невоспитанностью, шокировали меня, а удивляло меня то искусство, с которым этот

маловерующий и ловкий человек мог войти в доверие к столь глубоко религиозному и мистически настроенному Государю и пользоваться чрезвычайным расположением как Его Величества, так и Государыни Императрицы.

Православие для него – мистика... Какая же религия не мистична... Тогда это не религия, а философия...

Священник Яковлев с нетерпением ожидал моего возвращения и бросился мне навстречу с расспросами...

Как, однако, ни было велико мое негодование, я, все же, смягчил свое впечатление от беседы с протопресвитером: мне было жалко смиренного сельского пастыря; мне не хотелось обнажать пред ним картину действительности и показывать те черные пятна, какими эта картина была покрыта...

Но мудрый батюшка и без моей помощи многое видел. От его взора не укрылось то, чего он не ожидал увидеть, и, как бы отвечая на невысказанные мною мысли, о. Александр часто повторял:

"Ох, будет горе, будет... сами люди накликают его... Вот искушение... Сама Матерь Божия протягивает им Свои Пречистые руки, а люди того не замечают... Теперь и злодеи, по селам, каются, ибо видят карающую Десницу Божию; смиряются, проникаются страхом Божиим; а тут сам протопресвитер не боится Бога"...

Раздался благовест... Мы направились к собору.

Глава X. Тезоименитство Наследника Цесаревича

В соборе, по случаю Тезоименитства Наследника Цесаревича, впускали по билетам. Я этого не знал и билета не имел; но его заменил мой придворный мундир, – благодаря которому меня пропустили беспрепятственно. Богослужение еще не начиналось, но храм уже был переполнен.

По левую сторону от входа, вдоль стены, стояли гражданские власти города и чины судебного ведомства; по правую – должностные лица Ставки, впереди которых было отведено особое место для свиты Государя.

Увидев меня, Е.И. Махароблидзе быстро подбежал ко мне и указал мне место среди лиц Государевой свиты. Священника Яковлева он провел в алтарь к протопресвитеру. Я увидел подле себя великих князей Георгия Михайловича и Дмитрия Павловича, министра Двора графа В.Б. Фредерикса, Дворцового коменданта генерала В.Н. Воейкова, графа А.Н. Граббе и др. Впереди всех прочих стоял генерал М.В. Алексеев, а за ним генерал Пустовойтенко. Проявляя большую распорядительность, Е.И. Махароблидзе носился по собору, подбегая то к одному сановнику, то к другому, указывал места, устанавливал порядок.

Я искал глазами чудотворный образ Матери Божией.

На прежнем месте его не было.

Улучив момент, я спросил Е.И. Махароблидзе, куда поставили образ.

"А вот здесь, – ответил он, – вчера еще успели сделать подставку"...

Действительно, пройдя несколько шагов к середине храма, я увидел икону: она была установлена на подставку и подвинута вправо, к южным дверям иконостаса, однако, все же, стояла сбоку, на значительном расстоянии от середины храма, и не привлекала ничьего внимания. Можно было подумать, что этот образ, ничем не отличаясь от прочих икон, расставленных в храме, принадлежал собору и давно уже стоит на том месте...

Оглянувшись случайно, я заметил, среди стоявших по левой стороне собора чинов судебного ведомства, одного из своих бывших товарищей по Киевской 2-ой гимназии, где я учился до перехода своего в Коллегию П.Галагана... Теснимый со всех сторон, он стоял в густой толпе и через головы окружавших жадно рассматривал меня с ног до головы и ловил каждое движение, желая обратить на себя мое внимание...

Когда-то он был одним из первых учеников моего класса и очень возносился своими отметками, а теперь – членом Могилевского Окружного Суда и... являл собою типичную фигуру провинциального судебного чина...

"Колесо фортуны..., – подумал я. – Еще не кончился твой бег... Сегодня я наверху, а завтра будет, может быть, он... Кто же из нас очутится наверху, когда колесо перешагнет порог, отделяющий небо и землю, и навеки остановится!"..

"Заступись за нас, Мать Божия, когда Господь будет судить нас на Страшном Суде Своем... Нужно будет подойти к нему, после службы" – пронеслось в моем сознании...

Вдруг все стихло. Настала торжественная минута. Осеня себя крестным знаменем, Государь медленно входил в собор. За Государем шел Наследник... Сотни глаз следили за Их движениями, точно в первый раз видели Царя...

Началась литургия, какую совершал протопресвитер Шавельский, в сослужении с прочим духовенством, в том числе и со священником Яковлевым... Не прошло и получаса, как литургия кончилась, и на середину храма вышел архиепископ Константин для молебна о здравии Августейшаго Именинника. Я не сводил глаз с Государя и мысленно спрашивал себя, знает ли Государь о прибытии святынь в Ставку, или еще не знает, и передал ли протопресвитер Шавельский Его Величеству содержание моей утренней беседы с ним, или скрыл ее от Государя.

"Вчера, за всеобщей, чудотворный образ Богородицы был поставлен протопресвитером на пол, в углу у правого клироса, – говорил я себе, – и Государь мог и не заметить его... Но сегодня образ уже установлен на подставку и несколько выдвинут вперед. Если Государь подойдет к образу и приложится к нему, значит – протопресвитер сообщил Государю о святыне; а если не приложится и пройдет мимо, значит – ничего не сообщал"... И я, с напряженным вниманием, следил за каждым движением Государя и боялся пропустить момент.

Молебен кончился. Раздалось Царское многолетие. Стоя на амвоне у Царских врат, архиепископ Константин, держа обеими руками крест, благословлял во все стороны стоящих в храме. Государь и Наследник подошли к кресту и, медленно сойдя с амвона, направились к выходу, даже не взглянув на чудотворный образ Богородицы...

Так же, как и вчера, Е.И. Махароблидзе бежал впереди и быстро распахнул боковые двери храма. Государь уехал.

Провожая глазами Государя, я мысленно спрашивал себя: "Зачем протопресвитер так горько обидел Государя и Наследника; зачем не сказал, что чудотворный образ Матери Божией, точно по особому произволению Божию, прибыл в Ставку ко дню Ангела Цесаревича? Разве Государь мог бы пройти мимо этой великой святыни, если знал, что она находится в храме, если бы знал, с какою целью она прибыла в Ставку, если бы знал о всех обстоятельствах, вызвавших мою командировку... Бедный Царь!.. Все пресмыкаются, раболепствуют; но именно самые ближайшие к Царю люди, более других взысканные Царскими милостями, оказываются самыми недостойными этих милостей, наибольшими изменниками и предателями... Везде ложь, везде лицемерие, предательство и измена"...

И предо мною воскресали картины Харьковского крестного хода, те слезы и молитвы, с какими провожали святую икону, шествовавшую в Ставку во исполнение повеления Матери Божией *для спасения России*.

Вслед за Государем, стали покидать собор и лица Свиты Его Величества. Я улучил момент и, подойдя к Дворцовому Коменданту, сказал ему:

"Еще вчера я прибыл сюда по повелению Ея Величества; а между тем никак не могу добиться ни аудиенции у Его Величества, ни, хотя бы, доклада Государю о прибытии привезенных мною святынь в Ставку. Государь и до сих пор не знает об этом"...

"Обратитесь к протопресвитеру", – лаконически ответил генерал В.Н. Воейков.

"Еще вчера обращался, но протопресвитер, по-видимому, ни о чем не докладывал Его Величеству", – ответил я.

"Вы, верно, получите приглашение к Высочайшему завтраку: тогда сами обо всем расскажете"...

"Но кто же передаст мне такое приглашение, когда никому неизвестно о моем приезде?" – спросил я, недоумевая...

"Пришлют в гостиницу", – ответил мне на ходу генерал Воейков и скрылся в толпе.

Я был до крайности раздосадован. Все куда-то спешили, ни у кого не было времени, и никто ничего не знал.

Идти снова к протопресвитеру, после моей утренней беседы с ним, я не мог себя заставить; идти в гостиницу наводить справки о приглашении к Высочайшему завтраку, в то время, когда никто не знал, в какой гостинице остановился, было также бессмысленно... Я решил дожидаться выхода из храма священника Яковлева и затем вместе с ним поехать к архиепископу Константину и просить помощи Владыки... До завтрака оставалось еще больше часу и я надеялся, что архиепископ будет приглашен к Высочайшему столу и тогда обо всем подробно расскажет Его Величеству. У выхода собора меня ждал мой бывший товарищ по гимназии. Я перебросился с ним несколькими любезными словами, подивились мы оба, что с того времени прошло почти 30 лет, незаметно промелькнувших, и разошлись в разные стороны, оставляя на память взаимные приветы.

Через десять минут священник Яковлев и я входили в покои архиепископа Могилевского.

Глава XI. Архиепископ Константин

Архиепископа Константина я знал давно и нередко встречался с ним в Петербурге. Это был один из немногих Преосвященных с университетским образованием, принявший иночество по убеждению, что сразу сказывалось в каждом его движении, и что особенно влекло меня к нему.

По этим движениям я почти безошибочно определял настроение Преосвященных, с коими встречался.

Те из них, для которых иночество было лишь фундаментом их духовной карьеры, как-то очень быстро распоясывались, когда достигали предельных ступеней: переставали следить за своей внутренней жизнью, смешивались с настроениями окружавших их лиц и особенно внимательно следили за правилами и требованиями светского обихода. Наоборот, те, кто в иночестве видел наилучший способ возношения души к Богу, путь к нравственному усовершенствованию и очищению, те, не обращая внимания на мирские обычаи и условности, относились к себе с удвоенным вниманием и вкладывали в каждое свое слово и действие мысль о той ответственности, какую они взяли на себя, давая иноческие обеты Богу.

И, чем ближе к закату склонялась их жизнь, тем строже они были к себе, тем сосредоточеннее и внимательнее они относились к своему иноческому долгу, тем больше сказывалась пройденная ими иноческая школа.

Архиепископ Константин принадлежал к числу последних... В его движениях сказывались не только приемы хорошо воспитанного человека, но и эта школа, наложившая на него отпечаток работы над собою, нежной приветливости и благодушия; а умные глаза его говорили, что все на свете суета, напрасны все тревоги и огорчения, и ничего этого не нужно... Владыка только что вернулся из собора и, направляясь в столовую пить чай, пригласил и нас с собою.

Я подробно рассказал о цели своего приезда в Ставку, об отношении протопресвитера Шавельского и, в заключение, выразив сожаление, что не предупредил заблаговременно Владыку о своем приезде, убеждал Преосвященного в точности выполнить повеление Святителя Иоасафа и подробно донести обо всем Его Величеству.

"Если бы и предупредили, то я бы, все равно, ничего не мог сделать, – ответил мне упавшим голосом Владыка. – Мы забываем даже, что находимся в Ставке; занимаемся нашими обычными епархиальными делами; Государя видим редко... Позовут к Царю –

идем; а нет – сами не смеем являться... Таков, уже заведенный здесь порядок. Шавельский – здесь все... Он безотлучно при Государе, и завтракает, и обедает, и вечера там проводит; а я и мой викарий – мы в стороне, разве только в высокаторжественные дни увидим Государя в соборе, или к завтраку, иной раз, позовут... Вот и сегодня – Тезоименитство Наследника Цесаревича, а я не знаю, буду ли приглашен к Высочайшему завтраку или обеду"...

"Неужели Вы не получили приглашения? Кто же расскажет Царю о прибывших в Ставку святынях!" – с отчаянием в голосе спросил я архиепископа. "Не знаю", – с грустью ответил Владыка.

"Владыка, это совершенно невозможно, – сказал я. – Вы должны видеть Государя, если не за завтраком, то после завтрака, среди дня, когда хотите, но поехать к Царю Вы обязаны; это Ваш архипастырский долг; иначе Вы прогневаете Святителя Иоасафа... Государь должен знать все, о чем я рассказал Вам сейчас... Кроме Вас никто не расскажет об этом Государю. Протопресвитер этого не сделает; меня к Царю не пускают; дворцовый комендант посылает меня к о. Шавельскому; а о. Шавельский даже слышать не хочет об иконах и говорит, что ему *некогда заниматься пустяками*. Что же будет?! Я боюсь за Россию... Такое отношение к повелению Святителя Иоасафа не может кончиться добром"...

Архиепископ глубоко вздохнул и, безнадежно махнув рукой, сказал мне с любовью: "И понимаю Вас, и сочувствую Вам, и тревоги сердца Вашего разделяю, но таковы уже здесь порядки, и я бессилен изменить их"...

Я понял, что означали эти слова... Архиепископ Константин и его викарий, Преосвященный Варлаам, епископ Гомельский, не только не играли никакой роли в Ставке, но и находились под гнетом всесильного протопресвитера Шавельского, крайне недружелюбно относившегося к монашеству вообще... Во избежание трений, они оба сторонились от Г.И. Шавельского, как сторонились от него и все прочие епископы, не скрывавшие, притом, неприязни к нему...

При всем том, я ответил архиепископу:

"Нужно было бы начинать очень издавлек, чтобы объяснить ту отчужденность между Царем и епископатом, какая существует теперь... Раньше было не так... Раньше ближайшими советниками Царя были служители Церкви, и епископы шли к Царю, в минуту государственной опасности, или накануне важных решений, не ожидая, подобно мирянам, аудиенций... Да и не подобает архипастырям ставить себя, в отношении к Царю, в положение своих пасомых. Неужели Вы думаете, что Государь, который так глубоко религиозен и так тяготится требованиями придворного этикета, удивился бы, если бы Вы, помимо о. Шавельского, или кого-либо иного, приехали бы к Государю, сославшись на крайне важное, срочное, не терпящее отлагательства, дело, и затем рассказали бы обо всем, что от меня услышали?... Государь был бы не только благодарен Вам, но и несомненно выразил бы Свое неудовольствие протопресвитеру Шавельскому, который скрыл от Царя об этом... Ведь вопрос идет о спасении всей России"...

Не знаю, что ответил бы мне архиепископ, если бы в тот момент не раздался в передней звонок. Откуда-то выбежавший служка побежал открывать дверь... В столовую вошел протопресвитер Шавельский и, молча поздоровавшись со всеми, сел за стол. Я посмотрел на Владыку... На лице его отражались не то робость, не то смущение.

Старушка, мать архиепископа, с которою Владыка жил, засуетилась и, предложив протопресвитеру стакан чаю, поднесла его о. Шавельскому. Он был неприятен, сосредоточен, неприветлив и угрюм. Присутствие священника Яковлева, видимо, стесняло его. Наскоро выпив стакан чаю, о. Шавельский быстро встал из-за стола и вышел в следующую комнату. За ним последовал архиепископ... Я остался в столовой, будучи уверен, что Владыка использует приезд протопресвитера и поддержит мое ходатайство о докладе Государю по поводу прибывших в Ставку святынь.

Но почти в тот же момент Владыка позвал меня и, входя в приемный зал, я услышал, как протопресвитер сказал архиепископу:

"Торопитесь, ибо до завтрака осталось десять минут"...

Архиепископ засуетился и быстро вышел в соседнюю комнату.

"Вы тоже приглашены к Высочайшему завтраку", – сказал о. Шавельский, обращаясь ко мне.

"А священник Яковлев?" – спросил я.

"Неудобно, знаете... сельский священник", – ответил протопресвитер.

Я вспыхнул. Возражать было бесполезно; однако я сказал о. Шавельскому: "Бедный батюшка! Он так надеялся, что увидит Государя, и будет так обижен"...

В дверях показался архиепископ в ленте и при звездах и, вместе с протопресвитером, быстро направился к выходу.

Я вернулся в столовую проститься с матушкой и священником Яковлевым. О. Александр растерянно посмотрел на меня: мне было до боли жаль его. За эти несколько дней одинаковых ощущений и переживаний, я так сроднился с ним, так полюбил его...

Быстро спустившись с лестницы, я еще застал у подъезда Владыку с протопресвитером... Они никак не могли поместиться в узкой пролетке, запряженной в одну лошадь... Было очевидно, что для меня не могло быть места, и я торопливо направился к губернаторскому дому пешком, боясь опоздать к завтраку.

Обида, нанесенная о. Шавельским достойнейшему пастырю церкви, глубокой болью отзывалась во мне...

"Сколько преступлений совершается именем Царя, – думал я. – Разве Матерь Божия не заступится за о. Александра, разве такое унижение Ее верного служителя не новый грех, допущенный о. Шавельским? Здесь нет ни князя, ни сельского священника: здесь только слуги, выполняющие повеление Святителя Иоасафа... И, среди них, настоятель того храма, где пребывает чудотворный образ Матери Божией – слуга большой... Какая слепота духовная и, наряду с нею, какая гордыня зазнавшегося человека!.. Чем же все это кончится!" – думал я.

"А это приглашение к Высочайшему завтраку?.. Если бы протопресвитер не встретил меня, случайно, за десять минут до завтрака, у архиепископа, то каким образом я бы мог попасть на этот завтрак?! Не мог, ведь, он передавать мне приглашение на завтрак без ведома Государя, или лиц, протопресвитер знал, что я включен в этот список на сегодняшний день... Но тогда, почему же он не сообщил мне об этом ни за утренней беседой, ни в соборе, после окончания богослужения?.. Разве он знал, что я пойду к архиепископу, и он застанет меня у Владыки?.. Ясно мне, что Сама Матерь Божия хочет, чтобы я лично передал Государю повеление Святителя Иоасафа... и я это сделаю", – так думал я, подходя к губернаторскому дому.

В передней толпились приглашенные к завтраку и затем поднимались на второй этаж. Я последовал за ними.

Глава XII. Высочайший завтрак

В небольшом приемном зале губернаторского дома, примыкавшем с одной стороны к кабинету Государя, а с другой – к столовой, собрались уже все приглашенные к завтраку, в числе не более 15 человек. Здесь были министр Двора, граф В.Б. Фредерикс, генералы Алексеев, Воейков, князь Долгорукий, Пустовойтенко, один генерал с польской фамилией, о котором в Петербурге говорили, как об изменнике и предателе, флигель-адъютант полковник Мордвинов, Могилевский губернатор Пилыц, вице-губернатор князь Друцкой-Соколынский и еще несколько неизвестных мне лиц...

Все были в походной форме, при орденах, и только один англичанин, которого называли то репортером какой-то английской газеты, то агентом английской миссии при Ставке, был одет более чем запросто, в мягкой серой рубашке, с огромнейшим цветным галстуком, покрывавшим даже ремневый пояс, коим он был сильно перетянут... Так одеваются обыкновенно играющие в футбол или теннис.

Все стояли полукругом, против дверей кабинета Государя, причем левое крыло полукруга примыкало к дверям столовой, а правое касалось противоположной стены и упиралось почти в самую дверь кабинета Его Величества. Я стоял в конце правого крыла... В зале царило гробовое молчание. Переговаривались шепотом, и только один протопресвитер Шавельский, точно умышленно желая подчеркнуть свои исключительные привилегии, старался держать себя не только свободно, но и развязно, переходя от одного сановника к другому и заводя громкий разговор, какой, однако, ни с кем не завязывался... С напряженным вниманием все смотрели на дверь Царского кабинета, какая должна была ежеминутно раскрыться...

Томительное ожидание длилось недолго. В дверях показались Государь и Наследник. Подойдя к моему соседу, Государь молча протянул ему руку, затем приблизился ко мне...

По выражению глаз Государя я угадал, что Государь узнал меня...

Приветливо протянув Свою руку, Государь пристально посмотрел на меня и так же молча подошел к следующему. За Государем шел Наследник, повторяя каждое движение Отца, и, очаровательно улыбаясь, протянул мне свою маленькую руку.

Я не знал, на кого смотреть: на Государя ли и Его характерные движения, в коих сказывалось столько породы и царственного благородства, или на Наследника, Который был в праздничном настроении и с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться, и Который Своим появлением как-то сразу изменил атмосферу сдержанности, царившую в зале, после чего все почувствовали себя увереннее и свободнее.

Молча обойдя всех стоявших в зале, Его Величество проследовал в столовую. Это была небольшая, продолговатая комната; за столом могло поместиться не более 20 человек. Здесь уже находились великие князья Георгий Михайлович и Дмитрий Павлович. Государь подошел к закусочному столику, где на первом месте красовалась мать всех закусок – селедка, и где, кроме нее кажется, ничего не было больше.

Вслед за Государем, стали занимать места и остальные. По правую руку Государя сидел генерал Алексеев; за ним великий князь Дмитрий Павлович, архиепископ Константин, какой-то неизвестный мне генерал и протопресвитер Шавельский.

По левую руку – Наследник Цесаревич, затем великий князь Георгий Михайлович, рядом с ним незнакомый мне генерал, подле которого было мое место, а дальше – вице-адмирала Карцева и еще каких-то военных.

Против Государя сидели министр Двора, граф В.Б. Фредерикс, генералы Воейков, князь Долгорукий, Пустовойтенко и др...

Все сидели молча, изредка, вполголоса переговариваясь с соседями. Только Государь оживленно беседовал с генералом Алексеевым, причем от моего взора не укрылось то исключительное расположение, какое Государь питал к Своему Начальнику Штаба, и которым генерал Алексеев впоследствии так бессовестно злоупотребил.

Я увидел генерала Алексеева впервые только в Ставке, а раньше не знал его: на меня он произвел вполне отрицательное впечатление. Его блуждающие, маленькие глаза, смотревшие исподлобья, бегали по сторонам и всегда чего-то искали, точно высматривали что-либо. Я не понимал, почему он был окружен таким всеобщим поклонением... Может быть, он и был ценным для Ставки человеком; но его внешность, так же как и внешность генерала Рузского, не располагала к нему и не вызывала доверия, тем больше симпатии. Оба эти генерала казались мне людьми себе на уме, и в движениях их не замечалось благородства, того неуловимого нечто, что отличает искренних и простосердечных людей...

Внимательно следя за беседою Государя с генералом Алексеевым, я сопоставлял мягкие, полные изысканной учтивости, движения Государя с резкими, угловатыми движениями Алексеева, возмущаясь тем, как мог генерал Алексеев, сделавшийся генерал-адъютантом Государя, не усвоить себе обычных требований воспитанности и не знать того, что отвечать собеседнику, имея во рту непережеванную еще пищу, считается, при всяких условиях, неприличным...

Свободнее всех держал Себя за столом Наследник. Он искренне, по-детски веселился и шалил, и Государь не раз останавливал Его. Сидевший же рядом с Наследником великий князь Георгий Михайлович только и делал, что укрощал безудержную веселость Цесаревича...

Завтрак был очень скромный и короткий... Под конец подали шампанское. Тостов не было, но Наследник, перемигиваясь с сидевшими за столом, приглашал выпить за Его здоровье и делал это так уморительно, все время оглядываясь на Государя, что мы все любовались Им.

Что за прелестный ребенок был Он! Сколько непосредственности и искренности, сколько безграничной ласковости и приветливости сказывалось в каждом Его движении... Не было в Нем ничего деланного, ничего привитого приемами этикета...

Я разговаривал все время со своим соседом, вице-адмиралом Карцевым, с которым, менее чем через полтора года, встретился при исключительно трагической обстановке, в министерском павильоне Государственной Думы, куда в первый же день революции 1917 года были заключены, арестованные Временным Правительством, министры и другие сановники...

В припадке острого помешательства, вице-адмирал Карцов пронзил себя тогда насквозь штыком, выхваченным им у караульного солдата, и ответным выстрелом часового едва не был убит...

Вскоре был подан кофе, каждому на отдельном изящном серебряном приборе. Государь закурил папиросу, после чего стали курить и другие. Завтрак кончился.

Встав из-за стола, Государь перекрестился и затем вышел в зал.

За Государем вышли все остальные и в прежнем порядке выстроились полукругом против двери кабинета Его Величества.

Мое место оказалось на этот раз в середине полукруга, против Государя, стоявшего в центре, у стены...

Глаза Государя и мои встретились, и Его Величество, с приветливой улыбкой, подходил ко мне...

Я сделал несколько шагов навстречу...

Глаза всех стоявших в зале устремились на меня...

Я чувствовал на себе взор протопресвитера Шавельского, следившего за каждым моим движением.

Глава XIII. Беседа с Государем Императором

"Я помню Вас, когда Вы были у Меня в первый раз, в Царском Селе, незадолго перед прославлением Святителя Иоасафа", – сказал мне Государь, приветливо протягивая руку.

"И в этот раз я имею счастье представляться Вашему Императорскому Величеству по милости Святителя Иоасафа", – ответил я.

"Что же теперь, – подумал я, – ожидать новых вопросов, заставлять Государя выдумывать новые темы разговора?... И это будет называться соблюдением придворного этикета"... Я знал, до чего Государь тяготился необходимостью подыскивать темы разговора с мало знакомыми лицами и как был доволен, когда видел перед Собою человека, не связанного условностями придворного этикета, и слышал его непринужденную речь... Не мог я забыть впечатлений от первой аудиенции, когда, вопреки данным мне наставлениям, обязывавшим меня отвечать только на вопросы Государя, я подробно рассказал о Святителе Иоасафе и вызвал у Государя живейший интерес к рассказу. И, хотя меня очень связывало присутствие посторонних лиц, зорко следивших за мною и вслушивавшихся в каждое произнесенное мною слово, хотя я и видел, что протопресвитер Шавельский не спускает с меня глаз и точно гипнотизирует меня, однако предмет беседы был столь важен, а убеждение, что никто, кроме меня, не скажет Царю правды, было столь велико, что я не обращая внимания на окружающих, не ожидая дальнейших вопросов Государя, сказал Его Величеству:

"Я прибыл в Ставку еще вчера, по повелению Ея Величества"...

"Как... Вы приехали по поручению Императрицы?.. Я ничего не знал. Мне никто ничего не сказал", – удивился Государь.

"Вот момент разоблачить действия о. Шавельского, – подумал я. – Совершенно очевидно, что Государыня, получив доклад графа Ростовцова уже после моего отъезда в Ставку, не успела предупредить Государя о моей командировке; а от протопресвитера Шавельского, или от кого-либо другого, Государь узнал лишь о моем приезде, но зачем я приехал, и чем был вызван мой приезд – не знал. Однако я удержался от того, чтобы дать выход своему недоброму чувству к протопресвитеру, и сказал Государю: "Да, Ваше Величество, и, если Вы разрешите, то я расскажу, чем вызвано повеление Императрицы"...

"Да, да, расскажите. Я должен знать об этом", – живо ответил Государь.

"В одной из моих книг, какие я имел счастье поднести Вашему Величеству на первой аудиенции, помещен рассказ о том, как Святитель Иоасаф обрел чудотворный образ Матери Божией, тот самый, какой, по повелению Ея Величества, я привез вчера в Ставку. Однажды Святитель увидел во сне очень запущенный, ветхий храм, где производился ремонт и где, в углу, среди кучи сора, были свалены разные иконы... От одной из них, озаренной необычайным сиянием, исходил ослепительный луч света, и Святитель, приблизившись к иконе, услышал глас: "Смотри, что сделали с Моей иконою служители алтаря сего... По особому произволению Господа, эта икона является *источником благодати для веси сей и всей страны*, а, между тем, остается в таком поругании"... Внешний вид храма глубоко запечатлелся в памяти Святителя: при следующих объездах своей епархии, Святитель пристально всматривался в каждую церковь, отыскивая ту, какую видел во сне, пока не нашел ее в селе Песках, Изюмского уезда.

Весть об обретении чудотворной иконы быстро разнеслась повсюду, и Песчанский образ Божией Матери скоро сделался известным по всей России, изливая на верующих обильные чудеса милости Божией, что удостоверяется, между прочим, и теми драгоценностями, коими украшена эта, стоящая в бедном сельском храме, икона.

Вот эту-то икону, вместе с Владимирской иконою Божией Матери – материнским благословением Святителя на иночество, – и приказал Святитель Иоасаф доставить на фронт, явившись одновременно одному благочестивому старцу, живущему в селе Песках, и полковнику О., бывшему тогда на фронте... Это было еще в прошлом году; но мало кто поверил такому явлению Святителя"...

"Это всегда так, – сказал Государь, – теперь верующих мало"...

Но, давая такое повеление, – продолжал я, – Святитель Иоасаф сказал в то же время, что эта война послана Господом в наказание людям за грехи их, и что *только одна Матерь Божия может теперь спасти Россию*, и что нужно, чтобы святые иконы крестным ходом прошли бы вдоль фронта...

В течение свыше года полковник О. добивался, чтобы исполнили повеление Святителя, но безуспешно. Только 4-го сентября этого года ему удалось сделать свой доклад на Общем Собрании Братства Святителя Иоасафа в Петрограде и найти людей, которые ему поверили. Узнав об этом, я, через гофмейстерину Е.А.Нарышкину, довел о содержании доклада до сведения Ея Величества, и Государыне Императрице было угодно повелеть мне доставить святыни в Ставку"...

"Ничего об этом Я не знал, – сказал Государь, выслушав мой рассказ, благодарю Вас"...

Затем, помолчав некоторое время и точно обдумывая что-то, Государь спросил меня:

"Как долго Вы думаете оставить святыни в Ставке?"..

"Это зависит от усмотрения Вашего Величества", – ответил я.

"А когда престольный праздник Песчанского храма?" – спросил Государь.

"Летом", – ответил я.

"Пожалуй, это будет долго: не хотелось бы Мне лишать народ утешения на Рождественских праздниках и в эти великие дни оставлять Песчанский храм без его

святыни... Оставьте иконы до праздников, а в середине декабря приезжайте за ними и отвезите их обратно", – сказал Государь, протягивая мне руку.

Пропустив нескольких лиц, стоявших подле меня, Государь подошел к англичанину и вступил с ним в оживленную беседу на английском языке... Потому ли, что англичанин держался очень бойко, потому ли, что разговор велся на иностранном языке, но только Государь чувствовал Себя свободнее и очень непринужденно и весело беседовал с англичанином, который громко смеялся и заражал своим смехом и Государя.

Затем Государь подошел к архиепископу Константину, и здесь произошла неловкость. Архиепископ не решился начать разговор, а Государь не нашелся, что сказать смущенному Владыке. Томительная минута молчания разрешилась тем, что Государь принял благословение архиепископа и молча отошел от него, после чего удалился в Свой кабинет.

Глядя на эту немую сцену, я думал:

"Мое ли дело было говорить Государю о том, о чем я говорил?.. Это должен был сделать архиепископ, или протопресвитер, а не я. И не на общем приеме, стоя, когда приходится ловить каждую минуту, сокращая рассказ до последней возможности, оставляя многое неподчеркнутым, невыясненным, а в частной беседе с Государем, наедине, при условиях, которые позволили бы Государю вникнуть в рассказ, спокойно обдумать его и вынести Свое решение. Разве мыслимо в течение нескольких минут рассказать все то, что переживалось годами!.. Если бы архиепископ взял на себя эту задачу, то не вышло бы неловкости, не пришлось бы тогда Владыке ожидать вопросов Государя и, притом, в тот самый момент, когда Владыка мог и должен был бы сказать только одну фразу, прося Государя принять его после завтрака наедине... Тогда бы у Государя получилось полное и ясное представление нарисованной мною беглыми штрихами картине, и Государь мог бы глубже проникнуться значением того повеления Божьего, какое, устами Святителя Иоасафа было возведено людям... А еще лучше было бы, если бы Владыка, или протопресвитер, заранее подготовили бы Государя, ознакомив Его Величество с главным и предоставив мне ограничиться лишь подробностями... В пределах своих возможностей, я, как мне казалось, сделал все, что мог... Но у меня не было уверенности, что Государь получил из моего краткого рассказа именно то впечатление, какое бы обеспечивало должное отношение к словам Святителя Иоасафа... Тема рассказа была трудная, а момент еще труднее"...

Начался разъезд. Наследник, между тем, оставался в зале и, не обращая внимания на присутствовавших, весело резвился, подбегая то к одному, то к другому, и с избытком вознаграждал отсутствие Отца, перед Которым, все же, на людях, стеснялся.

Я искренне любовался и восхищался Им и той непосредственностью, какая была Им унаследована от Государя. Это был уже большой мальчик, однако совершенно далекий от сознания того положения, какое готовила Ему жизнь... В Нем не было ничего деланного и искусственного, никаких намеков на тщеславие... Его движения отражали не только безоблачную чистоту, но и задушевность, сердечность и простоту и говорили о тех методах воспитания, какие применялись Его мудрою Матерью, озабоченной прежде всего нравственной стороною воспитания Своих детей...

Простившись с Наследником, я вышел из залы, торопясь в гостиницу, где меня ожидал священник А.Яковлев.

Рассказав о. Александру о своих впечатлениях, я снова уехал в город, чтобы сделать визиты епископу Варлааму Гомельскому, губернатору и вице-губернатору, и в тот же день, вечером, вместе со священником А.Яковлевым, покинул Ставку.

Глава XIV. Возвращение в Петроград

На вокзале я расстался со священником А.Яковлевым. Он уехал в одну сторону, я – в другую. Сердечно простился я с о. Александром до новой встречи в декабре. Едущих было мало; оставшись в купе, я погрузился в тяжелые думы...

"Где, собственно, происходит война и с кем – думал я... С немцами, на передовых позициях фронта, или в Ставке?! Неужели же нет никого, кто бы не видел, что происходит в действительности!"...

В Ставке нет ни одного человека, способного понять глубокую натуру Государя. Если не всеми, то значительным большинством религиозность Государя объясняется мистикой, и люди, поддерживающие веру и настроение Государя – в загоне... Государь не только одинок и не имеет духовной поддержки, но и в опасности, ибо окружен людьми чуждых убеждений и настроений, хитрыми и неискренними... Даже архиепископ Константин, умный и хороший человек, является на общем фоне только зрителем и, по свойству своего характера, тихого и робкого, не способного к борьбе, не играет никакой роли в Ставке. А его викарий, епископ Варлаам, даже не видит Царя и в высокосторжественные дни...

Между тем борьба была нужна... На этом гладком фоне, полированном внешней субординацией, где все, казалось, трепетало имени Царя, все склонялось, раболепствовало и пресмыкалось, шла закулисная, ожесточенная борьба, еще более ужасная, чем на передовых позициях фронта... Там была борьба с немцами, здесь – борьба между "старым" и "новым", между вековыми традициями поколений, созданными религией, – и новыми веяниями, рожденными теорией социализма, между слезами и молитвами, шедших за Харьковским крестным ходом и тем, что нашло такое яркое отражение в словах протопресвитера Шавельского: "Некогда заниматься пустяками"...

Я осязательно почувствовал весь ужас положения и тем больше, что сама война казалась мне ненужной и, сама по себе, являлась победою этого "нового", к чему так неудержимо стремились те, кто ее вызвал, и за которыми так легкомысленно шли все отвернувшиеся от "старого".

На что же надеются эти "новые" люди!.. Неужели они искренне не верят тому, что судьбы мира и человека действительно в руках Божиих, и что это не фраза, а непреложный факт, о котором свидетельствует история мира; что все их измышления, соображения, планы и расчеты – все это только игра в карточные домики, тем более рискованная, чем больше они ей верят...

Если даже духовному вождю армии и флота "некогда заниматься пустяками", т.е. молиться Богу, просить заступничества Матери Божией, то что же говорить об остальных?! На кого же надеются эти люди?! Куда же они ведут Царя и Россию?!

Молитвенный подъем был и останется единственным импульсом,двигающим человечество навстречу его благу; все завоевания человеческого гения, в чем бы ни находили своего выражения, на поле ли брани, в тиши ли кабинета, связывались с возношением духа к небу; все получало свое начало из того источника, который отрывал, в эти моменты, человека от земли и уносил его в заоблачную сферу, в ту самую область, какую эти самонадеянные и гордые люди окрестили именем "мистицизм", забывая, что вне этого "мистицизма" только пошлость, только земля, и нет ни науки, ни поэзии, ни музыки, ни художества, ни всего того, что возвышает и облагораживает человека и так неразрывно связывается с религией...

На чем же будет держаться армия?.. Отвлеченные понятия о долге и патриотизме чужды ее пониманию... Русская армия была сильна только своей верою, а без нее это не армия, а сборище злодеев и разбойников... Или вожди этого не знают?.. Неужели они не понимают, что стоило бы чудотворному образу Божией Матери показаться в крестном ходе на фронте, чтобы, возрожденная духом, армия сделала бы чудеса?.. Или, зная это, они не желают победы?.. Если Харьковский крестный ход явил такую потрясающую картину религиозного подъема, какой не забудет никто, кто эту картину видел, то что же было бы на фронте, пред лицом непосредственной опасности?..

Исчезла куда-то вера... Нет ее ни у пастырей, ни у пасомых...

А без нее – все ничто...

И никогда еще будущее России не рисовалось мне столь грозным и тревожным, как в эти моменты моего личного соприкосновения с людьми и настроениями, царившими в Ставке...

"Бог поругаем не бывает... Быть беде!" – носилось в моем сознании.

Печально было и мое свидание с протоиереем А.И.Маляревским.

"Бедный Государь, бедный Государь! – восклицал о. протоиерей, слушая мой рассказ. – Да, свершается воля Господня. А мы, с Вами, сделали все, что было в наших силах... И потрудились, и поутомились, и перестрадали"...

"А все же, батюшка, – сказал я, – вот я и домой уже вернулся; а нет у меня, и теперь даже, уверенности в том, что выполнил я свою миссию так, как бы следовало ее выполнить... Может быть, если бы не я, а кто-нибудь другой, поважнее меня, поехал бы в Ставку, то с ним и разговаривали бы иначе, чем со мною... Я там почти никого не знал, да и проталкиваться вперед никогда не умел... А, может быть, и соизволения Божьего не было"...

"Увидим после. Бог Сам покажет, – ответил как-то особенно выразительно протоиерей Маляревский, – теперь же садитесь за доклад Ея Величеству, да и Ober-Прокурора не забудьте; и ему обо всем расскажите"...

Глава XV. Доклад графу Я.Н. Ростовцову

Мысль о докладе Ея Величеству даже не являлась мне...

Я имел в виду только личный доклад графу Я.Н.Ростовцову и, наскоро заготовив отчет о путевых издержках, отправился к графу в Зимний Дворец. Это было 9-го октября 1915 года, на другой день по возвращении моем из Ставки.

С большим вниманием выслушал граф мой рассказ, переживая вместе со мною скорбные впечатления...

"Особенно тяжело было видеть этот контраст между проводами святынь из Харькова и встречею их в Ставке, – говорил я, – признаюсь, я совершенно упустил из виду день тезоименитства Наследника Цесаревича и вспомнил о нем лишь 4-го октября, подъезжая к Могилеву. Согласно маршруту, я должен был приехать в Ставку 6-го октября; но в Белгороде, вместо того, чтобы пробыть сутки, я оставался только несколько часов и успел в тот же день уехать в Харьков, куда икона прибыла тоже днем раньше, чем предполагалось... Святыня, точно по особому произволению Божию, прибыла в Ставку к самому дню Ангела Цесаревича, за четверть часа до начала всенощной в соборе; а ее никто даже не встретил... Ни за всенощной, ни на другой день, за обедней. Государь и Наследник даже не приложились к иконе, ибо ничего не знали о ней... Протопресвитер Шавельский даже не предупредил Государя... Разве это не вызов Богу..."

А между тем в Ставке царит такая уверенность в победе, какая вызывала и сейчас вызывает во мне самое безграничное недоумение... На чем же строят люди свои расчеты, если считают "пустяками" обращение к Богу и Матери Божией за помощью?! Ведь они совершают двойное преступление и против Бога, и против Царя, так глубоко религиозного, так искренне возлагающего Свои упования на Господа Бога"...

Не удержалось у меня в памяти то, что высказал граф Ростовцов по поводу моего рассказа... Я излагаю факты действительности, а не вымыслы, и предпочитаю опускать факты, не сохранившиеся в памяти, чем исказить их. Помню лишь, что, когда, вручив свой отчет об израсходованной мною ассигновке на поездку в Ставку, я стал откланиваться, то граф удержал меня, сказав:

"Не лучше ли бы было, если бы Вы сделали личный доклад Ея Величеству... Я бы испросил Вам аудиенцию... Вы были в Ставке, видели Государя и Наследника, могли бы рассказать о своих впечатлениях... Императрица так беспокоится о здоровье Наследника, что была бы только рада услышать свежие вести из Ставки, тем более такие утешительные, как Вами привезенные"...

"Да, Наследник, слава Богу, выглядит превосходно, – ответил я, – но это единственная радостная весть, какую бы я мог сообщить Ея Величеству... Все прочее очень нерадостно и только бы огорчило Императрицу... Ведь скрыть от Государыни правду, умышленно умолчать о главном, не сказать того, что, по моим наблюдениям, только один Государь стоит на верном фундаменте, все же прочие сошли с этого фундамента и повернулись спиной к Богу и неизвестно на кого и на что надеются, я бы не мог... А какой удельный вес в глазах Ея Величества могли бы иметь мои слова?... Получилось бы впечатление сплетни... Но и помимо этих соображений, я не могу отрешиться и от общих, какие высказывал Вам перед своим отъездом в Ставку... Моя аудиенция у Императрицы подаст только лишний повод к кривотолкам... Хорошо еще, что Распутин я не видел уже пять лет; иначе бы сказали, что и командировку в Ставку я получил через его посредство... Нет, граф, усердно прошу Вас, расскажите сами Ея Величеству обо всем, что нужно; а я бы хотел остаться в стороне"...

"Хорошо, князь; как раз сегодня, в 2 часа дня, я должен быть с докладом у Ея Величества и доложу о Вашем возвращении... Но мне, все же, казалось бы, что Вам следовало бы поехать в Царское", – сказал граф Ростовцов.

Обещание графа освободить меня от аудиенции ободрило меня, и я сказал в заключение:

"Кроме всего прочего, не могу Вам не признаться, что великосветские дамы всегда наводили на меня панику... Я чувствовал на себе их устремленный взор, видел, что они гораздо более следили за тем, кто как ступит, как повернется и себя держит, чем за тем, что им рассказывалось, и это меня всегда до крайности связывало и стесняло, и я даже боюсь ехать к Императрице"...

Граф улыбнулся и, приветливо пожимая мою руку, сказал:

"Так все говорят, кто ни разу не видел Ея Величества... Там одна простота и сердечность".

Простившись с графом, я поехал в Государственную Канцелярию...

Глава XVI. В Государственной Канцелярии

Отношение протопресвитера Шавельского к святыне вызвало осуждение со стороны и тех моих сослуживцев, мирозозерцание которых даже не соприкасалось с областью мистического.

"Печальное, но, к сожалению, обычное явление, – сказал один из них. – Психология духовных сановников всегда казалась мне странной. По мере движения вверх по ступеням иерархической лестницы, они старались все глубже проникать в донья чуждую им среду, принаравливаясь и приспособляясь к ней и все более заражались мирскими настроениями, удалялись от веры, а затем и перестали даже выносить верующих мирян. Они забывали, при этом, что, стремясь к одной цели, достигали как раз противоположную... Разве "духовный сановник" не есть нечто взаимно друг друга исключющее!.. И неужели ленты и звезды на рясе могут кому-нибудь импонировать!.. Они только унижают рясу... И насколько простенький, смиренный батюшка, если он, к тому же, сельский, в заброшенном каком-нибудь селе, притягательнее пышных Владык"...

"А митрополит Макарий?" – спросил я.

"Святые в счет не идут, – ответил он, – и, притом, разве к нему идут потому, что он митрополит Московский... К нему идут, потому что он – Макарий"...

"Это верно, – ответил я, – митрополит Макарий великий праведник, и, глядя на него, я не знаю, чему удивляться, безмерному ли милосердию Божию, являющему в наши дни таких людей, или безмерной гордыне и слепоте человека, не замечающего их... Верно и то, что Вы говорите о духовных сановниках, между которыми люди, подобные митрополиту Макарию, всегда составляли исключение... Но мне кажется, что к этим сановникам и нельзя подходить с общими мерками: они воплощают собой церковно-государственную власть, которая налагает на них массу разнородных внешних обязанностей, заставляет против воли

соприкасаться с миром и заражаться мирским настроением... Там же, где они, по высоте своей настроенности, не соприкасаются с внешностью, там, говорят, упущения в делах, там жалобы... Посмотрите, как преследуют митрополита Макария, как его гонят, как насильно стаскивают его с высоты, на которой он стоит... И это делают даже те, кто не отрицает его святости, делают в искреннем убеждении, что митрополит Макарий глубокий старец и, не разбираясь в делах, впадает в ошибки... И никому из этих гонителей не придет мысль, что точки зрения святого не могут совпадать с обычными точками зрения, что здесь не старость, а мудрость, до которой еще нужно дорасти, чтобы понять ее; что люди до того далеко ушли от этой мудрости, что перестали ее узнавать, перестали понимать... Нет, вопрос гораздо глубже...

Великое несчастье в том, что не все пастыри могут быть Макариями; однако центр, все же, не в этом месте, не в том, что пастыри плохи, а в том, что мирозерцание всего человечества оторвалось от своей религиозной основы, что разорвалась нить, связывающая небо и землю, и нет потребности связать ее; что дух времени побеждает духа вечности, что утрачена вера в бессмертие и загробную жизнь... Отсюда все беды и несчастья каждого в отдельности и всех вместе... Отсюда это "некогда заниматься пустяками", иначе – молиться Богу, глумление над явлениями высшего порядка, пренебрежение к голосу Божьему... Нужно вернуться и повернуть жизнь к ее религиозному центру, к ее источнику – Богу. Тогда все станет ясным и понятным; тогда не будут называть сумасшедшими тех, кого называют сейчас за то, что они порвали с этим центром; тогда другими станут и наши идеалы, одухотворится жизнь, люди перестанут говорить на разных языках... Обратите внимание на те слагаемые, из которых теперь составляется человеческая мысль, требующая общего признания. Там не только трафареты, но и трафареты преступные: там теории, черпающие свои корни в талмуде и ведущие к одной цели – уничтожению христианства. И эти теории добросовестно изучаются и проводятся в жизнь близорукими христианами; на этих теориях зиждется наука и литература; эти теории заложены в основу государственных преобразований, составляют фундамент прессы, руководящей общественным мнением и направляющей ее в заранее намеченное русло. Это называется "прогрессом"; в порабощении христианского мира юдаизмом сказывается движение вперед, к которому так лихорадочно стремятся все, кто боится прослыть отсталым; а попытки охранить вековые начала христианской культуры осуждаются как невежество, как возвращение к "старому", к предрассудкам, якобы созданным темнотою и суеверием, какое из корыстных целей поддерживается "попами"... Разве Вы не замечаете, что теперь христианину стало даже стыдно признаваться в том, что он христианин, что он еще верен Богу и считает себя обязанным выполнять заповеди Божии!.. Нет, дело не только в недостатках пастырей, а в самом духе времени, отравленном гонителями христианства. Здесь уже не единичные грехи и преступления, а массовая хула на Духа Святого, что не простится"...

"Конечно, – ответил мой сослуживец, – главное в этом; но, все же, на общем фоне безверия нет более уродливого явления, как безверие духовенства и, особенно, его высших представителей... Я почти не встречал верующих архиереев"...

Я невольно рассмеялся и сказал: "Это уже Вы перехватили; все же, слава Богу, пастыри, подобные о. Шавельскому, составляют исключение"... Однако, сказав это, я вспомнил свою беседу с митрополитом Киевским Флавианом и заключительные слова этой беседы: "Чем ближе узнаете наших Владык, тем дальше от них будете"...

Я стал прощаться...

"Куда же Вы так скоро?"..

"Завтра нужно быть у Обер-Прокурора, и я спешу написать "краткую докладную записку", – ответил я.

"Разве и А.Н.Волжину нужен отчет о Вашей поездке, зачем?" – удивился мой сослуживец.

"Нет, не отчет, а наброски по некоторым ведомственным мероприятиям, он просил меня помочь ему"...

"О, простота и наивность! – воскликнул мой товарищ, – неужели Вы и в самом деле ему верите?!".

"Почему же не верить? – спросил я удивленно. – Почему я должен везде и всегда видеть лицемерие и коварство? Я всегда всем верю... Ведь Вы не станете бросаться с кулаками на первого встречного, которого Вы не знаете, и который ничем Вас не обидел... Вы не сделаете этого, может быть, и при встрече с Вашим врагом... Не то же ли самое и здесь?.. Ведь, не доверяя другому, относясь к его словам как к звукам, не имеющим значения, питая подозрение, я ведь первым оскорбляю его, наношу ему обиду... Для чего же я буду это делать?!".

"Для того, чтобы не попадаться впросак и, в лучшем случае, не очутится в смешном положении... Этого требует житейская мудрость и ничего больше. – ответил мне простодушно мой сослуживец. – Разве Вас мало обманывали? Нельзя же всех считать своими преданными друзьями"...

"А я всегда всех считал и буду считать друзьями, доколе они не докажут противного, ибо лучше всем верить, чем никому не верить", – ответил я.

"Напрасно... Знаете ли Вы, какой помощи ожидает А.Н.Волжин от Вас?"..

"Какой?" – спросил я.

"Ему просто хочется узнать от Вас биографии Синодальных чиновников; а о ведомственных реформах он даже не вспомнит в разговоре с Вами, тем более, что Вы скоро будете его заместителем, и он это чувствует".

Я остолбенел... Это был первый слух о моем назначении, неизвестно откуда вышедший, кем и с какими целями распространяемый. Я, с удивлением, посмотрел на своего собеседника и сказал ему:

"Вот до чего велик гипноз, рождаемый "слухами"... Вы верно даже не подметили того, какое противоречие заключается в Ваших словах... Если новый Обер-Прокурор действительно собирается покинуть свой пост, через месяц после своего назначения, то зачем же ему наводить справки о своих подчиненных, да еще у того, кого он считает своим будущим заместителем... Если же он интересуется такими справками, значит и не думает об отставке... Вы повторяете такие нелепости, какие будут иметь только тот результат, что вызовут недовольство моего начальства и осложнят мое положение среди моих сослуживцев... Разве помощники Статс-Секретаря Государственного Совета, да еще сверхштатные, назначались когда-либо министрами?"..

"А вот увидите... Вывезет редакция церковных законов Российской Империи", – ответил мой сослуживец.

"Такой редакции даже не существует, – сказал я, – кодификацией церковных законов я занимаюсь лишь между делом... Мое же дело – редакция Полного Собрания Законов той же Империи, тот тупик, из которого нет выхода, куда никто не шел, и где мои предшественники сидели по 40 лет на одном месте... Знаете ли Вы, что когда мне предложили заведование этой заколдованной редакцией, то мои друзья отговаривали меня, говоря, что я испорчу свою служебную репутацию, ибо туда шли наименее способные люди?.. Но я принял назначение, ибо эта редакция, освобождая меня от всякого рода совещаний и заседаний, давала мне больше свободного времени, нужного мне для совершенно других дел... Одно Бари требует поездок за границу два раза в год, а, кроме Бари, у меня и много других внеслужебных занятий... Разве мое начальство не знает об этом и разве будет поддерживать мое продвижение вперед?! Потому то я и занимаю "сверхштатную" должность... Нет, с моего места далеко не уедешь: где сядешь, там и слезешь"...

"Сесть-то Вы сели в яму; но слезете в Синоде", – ответил он.

"Откуда эти слухи, кто распускает их?" – думал я, прощаясь со своим сослуживцем... В 3 часа я уже был дома и с увлечением принялся за докладную записку Обер-Прокурору. Работа интересовала меня; закончив ее, я остался ею доволен, что не всегда случалось со

мною... Словам своего сослуживца о лицемерии и коварстве А.Н.Волжина я не придал никакого значения.

Глава XVII. Думы

Было 8 часов вечера. В тяжелом раздумье сидел я одиноко в своем кабинете. Картины прошлого, как звенья невидимой цепи, воскресали в моей памяти. И на общем фоне неясного и туманного, неразгаданного и непонятного, я улавливал точно Невидимую Руку, какая боролась со мною, разрушала все мои планы и расчеты, сворачивала с пути, на котором я стоял, и переставляла на другой, требовала подчинения, не считаясь с моей волей, с моими желаниями...

Прошло уже 10 лет с того дня, когда я, против воли своей, расстался с деревней, с должностью Земского Начальника, с которой так сроднился, которая причиняла мне так много страданий и, в то же время, давала так много чистых радостей... Как тяжела была эта разлука, как ненужен переезд в столицу, где все было чужим для меня, где я был для всех чужой!.. Каким преступлением казалось мне бросить начатое дело, уйти оттуда, где я был так нужен крестьянам, где было столько начатого и незаконченного дела... Но все было против меня, начиная с отца, толкавшего меня в Петербург, глубже меня понимавшего действительность и не разделявшего моих идейных заблуждений... И в мае 1905 года я был причислен к Государственной канцелярии... Чуждая среда, чужие люди, чужое дело... Безмерная тоска и томление... Поиски выхода... Беседы со старцами...

А осенью того же года разразилась революция: горели помещичьи усадьбы, вести с родных мест были одна ужаснее другой и... я поверил старцу, сказавшему мне: "Не скорби, был бы убит; а Бог везде"...

Прошел год... Снова тоска и томление духа; рвалась душа к живому делу, задыхалась в блестящих стенах Мариинского дворца, не выносила канцелярской работы, противилась самому существованию ее...

Куда идти... Или обратно в деревню, где не было коллизий, где нравственный и служебный долг жили в дружбе; или туда, куда идут не потерявшие веры в загробную жизнь, куда, с раннего детства, стремилась моя душа, боявшаяся обнаружить свою тайну... Пусть такой выход кажется диким, пусть монашество признается привилегией простого народа, пусть еще думают так, но придет час, когда перестанут так думать, когда поймут, что вне Бога нет жизни, что мир оторвался от своего религиозного центра и катится в бездну, увлекая за собою живущих; что истинная жизнь не в достижениях и созиданиях, а в чистоте помыслов, в честности с самим собою, в гармонии духа, в том, чего нельзя достигнуть, живя в миру, где побеждают натиск и злоба и где нет места слабым, не умеющим бороться.

"Спасай душу, пока не поздно" – услышал я внутренний голос и, как ни мучительна была борьба с внешностью и ее влияниями, я разорил свое гнездо и, порвав связи с Петербургом и службою... бросился на Валаам. Страшно было думать дальше... Одна ужасная картина сменялась другою, еще более ужасною... Выборг, беседа с архиепископом Сергием Финляндским, его изумление и отзывы о "мужицком царстве". Сердоболь, замерзшее Ладожское озеро, прерванное сообщение с Валаамом, возвращение в Петербург и кошмарный ночлег в "Финляндской гостинице", бегство в Зосимову Пустынь, к старцам Герману и Алексею, отъезд в Киев, свидание с родителями, драмы, скорби, упреки и... обратное возвращение в Петербург, водворение у приютившей меня бабушки Аделаиды Андреевны Горленко...

Здесь наступил перерыв испытаний... Здесь было много солнца; святая старица горела огнем веры, примиряла меня с миром, послала мне навстречу протоиерея А.И.Маляревского, дала мне дело, какое заставляло меня забыть все перенесенные скорби и поглотило все мое время, все мои мысли – дело Св. Иоасафа – коим она жила, о котором всю жизнь свою мечтала...

Так кончился 1906 год, год муки и терзаний...

Наступил ужасный январь 1907 года.

Смерть любимого начальника, Статс-Секретаря С.Ф.Раселли; на другой день – смерть отца; внезапный отъезд в деревню на погребение отца; снова разрыв с Петербургом и службою и странствование свыше года по России, в поисках материалов для начатого труда о Святителе Иоасафе...

Как крот, зарылся я глубоко в свою работу, жил в миру вне мира, между чердаками и подвалами покрытых пылью монастырских архивов, выпуская в свет одну книгу за другой... А Кто-то Невидимый точно стоял за моей спиной, опрокидывал мои планы и расчеты и, когда работа кончилась, привел меня не в келию монастыря, а в... Царское Село, к Царю.

А я все еще не понимал этой невидимой борьбы, все еще продолжал просить Бога склониться к моей воле, услышать мои просьбы, исполнить мои желания, вместо того, чтобы смириться и научиться распознавать волю Божию и просить у Бога сил ее исполнить...

И, когда кончилось "дело Св. Иоасафа", я не знал, что делать дальше и куда идти, и искал новых выходов... На службе мне не везло и не могло быть удачи... Частые отлучки из Петербурга и смерть прежнего начальника, за неделю до своей смерти обещавшего представить меня к должности Старшего делопроизводителя Государственной Канцелярии, затормозили мое движение, а отказ от "кодификации" и переход в редакцию Полного Собрания Законов и совсем закрыл мне выходы из тупика...

Опять затосковала душа и, забыв прежние уроки, стала искать новых компромиссов между миром и монастырем... Так возникло "братство Св. Иоасафа", завязались знакомства с людьми одинакового настроения, с разными обществами и кружками; здесь получила свое начало и та книжка, какую я посвятил памяти незабвенной княжны Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой... Мог ли я когда-либо думать, что эта книжка познакомит меня с гофмейстериней Е.А.Нарышкиной и окажет услугу в тот именно момент, когда помощь гофмейстерины была особенно нужной, и никто, кроме нее, не мог бы оказать ее!

Но и эта жизнь не удовлетворяла меня: атмосфера столичного общества давила. Ненужного было больше, чем нужного. Момент... и снова бегство из Петербурга, снова разрыв со службою... Так возникло "Барградское дело"... Подальше от мира, подальше от людей, думал я по пути к Угоднику Николаю... Горячо принялся я за работу, а, когда наладил ее, то... получил придворное звание, привязавшее меня не только к миру, но и к Царю.

И я, в третий раз, вернулся в Государственную Канцелярию и... на этот раз уже окончательно смирился, отдав и себя, и жизнь свою водительству Промысла Божия...

Я стоял в стороне от себя и сделался только зрителем своей собственной жизни, какая стала протекать вне моих желаний и требований моей воли...

Удачи и неудачи не задевали меня, и я рассматривал их как нечто от меня независимое; мне казалось странным относиться к ним иначе, как с полным равнодушием... И, чем больше я всматривался в свою жизнь, тем яснее и отчетливее замечал заботы чьей-то Невидимой Руки, какая слагала мою жизнь точно по заранее намеченному Ею плану... Все раньше непонятное и необъяснимое, все эти отдельные, не связанные между собою факты, такие ненужные и болезненные, все, что причиняло мне так много горя и страданий, все это, рассматриваемое в общей цепи звеньев, приобретало не только глубокий смысл, но и получало свое объяснение и приводило к благу. И мне казалось, что, если бы я не противился этой воле, не настаивал бы на своей, то не было бы и горя, и страданий, источник которых вытекал из этого противления, из недоверия к Богу, из личной гордости и самоуверенности, из недостатка смирения... С того момента, когда, променяв блестящие стены Мариинского дворца на грязные чердаки и подвалы монастырских архивов, и приступил к "делу Св. Иоасафа", с этого момента вся последующая моя жизнь стала слагаться по плану, точно заранее намеченному Святителем Иоасафом... Все мои знакомства, все так называемые "связи", все, что сблизило меня с церковно-общественными

кругами, примирило меня с собою, установило душевное равновесие, – все это дал мне Святитель Иоасаф.

Не Он ли, уже два раза приводивший меня к Царю, хотел довести теперь и до Царицы; а я упирался и отклонил настояния графа Ростовцова – вдруг пронеслось у меня в сознании... Может быть, я и в этот раз не распознал Его воли...

И эта мысль перепугала меня... И не с кем было поделиться... Вдруг раздался звонок... В надежде встретить протоиерея А.И.Маляревского, я выбежал в переднюю...

Навстречу шли мой сослуживец, помощник Статс-Секретаря А.И.Балабин, и кузен, барон Р.Ф.Бистром.

"Все Вы под небесами летаете, да по Царям ездите, – приветствовал меня барон, а нам даже не расскажете, где были и что видели"...

"Знаете ли, – ответил я, – сколько раз мне приходилось рассказывать о своей поездке... Счетом не менее двадцати раз, и в таком порядке. Сначала гофмейстерине Е.А.Нарышкиной, затем графу И.А.Апраксину, графу Я.И.Ростовцову, Обер-Прокурору Св. Синода А.Н.Волжину, сослуживцам по Государственной Канцелярии, и не всем сразу, а чуть ли не каждому в отдельности, епископу Белгородскому Никодиму, архиепископу Харьковскому Антонию, Харьковскому губернатору Н.Протасову, священнику А.Яковлеву, протопресвитеру Г.И.Шавельскому, архиепископу Могилевскому Константину, *Государю Императору*, епископу Варлааму Гомельскому, а сегодня опять другим товарищам по службе... Нет больше сил. Спросите кого-нибудь из этих лиц"...

"А мне и не рассказали", – рассмеялся барон...

"Не рассказал, ибо даже не предполагал, что Вы можете интересоваться церковными вопросами: наши интересы никогда не попадались друг другу навстречу"...

"Не скажите – я всегда интересовался "мистикою"...

В устах барона это было смешно: сказав это, он сам рассмеялся...

Неожиданный телефонный звонок прервал нашу беседу... Было 11 с половиной часов вечера; в этот поздний час я редко разговаривал по телефону. Я подошел к письменному столу и взял трубку.

"Не может быть!" – почти вскрикнул я от волнения...

"Что случилось? – в один голос спросили меня барон и А.И.Балабин, увидев полную растерянность на моем лице... – Пожар, убили кого-либо?"..

"Камергер Никитин сообщает от имени графа Ростовцова, что Императрица ожидает меня завтра в 12 часов и что я должен выехать в Царское Село с поездом, отходящим в 11 с половиной часов утра", – ответил я упавшим голосом...

"Вполне естественно, – ответил А.И.Балабин. – Вы были в Ставке по поручению Ея Величества, и понятно, что Императрица не удовлетворилась докладом графа Ростовцова, а желает расспросить Вас о подробностях"...

"Как ни упирайтесь, а теперь уже ехать нужно, – сказал барон, – по-моему, Вам не нужно было отклонять предложения графа Ростовцова, а следовало представиться Ея Величеству и перед отъездом в Ставку"...

"Я и сам нашел это нужным, но было уже поздно... Может быть, если бы я это сделал, то и миссия моя удалась бы больше"...

Гости стали прощаться, оставив меня в крайне угнетенном состоянии духа. Не то смущало меня, что злые языки будут по-своему объяснять Высочайшую аудиенцию у Императрицы, а смущали меня неизвестность, при каких обстоятельствах последовал мой вызов в Царское Село, невозможность предварительного свидания с графом Ростовцовым, обещавшим мне не настаивать на аудиенции; смущало то, что Императрица, к Которой я питал чувства благоговейного почитания, могла объяснить мое желание уклониться от аудиенции другими причинами и отнести меня к числу тех, кто не понимал Ее и осуждал, и избегал встречи с Нею...

И еще долго после ухода гостей я оставался наедине со своими тяжелыми мыслями и перекрестными вопросами, и не мог разобраться в них...

Вдруг, неожиданно, точно яркий луч солнца, озарила меня мысль о том, что я ведь не только не искал этой аудиенции, а, наоборот, всячески уклонялся от нее и, если, при всем том, аудиенция неизбежна, значит такова воля Божия, а, потому, не нужно ни робеть, ни смущаться... Эта мысль дала мне так много спокойствия и радости... Я вновь увидел Промыслительную Руку Божию над собою и отдавал себя Ее водительству. Так кончился день 9-го октября 1915 года.

Глава XVIII. Аудиенция у Ея Величества

На другой день в 11 часов утра я стоял у железнодорожной кассы Царскосельского вокзала... Придворный мундир и треуголка обращали на меня внимание... Какой-то генерал, в папахе и казачьей форме, подошел ко мне и спросил:

"Вы, верно, к Ея Величеству?"..

"Да", – ответил я.

"Я тоже; будем ехать вместе", – сказал он, заметно волнуясь.

Я потерял его из виду, но, заняв место в вагоне, снова встретился с ним.

"Вы, верно, часто видели Императрицу, – обратился он ко мне, – скажете, как... я, знаете, в первый раз".

"Я тоже в первый раз", – ответил я.

Подле нас, в вагоне, сидел еще один штатский, со складной треуголкой в руках, тоже, очевидно, вызванный к Ея Величеству.

Он пристально всматривался в меня и затем сказал:

"Мы знакомы с Вами, князь, не узнаете?".. Я посмотрел на него, но, как ни старался вспомнить, где его видел, ничего не мог вспомнить...

"Я Белецкий, товарищ министра внутренних дел, – сказал он. – Вы были у меня, в Департаменте полиции, в бытность мою вице-директором, за кодификационными справками... Давно это было, впрочем"...

"У Вас память лучше, чем у меня, – ответил я, – теперь вспомнил... Вы тоже к Ея Величеству?"..

"Да, – ответил С.П.Белецкий, – и тоже в первый раз".

В оживленной беседе мы не заметили, как подъехали к перрону Царскосельского вокзала, где три придворных лакея, в красных ливреях, уже ожидали нас.

На площади, у подъезда Царского павильона, стояли три придворных кареты. В первую карету сел казачий генерал, во вторую – я, в третью С.П.Белецкий. В этом порядке нас и вызывали к Императрице. Не успели мы войти в гостиную Ея Величества, как тотчас же явился придворный лакей и вызвал генерала. С.П.Белецкий и я остались в гостиной и стали осматриваться... Прелестная, светлая, почти квадратная комната была убрана с большим вкусом, но очень просто. Стены были увешаны картинами и портретами, между которыми выделялись небольшого размера портрет Государя, висевший высоко, над дверьми, ведущими в коридор, и огромный, во весь рост, портрет Императрицы, поразительного сходства и замечательной работы. В глубине комнаты стояли два рояля в таком положении, что сидевшие за роялем могли видеть друг друга, находясь один против другого. Масса маленьких столиков, диванчиков, с живописно расставленными вокруг мягкими креслами, делали комнату уютной, несмотря на ее большие размеры. Прошло не более 10 минут, как из кабинета Ея Величества вышел казачий генерал и, быстро простившись с нами, направился, в сопровождении придворного лакея, к выходу. В этот же момент вошел в гостиную другой лакей и, обращаясь ко мне, сказал: "Ея Величество просит".

Я последовал за ним по направлению к коридору. У первой двери, направо, стоял огромного роста негр, весь в белом, с белой чалмой на голове; когда я подошел к двери, он, не сходя со своего места, быстро и очень ловко открыл ее.

В глубине комнаты стояла предо мною Императрица.

Улыбка кротости, смирения и какой-то покорности судьбе отражалась на страдальческом лице Ее.

Я сделал низкий поклон и, подойдя к Ея Величеству, поцеловал протянутую мне руку.

"Я давно уже слышала о Вас и следила за вашей работой в Белгород и в Бари, и хотела познакомиться с вами... Садитесь, пожалуйста, сюда", встретила меня такими словами Императрица, указывая кресло подле Себя.

Это было сказано так просто, так естественно, как не говорила со мною ни одна из тех светских дам столичного bean-monda, с которыми мне приходилось встречаться... Я сразу почувствовал ту искренность, которая дала мне уверенность в себе и позволила говорить без той связанности, которая является, когда нет уверенности в ответной искренности собеседника. Впрочем, и с внешней стороны, Императрица не была похожа на этих дам. Ее поношенное, темно-лиловое платье было не первой свежести и не отвечало требованиям моды; длинная нитка жемчуга вокруг шеи, спускавшаяся до пояса, была единственным украшением туалета; но главное, что отличало Императрицу от дам большого света, было это отсутствие напыщенности и рисовки, чистота и непосредственность движений, отсутствие заботы о производимом впечатлении... Я видел перед собой простую, искреннюю, полную бесконечного доброжелательства, женщину, кроткую и смиренную...

"Где же эта надменность и высокомерие?" – пронеслось в моем сознании в этот момент моей первой встречи с Государыней.

"Вы были в Ставке", – сказала Императрица, однако таким тоном, который говорил, что вопрос предложен только между прочим и не является главным. И, действительно, когда я стал рассказывать о своих впечатлениях, начав прежде всего говорить о Наследнике Цесаревиче, то Императрица прервала меня, сказав:

"Да, да, Я знаю; теперь Он здоров и чувствует Себя лучше"...

Упоминание о Ставке дало иной ход мыслям, и Императрица, точно обращаясь к Самой Себе, воскликнула с неподдельной горечью и страданием:

"Ах, эта ужасная война! сколько гибнет молодых жизней, сколько вокруг горя и страданий"...

"И тем более ужасно, что и поводов для войны нет, – ответил я, – Это война между Францией и Германией, на русской почве, задуманная Англией, которая всегда боялась нашей дружбы с немцами"...

Сказав это, я очень смутился, сознавая, что, быть может, мне не следовало, при первой встрече с Императрицей, говорить столь же откровенно, как говорят люди, давно знающие друг друга... Но тонкости дипломатических ухищрений, составляющих объемистый кодекс правил этикета, не давались мне; я говорил о том, что думал, и смутился не потому, что пожалел о своей искренности, а потому, что не был уверен, как отнесется к ней Государыня Императрица.

Ея Величество посмотрела на меня чрезвычайно добрыми глазами и затем сказала:

"Россия, ведь, всегда попадала в такие положения"...

Этот ответ мгновенно вернул мне спокойствие, и мои глаза сказали Императрице: "Как, однако, глубоко Вы понимаете милую, но глупую Россию"...

"Мы ничего не можем сделать без союзников, – продолжала Императрица, – мы связаны со всех сторон и, что ужаснее всего, не имеем мира внутри государства... Эти непонятные отношения между Церковью и государством, и в такое время, когда так нужны взаимное понимание и поддержка... Церковь и государство точно враги стоят друг против друга; линии церковной и государственной жизни разошлись в разные стороны... Теперь, более чем когда-либо, нужно думать о том, чтобы сблизить эти линии, ввести их в общее русло... Ведь у Церкви и государства общие задачи, общие цели; откуда же это разделение, эта вражда?! Что нужно сделать, как Вы думаете?.. Объясните Мне, разъясните"...

Менее всего я был подготовлен к таким сложным государственным вопросам, и они застали меня врасплох.

"Ваше Величество, – ответил я, – и вражда между Церковью и государством, и война, со всеми ее ужасами, вытекают из одного источника... Источник этот чрезвычайно глубок и коренится в недрах Библейских времен; но, разливаясь на поверхности и отравляя своим ядом всю вселенную, этот источник оставляет самые разнообразные следы, и нужно уметь не только замечать, но и различать их... Наружность их обманчива, привлекательная внешность скрывает смертельный яд. Одним из этих следов, одним из величайших обманов современности, является идея парламентаризма, враждебная идее государства, провозгласившая принцип коллективной мысли. Коллективной мысли вообще не существует... Есть вождь, и есть толпа, слепо повинующаяся своему вождю и идущая за ним. Таким вождем является Царь, помазанник Божий, и тогда Он ведет за Собой народ по путям закона Божьего и низводит на Свой народ благодать Божию... Таким вождем может быть президент республики, который ведет народ свой по путям закона человеческого, и тогда страна раздирается всевозможными партийными раздорами, и благодать Божия отходит от народа и его вождя. Таким вождем может быть и всякий другой человек, кто, идя навстречу инстинктам народных масс, использует эти инстинкты для своих корыстных целей... Подрыв священных устоев Самодержавия начался давно, но никогда не исходил из толщи народной, а всегда от отдельных злонамеренных лиц... Манифест 17-го Октября 1905 года об учреждении Государственной Думы был вырван из рук Царя небольшой горстью этих злонамеренных лиц, запугавших правительство угрозой революции. Это был только обычный прием с целью ограничить Самодержавные права Монарха и свести Россию с ее исторического пути на путь парламентарный.

А это последнее требовалось для объединения революционной деятельности. Народ же никогда не мечтал о представительном строе и всегда оставался верен Царю... С момента своего возникновения, Дума, прикрываясь именем народа, стала в оппозицию к Царю и Его правительству... Иначе и быть не могло, ибо в этом ее задача. Сейчас не только Церковь, но и государство в тисках Думы... Дума – очаг революции... Ее нужно разогнать, упразднить. Пока же этого не будет сделано, до тех пор никакие реформы ни в области государственной, ни, тем более, в области церковной, невозможны...

Для реформ нужны кредиты, но Дума их не отпустит"...

С чрезвычайным вниманием слушала Императрица мои слова, а, по выражению глаз Ея Величества, я видел, что повторяю только собственные мысли Государыни... И, когда я остановился, то Императрица сказала мне:

"Вот, вот, это как раз то, о чем я всегда говорю... Ах, эта Дума, какой это ужас... Но неужели же нельзя ничего сделать теперь же, сейчас... Может быть, пока война кончится, были бы возможны хотя бы частичные реформы в церковной области... Какие?... Во время войны так трудно предпринимать что-либо крупное"...

"Такой частичной реформой было бы изъятие Церкви из ведения Думы, но и для этого потребовался бы акт Высочайшей воли Монарха, указ Самодержца. Интересы правительства и Думы противоположны... Члены Думы являются представителями не широких масс населения, а очень небольших, революционно настроенных групп, и соглашение с ними невозможно, ибо эти группы не выражают воли народной, не стремятся к благу народа, а стремятся к тем целям, какие могут быть достигнуты лишь после разрушения государственности. Но и взятие церковных дел из ведения Думы явилось бы только паллиативом... Дума не переставала бы мешать церковной работе, как мешает и сейчас, и достигнуть единства в сфере церковно-государственной работы было бы трудно... С момента учреждения Думы, законодательная деятельность России не только затормозилась, но и приостановилась... Жизнь предъявляет требования, государственный механизм работает с крайним напряжением, вырабатывает законопроекты, отвечающие самым насущным нуждам народа, а, когда эти законопроекты попадают в Думу, то там и остаются без движения, умышленно задерживаются, или же вовсе отвергаются... Каждый член Думы считает себя обязанным не только вмешиваться в специальные отрасли государственного управления, где он ничего не понимает, но и контролировать

деятельность министров, точно в этом его задача... Масса времени тратится на полемику между министрами и членами Думы, на ненужные запросы, а продуктивная работа начинается лишь после роспуска Думы, когда законопроекты получают законодательную санкцию в порядке 87-ой статьи. Сейчас возможны только такие реформы, какие не связаны с испрошением кредитов у Думы и касаются вопросов внутреннего распорядка в узкой сфере церковного управления... Нужно сократить расстояние между пастырем и паствой, приблизить пастыря к народу, выработать систему определенных обязательств к Церкви, каких в Православной Церкви вовсе нет... Сейчас нет никакой связи между пастырем и прихожанами, между Церковью и этими последними... Кто хочет идти в Церковь – идет; кто не хочет идти – не идет... Кто выполняет требования религии, а кто не выполняет их; все зависит от доброй воли единиц, и не паства идет за своим пастырем, а, наоборот, пастыри плетутся за паствой. Отсюда ближайшими задачами в сфере церковного управления явились бы образование митрополичьих округов, сокращение территориальных размеров епархий и приходский устав; но конечно, такой устав должен был бы покоиться на совершенно других началах, а не на тех, какие выработаны прогрессивною общественностью и разными комиссиями"...

"Все это очень верно, что Вы говорите, – ответила Императрица... – Я во всем с Вами согласна. Это расстояние между пастырями и паствой, о котором Вы говорите, причиняет Мне такую боль... Духовенство не только не понимает церковно-государственных задач, но не понимает даже веры народной, не знает народных нужд и потребностей... Особенно архиереи... Я многих знаю; но все они какие-то странные, очень мало образованы, с большим честолюбием... Это какие-то духовные сановники; но служители Церкви не могут и не должны быть сановниками... Народ идет не за сановниками, а за праведниками... Они совершенно не умеют привязать к себе ни интеллигенцию, ни простой народ... Их влияние ни в чем не сказывается, а, между тем, русский народ так восприимчив. Я не могу видеть в этом наследия исторических причин... Раньше Церковь не была во вражде с государством; раньше иерархи помогали государству, были гораздо ближе к народу, чем теперь"...

"Дух времени был не тот, – ответил я, – а теперь вся жизнь оторвалась от своего религиозного центра, и пастыри и архипастыри становятся все менее нужными пастве, не нужным становится даже Сам Господь Бог; люди начинают устраиваться без Бога и обходиться без Него... Впрочем, уровень нравственной высоты духовенства понизился, и не только вследствие этих общих причин, но и от многих других... Материальная необеспеченность духовенства, особенно сельского, поставившая духовенство в зависимость от паствы, не могла не отразиться на этом уровне; отсутствие способов воздействия на паству, вполне неизбежное при отсутствии приходской организации и нынешнем положении пастыря, у которого, кроме силы личного нравственного влияния нет другого орудия, чтобы управлять паствой... В этом отношении католическая церковь имеет значительно большие преимущества. Там положение ксендза совсем другое, и не он зависит от паствы, а, часто, паства зависит от него и духовно, и материально... Там, ведь, большинство – лица с высшим образованием; у нас же образовательный стаж духовенства крайне низкий... Несомненно также, что и указ Императора Павла об орденах отразился на общем уровне духовенства... Правда, этот указ был меньшим злом, допущенным во избежание большего; однако, все же, его влияние было отрицательным и создало именно то сословие духовных сановников, о котором Ваше Величество говорили"...

Здесь Императрица меня прервала и чрезвычайно оживленно сказала мне: "Я как раз теперь читаю переписку Императора Павла с митрополитом Платоном по вопросу об орденах духовенству, вызвавшую, потом, этот самый указ, о котором Вы говорите... Как глубоко был прав митрополит, и как ошибался Император Павел... Конечно, этот указ нужно отменить... Духовный сан так высок, что, сам по себе, является самым высоким отличием и небесною наградою для каждого верующего христианина, и земные отличия только унижают его... Однако же, нравственная высота вытекает из другого источника и с внешностью не соприкасается... Сельское духовенство находится в неизмеримо худшем

положении, чем городское, однако ближе к Богу. Архипастыри вполне обеспечены, а между тем среди них так мало истинных пастырей... А Синод! – воскликнула Императрица с горечью. – Знаете ли Вы дело по вопросу о прославлении Святителя Иоанна Тобольского?"..

"Я слышал о нем, но подробностей не знаю", – ответил я.

"Я расскажу Вам", – сказала Императрица.

Народ обратился к епископу Варнаве с просьбой возбудить в Синоде ходатайство о прославлении Святителя Иоанна. Синод заслушал в заседании это ходатайство и отказал в просьбе, признав такое ходатайство "неблаговременным"... Что значит это слово, этот странный мотив... Разве можно признавать веру благовременной, или неблагоприятной... Вера всегда благовременна... И знаете ли, чем мотивировал Синод эту неблагоприятность... Тем, что не кончилась еще война... Но ведь это свидетельствует уже о полном незнакомстве с психологией народа, с природою его религиозных верований. Подъем религиозного чувства наблюдается именно в моменты народных бедствий, горя и страданий, и нельзя же подавлять его. Изнемогая под бременем испытаний, народ доверчиво протягивает свои руки к своему местнотчиму святому, просит его помощи, надеется, что Господь, по молитве его, прекратит ужасы войны; а Синод говорит: "подождите, пока кончится война; а теперь еще нельзя называть вашего местно чтимого праведника святым и нельзя ему молиться". А после войны этот праведник сделается святым, и тогда будет можно?!

Что же это такое?! Ведь это уже соблазн!.. Епископ Варнава, сам вышедший из народа, это понимает... Он знает народную веру и умеет говорить с народом: народ идет за ним и верит ему... Конечно, епископ Варнава не удовлетворился таким ответом Синода и повторил свое ходатайство, после чего Синод предписал комиссии произвести обычное обследование чудес, совершавшихся у гроба Святителя Иоанна Тобольского... Но от этого получился еще больший соблазн... Синод признал число обследованных случаев благодатной помощи Божией, по молитвам Угодника, недостаточным и предписал дополнить число новыми данными... Скажите, – все более оживляясь, спросила Императрица, – разве допустимы такие приемы?! Разве можно измерять святость – арифметикой?!".

Я невольно улыбнулся... Беседа вошла уже в то русло, где обе стороны чувствовали себя непринужденно... Я восхищался Императрицей и проникался все более горячим чувством к Ней...

Государыня, между тем, продолжала:

"Я не понимаю этих людей... Они враждебны к епископу Варнаве, называют его огородником... Но это и хорошо: народу нужны пастыри, которые бы понимали его и имели общий язык с ним... Сановники народу не нужны... Между тем наши епископы стремятся не в народ, а великокняжеские салоны и великосветские гостиные... Но салоны и гостиные – не Россия.

Россия – это наш серый, заброшенный, темный, неграмотный народ, жаждущий хорошего пастыря и хорошего учителя, но не имеющий ни того, ни другого... Вместо того, чтобы идти в толщу народную, епископы только и думают о Патриархе... Но, что же даст Патриарх, приблизит ли он пастыря к пастве, даст ли народу то, что нужно?... Прибавится лишь число митрополитов, и больше ничего; а расстояние между пастырем и народом, между Церковью и государством, еще более увеличится... Как Вы думаете?!"

"Я тоже не связываю с патриаршеством никаких последствий, способных урегулировать общецерковные недочеты, – ответил я, – и, притом, мне кажется очень подозрительным, что за патриаршеством гонятся обе стороны, и правые, и левые, и друзья, и враги Церкви... Идея власти чужда Православию... Наша Церковь была сильна не тогда, когда стремилась к господству над государством, а когда возвышалась над ним своим смирением и чистотою. Идея патриаршества не имеет и канонической почвы. Главою Церкви был ее Создатель, Господь Иисус Христос... Однако, после Своего вознесения на небо, Господь не передал главенства над Церковью ни одному из Апостолов, а послал

вместо Себя Духа Святого и этим, как бы, предопределил соборное начало управления церковью на земле, под Своим главенством. Эта точка зрения усвоена и "Книгою Правил", т.е. собранием постановлений Апостольских и Вселенских Соборов, установивших принцип равенства власти епископов. Отсюда вытекает и требование о созыве, два раза в год, поместных соборов, которые объединяли бы деятельность епископов. Идея же Синода, под председательством Патриарха, так же далека от канонической почвы, как и организация Синода в его нынешнем виде... Учреждение митрополичьих округов, поместные соборы епископов, без участия мирян, под председательством митрополита того или иного округа, два раза в год, в указанные "Книгою Правил" сроки, затем всероссийские соборы митрополитов, в случае надобности, – несомненно вернули бы Церкви ее каноническое устройство... При этом нынешний Синод неизбежно бы остался, но видоизменил бы только свои функции и занял бы в отношении к Церкви такое же положение, какое Государственная Канцелярия занимает в отношении государства... Область непосредственно церковная, распределенная между поместными и всероссийскими соборами, отошла бы от него, а область церковно-государственная не только бы осталась, но, в некотором отношении, даже расширилась бы... Так, совершенно необходимо было бы учредить при Синоде самостоятельный Кодификационный Отдел и создать писаное законодательство... Теперь его вовсе нет, и этот пробел даст Думе повод для всевозможных нападков и обвинений... Детали, конечно, выработала бы сама жизнь; но мне думается, что вне намечаемого пути нет другого для согласования церковного устройства с каноническими требованиями... Если же Церковь сойдет с указанного пути и объединится в лице единоличной власти патриарха, то поставит себя в очень рискованное положение перед своими врагами, ибо справиться с одним патриархом будет легче, чем с собором епископов... Отсюда могут произойти расколы и разделения, и нестроения внутри церковной ограды"... С неослабевающим вниманием слушала меня Императрица и, когда я кончил, неожиданно спросила меня:

"Скажите Мне, отчего Вы не служите в Синоде? Я вижу, что Вы близко знаете церковные дела и так ясно понимаете, что нужно"...

Я не хотел излагать Ея Величеству подробности своих служебных мытарств и кратко ответил:

"Раньше я делал многие попытки поступить на службу в Синод и обращался к каждому Обер-Прокурору; но все мои попытки оканчивались неудачно... Тогда, оставаясь в Государственной Канцелярии, я занялся изданием книг о Святителе Иоасафе... Сейчас я состою в должности помощника Статс-Секретаря Государственного Совета и не стремлюсь уже более в Синод, тем более, что Государственный Секретарь С.Е.Крыжановский, признавая всю важность церковного законодательства, возложил на меня труд составления сборника церковных законов, и этой работой я сейчас занят"...

"Нет, нет, – возразила Императрица, – Вы должны служить в Синоде, *и это будет*. Нельзя отдаваться служению Церкви между делом, урывками. Вы это дело знаете и должны посвятить себя специальной службе в Синоде. Волжин, кажется, хороший человек. Вы его знаете?" – спросила меня Императрица.

"Да, Ваше Величество, он верующий и мне очень нравится, хотя встречался я с ним только несколько раз и мало его знаю", – ответил я.

"Я хотела бы еще раз видеть Вас, – сказала Императрица, – так много бы нужно было еще сказать Вам и посоветоваться; так много дела, а везде все так запущено, так мало дружной работы, все работают врозь и смотрят в разные стороны... Мне нужно еще поговорить с Вами", – сказала Императрица в заключение, любезно протягивая мне руку и стараясь улыбнуться...

И улыбка этой святой женщины превратилась в гримасу... Бедная, Она отвыкла от радостей: Ей так редко приходилось улыбаться...

Бесконечно тронутый лаской и вниманием Императрицы, я поцеловал протянутую руку и отклонялся Ея Величеству.

Дорого, бесконечно дорого было для меня это внимание, эта чарующая простота, эта нежная приветливость, такая чистая, такая искренняя; но еще дороже было то доверие, каким наградила меня Императрица, и какое я увез с собою, с готовностью оправдать его ценою какой угодно жертвы...

Выходя из кабинета Ея Величества, я был похож на того, кто только что блестяще выдержал трудный экзамен... Я чувствовал, что духовно сроднился с Императрицей, что Ее мысли – мои мысли; я глубоко понимал Ее психологию и Ее точки зрения и вытекавшие из них взгляды и искренно разделял их. Однако, я не был уверен в том, какое впечатление вынесла Императрица из беседы со мною. Мне казалось, что многое было сказано, но еще больше оставалось недосказанным; что, хотя роль Думы и была отмечена верно, но что нужно было развить свои мысли настолько, чтобы установить взгляд на не как на тормоз для каких-либо начинаний, а, наоборот, как на толчок к этим начинаниям. Мне казалось, что интересы Думы настолько резко расходятся с государственными интересами, что война никогда не кончится, доколе деятельность Думы и ее многообразных разветвлений, в образе всевозможных комитетов, обществ и союзов, не будет в корне пресечена, что вся деятельность Думы только опирается на войну, как на явление, оправдывающее ее преступные замыслы. При этих условиях, откладывать ликвидацию Думы до окончания войны казалось мне равносильным закреплению ее позиций, коими она завладела, передав прогрессивной общественности узурпированные ею функции государственной власти...

В гостиной ожидал меня С.П.Белецкий... На нем лица не было... Он страдал от нетерпения и думал, что о нем забыли... Аудиенция длилась полтора часа, если не больше... Увидав меня, С.П.Белецкий быстро вскочил и, следуя за вызвавшим его лакеем, успел на ходу сказать мне:

"Пожалуйста, подождите меня; будем вместе завтракать"...

Я кивнул головой в знак согласия и остался в гостиной, стараясь привести в систему все сказанное мною Ея Величеству... Мысли бродили на поверхности, и я не мог угнаться за ними...

Вдруг дверь кабинета неожиданно раскрылась, и в гостинной появился С.П.Белецкий...

"Видите ли, я не заставил Вас ждать так долго, как Вы меня", – сказал он, улыбаясь...

"Отчего же так скоро? – удивился я, – о чем же Вы говорили?".. "О Вас", – ответил С.П.Белецкий.

Я засмеялся и подумал, что верно он выдержал экзамен менее удачно, чем я.

Но Белецкий совершенно серьезно сказал мне:

"Нет, князь, я Вас уверяю, что Императрица говорила со мною только о Вас: Вы произвели огромное впечатление на Ея Величество; Вам предстоит широкое государственное поприще", – скороговоркою, ему свойственной, мягким, бархатным голосом проговорил С.П.Белецкий.

Мы вышли из дворца. У подъезда стояли две придворные кареты, какие должны были отвезти нас в большой Екатерининский дворец завтракать...

"За завтраком все расскажу Вам", – сказал С.П.Белецкий, садясь в карету. Через несколько минут мы входили в одну из прелестных комнат Екатерининского дворца, посреди которой стоял небольшой квадратный стол, покрытый белоснежной скатертью, накрытый на две персоны... Придворные лакеи ждали нас, выражая знаки почтительной предупредительности.

Видите ли князь, – начал Белецкий, садясь за стол, – новый Обер-Прокурор Синода, Волжин, плохо справляется со своей задачей... Выбор оказался неудачным... Но человек он недурной... Ему, вот, и подыскивают помощника, человека не только знающего самое дело, но и личный состав иерархов...

Вы в полной мере удовлетворяете этим требованиям... Вы человек, кроме того, молодой, и разъезды, в случае надобности, Вас не утомили бы. На Вашу кандидатуру уже указывали некоторые члены государственного Совета, и Ея Величество имела Вас в виду и

желала лично познакомиться с Вами. Сегодня же Вы произвели такое исключительно благоприятное впечатление на Императрицу, что Государыня решила остановиться на Вас и совершенно определенно мне об этом сказала... Скажу Вам, что Ея Величество осталась в восторге от беседы с Вами и сказала, что Вы точно знали и все Ее мысли и повторяли их, и что Она во всем была с Вами согласна.

Разумеется, я дал о вас самый блестящий отзыв", – закончил Белецкий.

"В кредит, – ответил я, – ибо я даже не узнал вас: так мало мы знали друг друга"...

С.П.Белецкий улыбнулся и сказал:

"Нет, совершенно искренно... Вы гораздо больше известны в церковных кругах, чем Волжин... Если бы Императрица знала бы Вас раньше, то Волжина никогда бы не назначили Обер-Прокурором. Ваша кандидатура выдвигалась гораздо раньше, чем его... Вы, верно, даже не знали об этом?"..

"В первый раз слышу", – ответил я с удивлением.

"О ней стали говорить уже тогда, когда вы издали свои книги о Святителе Иоасафе... Да, кажется, и в Государственной Канцелярии Вы занимаетесь какой-то специальной церковной работой, я слышал... По крайней мере, в междудеятельственных комиссиях по церковным делам Вы всегда были представителем Государственной Канцелярии, мне говорили"...

"Да, но, все же, каким образом я могу рассчитывать на министерский пост, или на пост товарища министра, состоя лишь в 5-м классе должности, будучи помощником Статс-Секретаря"...

"Отчего же, какая же разница между директором департамента Общих Дел Министерства Внутренних Дел и помощником Статс-Секретаря?" – сказал С.П.Белецкий.

"Да, но А.Н.Волжин, кажется, тайный советник, гофмейстер, значительно старше меня"...

"Все это пустяки, – ответил С.Белецкий, – и не имеет значения... А сейчас и тем больше... Теперь, при общем шатании и неустойчивости во взглядах, когда честное служение монархической идее объясняется неизменными мотивами личного свойства, самое ценное качество – это преданность Монарху, и с этой стороны мы все хорошо Вас знаем; а чин или служебное положение ничего не значат. Церковное дело Вы знаете, личный состав иерархов Вам также известен, и Вы, во всяком случае, имеете значительно большие преимущества, чем Волжин"...

"Но я так мало знаю А.Н.Волжина, а он меня еще меньше... Захочет ли он взять меня в свои сотрудники... Говорят, что он очень мнителен и неискренен, подозрителен и везде видит интриги... Я лично не могу об этом судить, но отзывы о нем очень разнообразны, и меня уже много раз предостерегали от него... Если же он и действительно мало сведущ, тогда, конечно, он возьмет в помощники того, кто, по общему мнению, возможно и ошибочному, знает больше Него... Это, ведь, общий принцип людей ограниченных... а потом, все же, класс должности явится, мне кажется, препятствием и в том случае, если бы не было других"...

"Сегодня Вы в 5-ом классе, а завтра будете в 4-м... Это зависит от вас", – ответил Белецкий.

"Как?" – удивился я.

"Переходите в мое ведомство... В Главном Управлении по делам печати, как раз имеется вакансия... 4-й класс должности и 10000 рублей жалованья"...

"С удовольствием, но только при одном условии: если должность эта совместима с моею, ибо с Государственной Канцелярией я, по многим причинам, не хотел бы расставаться... Нельзя ли без жалованья, сверх штата?" – спросил я.

"Это еще проще. Если вы согласны, то я сегодня же переговорю с министром, а через несколько дней мы и представим Вас, и Вы, в качестве члена Главного Управления по делам печати, очень пригодитесь Судейкину", – сказал Белецкий.

Судейкин был одним из друзей детства моего родственника А.С-ко, и меня интересовало знакомство с ним и совместное сотрудничество по вопросам, в области которых печать имела такое исключительное значение.

"Охотно, только сверх штата, с оставлением помощником Статс-Секретаря Государственного Совета", – ответил я.

"Очень рад, – сказал Белецкий... – Может быть, в случае надобности, и Вы, когда-нибудь, мне поможете в чем-нибудь", – добавил он, как бы мимоходом...

Сердечно простившись, мы уехали в разные стороны. С.П.Белецкий – на вокзал, торопясь в Петербург, я же к сестре, жившей в Царском Селе.

Глава XIX. Правда

Такова *правда*, впоследствии так преступно возвращенная, создавшая легенды о посредничестве Распутина в дальнейших событиях, приведших к моему назначению Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода.

Странно не то, что такие легенды сопровождали каждое назначение – такова уже была тактика революционеров – а странным был тот массовый гипноз, благодаря которому этим легендам верили даже те люди, которые должны были бороться с ними и пресекать вздорные слухи, рассчитанные на специальные цели унижить престиж династии и подорвать доверие к верным слугам Царя и России. И этот гипноз был до того велик, что никакие опровержения клеветы и гнусной лжи не достигли бы цели. Впрочем, они были и фактически невозможны, ибо печать находилась в руках врагов России и династии. И потребовались ужасы революции и моря крови, гибель России, кража частной переписки Их Величеств, для того, чтобы гипноз рассеялся, и стало возможным оценивать факты прошедшего вне связи с той окраской, какую им придавали революционеры и их вольные и невольные пособники. Теперь и имя Распутина перестало вызывать панику, и те, кто видел в нем источник зла, создававшего угрозу самому бытию России, недоумевают, не находя среди его "ставленников" ни одного из тех роковых людей, которые опрокинули Престол Божьего Помазанника и погубили Россию.

Совершенно несомненно, что Распутин, вращавшийся в самой толще народной, не мог не слышать об именах, выплывавших на поверхность, прославляемых или осуждаемых народной молвою, как не мог не слышать и отголосков закулисных интриг против Царя и династии, и, будучи фанатически преданным Царю, естественно делился с Государем и Императрицею своими впечатлениями, указывая на людей, преданность которых Царю не вызывала сомнений.

Но ведь это делал не только один Распутин, но и все окружавшие Царя люди, выдвигавшие своих кандидатов, и опубликованная частная переписка Ея Величества к Государю Императору не дает никаких указаний на то, что рекомендации Распутина всегда и во всех случаях предпочитались рекомендациям прочих людей... Напротив, на ответственные посты назначались часто люди, не только никогда не выдавшие Распутина, но и определенно враждебно к нему настроенные. Нужно удивляться не тому, что Распутин рекомендовал Царю преданных Престолу людей, если даже считать такой факт бесспорным, а тому, что характеристики этого малограмотного крестьянина были часто очень меткими; но сделать отсюда вывод, что он выдвигал своих кандидатов из корыстных побуждений, или что эти последние входили с Распутиным в предварительные сделки, как утверждали в предреволюционное время те, кто делал революцию, и как, с не меньшим азартом, кричат теперь, могут только гг.Гольденвейзеры и К.

Вот, что пишет А.А.Гольденвейзер в своей статье "Последняя Царица" (Руль, Февраль 1923, N 680, 691).

"... Техника назначений, которая выработалась у нас в последние годы монархии, обозначается в письмах (Письма Императрицы Александры Федоровны к Государю Императору) с большою рельефностью. Аспирант на ту или иную должность заручался содействием Распутина; тот прямо, или через Вырубову, сообщал имя кандидата

государыне; эта же последняя упорно воздействовала на Царя, пока не добивалась желательного назначения. Таким путем получили должности: Белецкий, Волжин, Хвостов, Штюрмер, Питирим, кн.Жевахов, Раев, Протопопов, Добровольский. Нужно отметить, что сама Императрица играла во всем этом механизме совершенно пассивную роль передатчицы. Она была слепым орудием в руках афериста. Сам Распутин правильно учитывал своей мужицкой смекалкой, что главное для него – сохранить свое влияние, а остальное приложится. Этим одним он и руководствовался в своих рекомендациях: он указывал только на тех людей, на которых рассчитывал, что они "не подведут". Весьма показательно для морального уровня придворных и бюрократических сфер, что не было недостатка в людях – подчас с весьма громкими именами – которые охотно шли на такого рода сделки с Распутиным. Так как Царица была совершенно в его власти, за нее он был спокоен, то заботы Распутина были направлены главным образом на то, как бы сохранить свое влияние на Царя. Для этой цели он пускает в ход испытанный прием всех царедворцев – потакание слабостям и лести. Разгадав тщеславную натуру Царя, он берет курс на самодержавие, советует принять высшее командование, поощряет всякого рода личные выступления.

И посредством этого нехитрого, прозрачного приема ему удастся сохранить свою власть, несмотря на сильнейшее противодействие не только всей общественности и Государственной Думы, но и большинства великих князей и многих достаточно верноподданных министров и генералов"...

Вот как пишется история!.. Это значит, что министерские портфели были открыты для любого проходимца. Стоило ему только заручиться расположением Распутина – а войти в доверие к малограмотному мужику, действовавшему притом, из корыстных целей, было легко – чтобы сделаться министром... Зачем же тогда понадобилось Циноркисам, Бронштейнам, Нахамкесам и пр. убивать Распутина и делать революцию, чтобы заполучить в свои руки ту власть, какую они так легко могли бы воспринять через посредство Распутина?.. Станным кажется и признание г.Гольденвейзера, что Распутин сохранил свою "власть", несмотря на сильнейшее противодействие не только "всей общественности" и Гос. Думы, но и большинства великих князей и "многих" министров и генералов. Такое признание является, во всяком случае плюсом – а не минусом Распутина и свидетельствует как о том, что удельный вес "всей общественности" правильно расценивался даже полуграмотным мужиком, так и о том, что не все, значит, министры были его "ставленниками", коль скоро "многие" из них относились к нему не только отрицательно, но и оказывали ему "сильнейшее противодействие"...

Нет, не в Распутине было дело; а в том, что было очень и очень глубоко скрыто делателями революции и составляло их тайну, какую, однако, прозревали именно те, кого не щадила их злостная клевета, и против которых они вооружали общественное мнение всеми доступными им способами.

Сейчас еще раздаются отдаленные и глухие раскаты прежнего грома иудейского; но они становятся уже все реже, и реже, и скоро наступит момент, когда, под влиянием страха взятой на себя ответственности, вдохновители и делатели революции не только станут отрекаться от своего участия в ней, но и искать путей к примирению с той Россией, какую они считали своим врагом, и какая погибла именно потому, что таким врагом их не была и не гнала их от себя... Тогда обнаружится и закулисная игра врагов России, и будут падать одна за другой и созданные ими легенды. Сейчас мы читаем у г.Гольденвейзера: "... Все легенды и сплетни о романических отношениях Александры Федоровны с Распутиным *теперь, после опубликования "Писем"* (курсив наш), должны быть признаны клеветою, не имеющей и тени основания. В нераздельной преданности мужу, она поистине чувствовала себя "женою Цезаря" – выше женских слабостей и вне всяких подозрений"...

А не вспомнит ли г.Гольденвейзер, что говорилось и писалось всего 5 лет тому назад, как безжалостно поносились имя Императрицы, как ломилась одураченная публика в кинематографы, любуясь огромными плакатами и возмутительными инсценировками этих

"романических отношений", не имевших, однако, и тени основания; как забрасывались грязью те люди, которые с негодованием отвергали гнусную клевету, еще до развала России, еще до опубликования "Писем"... И кто же создавал эту клевету, и для чего это делалось?.. Такую же цену имеют и утверждения о рекомендации Распутиным министров и о сделках этих последних с ним. Если бы даже и было доказано, что Распутин действительно указывал Государю на лиц, известных своею преданностью Престолу, то делал он это во всяком случае без ведома этих лиц, а чаще всего вторил лишь отзывам Их Величеств о намечаемых кандидатах и, именно по своей мужицкой смекалке, не оспаривал этих отзывов. Правда, он писал записки министрам, ходатайствуя за тех или иных просителей; но участь этих записок была хорошо известна не только Распутину, но и всему Петербургу, и гораздо чаще такие просители лишь прикрывались именем Распутина, ибо, подобно г.Гольденвейзеру, были убеждены в низком моральном уровне придворных и бюрократических сфер и рассчитывали на магическое свойство этого имени в глазах его "ставленников", какими казались все министры. Не принимала абсолютно никакого участия в назначениях должностных лиц и А.А.Вырубова и, кроме А.Н.Хвостова, ставленника Государственной Думы, никто из министров у нее не бывал и к ее посредничеству не обращался. Гипноз был до того велик, а имена Распутина и А.А.Вырубовой были до того скомпрометированы "общественностью", что от них убегали даже те, кто знал всю подоплеку клеветы, распространяемой вокруг них. Ни Государь, ни Императрица в беседах Своих с сановниками или лицами, намечаемыми на высокие посты, *никогда* даже не упоминали имени Распутина... Это была Их частная сфера, в которую они посвящали только Своих интимных друзей.

Все это было хорошо известно клеветникам; но какое же значение могла иметь для них правда, если их цель заключалась именно в том, чтобы ее опорочить и добиться во что бы то ни стало развала России?!

Можно быть разного мнения о значении религиозной основы мирозерцания человека: находить ее несовременною, видеть в ней грубое суеверие, усматривать даже отражение патологического состояния, требующего помощи врача психиатра... Но ведь к созданию и закреплению таких точек зрения на религию и стремились враги Христа, усматривавшие в революции лишь способ ликвидации христианства. Ея Величество была не только глубоко религиозною женщиною, для которой религия была частной интимной сферою, но и мудрою Императрицею, старавшейся проводить религиозные начала в сферу государственной жизни и, потому, окружавшей Себя людьми, для которых религия была не пустым звуком...

И в этом заключалось Ее единственное преступление в глазах тех, кто в Ее лице и в лице Ее избранников видел для себя величайшую опасность.

Глава XX. У сестры

Придворная карета остановилась у подъезда сестры, и она была очень удивлена, увидев меня в полном параде. Сестра не знала об аудиенции: я не успел предупредить ее.

Рассказав об оказанном мне Ея Величеством приеме, я добавил:

"С высоты царского трона все министры кажутся лишь маленькими чиновниками, и неудивительно, что в глазах Императрицы я могу являться кандидатом на министерский пост. До 1905 года известный уровень познаний и личные качества были достаточны... Но теперь положение резко изменилось. Теперь играют роль не знания и служебный опыт, а умение ладить с Думой; теперь прогрессивная общественность уже не ограничивается советами и наставлениями, а предъявляет уже требования бессмысленные и преступные и опирается на Думу, где меня никто не знает и где сейчас же заклюют, когда узнают... Сейчас ведь каждого монархиста называют "распутинцем", и меня очень смущает, что пожелание Императрицы перейти на службу в Синод было высказано чуть ли не в форме повеления"...

"Царь есть посредник между Богом и людьми, и что Тебе прикажет Государь, то и делай, – сказала сестра. – Трудно служить Царю; но Богу еще труднее; а святых и теперь

много... Значит, дело не только в наших силах, а и в помощи Божией. Теперь служение Царю больше, чем когда-либо, стало испытанием нравственных сил; а при этих условиях разве можно оглядываться на то, кто что скажет или подумает... Кому же Ты должен служить, Богу, Царю и России, или же Думе?... Что означают эти крики о Распутине, как не желание понравиться Думе; о том же, чтобы понравиться Богу и Царю, мало кто думает. Иди смело вперед и благодари Бога и Святителя Иоасафа, приближающих Тебя к этому святому Семейству".

"Как злы люди! Не знаю даже, чего больше, злобы или слепоты, – ответил я сестре, – чего только не говорят об Императрице, а, право, я еще не видел большей искренности, простоты, более горячей любви к России, более сознательного служения ей... Кто мне поверит, если я скажу, что и Царь, и Царица даже не похожи на наших современных аристократов, что, если бы Они не были Царями, то наше великосветское общество даже не приняло бы Их в свою среду. Они слишком хороши, слишком просты и естественны, слишком искренни, и в гостинной Императрицы нет ничего, что бы напоминало специфический запах салонов, где, под личиною светскости и "такта", кроется так много лжи, лукавства, зависти, интриг и всякого рода нечисти"...

Простившись с сестрою, я уехал в Петербург, где меня, с великим нетерпением, ожидал протоиерей А.И.Маляревский.

"Спаси Ее Господи", – беспрестанно повторял о. Александр, слушая мой рассказ.

"А на каком языке говорила с вами Императрица?" – спросил он.

"На превосходном русском языке, без малейшего даже акцента иностранки, – ответил я. – Вы знаете, как неохотно я отзывался на всякого рода приглашения светских дам и уклонялся от посещения разных салонов... Это потому, что я всегда был чужим среди знати, чувствовал эту фальшь и неискренность, какие прикрывались такою нарядною внешностью, и задыхался в этой атмосфере лжи... Как ни высоко стоял человек, а ему хотелось казаться в моих глазах еще выше, и он старался задавить меня своим величием... И вот сегодня, в первый раз, я увидел коронованную Царицу... Там – одно смирение, одна чистота, какая-то святость даже... Ни малейшего намека на высоту положения, ничего деланного, искусственного... Всегда я защищал Императрицу от нападок, не зная, чувствовал Ее... А теперь буду громко говорить всем, что, если бы слушались Императрицу, то не было бы и того, что случилось... У Нее не только большой ум, но и ум облагодатствованный"...

"Сохрани и спаси Ее, страдалицу, Матерь Божья! – сказал протоиерей А.И.Маляревский, – привел-таки Святитель Иоасаф Вас и к Царице. Поведет и дальше: только не упирайтесь... Не будут Вас смущать больше мысли о поездке в Ставку?! Теперь и сами увидели, что ехать туда нужно было Вам, а не полковнику, и что не даром Святитель посылал Вас туда"...

Так кончился день 10 октября 1915 года.

Глава XXI. Свидание с А.Н. Волжиным

Как ни определенны были утверждения С.П.Белецкого о возможности моей кандидатуры на пост Товарища Обер-Прокурора Св. Синода, однако я был до того далек от этой мысли, что совершенно искренно не допускал ее. Не допускал я ее потому, что ни в широких общественных кругах столицы, ни в Государственной Думе я никому не был известен. С того момента, когда Дума разделила не только общественные, но и правительственные круги на бесчисленное количество разнородных партий, я еще глубже ушел в себя и зарылся в свою служебную и частную работу, сознательно сторонясь от всего того, что бы могло увлечь меня в бездну начавшегося водоворота. Я не знал, как и сейчас не знаю, где та партия, какая бы вместила в свою программу всю Святую Русь, со всеми особенностями ее государственного и духовного облика. Я знал лишь то, что с 1905 года Россия превратилась в сумасшедший дом, где не было больных, а были только сумасшедшие доктора, забрасывавшие ее своими безумными рецептами и универсальными

средствами от воображаемых болезней... Мне, жителю деревни, только несколько недель тому назад прибывшему в столицу, казались дикими все эти партии и пестрые программы, наводнявшие Петербург в 1905 году. Там было все, кроме того, чего просила деревня, о чем она беспрестанно взывала и без чего действительно не могла жить – не было призыва к крепкой власти, которая обузда бы царивший в ней произвол. Одинаково подозрительно относился я и к правым партиям. Там была подлинная любовь к России и понимание ее нужд, и знание действительности; но там были и провокаторы; туда проникали агенты и других партий... Не только убеждение, но и деревенский опыт не позволили мне видеть в "выборном начале" форму участия "народа" в управлении. Как и на деревенских, волостных и сельских сходах вершителями судеб населения были наиболее смелые и преступные горланы и крикуны, если Земский начальник оставался в пределах прав, отведенных ему законом и не преступал этих пределов, так и в Государственной Думе картина будет та же, и в этом для меня не было никаких сомнений. Судьбы России, донныне покоившиеся в руках Помазанника Божия, осуществлявшего волю Господню, исторгнуты из рук Царских и отныне находятся в руках ораторов с зычным голосом и темным прошлым. Благо народа стало только вывеской; целью же всех стремлений и вождедений явилось умаление священных прав Самодержца, ослабление устоев государственности и все то, что отдало весь мир в руки тайной организации посвященных заговорщиков...

И я сознательно сторонился как от партий, так и от Думы, под сводами которой они укрывались, ибо сознательно не желал быть соучастником их преступлений...

При этих условиях, выступление на арену деятельности, где я должен был бы встретиться лицом к лицу с Думой, казалось мне невероятным, и я был убежден, что моя беседа с Императрицей не может дать никаких практических результатов.

Я ехал к А.Н.Волжину с единственной целью доложить ему об исполненном мною поручении, какое я получил от него перед своим отъездом в Белгород, и имел в виду дать ему свою докладную записку о ведомственных реформах лишь в том случае, если бы он завел об этом разговор и вспомнил бы свою просьбу о помощи, с какой он обратился ко мне в предыдущий раз...

Мне тяжело передавать содержание этой беседы... Скажу лишь, что предсказание моего сослуживца по Государственной Канцелярии, приведенное в 16-й главе, исполнилось буквально, и я лишний раз упрекнул себя за свою доверчивость к людям... Беседа была продолжительной: А.Н.Волжин интересовался характеристикой своих подчиненных, жаловался на В.К.Саблера, но ни одним словом не обмолвился о ведомственных реформах, и я не нашел нужным делиться с ним своими предположениями. Я видел, что он чувствует себя точно в лесу, что он сбился с дороги и не находит выхода, что его предположения привлечь на службу чиновников других ведомств не разрешило бы задачи; но я видел, в то же время, такие уверенность и самодовольство, что недоумение мое было безгранично...

Заронившееся сомнение в искренности А.Н.Волжина стало окрашивать другим цветом и ту вкрадчивость и приветливость, на фоне которых А.Н.Волжин вышивал разнообразные узоры... Мне было неловко чувствовать себя в положении сыскаго агента, от которого желают раздобыть нужные агентурные сведения, и, улучив момент, я откланялся и уехал, увозя, на этот раз, неприятное впечатление от своей беседы.

Жизнь вошла в свою обычную колею... Ежедневно хождение на службу, в Государственную Канцелярию, а вечерами то корректуры, то заседания братства Святителя Иоасафа, Барградского комитета и пр... Я начинал уже забывать о поездке в Ставку и об аудиенции у Императрицы... Думал, что и Государыня забыла обо мне... Однако печать меня не забывала... Нет, нет, и выскочит в газетах какое-нибудь сообщение "из достоверных источников" о моем назначении Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода, и не только Товарищем, но даже Обер-Прокурором, и эти газетные слухи тем больше меня нервировали, что приводились одновременно с травлею А.Н.Волжина... Я бы иначе относился к этим слухам, если бы считал их обоснованными... Но А.Н.Волжин не вызывал меня к себе, никаких предложений мне не делал, и я боялся, что эти слухи могут

скомпрометировать меня в глазах моего начальства и сослуживцев по Государственной Канцелярии, которые могли подумать, что, за их спиной, я ищу себе лучшего места в другом ведомстве... Чтобы пресечь распространение этих ложных слухов, я стал телефонировать в редакции газет, стараясь опровергнуть их и узнать имена репортеров... Но мне всякий раз отвечали, что редакции не принимают на себя ответственности за достоверность помещаемых в газетах сведений; и имена репортеров сообщаются лишь в случаях уголовного преследования их за клевету... Так я ничего и не мог добиться... А между тем, на службе, в Государственной Канцелярии, в залах Мариинского дворца, в кулуарах Государственного Совета, на улице, везде обступали меня и поздравляли с "высоким назначением", и я чувствовал себя гораздо хуже, чем та лошадь, на которую делали ставку, играя в тотализатор, ибо мое начальство стало уже коситься на меня, а Государственный Секретарь, как мне сообщали, был определенно мною недоволен...

Предо мною предносились совершенно другие перспективы, и мерещился не портфель Товарища министра, а немедленная отставка, в случае если начальство мое заподозрило бы меня в какой бы то ни было прикосновенности к этим слухам.

В таких терзаниях и мучениях душевных прошло около трех недель.

Не помню по какому поводу, А.Н.Волжин вызвал меня к себе... Я давно уже забыл о неприятном впечатлении, оставленном предыдущей беседой с ним, и, на приветствие А.Н.Волжина, ответил ничем неприкрашенною искренностью. Между нами произошла та знаменитая беседа, какая, год спустя, дала члену Думы В.Н.Львову материал для его речи, произнесенной им 29-го ноября 1916-го года, где он безжалостно и жестоко оклеветал меня...

Передать материал В.Н.Львову мог только А.Н.Волжин; но кто исказил его – я не знаю. Многое уже забыто мною, но главное сохранилось в памяти и, кажется, никогда не исчезнет...

Вот что было в действительности... Беседа происходила в последних числах октября 1915 года...

Когда я вошел в кабинет А.Н.Волжина, жившего тогда еще в Театральном переулке, в квартире директора департамента Общих Дел Министерства Внутренних Дел, то он, с обычной любезностью, сказал мне, что пригласил меня к себе по маленькому служебному делу...

"Вот, мне все хочется использовать Вас, – сказал он, – но никак не придумаю, как это сделать... Решительно нет ничего подходящего для Вас"...

"Эти синодальные штаты! – воскликнул А.Н.Волжин, с досадою, – каждый министр имеет свой совет, где по десять, двадцать членов; а разве Ober-Прокурор не министр?! А у меня даже автомобиля нет... Черт знает, что такое!" Взяв список Синодальных чинов, А.Н.Волжин стал быстро и, нервно перелистывать его и, обращаясь то к себе, то ко мне, говорил:

"Ну, взять хотя бы этого!.. Служит с 1852-го года!.. Куча детей!.. Куда выгнать его?! А какая с него польза!.. Или вот этот, князь Аполлон Урусов; что с него возьмешь!?"

Небрежно протянув мне список, А.Н. Волжин процедил сквозь зубы:

"Посмотрите его сами: может быть, найдете для себя что-либо подходящее". Я сидел с раскрытыми от удивления глазами и не знал, что, собственно, происходит... Получалось впечатление, что я набиваюсь на службу в Синод, чего-то насильно требую, а А.Н.Волжин отбивается... Если бы я в этот момент мог думать, что моя беседа с Императрицей, три недели тому назад, выразилась в письме Ея Величества к Государю, с определенным указанием моей кандидатуры на пост Товарища Ober-Прокурора Св. Синода, то я бы только указал А.Н.Волжину на недопустимость тона и формы его разговора со мною, но, будучи верным присяге Царю, довел бы и до сведения Их Величеств о том, как небрежно отнесся А.Н.Волжин к Высочайшей воле... Но у меня даже в мыслях не было сделать такое предположение: я не мог себе представить, чтобы Императрица писала бы Государю

Императору обо мне. И, потому, усматривая в намерении А.Н.Волжина привлечь меня на службу в Синод его собственную волю, я наивно ответил ему, возвращая список:

"С Государственной Канцелярией я не могу расстаться... Она дает мне летние каникулы, нужные мне для других дел, в том числе и для поездок в Бари, где постройка еще не закончилась... Я мог бы, поэтому, принять только сверхштатную должность"...

А.Н.Волжин подозрительно и недоверчиво посмотрел на меня и резко спросил:

"Какую?"..

"Охотнее всего я бы принял должность сверхштатного члена Училищного Совета при Св. Синоде, ибо состою почетным попечителем церковных школ 3-го благочиннического округа своего уезда в Полтавской губернии, получаю оттуда разного рода ходатайства, которые удовлетворять бессилён, ибо никого не знаю в Училищном Совете"...

Еще большее сомнение и недоверие отразилось на лице А.Н.Волжина.

Посмотрев на меня поверх очков, он очень неприятным тоном спросил меня:

"Ну а мне-то, чем Вы будете полезны? Мне-то какая будет от этого польза?!" Однако и этот неприятный тон не заставил меня уразуметь, что происходит в действительности и почему Обер-Прокурор, желающий привлечь меня к себе на службу, разговаривает со мной таким тоном... Не мысля зла, не привыкший хитрить, я искренно недоумевал, глядя на А.Н.Волжина и не зная, что он от меня хочет...

"Ну а в чиновники особых поручений 4-го класса Вы бы пошли?.. Вы человек молодой; разъезды бы Вас не утомили; а иерархов Вы знаете; я бы мог посылать Вас для ревизий, – сказал А.Н.Волжин, подозрительно поглядывая поверх очков и точно изучая меня"...

"Отчего же, – весело ответил я, – если должность эта сверхштатная, и я могу оставаться помощником Статс-Секретаря"...

А.Н.Волжин был окончательно раздосадован... Он абсолютно не верил моей безоблачной искренности, и ему казалось, что я играю с ним... Он не только не допускал того, что я не знаю о письме Императрицы к Государю, а, вероятно, думал, что я сам продиктовал это письмо Распутину, а Распутин уговорил Императрицу послать письмо Его Величеству... Но, думая так, А.Н.Волжин не знал, как выпытать у меня "правду", и то, что он этого не знал, раздражало и мучило его...

"Но и эту должность нужно еще создать, а разве Дума позволит", – с раздражением сказал он.

Сказав это, он вдруг точно переродился и чрезвычайно нежно, вкрадчиво и любовно спросил меня:

"А как Вы... насчет Распутина?"..

Такое грубое ощупывание моего нравственного облика заставило меня очнуться... Я понял, что означал этот вопрос; однако сдержался и, вопросительно глядя на А.Н.Волжина, спросил его:

"Т.е.?"..

А.Н.Волжин, как мне казалось, смутился и, точно отвечая на невысказанные мною мысли, живо сказал:

"Ну да, конечно, я понимаю: какое же может быть знакомство с ним; но... Вы, верно, встречались когда-нибудь"...

"Не только встречался, но Распутин был у меня даже на квартире, лет пять тому назад; но потом я его не видел больше... У меня на его счет особое мнение, какое не удовлетворяет ни друзей, ни врагов его"...

А.Н.Волжин прервал меня, сказав:

"А я, знаете, боюсь его и не решился бы принять его даже в своем служебном кабинете, в Синоде"...

"Я думаю, что здесь недоразумение, – ответил я, – зачем выделять его из общей массы просителей и тем подчеркивать его особенное значение!?"

А.Н.Волжин снова прервал меня:

"Если бы я его принял, то не иначе, как при свидетелях".

"Эта боязнь Распутина, – сказал я убежденно, – и создает ему тот пьедестал, с которого он виден всему свету... Уж если министры боятся его, значит он действительно страшен... Имя Распутина, наоборот, нужно всячески замалчивать; это интимная, частная сфера Их Величеств, куда никто не должен заглядывать... Я хорошо понимаю, с каким недоверием относятся к тем, кто это проповедует; но я говорил и буду говорить, что крики о Распутине, все равно добрые или злые, опаснее самого Распутина и что никто из преданных и любящих Государя не должен даже говорить о Распутине, точно его и нет вовсе... Каким бы Распутин ни был, но ни Государь, ни Императрица никого не принуждают считать его святым, а конкретных преступлений не могут указать и его враги... Тот же факт, что Распутин действительно предан Царю, никем не отрицается... В государственную опасность Распутина я не верю... Его вмешательство в государственные дела также ни в чем не выражается... Смотрите на него как на заурядного просителя... Если он будет добиваться чего-либо противозаконного, то откажите ему в просьбе; если же его просьба исполнима, то нет резона отказывать только потому, что она исходит от Распутина... Для меня он никогда не был загадочным сфинксом. Я давно уже не видел его; но помню, что далеко не все, что он говорил, было глупо... Напротив, многое казалось мне интересным... Он, несомненно, человек недюжинного ума, хитрый, проницательный; но это вовсе не преступник, имеющий готовые программы и проводящий их в жизнь. Он может сделаться орудием в руках других, но сам неспособен играть первых ролей"...

Эти слова, по-видимому, несколько смягчили А.Н.Волжина. Я был убежден, что А.Н.Волжин держался такого же мнения и искренно разделял мои точки зрения и что, стараясь отмежеваться от Распутина, он делал это только для того, чтобы рассеять то подозрение в близости к Распутину, какое тяготело над каждым вновь назначенным министром...

"А как Вы считаете Варнаву? – совершенно иным тоном, в котором звучало уже доверие к моим словам, спросил меня А.Н.Волжин, – он мне очень нравится. Умен, прекрасно говорит с народом, великолепно служит... И за что его травят?!"

"Мне он тоже нравится, – ответил я, – а травят за то, что считают "распутинцем"... Раньше, ведь, нужно было доказать, что человек плох; теперь же этого не нужно... Достаточно сказать, что такой-то знаком с Распутиным или с князем Андрониковым... Умный человек может быть этого и не скажет, но большинство непременно скажет"...

Хотя я и сделал эту последнюю оговорку, но А.Н.Волжин, к удивлению моему, спросил меня:

"А Вы знакомы с князем Андрониковым?"..

"Нет, я ни разу его не видел даже", – ответил я.

На этом моя беседа с А.Н.Волжиным кончилась. Приемы А.Н.Волжина скомпрометировали его в моих глазах. Я поверил отзывам, какие слышал о нем. Он был недоверчив, мнителен и неискренен... При этих свойствах трудно верить в искренность другого; еще труднее встречаться с нею... Не вызывая к себе ответного доверия, А.Н.Волжин жил в атмосфере лжи, его окружавшей, и совершенно не разбирался в людях.

В письме Ея Величества к Государю от 2-го ноября 1915 года (Письма, т.1 стр. 287, N 146) есть неточность, содержащаяся в указании, что, предлагая мне список Синодальных чинов, А.Н.Волжин ссылаясь, при этом, на желание Их Величеств, чтобы я был назначен Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода... Наоборот, А.Н.Волжин тщательно скрывал от меня этот факт... Если бы я знал об этом, то не было бы и речи о сверхштатном члене Училищного Совета, или чиновнике особых поручений 4-го класса... Я был убежден, что инициатива привлечения меня на службу в Синод исходила от самого А.Н.Волжина, или же была ему подсказана кем-либо из членов Государственного Совета... О желании же Их Величеств я узнал от А.Н.Волжина лишь незадолго до его отставки, и, притом, лишь тогда, когда нарушилось равновесие в наших отношениях, и я имел в виду отказаться от сотрудничества с ним... Тогда ссылка на желание Государя явилась уже аргументом,

выдвинутым как меньшее зло, во избежание большего, А.Н.Волжин, вероятно, опасался, что мой отказ сотрудничать с ним был бы истолкован не в его пользу.

Наступили тяжелые, несносные дни... Газетные слухи о моем назначении не только не прекращались, а, наоборот, усиливались, и я не знал, кто вызывал их. Вакансия Товарища Обер-Прокурора оставалась незамещенной, и к А.Н.Волжину, со всех сторон, тянулись приглашаемые им кандидаты на эту должность, то из членов Думы, то из других ведомств... Поражал пестрый состав приглашаемых... Наряду с В.П.Шеиным (Впоследствии архимандрит Сергей, Управляющий Св. Троицким Подворьем в Петербурге, расстрелянный в 1922 году большевиками) и людьми его настроения, приглашался также и член Думы В.Н.Львов... Однако все переговоры с ними ничем не оканчивались, и А.Н.Волжин не мог подыскать себе подходящего... Некоторые из этих кандидатов, после визита к А.Н.Волжину, заезжали ко мне и делились своими впечатлениями, рассказывая, что А.Н.Волжин глубоко убежден в моих интригах и уверен, что, с помощью Распутина, я желаю не только занять место Товарища Обер-Прокурора, но и свалить его, чтобы самому сесть на его место... Все это до крайности нервировало меня. Я не видел Распутина несколько лет, не имел с ним абсолютно никакого общения, и мое самолюбие глубоко страдало при мысли, что А.Н.Волжин не только сам не верит моей искренности, но и вызывает недоверие ко мне со стороны других людей... Я не мог объяснить себе источника недоверия, ибо А.Н.Волжин знал о моей командировке в Ставку и о тех последствиях, какие от этого произошли и какие нашли фотографическое отражение в письмах Ея Величества к Государю... Совершенно очевидно теперь и для тех, кто во мне сомневался, что письмо Ея Величества к Государю от 10-го октября 1915 года N 139, написанное в день данной мне аудиенции, отражало лишь впечатление Императрицы от беседы со мною; что Распутин, на которого в Своих последующих письмах ссылалась Государыня, абсолютно не участвовал в создании такого впечатления, а только вторил словам Императрицы, что было его обычным приемом... Но о письмах Императрицы я не мог даже догадываться и тщетно ломал себе голову над вопросом о том, кто вооружил против меня А.Н.Волжина и за что он так казнит меня в то время, когда я не только не питал к нему никакой неприязни, а, наоборот, защищал его от нападок, считал его хорошим человеком и был вполне искренен, когда давал о нем добрый отзыв Императрице.

В ноябре 1915-го года последовало назначение на Петербургскую кафедру митрополита Питирима, и А.Н.Волжин, питавший к Владыке крайнюю неприязнь, увидел в его лице еще одного моего союзника... Связанный со мною долготелней дружбой, митрополит Питирим, со своей стороны, поддерживал мою кандидатуру в Синод и давал обо мне добрые отзывы Императрице. Но, усиливая мои позиции, он еще больше вооружал против меня А.Н.Волжина. В то же время я был назначен Членом Главного Управления по делам печати, и С.П.Белецкий простодушно заявлял всем, что он торопился с этим назначением исключительно для того, чтобы облегчить мне переход из 4-го класса в 3-ий класс должности и устранить даже малейшие формальные препятствия к назначению меня Товарищем Обер-Прокурора...

А.Н.Волжину казалось, что я со всех сторон окружен сильнейшими союзниками, интригующими против него, и, подозрительно оглядываясь по сторонам, он вымещал на мне все более растущее недоброжелательство свое, с трудом скрывая его за внешними формами любезности, какие так часто вводили меня в заблуждение... Мои друзья потешались над создавшейся конъюнктурой отношений между А.Н.Волжиным и мною... Со стороны это казалось действительно смешным, ибо А.Н.Волжин видел чрезвычайно искусную интригу и очень тонкую игру там, где их вовсе не было, и не замечал того, что мое недоумение, при встрече с его недоверием ко мне, было еще большим, чем его собственное... Однако мне было не до смеха...

Создалось положение, при котором я, очевидно, уже не мог сотрудничать с А.Н.Волжиным... Не было ничего, что могло бы разрушить его предубеждение против

меня... Атмосфера сгустилась до того, что я был счастлив, когда подошел декабрь, и я мог, во исполнение Высочайшего повеления, уехать в Ставку.

Глава XXII. Отъезд в Ставку

В средних числах декабря, кажется 15-го числа, я был уже в Могилеве. Предуведомленный о моем приезде, священник А.Яковлев ожидал меня. Так же, как и в предыдущий раз, я прежде всего отправился к протопресвитеру Шавельскому, а затем к дворцовому коменданту, генералу В.Н.Воейкову. Опускаю свою беседу с протопресвитером, ибо не помню ее. Помню лишь, что, в ответ на мое ходатайство доложить Государю о моем приезде, протопресвитер заявил, что Его Величество никого не принимает, так как собирается уезжать на фронт. Так же категорически отклонил мою просьбу об аудиенции и генерал В.Н.Воейков. Мои указания на то, что Государь Император лично повелел мне приехать в Ставку за иконами и что мне неудобно уезжать обратно, не откланявшись Его Величеству, не достигли цели. Других путей к Государю у меня не было, и я на другой день утром уехал из Могилева, пробыв в Ставке лишь несколько часов, вечером, в день своего приезда...

Настроение в Ставке было еще бодрее, чем раньше: все рассказывали о победах и огромной массе пленных, взятых в последних боях; но каждый объяснял эти победы по-своему и никто не связывал их с пребыванием величайших святынь в Ставке... Священник Яковлев и я, с большим вниманием, прислушивались к этим восторженным рассказам и делали одинаковые выводы... Было очевидно, что чудотворная Песчанская икона Божией Матери простояла в храме никем не замеченная... Наша просьба отслужить хотя бы прощальный молебен была также отклонена...

С помощью того же Е.И.Марахоблидзе, священник Яковлев и я вынесли святыню из храма, установили икону на автомобиль и, никем не провожаемые, отвезли ее на вокзал... С величайшим трудом я мог добиться только того, что мне дали отдельное купе II-го класса в обыкновенном классном вагоне... О салон-вагоне не могло быть и речи: никто и слышать не хотел об этом... Святыни были увезены; но Ставка не простилась с ними, а меня не допустили проститься с Государем...

Не успели мы отъехать несколько верст от Могилева, как наше купе переполнилось посторонними людьми, и мы, с величайшим трудом, доехали до Харькова, где была пересадка... Поезда ходили нерегулярно... Нужно было долго ожидать поезда, идущего в Изюм... Мы прибыли туда, вместо 10 часов утра, лишь в два часа ночи...

"Что-то будет, как Вы думаете, батюшка?" – спросил я.

"О, как же велико долготерпение Божие! – воскликнул о. Александр. – Как неизреченна милость Царицы Небесной... С того часа, как святыня наша прибыла в Ставку, я каждый день следил за телеграммами с фронта... Дивился и плакал, и молился народ... За все время, ведь, не было ни одного поражения, ни одного отступления... А пленных-то сколько было!... По десяткам тысяч зараз брали. На фронте, верно, даже не знали, что наша святыня в Ставке; а в Ставке, известное дело, объясняли все иначе... А мы, простые, неученые люди, видели, что не под силу сатане сокрушить благодать Божию; боялся нечистый Пресветлого Лика Матери Божией и не посмел, значит, посягать... Хотя и с превеликим небрежением отнеслись ученые да образованные, по научному манеру, люди к святыне, а не подобало Матери Божией наказывать за их слепоту всю Россию, и Царица Небесная всех невидимо покрывала и, ради Помазанника Божия, всем помогала... А если бы поверили гласу Угодника Иоасафа, да послушались Его, да встретили бы святыню подобающим образом, то и война бы уже кончилась... А как будет теперь, то Одному Милосердному Господу ведомо... Как не прогневается Господь, то все пойдет по-хорошему; а как прогневается за упорство и гордость и маловерие, тогда будет страшно"...

"А Вы не рассказывали о том, как встретили святыню в Ставке?" – спросил я.

"Боже меня сохрани, как можно! даже своим не говорил... Да и о проводах умолчу, чтобы не было соблазна", – ответил о. Александр.

"И мне страшно, – сказал я. – Господь вес сделал для того, чтобы пробудить слепых, а люди не узнали Руки Божьей и отвергли Ее"...

Подъезжая к г. Изюму, мы из конца вагона увидели, что не только станция, но и огромная площадь перед вокзалом, стоявшим среди поля, на расстоянии нескольких верст от города, была переполнена народом, ожидавшим прибытия святыни.

"Посмотрите, – сказал мне о. Александр, – целый день стоит народ на морозе, с хоругвями и свечами в руках... И простоял бы так всю ночь"...

"Узнаю Вашу паству", – ответил я. Я выглянул из окна и заметил, как народ, при виде приближавшегося поезда, засуетился и стал зажигать свечи... Было 2 часа ночи... Холодно и темно... И на фоне беспросветного мрака, где виднелись одни силуэты, вспыхивали в толпе яркие звездочки...

Прошло еще одно мгновение, и процессия медленно двинулась к окаменелому, скованному морозом, шоссе, направляясь в село Пески...

Впереди и по сторонам ехали верховые, с факелами в руках, освещая путь...

Никогда еще эти люди, эти женщины и дети, закутанные в платках, одетые в полушубки, с огромными рукавицами на руках, не были мне ближе и роднее, чем в этот момент... Никто не был и к Богу ближе, чем этот серый народ, такой верующий, такой смиренный, довольный своей долей и невзыскательный... И я вспомнил деревню, три года службы в ней, свое общение с народом, все радости и горе, какие делились с ним. И на фоне этого прошедшего мое настоящее, все эти верхи служебной лестницы, эти перспективы сделаться Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода, все это показалось мне не только не нужным, но и греховным, удалявшим от "настоящей" жизни, от здоровых корней, победою дьявола, вырвавшего меня из народа и бросившего в пучину мирского водоворота...

Прошло уже два часа, а село только виднелось на горизонте...

Никто не жаловался ни на холод, ни на утомление: все шли без шапок; стройный хор певчих по-прежнему оглашал воздух в ночной тишине... Никто не спешил домой... Подле своей святыни, все чувствовали себя дома... Только к 6 часам утра крестный ход подошел к храму, который, как свеча перед Богом, горел сотнями огней среди села, погруженного во мрак... Святыня была установлена посреди храма, и начались непрерывные молебны. О.Александр не успевал принимать записочек, подаваемых ему со всех сторон, и вычитывал, с большой любовью, все имена, начиная с имени Государя и Царской Семьи, за которыми следовал перечень крестьянских, простонародных имен... Никто не спал в эту ночь... До самого утра длилась молитва в храме, и только к 9-ти часам, усталый, в полном изнеможении, достойнейший сельский пастырь, установив святыню на ее прежнее место, покинул храм.

В это же день я уехал в Белгород, куда отвез Владимирский образ Божией Матери, а затем в Киев, к родным, где и провел Рождественские праздники. Слухи о моем назначении Товарищем Обер-Прокурора достигли и Киева. Меня расспрашивали о них; но я не знал, что отвечать...

Мои мысли витали в другой сфере, откуда я боялся спускаться на землю.

Я чувствовал одновременно и близость Бога, и страх Божий...

Пусть люди называют мою веру мистикою, фантазией, или большим воображением; но тот факт, что *во время пребывания святыни в Ставке не было не только поражений на фронте, а, наоборот, были только победы, в чем может убедиться каждый, кто проверит этот факт по телеграммам с фронта за время с 4-го октября по 15-ое декабря 1915-го года*, не вызывал во мне никаких сомнений, и, сквозь призму этого факта, я расценивал и все то, что меня окружало и что приобретало в моих глазах другую окраску...

Так кончился 1915-й год.

Глава XXIII. Накануне

Дурными предзнаменованиями начался 1916 год. Святыни покинули Ставку в декабре 1915 года, и те, кто связывал успехи на фронте с их пребыванием в Ставке, те стали

приписывать их отъезду все последовавшие неудачи на войне. Началось отступление по всему фронту, что объяснялось только стратегическими ошибками, только недостатком орудий и снарядов, только плохим снабжением армии. Но вот скоро все эти недостатки были устранены: снабжение армии было поставлено на небывалую высоту, а снаряды были приготовлены в таком огромном количестве, что их хватило бы на целые годы. А победы не было. Наоборот, военные горизонты омрачались все более зловещими тучами; появились грозные признаки разложения армии, выражавшиеся в массовом дезертирстве, а наряду с этим все выпуклее и рельефнее вырисовывалась роль союзников, оправдывавшая недоверие к ним и обесценивавшая все наши жертвы.

"Чем же все это кончится? Что же будет дальше?" Так думали те, кто не прозревал за внешними грозными событиями той закулисной игры, какая сводилась к одновременному уничтожению России и Германии в интересах третьих лиц, задача которых состояла не только в сокрушении двух могущественных монархий, как оплота христианской цивилизации и культуры, но и в ликвидации самого христианства. Но те, кто это знал, знали и то, что будет дальше и что нужно делать для того, чтобы этого не было. Те, не боясь обвинений в германофильстве, указывали на безумие войны между теми, кто связан общими интересами и должен поддерживать друг друга, и не только в целях политических, или экономических, но и в целях мировых, в интересах спасения всей Европы от гонителей христианской идеи. Те громко осуждали политику русского правительства, дважды отклонявшего просьбы о перемирии со стороны истощенной Германии, имевшей впереди себя Россию, а в тылу – Францию. Два раза был пропущен момент для заключения почетного мира, ибо отравленное общественное мнение, сознательно и бессознательно осуществлявшее директивы его руководителей, требовало войны до конца, до полной победы... еврейства над христианством.

Было очевидно, что Россия катилась в бездну; но в это никто не верил. И даже самые крайние пессимисты, все же, были убеждены в том, что, в конце концов "все образуется". Иного мнения были те, кто оценивал политический момент с точки зрения осуществлявшихся интернационалом программ.

Но этих людей называли мистиками, и их суждения рассматривались как "вредный мистицизм".

Слишком далеко стояли русские от России для того, чтобы заметить перемены в ее судьбе, чтобы обнять сущность политического момента в его целом, а не только в отношении его последствий для каждого в отдельности.

Слишком твердо укоренилась привычка русских людей оценивать окружающее с точки зрения одной только внешности, без мысли о том, что скрывает эта внешность с духовной стороны. И в то время, когда на фронте решался вопрос не о победе России над Германией, или наоборот, а вопрос о судьбе России и участии христианства, в это время жизнь в тылу являла собой картину пира Вальтасара, и беспечные люди оценивали все ужасы войны лишь с точки зрения личных лишений и причиненных войной неудобств. Почти никто не чувствовал своих личных обязательств к фронту; мало кто думал, что Россия уже накануне своей гибели.

Пути Господни неисповедимы; но законы Бога – непреложны!

Еще меньше было тех, кто понимал, что происходило в тылу и что выражала собою та вакханалия сатанинской злобы, какая бушевала в самом Петербурге и всею своею тяжестью обрушивалась на самых лучших, самых чистых, самых преданных слуг Царя и России.

Все видели и слышали, какой жестокой травле со стороны революционеров подвергались эти лучшие люди; но все молчали, никто не заступался за них. Наоборот, гипноз был так велик, общественная мысль была до того уже терроризована, что к этой травле присоединялись даже те, кто обязан был, по долгу присяги, бороться с нею...

И среди этих лучших людей, особенно ненавистных революционерам, занимал едва ли не первое место Петербургский митрополит Питирим. Это понятно, ибо делатели

революции, скрывавшие в своих недрах идею ликвидации христианства, не могли, конечно, пройти мимо Первоиерарха Церкви, стоявшего на страже Православия.

Глава XXIV. Высокопреосвященный Питирим, Митрополит С.-Петербургский и Ладожский

Механизм русского государственного аппарата был расшатан еще задолго до революции 1917 года. Однако порча государственной машины нигде не сказывалась с такою наглядностью, как на верхах. В то время, как городовые еще гордо прохаживались по улицам, победоносно оглядываясь на прохожих и заставляя трепетать хулиганов; в то время, как уездные исправники и становые пристава, стяжав себе славу самодержцев, наводили еще страх на обывателей деревни, в это время министры чувствовали себя точно в плену Государственной Думы и прессы и открыто признавались в своей бесправии и бессилии. Каждый из них был выбит из колеи и был лишен фактической возможности не только руководить государственной работой в целом, или части своего ведомства, но и проявлять личную инициативу: престиж власти покоился не на существовании ее, а на ее внешних декорациях. Не было тех сильных и властных людей, которые, учитывая положение политического момента, умели бы *повелевать*, не оглядываясь на Думу и создаваемое ею общественное мнение, которые бы отваживались на решительные действия, включительно до ареста и предания суду наиболее преступных членов Думы и разгона ее... И вследствие этого уделом власти оставалось только качаться как маятник, входить во всевозможные компромиссы с самыми разнородными влияниями, допускать меньшее зло во избежание большего... Твердость, определенность, прямолинейность, осуществление ведомых, разумных, глубоко продуманных государственных программ – все это жило лишь в пределах недостижимой мечты, а фактически оказывалось невозможным... Законность встречала резкий отпор, и ко времени наступления революции едва ли не в каждом департаменте каждого министерства находилось уже 90 процентов революционеров, поддерживаемых Думою и прессою, бороться с которыми можно было только пулеметами... Но для этих мер не было людей...

В таком же подневольном положении находилась и церковная власть.

Здесь разложение сказывалось еще глубже, и церковная власть не только не составляла опоры государственной власти, но и сама держалась лишь с помощью последней.

В это смутное время, года за два до революции, на Петербургскую кафедру был назначен Экзарх Грузии, Высокопреосвященный Питирим, архиепископ Карталинский, бывший перед тем архиепископом Самарским и Ставропольским, раньше архиепископом Владикавказским и Моздокским, а еще раньше Курским и Обоянским. Обстоятельства, при которых состоялось это назначение, и время пребывания митрополита Питирима на кафедре Первосвятителей Российских окружены такими легендами, что долг уважения к *правде*, безотносительно даже к долгу дружбы, которою я был связан с почившим Владыкою 10 лет, обязывает меня громко разоблачить эти легенды.

Я отдаю себе ясный отчет в исключительной трудности поставленной задачи. К этим легендам нельзя подходить неподготовленным, во-первых, потому, что для уяснения их необходимо знакомство с исторической перспективой, предшествовавшей революции, во-вторых – знакомство с духовным обликом митрополита Питирима. Оба эти условия чрезвычайно сложны. Первое требует исторического очерка революции; второе обязывает к психологическому анализу сущности и идеи монашества. Обстоятельства настоящего времени, в связи с отсутствием требуемых материалов, заставляют меня ограничиться только теми сведениями, какие сохранились в моей памяти и относятся непосредственно к личности митрополита Питирима. Революция замела много следов; однако история сумеет разобраться в правде и ответит митрополиту Питириму заметное место на своих страницах. Тогда обнаружатся и политические мотивы легенд, распространявшихся вокруг его имени. Я не буду их касаться; скажу лишь, что тот, кто умеет возвышаться над жизнью и в ходе повседневных событий улавливать законы исторической последовательности, тот

оценивает значение этих событий не только по их сущности, но и по связи их с теми причинами, коими они вызваны.

Легенды вокруг имени митрополита Питирима были обычным революционным приемом в руках делавших революцию и преследовавших самых опасных врагов своих. Странно не то, что революционеры, ставившие себе целью ликвидацию христианства, обрушились на Первоиерарха Русской Церкви, странно то, что они заставили и врагов своих поверить той клевете, какую они распространяли вокруг Первосвященника.

Как ни отрывочны мои воспоминания, но и то немного, что содержится в них, достаточно – думаю мне – не только для того, чтобы рассеять злостную клевету вокруг имени почившего Владыки, но и для того, чтобы, с чувством величайшего уважения, склониться пред его памятью.

Сын соборного протоиерея г.Риги, митрополит Питирим, в мире Павел Васильевич Окнов, родился в г.Риге и рос в исключительно благоприятной семейной обстановке. Духовенство Прибалтийского края, как известно, резко отличалось от всего прочего, как высотой своего образования, так и отсутствием той специфической кастовой окраски, какая вообще свойственна духовенству. Родители П.В.Окнова были столько же духовно просвещенными, сколько и глубоко образованными людьми и окружали своего сына всеми условиями, способствовавшими его духовному росту. Особенно сильно было влияние матери, о которой митрополит Питирим всегда отзывался с чувством величайшего сыновнего благоговения, говоря, что его единственным посмертным желанием будет просьба похоронить его рядом с ее могилой.

Материнское влияние, в связи с глубокими религиозными основами, заложенными отцом, наложило на природу мальчика отпечаток чрезвычайной женственности. Я особенно подчеркиваю этот факт и желал бы сосредоточить на нем преимущественное внимание, ибо без этого условия весьма многое в последующей жизни митрополита Питирима останется непонятным.

По природе крайне застенчивый и робкий, мальчик чуждался людей, и его любимым занятием было чтение Четий-Миней, за которыми он просиживал целыми днями, восхищаясь подвигами святых и уносясь мечтами на небо. В этом отношении он был счастливее тех детей, которые, при приближении родителей, или воспитателей и гувернеров, прятали "Жития Святых", из опасения встретиться с упреками в одностороннем развитии мысли, или с советами поехать в гости, или в театр. Наоборот, умные родители П.В.Окнова всячески способствовали развитию религиозного сознания своего сына, шли навстречу его сомнениям, утверждали его в вере, закрепляли заложенные природой основы.

Они были слишком умны для того, чтобы не знать, что детскую природу можно только испортить, но не улучшить и, потому, предоставляя своему сыну полную свободу в области его духовных влечений, не насиловали его природы, а старались только уберечь ее от заразы, от всего того, что медленно и постепенно отнимает у человека тот бесценный дар Божий, с коим он рождается – его веру. И детские годы митрополита Питирима, окруженного заботливым и нежным попечением родителей, были сплошным, безостановочным порывом его чистой, неиспорченной души к Богу. Он не знал того детства, какое неразлучно с шумными играми и забавами; не знал и юности с ее искушениями и соблазнами; а тянулся к Богу, как цветок Божий тянется к солнцу. А там, где Бог, там тишина, там одиночество... Но вот промчались детские годы. Наступила пора учения, и родители отдали мальчика в классическую гимназию г.Риги. Тот факт, что мальчик воспитывался в гимназии, а не в семинарии, имел также огромное значение. Гимназия дала ему светское воспитание, но сохранила его пламенную веру, сберегла его юношеские порывы к Богу. Присяжные защитники семинарий, или дилетанты, отдают последней все преимущества перед гимназией. Но это неверно. Может быть, в отношении объема и содержания учебных программ они и правы, но тот факт, что семинаристы, по выходе из семинарии, часто не имеют никакой веры, а идут в Духовные Академии, принимая иноческий постриг, не по влечению к иночеству, а ради карьерных целей,

кажется, не вызывает спора. Гимназисты же, получившие религиозное воспитание, часто неизмеримо устойчивее в вере, чем семинаристы, связанные заранее намеченными жизненными программами. Если бы не искусственные преграды, задерживающие воспитанников гимназий от поступления в Духовные Академии, то процент гимназистов, принимающих иноческий сан, несомненно бы превысил процент семинаристов и улучшил бы качественный состав духовенства.

Среди сверстников своих, товарищей по гимназии, П.В.Окнов отличался такою исключительною религиозностью, которая умиляла одних, но в то же время вооружала против него других; поэтому он рано познакомился с тем, что заставляло его таить в себе свою веру, скрывать ее от окружающих, *казаться не тем, чем он был*, и приучило его к одиночеству и уединению. Мы часто проходим мимо того содержания, какое заключается в понятии "казаться не теми, какими мы созданы"; а между тем психология этого понятия очень сложна и глубока.

Кажутся не теми, какими они есть, или очень дурные, или, наоборот, очень хорошие люди. Первые потому, что стараются казаться лучше, чем они на самом деле; вторые потому, что стыдятся своих нравственных преимуществ перед другими, скрывают их, стараются их сделать незаметными, сознательно удаляются от всего того, что могло бы их возвеличить в глазах другого... Здесь берет свое начало величайший из подвигов, доступных человеку – юродство во Христе – который начинается именно с этого нежелания казаться "хорошим", продолжается усилиями "казаться хуже" и заканчивается умышленным приписыванием себе несуществующих грехов, чтобы вызвать поношения и поругания и этим крестным путем очистить душу от греховной заразы и искоренить самый источник греха – самолюбие.

Детский ум юноши П.В.Окнова рано это понял, как понял и то, что только в уединении и тишине можно оставаться с Богом и что Бог не любит шума. По природе застенчивый и робкий, он все чаще удалялся от своих сверстников и товарищей, с которыми не сживался, и которые его не понимали. Он встречался с упреками в надменности и высокомерии именно в то время, когда всем сердцем тянулся не только к товарищам, но и ко всем людям, прося у них только одного – чтобы они позволили ему оставаться тем, чем он был, позволили бы быть искренним, не принуждали лгать или носить маску, не смеялись бы над его верою и любовью к Богу. Однако его все звали к себе, сердились, когда он не шел, но исполнить этой единственной просьбы никто не желал...

Каждый старался его переделать на свой образец, каждый требовал уступок от него; а ему ни в чем никто не хотел уступить...

И мальчик все глубже и глубже входил в себя, делался все более сосредоточенным и замкнутым.

Кто не помнит поры своего детства и нежных попечений матери, бережно охранявшей нашу детскую веру, научившей нас молиться и возноситься к Богу; кто не помнит своей юности и тех соблазнов, с которыми встречалась наша вера, тех сомнений и колебаний, какие наступали позднее, когда перед нами возникал вопрос, как жить и что делать, чтобы избежать компромисса с совестью, угадать свое призвание, выполнить волю Божию, а не свою, не согрешить пред Богом?!

И как же разрешались тогда все эти сомнения и колебания, все эти сложные перекрестные вопросы?!

Так, как разрешаются *всегда* в пору ранней юности, когда душа еще не покрыта греховной пылью, когда не придавлена еще к земле тяжелым грузом и собственных грехов, и жизненных невзгод, когда бегство из мира, отречение от мирских благ и иноческие подвиги в келии монастырской кажутся единственным способом спасения...

Тогда это положение казалось бесспорным и не вызывало никаких сомнений у неиспорченной юности, и никакие доводы взрослых не могли поколебать его... Почему?... Потому, что юность чутьем угадывала ту правду, к которой вдумчивые люди приходят нередко только в старости, когда признаются, что всю жизнь шли неверным путем и что

детское чутье их не обманывало. Сначала такое убеждение вырастает на почве усталости от борьбы за свою веру, когда не хватает уже больше сил защищать ее от посягателей извне и хочется бежать от чужих людей и найти своих, среди которых можно оставаться правдивым и не скрывать своих убеждений, и не бояться насмешек и преследований. Затем, мысль о бегстве из мира начинает приобретать точку опоры в сознании бренности и суетности земных благ и окончательно утверждается на страхе ответственности пред Богом, когда становится все более ясным, что нельзя служить двум господам и что между правдою и ложью нет середины, что наша душа в *действительной*, а не в воображаемой, опасности и что нужно *спешить*, чтобы спасти ее... *Ведь Господь всем кающимся обещал спасение, но никому не обещал завтрашнего дня...*

И юность спешила навстречу Богу. И чем безгрешнее она была, тем больше спешила, тем большие требования предъявляла к себе...

А годы шли; время брало свое; недремлющие страсти крепили, немощи нарождались; что казалось верным вчера, стало казаться неверным сегодня; охладевали порывы; ослабевал страх Божий... На смену неуловимому чувству явились доводы разума, столь же различные, сколь различны умы человеческие, и с яростью великою обрушивались эти доводы горделивого ума на смиренную совесть и заглушали ее голос...

"Неужели же Всеблаготворец так жесток, что требует жертв от человека, требует отречения от мира и бегства от него?! Зачем же Он создал тогда этот мир!.. Но, если мир так ужасен, что губит даже мысль о Боге и спасении души, то тем нужнее оставаться в нем тем, кто живет этой мыслью, кто может работать и трудиться на пользу ближнего, вместо того, чтобы бежать из мира с мыслью о собственном спасении... Опасна не внешность, а отношение к ней, и гораздо большая заслуга в том, чтобы среди нечистоты остаться чистым, среди неправды мирской остаться верным Богу, чем бежать от неправды, не делая даже попыток вступать с нею в борьбу... Не только монастырь, но и рай не спасает сам по себе. И в раю первый человек, находившийся в непосредственном общении с Богом, пал жертвою своего греха, и среди апостолов, окружавших Христа Спасителя, был Иуда; а разбойник на кресте, проживший всю жизнь в миру разбоем и злодейством, был взят Господом на небо"...

И по мере этих нашептываний дьявольских, число бежавших навстречу Богу все уменьшалось. Одни не хотели, другие не умели распознать, какая непостижимая гордость скрывалась за этими нашептываниями, и поворачивали назад, не доверяя порывам стремительной юности, предпочитая дожидаться указаний зрелого возраста, а, дождавшись его, уже не возвращались больше к этим вопросам, забывали их и отдавались общему течению жизни, и разве только пред смертью тяжело вздохнули от сознания, что изменили своему долгу пред Богом, не выполнили своей задачи на земле... Остались только те, кто чутьем угадывал природу этих нашептываний, кто знал, что для того, чтобы идти в мир спасать других, нужно знать, *как это делать*, раньше, чем учить других, нужно научиться самому... Остались смиренные; и среди них остался и П.В.Окнов.

Ко времени окончания курса в гимназии, в 1879 году, его мирозерцание уже вполне определилось. В его сознании жизнь предносилась как служение Богу, как выполнение определенных обязательств, возложенных Богом на человека, под условием предъявления отчета, от которого зависит загробная участь человека. Он отвергал доводы горделивого ума, ниспровергавшего такую веру ссылаясь на то, что Бог не может занимать в отношении человека положения враждующей стороны; он и не пытался проникать в природу Божеских законов, ибо обладал уже духовным зрением в той степени, какая свидетельствовала, что законы Бога непреложны, и нарушение воли Божией вызывает возмездие по слову Господа: "Мне отмщение, Аз воздам".

С этим мирозерцанием он и вступил в Киевскую Духовную Академию, куда привлекала его и слава матери городов русских, и Киево-Печерская Лавра, с ее святынями и подвижниками, не останавливаясь перед тем, что аттестат зрелости, дававший ему право поступать без экзамена в одно из светских высших учебных заведений, не избавлял его от

вступительных экзаменов в Духовную Академию, особенно трудных для питомца светской школы.

Академия не была для П.В.Окнова этапом к духовной карьере. Как ни отчетливо он сознавал свою задачу на земле, как ни ценны для него были те цели, к которым он стремился, однако, не доверяя еще своим силам и учитывая значение иноческих обетов, П.В.Окнов поступил в Академию без мысли о монашестве. Он имел в виду служение Богу в сане священника, был одушевлен мыслью вернуться, по окончании курса в Академии, на родину и помогать отцу. Мысль о монашестве возникла у него позднее, под влиянием тех причин, с которыми он встретился уже в бытность свою студентом Академии. До этого времени П.В.Окнов, – хотя и шел тернистым путем к Богу, все же бодро смотрел вперед, успешно отбивался от всего, что осложняло путь... И препятствия на пути были небольшие, и руководство мудрых родителей было опорой.

С поступлением же в Академию, он остался один среди новых товарищей, и это время было периодом тяжких для него испытаний, заставлявших его все чаще прибегать к советам и наставлениям лаврских старцев и сообразовываться с их указаниями. Он шел в Академию с единственной целью запастись теми специальными познаниями, какие бы помогли ему вести дальнейшую борьбу с препятствиями на пути к Богу, облегчили бы выполнение его жизненных задач и нравственных обязательств. И он, с ужасом, заметил, что его товарищи по Академии не только далеки от этих целей, не только не отдают себе отчета в значении и цели приобретаемых ими познаний, но не проникнуты даже обычной для их возраста религиозной настроенностью, а пришли в Академию только за дипломом, чтобы использовать его с наибольшими для себя выгодами. Значительная часть этих товарищей, главным образом, сыновья духовенства, явились в Академию только потому, что не попали в Университет. Они не только ни во что не верили, но с крайним пренебрежением относились к пастырской деятельности своих отцов; и эти-то, по преимуществу, стремились к иночеству, чтобы избежать "ремесла" родительского. Идеи побуждений у них не было: был только расчет, ничем не прикрашенный.

Тяжело было общество таких товарищей для молодого П.В.Окнова, и он все чаще удалялся от них и в беседах со старцами искал отрады. Его страшило равнодушие к вопросам веры, этому единственному фундаменту истинного значения; но еще более страшило его то дерзновение, с которым его товарищи по Академии принимали иноческий постриг, давая страшные обеты Богу без решимости их исполнить, рассматривая монашество как путь к епископству и связанным с ним внешним благам.

Встретился он в Академии и с явлением, какое было для него новым и природу которого он не мог постигнуть. То нехорошее чувство зависти, какое он наблюдал среди своих товарищей по гимназии и какое рождалось на почве соревнования в науках, вытекало здесь из совершенно иных источников. Он увидел, что его товарищи по Академии питают это чувство не к тем, кто выдвигается своими способностями и прилежанием и вследствие этого пользуется преимущественным вниманием со стороны ректора или профессоров Академии, а к тем, кто проникнут религиозным настроением и следит за своим духовным ростом. Это открытие казалось ему чудовищным. Он понимал, что еще можно завидовать внешним преимуществам другого; это явление, к несчастью, обычно и распространено среди тех, кто стремится к земным благам и обладание ими ставит целью своей жизни... Но зависть к нравственным преимуществам, и притом среди воспитанников Духовной Академии, казалась ему невероятною. Между тем, он встретился с этим явлением не только в Академии, но и по выходе из нее, в монашеской среде, где оно находило особенно яркое выражение и где худшие из монахов не только завидовали лучшим, но и гнали и преследовали их...

Много путей ведет к иночеству, и разные люди разными путями приходят к нему. Одни – и таких большинство – уходят из мира с пустыми руками, идут в монастырь не с целью отречься от мирских благ, а с целью приобретать их, ибо вне иноческого пути не видят других путей к достижению этой цели. Это те, которые в своей массе составляют

монастырскую братию, вышедшую из крестьянской среды и променявшую земледельческий труд на монастырские послушания.

Пределом их желаний является сан иеромонаха. К ним примыкают и те из лиц с высшим академическим образованием, которые определенно стремятся к архиерейскому сану, посредством которого сливаются с высшим обществом, и чего настойчиво добиваются, несмотря на прирожденную оппозицию к его представителям, ибо, вне своего сана, оставались бы в скромной среде, их родившей. Эти печальные явления и дали повод для отрицательного отношения к институту монашества вообще. Но такое отношение всегда будет несправедливым. Покоится идея монашества на таком небесном основании, какое до скончания века останется незыблемым и какое, как магнит, будет всегда притягивать к себе человеческую душу, пока она не умерла духовно и пока не заглушила в себе искры Божественного огня, пока способна реагировать на правду и отзываться на зов Божий. В монастырь, правда, часто идут по житейским расчетам и соображениям; но навстречу идее иноческой идут только тонко чувствующие и глубоко мыслящие люди. И горе, и личные невзгоды, и усталость от борьбы с ними, и утрата веры в людей – заставляют многих укрываться за оградой монастырской... Стучатся в стены обителей и те, кто ищет разрешения вечных проблем жизни, ответов на свои запросы духа, кто мучится сознанием своей виновности пред Богом и подвигами покаяния желает восстановить свое душевное равновесие, нарушенное этим сознанием. Покидают мир и те чистые люди, которые делали попытки приспособиться к условиям мирской жизни, без измены заповедям Божиим, и, после неудачных попыток переделать мир, бегут из него, признав, вместе с епископом Игнатием Брянчаниновым, что оставаться в миру и спастись так же невозможно, как гореть в огне и не сгореть...

Но были и такие, которые шли навстречу иноческой идее, движимые только инстинктом сохранения души от гибели. Их не подавляла скорбь о содеянных грехах; они еще не несли за спиною того груза, какой нес блудный сын, возвращаясь к своему отцу; их юность не успела еще испытать ни горя, ни разочарований в жизни; они шли в монастырь даже без мысли сделаться лучше, а только потому, что боялись оставаться в миру, чтобы их не заклевали злые люди... Это те люди с тонкой и нежной душевной организацией, которые способны жить только в атмосфере правды, мира и любви, которые, по природе, не способны ни к какой борьбе и знают это, и не скрывают... Это наиболее робкие и смиренные люди.

И к этому разряду людей принадлежал и митрополит Питирим.

Тотчас после окончания курса в Духовной Академии, в 1883 году, молодой кандидат богословия П.В.Окнов принял и монашество. При каких обстоятельствах состоялся его иноческий постриг, я не знаю, но те сведения, какие сообщил мне почивший настоятель "Скита Пречистая" Киевской епархии, схиигумен Серафим, рисуют картину иноческого пострижения молодого П.В.Оконова совсем необычными красками. Юноша П.В.Окнов был так изумительно красив, что даже его восприемный отец, известный своей подвижнической жизнью старец, иеросхимонах Алексей (Шепелев), скончавшийся 10 марта 1917 года, в Голосеевской Пустыни, близ Киева, отговаривал его от пострига, предупреждая, что иночество явится для него чрезмерно тяжким крестным путем.

Стройный, изящный, с женственными манерами и движениями, безгранично деликатный и превосходно воспитанный, робкий и застенчивый, юноша Окнов обращал на себя всеобщее внимание. Его огромные, задумчивые глаза, окаймленные ресницами, бросавшими тень на залитые ярким румянцем щеки, прелестный овал бледно-матового лица и великолепные черные кудри, свисавшие до самых плеч, точно просили кисти художника, чтобы быть запечатленными на полотне, как отражение расцвета нежной юности.

"И зачем такому монастырь, – говорили в храме, – коли он и без монашества Ангел безгрешный; в чем ему каяться, горемычному"...

То потрясающее впечатление, какое произвел иноческий постриг П.В.Окнова на присутствующих в храме, не только не изгладилось из памяти, а десятки лет спустя передавалось с мельчайшими подробностями, ставшими и мне известными лишь в 1917 году, после революции, когда обстоятельства привели меня в помянутый Скит.

Первые годы его служения в иноческом сане были отданы педагогической деятельности в духовно-учебных заведениях. 16 августа того же 1883 года был назначен преподавателем в Киевскую Духовную Академию по догматическому богословию; впоследствии там же, как Рижский уроженец, свободно владевший немецким языком, преподавал и немецкий язык. Через 4 года, в 1887 году, он назначается инспектором Ставропольской семинарии, а затем ректором этой же семинарии. Но в этой последней должности в Ставрополе он остается недолго. Через год, по желанию митрополита С.-Петербургского, он переводится ректором в С.-Петербургскую Духовную семинарию и возводится в сан архимандрита. Нашла ли нежная, тонко чувствовавшая душа архимандрита Питирима то, чего искала в монашестве?! Ни мира, ни тишины, к каким стремилась его любвеобильная душа, он не нашел в монашестве. Наоборот, те подводные камни и груды препятствий, какими был усеян мирской путь к Богу, оказались в монашестве еще опаснее и были менее заметны, будучи предательски сокрыты за вдвойне обманчивой внешностью, вводившей в заблуждение даже искушенных опытом людей. Безгранично же доверчивый и чистый П.В.Окнов, с принятием монашества, очутился точно в плену у недобрых людей, обманывавших его и злоупотреблявших его доверчивостью. На этой почве возникало впоследствии много разных служебных огорчений, всею тяжестью своею ложившихся на Митрополита Питирима, тогда как он часто не знал даже, чем они были вызваны. С переводом же его в С.-Петербург, испытания еще более увеличились.

Вскоре после принятия монашества, П.В.Окнов был назначен ректором Петербургской Духовной семинарии. Об этой поре своей жизни и службе в Петербурге он вспоминал с великим сокрушением. Жизнь в столице и обязанности ректора семинарии нарушали его уединение, обязывали к приемам, каких он не выносил столько же благодаря своей застенчивости, сколько потому, что к нему являлись не за делом, а затем, чтобы посмотреть на него и завязать знакомство.

В 1894 году архимандрит Питирим возводится в сан епископа и назначается епископом Новгород-Северским, викарием Черниговского Архиепископа.

В бытность свою викарием в Чернигове Преосвященный Питирим снискал трогательную любовь своей паствы и привлекал к себе людей, как своими проповедями, так и необычным совершением богослужения. Об этой любви черниговцев к Владыке свидетельствует каждая страница летописи Черниговской епархии. При непосредственном участии Преосвященного Питирима состоялось и торжество прославления великого Угодника Божия Феодосия Углицкого, 9-го сентября 1896 года. Вскоре после означенного торжества Владыка получает самостоятельную кафедру и назначается епископом Тульским и Белевским, откуда, через 7 лет, переводится на кафедру епископа Курского и Обоянского и, спустя короткое время, возводится в сан архиепископа.

Здесь, в 1906 году, и состоялось мое знакомство с Преосвященным Питиримом, связанное с делом собирания мною материалов для жития Св. Иоасафа Горленка, епископа Белгородского, и предположенного прославления Святителя.

Отзывы о Преосвященном Питириме были исключительно восторженными. По словам П.Ф.Монтрезор, представительницы Курской аристократии и местной старожилки, Преосвященный пользовался такой любовью, как ни один из его предшественников, а, между тем, всегда был неуверен в себе, всегда чего-то боялся и жил точно под угрозой каких либо огорчений и испытаний. Мое личное впечатление от знакомства с Владыкою в полной мере подтвердило ее слова. Преосвященный Питирим встретил меня с большою любовью, всем сердцем отозвался на мою просьбу облегчить мне труд изучения архивов Консistorии и монастырей Курских и Белгородских, снабдил меня письмом к своему викарию, епископу Белгородскому Иоанникию, благословил предстоящие труды иконою

Знамения Божией Матери и проявил горячее участие в деле. При прощании со мною, Владыка подарил мне "Книгу Правил" в роскошном переплете и сказал: "Эту книгу никто не читает; многие не знают о том, что она существует; а между тем здесь закон Божий, Апостольские Правила и постановления Вселенских Соборов"... Как ни приветлив был Преосвященный Питирим, однако я не мог не заметить, что Владыка делал чрезвычайные усилия для того, чтобы казаться спокойным... В действительности же он был до того расстроен, так нервно истерзан, что с трудом говорил от мучительных спазмов в горле. Я не решался спросить о причинах волнения у Владыки и только впоследствии узнал, что таково было обычное состояние духа Преосвященного, всегда жившего под гнетом всяческих подозрений, в атмосфере неправды, недоговоренных слов и невысказанных сомнений.

Тяжела доля епископа, если он монах, если верен обетам, данным Богу, и страшится их нарушить. Тогда одиночество становится его уделом; а одиночество всегда окружено тайной, и даже затвор от нее не спасает.

"Я никогда не имел друзей, – сказал мне однажды митрополит Питирим, – я никогда не умел сливаться с окружающими: везде я был чужой, и меня не понимали... Среда деспотична, она требует жертв, каких я не мог давать без измены обетам, данным Богу".

Грубая, неинтеллигентная монашеская среда, состоявшая из лиц, удовлетворившихся наружным благочестием, но далекая от понимания сущности монашеского подвига, не могла, конечно, оценить ни настроения, ни побуждений юного подвижника, встретившегося при первых же шагах своей иноческой жизни с рядом исключительно тяжелых испытаний. И эти испытания не покидали его и тогда, когда он стал епископом... Наоборот, они сделались еще большими.

"Меня поражало, – говорил митрополит Питирим, – что даже епископы, достигшие того сана, который, сам по себе, вызывал со стороны мирян благоговение и почитание, старались приспособляться к настроению мирян вместо того, чтобы оберегать то настроение, с каким миряне приходили к ним. Старались казаться светскими, не зная светских правил, вставлять в разговор иностранные слова, не зная иностранных языков, красоваться манерами и тщеславиться тем, чем принято тщеславиться в мирской среде... Зачем все это нужно монаху, отрекшемуся от мира, да еще епископу?! Неужели они не знают, что в глазах мирян удельный вес каждого монаха заключается только в его молитвенной настроенности и истинном благочестии, и что он уже не монах, если озабочен тем впечатлением, какое производит... Ведь к нам приходят в гости не для того, чтобы поболтать, а приходят с измученной душой, с истерзанными нервами, с великим горем; приходят за помощью и поддержкой, а не для гостинных разговоров"...

И "гостей" Преосвященный Питирим у себя не принимал, и сам на подобные приглашения не откликался, считая совершенно недопустимым для епископа вести мирской образ жизни и следовать обычаям, обязательным в мирской среде. Этот факт, снискавший чрезвычайное расположение к Владыке со стороны благочестивых мирян, вызвал обратное действие со стороны прочих и создал почву, родившую всевозможные объяснения такой отчужденности от общества, привыкшего видеть в епископе лишь духовного сановника и предъявлявшего к нему свои обычные требования. Доверчивость Преосвященного к людям еще более осложняла его положение.

"Кому же после этого и верить, если нельзя верить даже монаху, давшему страшные обеты Богу", – возражал Владыка, когда ему указывали на такую доверчивость.

Преосвященный Питирим никак не мог привыкнуть к такой испорченности окружающих, не мог заставить себя быть подозрительным, чтобы не оскорбить таким подозрением своего ближнего, и, будучи чистым, считал чистыми и других. Этим пользовались дурные люди: в результате, их преступления всею тяжестью ложились на ни в чем неповинного Владыку, совершенно неспособного оправдываться. Эту последнюю черту нужно особенно подчеркнуть. Владыка был поразительно беспомощен, сознавая это, вдвойне робок и мнителен. Его женственная организация была выдержана до мелочей.

Достаточно было ничтожного повода, какого-нибудь непроверенного слуха, чтобы он терял душевное спокойствие.

"Как же мне не волноваться, когда я не умею защищаться и оправдываться, – говорил Владыка, – если бы мои враги захотели сделать меня вором и убийцей, сказали бы, что я зарезал человека, то и тогда бы я не сумел оправдаться... Я никогда ни на кого не нападал и не научился отбиваться от других; единственное мое оружие – это мое слово... Поверят мне – хорошо; а не поверят – я буду осужден, и только Всеведущий Господь скажет, на чьей стороне была правда... Да и кто же из покидающих мир иноков учился приемам такой борьбы!.. Мы и жить в миру не умеем; где же нам бороться"...

И как же немилосердно злоупотребляли этим свойством его окружавшие, как часто создавали умышленные поводы для тревог и беспокойства и запугивали смиренного Владыку!..

"Я – как цветок, – сказал мне однажды митрополит Питирим, – когда слышу, что меня бранят, то сейчас и завяну; а когда кто-нибудь ласково отзовется обо мне, тогда опять распускаюсь"...

Здесь сказывалась потребность его природы иметь мир и любовь со всеми. Только очень нежная и чуткая душа стремится к такой любви и миру и страдает, когда их не имеет, и не останавливается даже пред жертвами, чтобы получить их. Только натуры грубые и черствые, не озабоченные личным усовершенствованием, равнодушные к требованиям нравственной ответственности, не следят за этой потребностью и не удовлетворяют ее. Им безразлично отношение к ним окружающих, ибо безразлично их собственное отношение к окружающим. Им чуждо это влечение к мировой гармонии, свойственное лишь людям с очень тонкой и нежной психикой, которые не выносят неправды, задыхаются в атмосфере зла, нарушающего эти законы, и стремятся к миру и любви, восстанавливающим нарушенное равновесие их.

Митрополит Питирим страдал не только тогда, когда видел вражду, не братские отношения, злобу, неискренность и лукавство, но и тогда, когда встречался только с сумрачными, неприветливыми лицами... Он стремился к ласке, к миру и любви действительно так, как цветок стремится к солнцу, ибо это была его сфера, его жизнь. И сюда, в эту сферу, он звал окружающих, требуя, чтобы их взаимные отношения с ближними были абсолютно чисты, чтобы там не было ничего недоговоренного и невысказанного, чтобы царили искренность и правда.

Наступил сентябрь 1911 года. Приближалось время Белгородских торжеств, связанных с прославлением Угодника Божия Святителя Иоасафа. Десятки тысяч паломников стремились в Белгород. Между архиепископом Питиримом и губернатором М.Э.Гильхен возникли трения. Губернатор, ссылаясь на то, что торжество было церковное, находил, что прием почетных гостей является обязанностью епархиальной власти; архиепископ же отвечал, что он и сам на обеды не ездил, и у себя обедов никогда не устраивал, и не может принимать на себя забот о внешнем благоустройстве торжества, какое и для него лично, и для духовенства начинается и оканчивается только в храме. Несогласованность действий церковной и гражданской властей привела впоследствии к некоторым нестроениям, ответственность за которые пала на архиепископа Питирима, который, вскоре после окончания торжеств, и был переведен на Кавказ и назначен архиепископом Владикавказским и Моздокским. Это назначение явилось большим ударом для Владыки и дало много пищи для самой разнообразной клеветы.

С отъездом архиепископа Питирима на Кавказ, наши отношения оборвались. Через два года, в 1913 году. Владыка переводится на кафедру архиепископа Самарского и Ставропольского, а 26 июня 1914 года назначается Экзархом Грузии.

Наступил перерыв в несколько лет, в течение которых я не видел Владыку и не переписывался с ним. Я встретился с ним только за год до назначения его на Петербургскую кафедру, когда, будучи уже Экзархом Грузии, Владыка приезжал по делам в Петербург, остановившись в Александро-Невской Лавре, куда я случайно забежал.

С безграничной лаской и той любовью, какая всегда отличала Владыку, встретил он меня в Лавре.

"А знаете ли, – сказал мне Владыка, – я мысленно погрешил против Вас"...

"В чем?" – спросил я удивленно.

"Я думал, что и Вы были в числе тех, кто старался разлучить меня с моею возлюбленною Курскою паствою; а потом мне сказали, что это были происки моих врагов, которые, будто бы, натравили на меня Распутина, добивавшегося у Саблера моего увольнения на покой... Я этому, конечно, не верил, ибо именем Распутина спекулируют все, кому охота. Позднее, уже на Кавказе, я узнал, что враги мои сидели в Курске, а не в Петербурге, и интриговали против меня. Работал, нужно думать, и Курский губернатор, не возлюбивший меня, что, однако, не мешало ему, во время Белгородских торжеств, ни на шаг не отходить от меня, особенно в местах скопления народа. Он боялся покушения и совершенно откровенно заявлял мне, что надеется на защиту моего омофора и боится отходить от меня"...

Я невольно улыбнулся, представляя себе эту картину, как губернатор прятался за спиною архиепископа и как робкий Владыка тяготился таким близким соседством, опасаясь, что шальная пуля, или бомба, предназначенная губернатору, убьет его.

"Может быть, за то, что Вы невинно пострадали, Господь и вознес Вас теперь, окружил людьми, какие Вас любят еще больше, чем в Курске", – сказал я.

Владыка перекрестился и ответил:

"На Кавказе не трудно заручиться самой искренней и глубокой любовью. Кавказ так мало требует от своего архипастыря: просит только позволения молиться на родном языке... А Петербург этого не понимает; ему все рисуются какие-то страхи и опасения, что за этой просьбой Кавказской паствы скрываются политические мотивы, идея сепаратизма, стремление к политической автономии... Эти опасения ни на чем не основаны. Если Кавказ когда-либо и возбудит такие домогательства политического свойства" то будет опираться на совершенно иную почву, а не религиозную. Те кучки злонамеренных людей, которые сеют смуты и кричат об автономии Кавказа, ни во что не веруют, им никакой религии не нужно, и это Вы знаете по Кавказским депутатам в Думе. Те же, кто обращается ко мне, являются самыми преданными сынами Православной Церкви, и я не могу отказывать их просьбе и совершаю богослужение то на Грузинском, то на Осетинском языках, и народ горячо благодарит меня за это... Если бы Вы видели, с каким умилением они молятся, с каким благоговением стоят в храме... В нашей средней полосе, ни в селах, ни в городах Вы таких картин не увидите... А, между тем, мои взгляды не всеми разделяются... я и приехал сюда по этому делу, чтобы рассеять страхи; но не знаю, чем кончится моя миссия.

В моем понимании вообще не укладывается требование заставлять паству молиться на непонятном ей языке. Огромное большинство моей паствы с трудом разбирается в русском языке; где же ей понимать церковно-славянский. Нельзя политику делать орудием религии и наоборот"...

Я искренне разделял взгляды Владыки и понимал, почему его так горячо полюбила Кавказская паства... Владыка был первым Экзархом Грузин, с действительной отеческой любовью подошедший к своей пастве и в короткое время изучивший едва ли не все кавказские наречия, чтобы ближе стать к ней и приблизить ее к своему любящему сердцу. Он определенно осуждал политику своих предшественников, стремившихся к русификации Каказа и презрительно относившихся к Кавказскому "жаргону" и преследовавших православное кавказское духовенство за совершение богослужения на местном языке. Наоборот, он считал обязательным совершение богослужения на языке Края, именно с целью воспитания у своей паствы здоровых религиозных начал, как наиболее прочного фундамента и политической благонадежности, и выражал глубочайшее сожаление, что политика его предшественников задерживала религиозное сознание Кавказа и может дать весьма горькие плоды. Последующие события показали, насколько глубоко был прав Владыка.

Чем кончились переговоры Владыки в Синоде, я не знаю. Вскоре он уехал, и я с ним встретился вторично уже тогда, когда Владыка, в сане митрополита Петербургского и Ладужского, прибыл в столицу.

Назначение Преосвященного Питирима Экзархом Грузии совпало с тем моментом, когда имя Распутина уже гремело по всей России, и та же молва, какая несколько лет тому назад приписала Распутину увольнение Владыки из Курска, стала утверждать, что Распутин способствовал назначению его на кафедру Экзарха Грузии, и что новый Экзарх ведет антиправительственную политику на Кавказе, содействуя его политической автономии. С назначением же Преосвященного в Петербург нападки революционеров стали еще более яростными... Владыку стали обвинять во вмешательстве в государственные дела, в интригах против его предшественника, митрополита Владимира, перемещенного в Киев, и в открытой дружбе с Распутиным. Широкая публика, конечно, не разбиралась в этих слухах, не могла подметить в них выражения тонко задуманных и умело проводимых революционных программ и не только верила, но и вторила этим слухам. Мало кто знал, что схема развала России была уже разработана до мелочей и планомерно осуществлялась не только в тылу, но даже на фронте... Государственная Дума, печать, тайная агентура врагов России, имея общую программу, распределяли роли и задания, сводившиеся к одной цели – как можно скорее вызвать революцию.

Не только правительство в полном составе, но и каждый честный верноподданный подвергался жестокой травле и, чем опаснее были эти люди революционерам, тем безжалостнее их преследовали. Положение Первоиерарха русской Церкви, само по себе, даже безотносительно к личности митрополита Питирима, обязывало к наиболее ожесточенному натиску со стороны гонителей христианства, и, конечно, митрополиту Питириму, не умевшему защищать даже самого себя, было не по силам отражать такие натиски. И в предреволюционное время в России, действительно, не было имени более одиозного, чем имя митрополита Питирима; не было человека, которого бы преследовали и гнали с большей жестокостью и злобой, как личные, так и политические враги; не было более тяжких обвинений, чем те, какие предъявлялись смиренному и робкому Владыке.

А между тем, все, кто знал митрополита Питирима, знали и то, что не было человека более робкого и смиренного, более беспомощного, кроткого и незлобивого, более отзывчивого и чуткого, более чистого сердцем...

Столица встретила нового митрополита неприветливо и недружелюбно. За ним утвердилось прозвище "распутинец" еще прежде, чем Владыка был назначен на Петербургскую кафедру. Перевод митрополита Владимира в Киев также приписывался влиянию митрополита Питирима. В составе братии Александро-Невской Лавры все приверженцы митрополита Владимира были его врагами; в среде столичного общества новый митрополит также не имел опоры и не искал ее, а, наоборот, еще более вооружил это общество против себя, нарушив традиционный обычай делать визиты высокопоставленным лицам и наиболее известным прихожанам. Синод сразу же стал в резкую оппозицию к Митрополиту, а Обер-Прокурор А.Н.Волжин проявлял ее даже в формах, унижавших сан Владыки Питирима. Положение митрополита Питирима в Синоде было исключительно тяжелым и осложнялось еще тем обстоятельством, что митрополит Владимир и после перевода своего в Киев сохранил в Синоде первенство, а митрополит Питирим, как младший по времени назначения, занимал третье место... Насколько тягостно было участие митрополита Питирима в сессиях Синода, свидетельствует, между прочим, и тот факт, что за мою бытность Товарищем Обер-Прокурора Синода митрополит Питирим не произнес в Синоде ни одного слова и не принимал в рассмотрении дел никакого участия. Он приезжал в Синод, молча здоровался с иерархами и молча уезжал, ни с кем не разговаривая. И это было тогда, когда Владыка имел, в лице нового Обер-Прокурора и Товарища, своих друзей. При А.Н.Волжине же его положение было еще тягостнее.

Вполне понятно, что, при этих условиях, митрополит Питирим искал помощи и поддержки, и когда, после знакомства со мною, 10-го октября 1915 года, Императрица

осведомилась обо мне у митрополита Питирима, то Владыка дал обо мне добрый отзыв, не скрывая и от меня, что желал бы привлечь меня на службу в Синод, и жалуясь на нестерпимые условия, его окружавшие.

Связанный долголетней дружбою с митрополитом Питиримом, я навещал его, когда позволяло время, и нередко беседовал с ним по поводу Распутина и тех легенд, какие витали вокруг этого злополучного имени. И как-то однажды Владыка сказал мне:

"Я всегда боялся оскорбить своего ближнего недоверием к нему и к его словам. Не моя вина, что меня обманывали. Мне часто говорили, что я не должен был вовсе принимать тех или иных людей, или же держаться с окружающими на известном расстоянии, соответственно своему сану и положению. Я и пробовал это делать, но ничего не выходило: сердце всегда низводило меня с такой искусственной позиции. Я не мог приучить себя к таким неестественным положениям... Наоборот, чем проще, беднее были приходящие ко мне, чем больше они смущались и терялись, приближаясь к архипастырю, чем смиреннее они были, тем ближе я подходил к ним и крепче прижимал их к своему сердцу. Один вид их уже умилял меня и растворял сердце любовью к ним; и где же тут было думать о высоте своего сана, когда вознесенный Господом на высоту этого положения, я часто сознавал себя и хуже, и грешнее этих маленьких людей, обиженных судьбою, обессиленных нуждою, придавленных горем... Тогда только одна мысль жила в моем сердце: как бы облегчить их горе, как бы помочь, утешить, обласкать... О, если бы вы знали, как мне было тяжело потом выслушивать замечания от других, указывавших мне, что того-то я не должен был вовсе принимать, с тем-то я обошелся ласковее, чем нужно было, а тому-то пообещал помочь вместо того, чтобы прогнать от себя... Может быть, с точки зрения житейской мудрости все эти советы и были ценными, но в них не было нужды, как не было бы нужды и в необходимости изощряться в тонкостях отношения к людям, если бы не был утрачен истинный фундамент жизни – любовь. Чем меньше ее вокруг нас, тем больше мы должны давать ее. Есть даже пословица "среди волков жить, по-волчьи выть", и она признается выражением народной мудрости... Так неужели же и мы, архипастыри, должны ей следовать, вместо того, чтобы превращать волков в ягнят?!"

Что касается Распутина и отношения к нему общества и печати, то нужно только удивляться тому, насколько далеко ушла современная мысль от истинного понимания того, что происходит. Не я нужен делателям революции, а мое положение митрополита Петербургского; им нужны не имена, и лица, а нужна самая конструкция государственности; если бы наша общественность не была революционною, то поняла бы, что без "Распутиных" не обходится никакая революция. "Распутин" – имя нарицательное, специально предназначенное для дискредитирования Монарха и династии в широких массах населения. Носителем этого имени мог быть всякий близкий ко Двору человек, безотносительно к его достоинствам или недостаткам. Идея этого имени заключается в том, чтобы подорвать доверие и уважение к личности Монарха и привить убеждение, что Царь изменил Своему долгу перед народом и передал управление государством в руки проходимца. Ведь чем-нибудь да нужно легализовать насильственный акт ниспровержения Царя с Престола и оправдать его в глазах одураченного населения!.. Вот почему о преступлениях Распутина кричат по всему свету, а в чем эти преступления заключаются – никто не может сказать... С Распутиным я стал встречаться только в Петербурге, а назначен был сюда по рекомендации Наместника Его Величества на Кавказе графа Воронцова-Дашкова и после личного посещения Государем Императором Кавказа. Его Величеству было угодно посетить Собор, присутствовать на богослужении, выслушать мое приветственное слово и одарить меня Своим высокомиловитым вниманием. Моя паства горячо меня полюбила, и в беседе со мною Государь отметил этот факт и особенно подчеркнул его. Тогда же Его Величество и выразил пожелание видеть меня на кафедре Петербургского митрополита. Меня испугало такое преднамерение, и я решился просить Государя оставить меня на Кавказе, с которым уже успел сродниться, и в то же время сказал графу Воронцову, что, в виду имевшихся уже претендентов, Государь, в случае желания

поощрить меня, мог бы пожаловать меня саном митрополита, с оставлением Экзархом Грузии. Я сказал это именно потому, что боялся перевода в Петербург, ибо предвидел, какое горе и какие скорби меня там ожидают. Однако перевод состоялся. Императрица также сказала мне, что остановила Свой выбор на мне только потому, что знала о любви, какую питала ко мне моя Кавказская паства, и желала иметь и в столице архипастыря, который бы пользовался такой любовью.

Когда же я приехал в столицу, то стали говорить, что Распутин меня назначил... Контуры революции стали вырисовываться предо мною еще на Кавказе, и когда я стал предупреждать о грядущих бедствиях, тогда стали громко кричать, что я вмешиваюсь в политику... Мне не верили... Значение Распутина было для меня ясно... Он был первой жертвой, намеченной революционерами, теми самыми людьми, которые одновременно и спаивали его, и создавали всевозможные инсценировки его поведения, а затем кричали о его развращенности и преступлениях. Несомненно, что Распутин, озабоченный впечатлением, какое производил на Их Величеств, распоясывался за порогом Дворца и подавал повод к обвинениям в неблаговидном поведении... А сколько великосветских, придворных кавалеров распоясывалось еще более, проводя ночи в кутежах!.. Почему же оскорбленное в своих лучших чувствах общество, Дума и печать не кричат о них?.. Потому, что эти крики о Распутине вовсе не вытекали из оскорбленного нравственного чувства общества, а создавались умышленно теми, кто делал революцию и пользовался этим обществом как своим орудием. Ведь сейчас почти нет людей, не попавших в расставленные революционерами сети... Один министр, например, говорит, что боится Распутина и принимает его у себя втихомолку, в отдельном кабинете, чтобы никто не видел; а потом кричит, что его не знает и незнаком с ним... Другой вовсе не принимает в министерстве, а принимает у себя на дому, с черного хода; третий подсылает Распутина ко мне и назначает свидание с ним в моих покоях... Разве это не гипноз"...

И, делясь со мною своими сокровенными думами и горестными переживаниями, митрополит Питирим старался привлечь меня на свободную вакансию Товарища Обер-Прокурора Св. Синода, надеясь найти в моем лице поддержку и опору для каждого, кто знал об отношениях, связывавших меня с митрополитом, такое желание казалось вполне естественным; но А.Н.Волжин, плохо разбиравшийся в окружавшей его обстановке и видевший опасность всегда там, где ее не было, объяснял такое желание иначе. Ему казалось, что митрополит Питирим желает добиться его отставки и моего назначения на его место. Здесь источник недоброжелательства А.Н.Волжина как к митрополиту, так и ко мне; обвинения же нас обоих в близости к Распутину были пристегнуты лишь с целью объяснить это недоброжелательство менее прозаическими причинами. Между митрополитом и А.Н.Волжиным шла ожесточенная борьба, и, чем энергичнее Владыка настаивал на моем назначении, тем упорнее А.Н.Волжин тормозил его. Однако победителем в этой борьбе суждено остаться митрополиту Питириму.

Глава XXV. Назначение Н.Ч. Заиончковского

Кончился 1915 год, а Обер-Прокурор все еще не подыскал себе Товарища, вакансия, по-прежнему, оставалась свободной. Моя кандидатура выдвигалась все более упорно, а, в связи с этим, отношения мои с А.Н.Волжиным все более обострялись. Оглядываясь теперь на прошедшее, оцениваемое мною столько же объективно, сколько и беспристрастно, я не могу упрекнуть себя в том, чтобы питал к А.Н.Волжину какое-либо недоброжелательство, хотя для этого и имелись, казалось бы, основания. Лично я был до того далек от мысли о возможности моей кандидатуры на пост Товарища Министра, как по своему возрасту, так и по служебному стажу, что не мог относиться недоброжелательно к тем, кто держался такого же мнения. О том же, что Императрица в письмах Своих к Государю настаивала на моем назначении, мне не было известно, и я был убежден, что моя прошлогодняя аудиенция у Ея Величества, несмотря на слова С.П.Белецкого и непрекращавшиеся поздравления с "высоким назначением", не даст и не может дать никаких практических результатов, тем

более, что Государыня не вызвала меня к Себе, и со времени первой аудиенции прошло уже три месяца. Я продолжал свою службу в Государственной Канцелярии и был уверен, что обо мне забыли... Ко мне доходили отголоски недоброжелательства А.Н.Волжина; но я не обращал на них внимания, зная цену осуждениям ближнего... Люди гораздо чаще осуждают другого, чтобы похвалить себя и подчеркнуть свои преимущества, чем с целью нанести обиду, и редко делают различие между "рассуждением" и "осуждением". А.Н.Волжин казался мне только жалким, неспособным обнять ни сущности политического момента, ни той закулисной игры, которая создавала этот момент, ни той работы, которая велась в миллионы рук, чтобы одурачить общественное мнение и ввести его в заранее намеченное русло. У меня рождалось лишь досадное чувство от сознания, что даже министры не разбираются в "общественном" мнении и не только повторяют то, что им это мнение диктует, но и верят ему. И это казалось мне тем более удивительным, что то же общественное мнение особенно не щадило А.Н.Волжина; поэтому он должен был бы знать цену ему. При всем том, мое решение отказаться от сотрудничества с А.Н.Волжиным было непоколебимым.

Вот почему я был безгранично изумлен, когда, случайно встретившись со мною, член Совета Министра Народного Просвещения, Николай Вячеславович Заиончковский, сказал мне:

"Ну, поздравляю Вас Товарищем: дело решенное"...

"Каким Товарищем?" – удивился я.

"Ну, да разве Вы не знаете?! Теперь уже скрывать не нужно", – ответил Н.Ч.Заиончковский, крепко пожимая мне руку. Я не знал, что означает такая мистификация. Я не мог допустить того, чтобы назначение могло состояться помимо меня и, притом, в тот момент, когда отношения, создавшиеся между мною и А.Н.Волжиным, абсолютно этого не допускали... И в моем воображении рисовались уже перспективы безвременного скандала, который сделался бы неизбежным, если бы я подал прошение об отставке в день своего назначения и мотивировал бы свое ходатайство нежеланием служить вместе с А.Н.Волжиным.

Настали моменты мучительных переживаний, ибо я ни откуда не мог узнать правды... Впрочем, такое состояние неизвестности длилось недолго. Несколько дней спустя, С.П.Белецкий сообщил мне, что в заседании Совета министров А.Н.Волжин выставил кандидатуру на пост Товарища Обер-Прокурора Св. Синода того самого Н.Ч.Заиончковского, который, за неделю перед тем, поздравлял меня с этим назначением.

"В тоже время, – добавил С.П.Белецкий, – Обер-Прокурор намерен возбудить ходатайство об учреждении должности второго Товарища и на эту последнюю представить Вас".

Назначение Н.Ч.Заиончковского не только не задело меня, а, наоборот, заставило облегченно вздохнуть, в надежде, что исчезнет почва для дальнейших сплетен и газеты оставят меня в покое... Однако мало кто знал о моем решении отказаться от сотрудничества с А.Н.Волжиным, и, на смену прежним приветствиям и поздравлениям, явились выражения недоумения, сожаления и сочувствия со стороны тех, кто считал меня обойденным и обиженным.

Мне придется забежать значительно вперед, чтобы рассказать об обстоятельствах, вызвавших назначение Н.Ч.Заиончковского, о которых я узнал лишь в конце 1916 года, уже в бытность свою Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода.

А.Н.Волжин был убежден не только в том, что моя кандидатура была выдумана Распутиным, но и в том, что я лично пользовался Распутиным для достижения своих целей, якобы сводившихся к назначению меня Товарищем Обер-Прокурора с тем, чтобы впоследствии свалить А.Н.Волжина и сесть на его место. При таком убеждении было понятно, какое впечатление производили на А.Н.Волжина слова Государя Императора, напоминавшего ему о моем назначении.

Время шло... Государь Император, занятый на фронте, не мог, конечно, сосредоточивать Своего внимания на этом вопросе... Личные доклады А.Н.Волжина Его

Величеству были редки, и он пользовался этим для того, чтобы под всякими предлогами, затягивать вопрос о замещении вакансии, измышляя, в то же время, способы избавиться от нежелательного кандидата. Казалось, чего было проще высказать Государю Императору свои сомнения и подозрения, обосновать их доказательствами, если они были, поискать у себя гражданского мужества для того, чтобы разойтись с Государем в оценке кандидата, а затем, если бы такие попытки не удались и Его Величество продолжал бы настаивать на моей кандидатуре, тогда... выйти в отставку, с сознанием исполненного долга... перед Думой и создавшимся ею общественным мнением. Но А.Н.Волжину хотелось и одобрение Думы заслужить, и портфель свой сохранить: он и придумал тот способ, какой можно было бы назвать даже остроумным, если бы он привел к ожидавшимся результатам.

Убедившись в том, что личные доклады не достигнут цели, ибо Его Величество продолжал настаивать на моем назначении, А.Н.Волжин послал Государю письменный доклад, в котором ссылаясь на крайнюю запущенность Синодальных дел и личную переобремененность делами и ходатайствовал об учреждении должности второго Товарища Обер-Прокурора с тем, чтобы имеющаяся вакансия была предоставлена тайному советнику Н.Ч.Заиончковскому, а мне, как младшему, имевшему меньший служебный стаж, – вновь создаваемая должность второго Товарища.

Государь Император, конечно, не предполагал интриги и того, что этот доклад являлся лишь тактическим приемом А.Н.Волжина, с целью избавиться от нежелательного ему кандидата; ибо, разумеется, А.Н.Волжин был убежден, что враждебно настроенная к Синоду Государственная Дума никогда не отпустит кредитов на учреждение новой должности второго Товарища и мое назначение, таким образом, никогда не состоится. Однако же, не предполагая интриги, Государь Император не ограничился на этот раз обычным начертанием "Согласен", а написал на докладе А.Н.Волжина: *"Согласен, но с тем, чтобы на должность второго товарища Обер-Прокурора Синода был представлен князь Жевахов"*.

Передавая мне об этом, директор канцелярии Обер-Прокурора В.И.Яцкевич добавил, что А.Н.Волжин, после своей отставки, взял свой доклад, с Высочайшей резолюцией, и в делах канцелярии его не имеется. Предусмотрительно!

До сих пор вопрос о моем назначении вращался в области разговоров и не выходил за пределы ее; отныне же Высочайшая воля была зафиксирована Собственноручной резолюцией Государя, и А.Н.Волжин очутился в трагикомическом положении. Он не только был вынужден возбуждать перед Думой совершенно безнадежное ходатайство, но и оправдывать его вескими данными, т.е. заставлять других верить, в то, во что он сам не верил. И это в то время, когда Дума так безжалостно его терзала, когда он искал путей к сближению с ней и не находил их, когда Синодальный бюджет еще не был рассмотрен Думой, и впереди рисовались грозные перспективы бюджетных прений и Думских "запросов"! Задача оказалась до того нелепой, что для того, чтобы выйти из тупика, понадобились чрезвычайные усилия, чрезвычайные ходы...

И вот, А.Н.Волжин, жалуясь на свою горькую долю, рассказывает члену Думы В.Н.Львову (нашел кому рассказывать!!) о том, как на него насаждают "темные силы", с которыми он бессилен бороться; как я, опираясь на Распутина, явился к нему с требованием предоставить мне должность непременно с десяти тысячным окладом; как, в ответ на заявление, что такой должности нет, я потребовал учреждения новой должности Товарища Обер-Прокурора, и он был вынужден уступить моему требованию...

Зачем же А.Н.Волжин вел такую неумную игру? Был ли он действительно убежден в моих отношениях с Распутиным, с которым, кстати сказать, я даже не встречался в последние 5 лет? Боялся ли он конкуренции со мною, в чем утверждали его те, кто приписывал мне большую осведомленность в сфере церковных дел, или, попросту, желал этим сбросить тяготевшее над ним самим обвинение в том, что он получил свое назначение по проискам Распутина?

Не знаю. Но личного своего престижа перед Думой А.Н.Волжин эту игру не укрепил, а В.Н.Львов получил отменный материал для своей громовой речи 29 ноября 1916 года, несомненно, еще более им приукрашенной, и использовал его для тех целей, над которыми трудилась вся Дума, нанося, чрез головы членов правительства, удары по России и монархии и разрушая русскую государственность.

Глава XXVI. Старые песни на новый лад

Вопреки моим ожиданиям, назначение Н.Ч.Заиончковского не избавило меня ни от газетных сплетен, какие еще более усилились, ни от свиданий с А.Н.Волжиным, какие участились. Вынужденный хлопотать об учреждении должности второго Товарища и получив прямое повеление Государя представить меня на эту должность, А.Н.Волжин был вынужден не только входить со мною в общение, но и заботиться о том, чтобы сохранить мое доверие к себе... С этой целью, скрывая от меня истинные мотивы учреждения новой должности, А.Н.Волжин впервые сообщил мне о воле Государя и поспешил меня уверить в том, что воля Монарха для него священна. Получалось впечатление, что он искренне желает загладить прежние шероховатости в отношениях со мною и, в виду предстоящей совместной работы, желает расположить меня к себе.

Я искренне ему верил; были даже моменты, когда я колебался в своем решении отказаться от сотрудничества с ним. Не зная истинных мотивов перемены отношения ко мне А.Н.Волжина, я объяснял их в его пользу, и мне было даже жалко его, так нуждавшегося в поддержке, в искренности и доброжелательстве и находившего вокруг себя только предательство, лукавство и измену. Я видел, что, после назначения Н.Ч.Заиончковского, положение А.Н.Волжина окончательно пошатнулось; что высшие сферы от него отвернулись, что идея создания должности второго Товарища Обер-Прокурора не встретила сочувствия ни в церковных кругах, ни среди Синодальных чиновников, и вооружила против него Думу; а Н.Ч.Заиончковский, своею резкостью, вооружил против него Синод... И я думал, что, приглашая меня к себе, А.Н.Волжин убедился в недобросовестности тех, кто вооружал его против меня, и желал загладить неблагоприятное впечатление от прежних бесед...

Увы, мне только так казалось: искренним со мною А.Н.Волжин не был, и в ближайшие дни я в этом окончательно убедился.

Газетная травля А.Н. Волжина не прекращалась: каждый шаг его, каждое распоряжение находили злобное и искаженное отражение в газетах информируемых одним из мелких чиновников Хозяйственного Управления Синода при ближайшем участии, как мне передавали, директора этого Управления Осецкого. Само собою разумеется, что вопросу о создании новой должности Товарища Обер-Прокурора отводилось главное место.

Все эти газетные сплетни давно уже потеряли в моих глазах прелесть новизны: я читал лишь вырезки, какие присылались мне анонимно по почте, оставляя без внимания газеты. Как-то однажды появилось пропущенное мною в газете сообщение о том, что, в виду учреждения в ближайшем будущем должности второго Товарища Обер-Прокурора, Н.Ч.Заиончковский, как бывший член Совета министра народного просвещения, сохранит за собою только учебное дело; все же прочие его обязанности, в том числе и заведование Хозяйственным Управлением, будут возложены на меня.

Для меня было совершенно очевидно, кто дал материал для такого сообщения. Осецкий, ненавидевший Обер-Прокурора и его Товарища, возлагал большие надежды на то, что, с моим назначением, ему удастся избежать ответственности за те проступки и упущения по службе, в каких он подозревался, и такого рода газетные статьи преследовали единственную цель подсказать Обер-Прокурору порядок распределения обязанностей между Товарищами Обер-Прокурора в желательном для Осецкого направлении.

Как ни нелепа была статья, однако А.Н.Волжин встревожился и... пригласил меня к себе. Ничего не подозревая, я поехал к нему.

После обычных любезностей, А.Н.Волжин, подавая мне газету, спросил меня: "Вы читали это?"..

"Нет", – ответил я, – пробежав статью и возвращая газету. "Но кто же сочиняет такие нелепости?" – раздраженно спросил меня А.Н.Волжин.

"Не знаю", – ответил я спокойно.

Последовала пауза, которой я воспользовался для того, чтобы встать и откланяться. А.Н.Волжин был до того озадачен этим, что не решился меня удерживать.

Поверит ли мне А.Н.Волжин, если я скажу, что даже в этом моменте обидных для меня подозрений, я страдал гораздо больше не от сознания оскорбленного самолюбия, а от того, что не мог внушить А.Н.Волжину доверия к моей безоблачной искренности, доказать ему всю непричастность мою к распускаемым обо мне слухам и то, с какими целями и кем эти слухи распускались. Мне было досадно, что я не мог вытащить его из той тины лжи, какой он был окружен и какой не замечал. Но руки мои были связаны... Предубеждение А.Н.Волжина сковывало мои уста, и малейшая попытка разрушить это предубеждение была бы истолкована А.Н.Волжиным как желание добиться во что бы то ни стало портфеля Товарища Обер-Прокурора Св. Синода. Если бы А.Н.Волжин был большим психологом, то понял бы, кто и почему на его вопросы, "кто же сочиняет такие нелепости", я ответил односложно "не знаю", вместо того, чтобы на оскорбление ответить оскорблением или иным образом доказать ему всю непристойность подобного вопроса, обращенного ко мне.

Но то, чего не делал я, то делали за меня обстоятельства, помимо моей воли и моего участия: чем больше А.Н.Волжин преследовал меня своими подозрениями и сомнениями, чем меньше я защищался от его нападков, тем более укреплялись мои позиции, и тем больше колебалось положение А.Н.Волжина. В результате он оказался вынужденным не только зазывать меня к себе, но и интересоваться моим отношением к нему, продолжая, в то же время, считать меня главным виновником всех своих бед.

Вскоре после назначения Н.Ч.Заиончковского я был вызван к Ея Величеству.

Глава XXVII. Высочайшая аудиенция

В скромном одеянии сестры милосердия, с белою повязкою на голове, приняла меня в этот раз Императрица. До чего грустным было это свидание! То было время, когда Дума и прогрессивная общественность, мечтая о ниспровержении монархии, с особою силою и азартом развивали свой натиск на Россию и в своем безумии безжалостно терзали Императрицу возмутительнейшей клеветой. И это тогда, когда, изнемогая от личных болезней, подавленная тяжкими обидами и оскорблениями. Государыня не выходила из лазаретов, работая до обмороков, утешала страждущих, делала перевязки раненым, поддерживая силы и бодрость духа окружающих... Сколько величия нравственного нужно было иметь для того, чтобы в эти моменты личных страданий думать о тех, кто подвергался такой же травле со стороны прогрессивной общественности, ободрять и утешать их...

В вызове меня к Ея Величеству сказался деликатный жест Императрицы в отношении того, кого считали обиженным и обойденным, и я это почувствовал с первых же слов, обращенных ко мне.

Я имел случай лишний раз убедиться в проницательности и глубине ума Государыни и в том, насколько ясно Ея Величество видела закулисную игру А.Н.Волжина и как верно расценивала эту игру. Несомненно, что Императрица была задета отношением А.Н.Волжина ко мне, как Ея кандидату; но неискренность А.Н.Волжина, заставлявшая его прибегать ко всевозможным уловкам, чтобы скрыть ее, производила на Государыню вдвойне тяжкое впечатление.

"Он слишком параден для того, чтобы быть Обер-Прокурором Св. Синода, где требуются простые, скромные, верующие люди, где нужно общение с людьми, с которыми он и разговаривать не умеет", – сказала мне Императрица.

Как ни метка была такая характеристика, но я вынужден был промолчать из опасения, что даже малейшее осуждение А.Н.Волжина, самый незначительный намек на характер

наших отношений с ним могли быть истолкованы как приемы борьбы между соперниками из-за власти.

Разговор коснулся общегосударственных вопросов.

Я был поражен не только удивительно меткими характеристиками государственных деятелей, но и той осведомленностью Ея Величества, какая, казалось, проникала в самую толщу государственной жизни России и охватывала все стороны ясной этой жизни. Я видел, что *только одна* Императрица отдает Себе отчет в том, что происходит в действительности, что Ее проницательный ум и обостренное страданиями чутье знают выходы из тупика, и что Императрица могла бы спасти Россию, если бы к Ее голосу прислушивались и не отождествляли этого голоса с голосом Распутина...

Тогда такое мнение разделялось лишь немногими; теперь же, когда предвидение Императрицы оправдалось в полной мере, а опубликованная переписка Ея Величества с Государем Императором раскрыла действительный облик Государыни, схему Ее государственных программ и способы их выполнения, теперь это мнение высказывается все чаще.

"Но ведь этот человек играет двойную игру: он обманывает одновременно и Государя, и Думу, – сказала Императрица, давая свой отзыв о деятельности М.В.Родзянко в Думе. – Он во власти своего безмерного честолюбия, и Дума нужна ему лишь постольку, поскольку питает эту страсть. Разве он думает о России?! Он думает только о своем авторитете в глазах левых членов Думы, полагая, что они в этот момент сильнее правых. Он рассказывает Думе, что предъявлял Государю даже требования и заставлял Его Величество выполнять их, а, между тем, в последний раз Государь даже не принял его. Он входит в кабинет Государя таким маленьким, маленьким, – и здесь Императрица нагнулась и указала расстояние от пола на четверть аршина, – а выходит из кабинета таким важным, напыщенным, точно и в самом деле одержал победу над Государем. Какие мелкие люди, какое отсутствие долга перед Государем и Россией!!

Слушая Императрицу, я не знал, что можно было добавить, к этой замечательной характеристике.

Для меня было совершенно очевидно, что Думу следует не только упразднить, как ненужное и вредное учреждение, тормозившее работу правительственного аппарата и разрушавшее государственную машину, но и казнить, в лице наиболее преступных ее членов, заведомых революционеров, посягавших на трон и династию. Отвечая Императрице, я сказал:

"Корень государственного зла заключается в самой Думе: пока она не будет упразднена, до тех пор Правительство вынуждено топтаться на одном месте и бессильно руководить государственной жизнью России. Нужно вырвать из ее среды наиболее вредных и опасных для государственного порядка членов, прикрывающихся своей депутатской неприкосновенностью и развивающих преступную деятельность, а затем навсегда упразднить Думу, ибо она нужна только революционерам"...

Как и в прошедший раз, Императрица вполне согласилась со мной, однако подчеркнула, что правительство, в его полном составе, безгранично слабо; несоорганизованно, работает вразброд, и в его составе нет ни одного человека, который бы сумел объединить деятельность Совета министров, имел бы определенную государственную программу и достаточно твердости, смелости и решительности, чтобы проводить ее в жизнь.

"Все ждут приказаний Государя, а сами не проявляют никакой инициативы, ничего не делают, а только ссорятся между собою, или же, в погоне за личной популярностью, заигрывают с Думой"...

Кто помнит 1916 год и ту позицию, какую занимал Совет министров в отношении Думы, тот скажет, что в этих словах Императрицы не только не заключалось преувеличения, а, наоборот, было много снисходительности. Совет министров точно вовсе не считался с Государем Императором, а оглядывался исключительно на Думу, получал от

нее директивы и выполнял их, будучи озабочен только тем, чтобы сохранить во что бы то ни стало, путем даже унижений и жертв, равновесие своих отношений с нею. Неудобные Думе министры подвергались жестокой травле и всевозможным нападкам, не допускались даже на Думскую кафедру; а Совет министров не только не заступался за них, но сознательно приносил их в жертву Думе, предпочитая соглашательство с нею смелым и твердым проявлениям власти. Что это было – трусость, или измена?!

Ни того, ни другого, а сказывалось здесь обычное неумение пользоваться властью. Умели пользоваться властью лишь низкие агенты ее, рискуя собственной жизнью и грудью своей отстаивая порядок. Высшие же представители власти обычно пользовались ею или для закрепления личных позиций, или для приобретения возможно более широкой популярности, или для заигрывания с общественным мнением, которому служили, словом, для всего того, что освобождало их от риска, делало ненужным смелость и решительность, исключало необходимость борьбы... Там же, где требовались эти приемы – а они *всегда* требуются в области государственной жизни – там власть без боя сдавала свои позиции, и в полной мере справедливо можно было сказать, что победы врагов обуславливались не их силой, а слабостью их противников.

Государственная Дума, по существу, была только раздутым до крайности мыльным пузырем, способным лопнуть от одного окрика городского; но, кажется, что только одна Императрица это видела.

Таким же мыльным пузырем является и вся нынешняя советская Россия, с ее "красными" армиями, какие бы разбежались при первой встрече с настоящими войсками, при первой серьезной угрозе интервенции; но этому все еще не хотят верить...

Сердечно простившись с Государынею, я покинул Александровский Дворец.

Глава XXVIII. Свечной съезд. Визит А.Н. Волжина. Государственный Секретарь С.Е. Крыжановский

В конце января, а может быть в феврале, точно не помню, Синодом был созван Свечной Съезд, с участием представителей от всех ведомств, и министр внутренних дел А.Н.Хвостов, встретив меня, однажды, в зале Общего собрания Государственного Совета, сообщил мне, что назначил меня представителем от министерства на этом съезде. Судьба точно умышленно толкала меня в суровые объятия А.Н.Волжина. При торжественном открытии съезда, мне пришлось сидеть рядом с А.Н.Волжиным, и меня забавляло, как он искоса поглядывал на меня, точно думая, каких усилий стоило мне добиться участия на этом съезде и, притом, наверное с целью усилить оппозицию против него. В действительности же, я был едва не самым добросовестным союзником Обер-Прокуратуры на этом съезде. Съезд был вызван не столько заботами о реорганизации свечного дела в России и развитии отечественного производства воска, сколько подозрениями в злоупотреблениях директора Хозяйственного Управления А.Осецкого при закупках воска за границу, о чем громко кричали газеты, указывая на то, что А.Осецкому грозит не только отставка, но и предание его суду. Не имея еще фактических данных для реальных обвинений А.Осецкого в означенных злоупотреблениях, я имел, однако, основания разделять подозрения Обер-Прокуратуры. Впоследствии эти подозрения подтвердились, ибо А.Осецкий, на одном из заседаний, под моим председательством, уже в бытность мою Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода, был вынужден сознаться в том, что покупал воск в Германии, игнорируя более дешевые предложения, а устроенные им торги были фиктивными... Во время этого примечательного заседания, один из участников, член Государственного Совета от Киевской епархии, протоиерей С.И.Трегубов, передал мне полученную им от какого-то члена Думы записку, написанную на клочке бумаги, где значилось, что Дума категорически требует немедленного упразднения комиссии по расследованию деятельности А.Осецкого, свободного в ее глазах от всяких подозрений.

Было очевидно, что дальнейшие разоблачения довели бы Осецкого до скамьи подсудимых, и что, спасаясь от преследований Обер-Прокуратуры, он нашел защиту в

Думе. Однако грозный окрик Думы не испугал меня, и заседания комиссии продолжались, хотя к моему удивлению, крайне тормозилось Синодом, где А.Осецкий также имел защитников, особенно в лице протопресвитера А.Дернова. Они прервались лишь с наступлением столь долгожданной и желанной революции, освободившей от ответственности не одного только Осецкого.

Впрочем, не буду забегать вперед. Разбившись на секции, Съезд стал устраивать заседания по вечерам, в часы, свободные от служебных занятий, и в течение ближайших двух-трех недель, я принимал в этих заседаниях постоянное участие, изредка встречаясь и с А.Н.Волжиным.

Никогда еще престиж мой среди Синодальных чиновников не был так высок, как в это время. Недавняя аудиенция у Ея Величества истолковывалась как полное поражение А.Н.Волжина: теперь стали говорить уже не о создании должности второго Товарища Обер-Прокурора, а об отставке А.Н.Волжина и назначении меня на его место. В связи с этим, отношение Синодальных чинов к А.Н.Волжину резко ухудшилось, тогда как я сделался центральной фигурой, вокруг которой сосредоточивались все вожеления чиновников ведомства, видевших в моем лице будущего главу ведомства и их начальника. Все искали моего благоволительного внимания, стараясь, как бы невзначай, подчеркнуть мои преимущества перед А.Н.Волжиным, и в то же время не стеснялись открыто бранить последнего. Особенно усердствовал Осецкий.

Кажется мне, что никогда еще низменные и пошлые страсти не обнажались передо мной с большим бесстыдством, чем в эти моменты пресмыкательства и низкопоклонства со стороны тех ничтожных людей, которые, год спустя, явились моими же предателями. Между тем А.Н.Волжин был искренне убежден в моих интригах и, продолжая видеть всегда и везде на первом плане Распутина, объяснял и мою аудиенцию у Ея Величества участием последнего, а враждебное отношение к себе со стороны своих подчиненных Синодальных чиновников моими стараниями, т.е. делая именно то дело, какое нужно было делать, выполняя программу агентов интернационала, развивавших с чрезвычайными усилиями оппозицию против Императрицы и преданных слуг России и династии. Делал он это дело столько же бессознательно, сколько добросовестно, ибо, будучи предан Престолу и России, был искренне убежден, что ведет борьбу с их врагами. Но видел он этих врагов не там, где они были и, рубя направо и налево, не замечал того, что наносил удары своим же союзникам.

Нельзя обвинять того, кто не родился государственным человеком, лишен широких размахов, не способен разбираться в сложных положениях и делает ошибки. И не это удивляло меня, а удивляло меня то, зачем нужно было А.Н.Волжину приглашать меня к себе и, заверяя меня в своей искренности, вести со мною переговоры о сотрудничестве с ним, а в тоже время за глаза поносить меня...

Вскоре после моей аудиенции у Ея Величества, А. Н. Волжин пригласил меня к себе. Впечатление от предыдущего свидания было столь тяжелым, что на этот раз я уклонился от приглашения.

"Тогда я приеду к Вам", – сказал А.Н.Волжин по телефону. В назначенный час А.Н.Волжин приехал.

"Голова ходит кругом, – начал он, – дела так много, что просиживаешь ночи напролет; а все не успеваешь".

"Отчего же Вы не разгрузите Синод? – ответил я. – Ведь туда попадает масса дел, какие не только могут, но и должны разрешаться властью епархиального архиерея... Прикажете вносить на рассмотрение Синода только то, что подлежит его ведению"...

"Да, но этого недостаточно; создание должности второго Товарища Обер-Прокурора необходимо; без этого нельзя будет обойтись; но как это сделать!.. Дума кредитов не отпустит... Придется применить ст. 87; а это значит -ждать роспуска Думы и отложить вопрос до лета", – говорил А.Н.Волжин.

"С тем, – добавил я, – чтобы, собравшись осенью, Дума отвергла бы Ваш законопроект"...

"Ну, а как же иначе?" – спросил А.Н.Волжин. Я тоже не знал, как нужно было поступить; однако, если бы и знал, то не сказал бы, чтобы не создавать поводов для новых недоразумений. Беседы с А.Н.Волжиным успели приучить меня к осторожности.

"Не знаю", – ответил я. Визит длился недолго. Оставив меня в недоумении о цели своего посещения, А. Н. Волжин уехал. На другой день я рассказал об этом визите Государственному Секретарю С.Е.Крыжановскому.

"Не понимаю", – сказал мне Государственный Секретарь, – зачем А.Н.Волжин носится с 87-й статьей; я уже сто раз говорил ему, что нужна не 87-я, а 11-я статья. Имеют же Министры Внутренних Дел, Торговли и Промышленности по четыре Товарища, и Думе нет до этого дела; а А.Н.Волжин из-за второго Товарища поднимает столько шума... Пусть изыщет только источник содержания, а провести должность – дело одного доклада Государю Императору. При чем же здесь Дума?!"

С.Е.Крыжановский занимал среди министров совершенно исключительное место. Это был один из тех немногих, истинно государственных деятелей, в котором огромный ум и широкие государственные размахи сочетались с на редкость выдающимися знаниями. В то время как каждый министр вращался в круге ведения своего ведомства, Государственный Секретарь обнимал государственную жизнь в полном объеме и должен был обладать универсальными познаниями по всем отраслям государственного управления. Хотя законодатель и отвел Государственному Секретарю очень скромную роль в Совете министров, и участие его в заседаниях ограничивалось лишь формальными замечаниями, в которых существа дела он никогда почти не касался, да и касаться не мог, ибо, по силе Высочайшего повеления, на коем основывалось участие Государственного Секретаря по некоторым делам в Совете министров, ему предоставлено было высказать свои замечания "преимущественно по соотношению намечаемой меры со Сводом Законов", т.е. со стороны формальной; однако же к С.Е.Крыжановскому обращались не только за разного рода формальными разъяснениями, но гораздо чаще и по существу того или иного вопроса или законодательного предположения. И нередко мнение С.Е.Крыжановского предопределяло судьбу законопроекта, изменяя его первоначальное направление, еще задолго до внесения последнего в Совет министров. Но и застигнутый в Совете министров, законопроект подвергался иной раз всякого рода переделкам и изменениям соответственно указаниям Государственного Секретаря... Припоминаю характерный случай, когда Совет министров, под председательством А.Ф.Трепова, отклонил ходатайство Синода об ассигновании 30 000 рублей в пособие пленным священникам и затем вынужден был удовлетворить его, благодаря возражению С.Е.Крыжановского. Случай этот имел место в конце 1916 года, в бытность мою Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода, когда, по просьбе Обер-Прокурора Н.П.Раева, обычно уклонявшегося от участия в заседаниях Совета министров, я выступал в Совете в качестве его заместителя, с обязательством во чтобы то ни стало отстоять означенное ходатайство. Меньший среди членов кабинета, я чувствовал себя в Совете неуверенно, а общее пренебрежительно-скептическое отношение министров к Синоду не сулило успеха... Я был уверен, что Совет Министров отклонит ходатайство Синода, что явилось бы, в моих глазах, высочайшею несправедливостью, ибо, если священник попал в плен, значит он ушел с позиции последним и выполнил свой пастырский долг до конца, а при том заслуживает самой глубокой признательности, и ему нужно помочь, недопустимо оставлять его бедствовать во вражеском плену. Моим соседом справа был Государственный Секретарь, и я шепотом высказал Сергею Ефимовичу свои опасения и тревоги.

"А Вы не смущайтесь, – живо сказал мне С.Е.Крыжановский, – если Совет откажет, то потребуйте соединенного заседания Совета министров и Синода"...

"Как? – удивился я, – разве возможны такие заседания?!"...

"На практике таких случаев еще не было, ибо не было поводов созыва их; но постановление Совета министров, по силе коего, в случаях разногласия, для разрешения

спорных вопросов созываются соединенные заседания Совета министров и Синода, утверждено Его Величеством, и Вы смело можете воспользоваться этим постановлением и сослаться на него, – ответил С.Е.Крыжановский.

Ввиду частой смены членов кабинета, об этом постановлении, конечно никто не знал, и я почувствовал, что С.Е.Крыжановский не только укрепил мои позиции, но и сделал их неприступными.

Подошла моя очередь... я сделал краткий доклад по существу Синодального ходатайства и просил удовлетворить его.

"Полагал бы отклонить", – сухо сказал представитель Совета министров А.Ф.Трепов, сославшись на то, что высылаемые деньги обычно конфискуются немцами и не доходят до назначения.

Вслед за А.Ф.Треповым высказались против и прочие члены Совета министров.

"В таком случае я ходатайствую о созыве соединенного заседания Совета министров и Синода", – сказал я.

На меня посмотрели как на сумасшедшего, и никто не нашелся ничего возразить, ибо все в равной мере считали совершенно невероятным возможность совместных заседаний министров с архиереями.

"Разве мыслимы такие совместные заседания? – спросил меня, после общей паузы и некоторого замешательства, А.Ф.Трепов. – На чем основываете Вы Ваше ходатайство?"..

"На основании Высочайше утвержденного постановления Совета министров от такого-то числа, месяца и года", – ответил я.

"Было ли такое постановление?" – спросил А.Ф.Трепов управляющего делами Совета министров Н.Н.Ладыженского.

"Так точно, было, Ваше Высокопревосходительство", – ответил Николай Николаевич, огласив журнал Совета министров с означенным постановлением.

"Тогда, конечно, не стоит из-за 30 000 рублей осложнять вопрос: полагал бы удовлетворить ходатайство Синода", – сказал в заключение А.Ф.Трепов, против чего никаких возражений не последовало.

Победа была полная, и эффект получился чрезвычайный.

С.Е.Крыжановский, тотчас после окончания заседания, по обыкновению, ушел в свой кабинет, а меня сразу же окружили министры и стали поздравлять с выигранным сражением.

"Зачем Вы так подвели нас?" – спросил меня, улыбаясь, А.Ф.Трепов.

"И не думал, – ответил я, – я сам не знал о существовании этого постановления Совета министров и никогда бы не использовал его, если бы не подсказал Сергей Ефимович".

Тем не менее, если не все, то некоторые, наверное, приписали победу мне, а не С.Е.Крыжановскому.

Таким был Государственный Секретарь С.Е.Крыжановский. Он не только знал больше других, не только никогда не превозносился своими знаниями и преимуществами, а, наоборот, сознательно убегал от славы людской, стараясь быть всегда незаметным. Может быть, по этой причине, а может быть, потому, что ум является одним из тех недостатков, какой редко прощается, С.Е.Крыжановский имел немало врагов и, разумеется, главным образом, со стороны тех, кто не обходился без его помощи и завидовал ему.

Указание Государственного Секретаря на 11-ю статью и ссылка на то, что А.Н.Волжин неоднократно уже обращался к С.Е.Крыжановскому за советами, справками и разъяснениями и всякий раз получал ответ, что 87-я статья не применима, окончательно обесценили в моих глазах жалобы А.Н.Волжина, и я увидел, что он прикрывается 87-ю статьей только для того, чтобы откладывать учреждение должности второго Товарища Обер-Прокурора Св. Синода на неопределенное время.

Глава XXIX. Разрыв с А.Н. Волжиным

Наступило время рассмотрения в Думе сметы Синодального ведомства.

Бюджетные прения в Думе – это своего рода экзамен для каждого министра. А.Н.Волжин очень волновался, ибо должен был выступить с разъяснениями не только по существу сметных предположений, но и по поводу всякого рода запросов, предъявления которых ожидал.

Я был очень заинтересован исходом этих прений и отправился в Думу. Речь А.Н.Волжина, обыкновенная, трафаретная, испещренная цифровыми данными, не давала поводов ни для одобрений, ни для порицаний: это была одна из тех обыденных речей, которые составляются мелкими чиновниками, корректируются начальством и являются лишь сводкой основных положений бюджета, своего рода объяснительной запиской, и ничего более... Однако Думская атмосфера было до того напряжена, настроение было уже настолько революционным, что одно только появление членов Правительства на Думской кафедре вызывало ярые протесты и грубое негодование, выливавшееся в крайне резких формах... Как ни старался А.Н.Волжин заблаговременно расположить к себе членов Думы, со стороны которых ожидал нападков, но он достиг этим только обратных целей. В.Н.Львов не пожалел красок для того, чтобы окончательно погубить А.Н.Волжина во мнении Думы. Начав с того, что А.Н.Волжин появлялся в Думе только для того, чтобы узнавать разными окольными путями, как относятся к нему члены Думы и что будут говорить при рассмотрении сметы ведомства, он кончил указанием на то, что Дума не Калашный ряд, куда ходят собирать сплетни, и что нужно не иметь никакого уважения ни к Думе, ни даже к себе, чтобы прибегать к таким приемам, к которым не прибегал еще ни один министр. Глупая и разнузданная речь Львова имела большой успех и была покрыта бурными аплодисментами. Кампания против членов Правительства велась дружно, планомерно; однако, к сожалению, Правительство видело в этой преступной работе Думы лишь выпады против отдельных членов кабинета, а Председатель Совета министров даже запрещал последним защищаться, опасаясь еще более худших последствий.

Пропустив Синодальную смету в Думе, А.Н.Волжин уехал с Высочайшим докладом в Ставку, откуда вскоре вернулся.

Было 10 часов вечера. Я сидел в своем кабинете и занимался.

Раздался телефонный звонок. У телефона был А.Н.Волжин.

"Мне очень нужно видеть Вас, – говорил А.Н.Волжин, – приезжайте после часу".

"Это слишком поздно, – ответил я, – извозчиков нет; пока я дойду к Вам, будет два часа ночи. Если нужно, я приеду завтра"...

"Нет, нет, мне нужно сегодня переговорить с Вами", – ответил А.Н.Волжин.

"В таком случае я приеду к 11 часам"...

"В 11 часов у меня доклады", – ответил А.Н.Волжин.

"Тогда извините; а ночью я не могу ехать"...

"Хорошо, – нервно закончил А.Н.Волжин. – Я отложу доклады и буду ждать Вас к 11 часам".

Бесцеремонность А.Н.Волжина, позволявшего себе вызывать меня даже ночью и, верно, думавшего, что я обязан являться по первому его зову, раздражала меня... Однако я вспомнил, что уже раз отказался от его приглашения и что в последний раз А.Н.Волжин был у меня: деликатность вновь разоружила меня.

В 10 с половиною часов вечера я вышел из дома...

Все то, что лежало на дне души, стало выливаться наружу, и я чувствовал, что должен уже сдерживать свое волнение и раздражение. Здесь было сознание того лукавства со стороны А.Н.Волжина, о котором мне так часто говорили, и чему я не хотел верить, и оскорбленное и беспрестанно оскорбляемое самолюбие, и сознание того ложного положения, в какое А.Н.Волжин меня ставил бессмысленными приглашениями и беседами, давшими пищу всевозможным сплетням, проникавшим в печать и бросавшим тень на меня, и обида от сознания, что А.Н.Волжин мне не верит, а только делает вид, что верит; а главное – было недовольство собою, убеждение в новой ошибке, в том, что я снова сделался жертвою своего излишнего доверия к людям...

Поэтому, подходя к квартире А.Н.Волжина, жившего тогда на Моховой, 18, я уже дрожал от негодования, чувствуя особенно острую боль от последнего оскорбления, нанесенного мне А.Н.Волжиным, когда он заподозрил меня в распространении газетных сведений о моем будущем назначении. "Как он смеет так оскорбить меня, – думал я, поднимаясь к нему по лестнице; – а между тем я смолчал"... Мое волнение было так велико, что я боялся за себя и думал, что не в силах буду совладать с ним. Однако А.Н.Волжин встретил меня так приветливо, в его голосе было так много сердечных нот, что его вкрадчивость снова обезоружила меня, я снова поддался чарам и готов был не только простить и забыть, но и осудить сам себя за мнительность и подозрительность...

"Я только сегодня вернулся из Ставки, – начал свой рассказ А.Н.Волжин. – Государь был высокомиловитив ко мне и в течение 40 минут, с большим вниманием, изволил выслушивать мой доклад... *Целых 40 минут*", – подчеркнул А.Н.Волжин.

Нарисовав, далее, знакомую мне картину Высочайшего завтрака, и остановившись на том, как приглашенные к Высочайшему столу вышли из столовой в зал, как выстроились полукругом в ней, как Его Величество подходило то к одному, то к другому, А.Н.Волжин, продолжая рассказ, отметил:

"Его Величеству было угодно осведомиться о том, в каком положении находится вопрос об учреждении должности 2-го Товарища Обер-Прокурора. Я доложил и в то же время спросил Государя, продолжает ли Его Величество настаивать на Вашей кандидатуре, или имеет в виду другого кандидата, на что Государь ответил, что Своих предположений не изменил и добавил: *"Я желаю князя Жевахова"*. (Слова Его Величества в передаче А.Н.Волжина.)

Значит, – подумал я, слушая рассказ А.Н.Волжина, – Вы, пользуясь высокомиловитивным приемом Государя, сделали еще и на этот раз последнюю отчаянную попытку отбиться от меня, и эта попытка не удалась. Но тогда зачем же Вы рассказываете мне об этом? – говорили мои глаза, с недоумением глядевшие на А.Н.Волжина.

"Вы понимаете, конечно, – продолжал между тем А.Н.Волжин, – что я должен был предложить этот вопрос Его Величеству, ибо об учреждении новой должности Товарища Обер-Прокурора так давно толкуют, что предположения Его Величества могли за этот долгий срок и измениться... Разумеется, воля Монарха для меня священна, и я обязан ее выполнить, но... – и тут А.Н.Волжин замялся, – я никак не придумаю, как бы мне Вас... пристроить"...

Как ужаленный, вскочил я со своего места и, не помня себя от негодования, утратив самообладание, я крикнул:

"Как это... *пристроить*!.. Я не инвалид, а Синод не богодельня, чтобы Вы меня пристраивали... У меня уже давно возникли сомнения относительно Вашей искренности; я наивно думал, что Вы и в самом деле желаете использовать мои познания для Вашего ведомства; но, если Вы озабочены только тем, чтобы меня "пристроить", и ссылаетесь даже на Государя Императора, Который, якобы, Вас принуждает к этому, тогда знайте, что я не желаю служить с Вами и объясню Его Величеству, почему. Я не нуждаюсь в "месте", я – Помощник Статс-Секретаря Государственного Совета и Член Главного Управления по делам печати и не нуждаюсь в том, чтобы Вы меня "пристраивали"...

А.Н.Волжин обомлел... Он никак не мог ожидать такого выпада со стороны того, чью деликатность он принимал за хитрость или глупость, за желание во что бы то ни стало, путем даже унижений, пробраться в Синод, не брезгуя для этого никакими средствами...

"Что Вы, что Вы, князь, успокойтесь, – завокнулся А.Н.Волжин. – И не грех ли Вам так нехорошо думать обо мне!.. Я ли не просил Вас, чтобы Вы мне помогли, я ли не приезжал к Вам?! Зачем же я бы ездил к Вам, если бы не желал сотрудничества с Вами?! Нас связывает друг с другом Святитель Иоасаф; моя бабушка была игуменией Белгородского монастыря"... – путаясь и смущаясь, оправдывался А.Н.Волжин.

И эта бессвязная речь была произнесена таким тоном, что снова обезоружила меня... Мне стало жалко А.Н.Волжина, этого гордого, самонадеянного сановника, который сбросил свою внешность и предстал предо мною в образе слабого, раздавленного человека.

Я простился с А.Н.Волжиным с намерением никогда более не встречаться с ним. Однако это свидание все еще не было последним.

До меня стали доходить слухи, что А.Н.Волжин лихорадочно стремится наверстать потерянное время и постоянно ездит к Государственному Секретарю, чтобы, с помощью С.Е.Крыжановского, заготовить Высочайший доклад об учреждении должности второго Товарища Обер-Прокурора по 11-й статье. И действительно, прошло недели две-три после последнего, бурного свидания, как А.Н.Волжин снова пригласил меня к себе и встретил меня такими словами:

"Теперь я могу уже поздравить Вас своим Товарищем... Поздравляю, пока только академически... Высочайший доклад по 11-й статье уже готов, но еще не послан... Но это вопрос нескольких дней"...

"В Государственной канцелярии, – ответил я, – начались уже каникулы, и я на днях уезжаю из Петербурга".

"Куда?" – удивился А.Н.Волжин, все еще не умевший отрешиться от убеждения, что стремление достигнуть должности Товарища Обер-Прокурора было моею *единственной* мечтою, в жертву которой я был готов принести все, включительно до своей чести.

"В Киев, в Полтавскую губернию, в имение".

"Так Вы, по крайней мере, оставьте свой адрес", – с досадою сказал А.Н.Волжин.

Уступая этой просьбе, я дал свой Киевский адрес чиновнику особых поручений, князю Мышецкому, хотя был вполне убежден в том, что этот адрес А.Н.Волжину не пригодится.

А.Н.Волжин *опоздал*.

Убедившись в бесцельности сопротивления, А.Н.Волжин стал искать пути к осуществлению Высочайшей воли о моем назначении и, с помощью Государственного Секретаря С.Е.Крыжановского, нашел их... Но время уже было упущено. Положение, созданное А.Н.Волжиным, было таково, что, в лучшем случае, допускало лишь обмен светскими любезностями, но ни о каком сотрудничестве с ним, или деловых общениях, не могло быть и речи. Это сознавалось и высшими сферами, где, одновременно с предложениями об отставке А.Н.Волжина, высказывались проекты о назначении меня то его заместителем, то Товарищем Министра Внутренних Дел, но где уже совершенно исключалась возможность назначения помощником А.Н.Волжина.

А.Н.Волжин, по-видимому, об этом ничего не знал, как не знал и того, что, если должность второго Товарища Обер-Прокурора и будет учреждена, и я буду назначен на эту должность, то это случится лишь после его отставки. Своим противлением воле Монарха и неискренностью, А.Н.Волжин окончательно поколебал свое служебное положение не только в глазах Их Величеств, но и в глазах высшего общества, мнением которого особенно дорожил. Как он ни старался исправить ошибку и наверстать потерянное время, как ни спешил с учреждением должности и как, по-видимому, искренне ни хотел, на этот раз, ускорить мое назначение и тем вернуть утраченное доверие Их Величеств, но было уже поздно... Ускоряя мое назначение, А.Н.Волжин ускорял одновременно и свою отставку...

Я удивленно смотрел на А.Н.Волжина, когда он поздравлял меня "своим" Товарищем, ибо знал, что таковым никогда не буду, как знал и то, что дни А.Н.Волжина на Обер-Прокурорском посту уже сочтены. Из Петербурга я уехал в Оптину пустынь.

Глава XXX. Оптиная пустынь. Старец Анатолий

Когда человек ближе к Истине?.. Тогда ли, когда его жизнь протекает плавно и ровно, без внешних ударов и потрясений, и он, спокойный и уравновешенный, оценивает окружающее сквозь призму реальных фактов, не задумывается над вопросами бытия, не страдает от неразрешимых противоречий жизни, не заглядывает в потусторонний мир?..

Или тогда, когда под влиянием несчастий и страданий, выбитый из колеи жизни, примиряется со своим уделом, отворачивается от земных задач и целей и стремится ввысь, обращая взоры к Богу?

У кого правда, у реалиста или у мистика?! Для меня никогда не существовало сомнений в том, что правда у последнего. И поэтому, что ближе всех к Богу – дети, а между ними нет реалистов. Все дети – мистики, все они тянутся к Богу, как цветы к солнцу; все бессознательно влекутся к небу и одинаково протестуют против попыток горделивого ума разрушить волшебный замок мистицизма, где все иначе, чем на земле, где живут ангелы, поющие славу Богу, где нет ни зависти, ни злобы, где говорят ангельским языком, и над всем и всеми царствуют небесные законы и Вечная Любовь.

Я помню, как глубоко задевали меня пренебрежительные отзывы взрослых о монастырях, о старцах, отшельниках и затворниках, какие казались мне святыми; с какой болью сердца и тяжким недоумением я относился к каждому, кто пытался поколебать мою детскую веру, отнимать у меня подарки Божии какие не имели цены и были дороже всех сокровищ мира. Годы шли, менялись точки зрения, охладевали порывы, но *То, что сказали мне детство и юность, то оказалось правдой вечной и неизменной*. И не эта правда изменялась от времени и науки, а изменялись мы сами, удаляясь от нее, теряя ощущение правды, – понимание ее и влечения к ней. Как легко потерять ощущение правды, и как трудно найти потерянное!.. Кто бывал в монастырях и видел старцев, тот знает, что только ценой невероятных усилий и величайших иноческих подвигов возмещалась эта потеря, и что только на склоне своей жизни дряхлые старцы возвращали своей, изможденной страданиями, душе подлинные ощущения детства. И как мало отличались тогда эти старцы, эти земные ангелы, от детей; какая чистота и святость сквозили в каждой их мысли, в каждом движении; какую чрезвычайную ценность являли собой эти исключительные люди, рассказывающие о том, о чем молчаливо говорят глаза младенца, живущего в объятиях ангельских, но не способного поведать людям своих небесных ощущений!.. И моя душа инстинктивно тянулась к этим людям, и детство и юность прошли в общении с ними. Тогда не было ни горя, ни страданий, ни всего того, что, по милосердию Божьему, возвращает к Богу сбившегося с пути грешника...

Тогда была только естественная потребность неповрежденной страстями души укрыться от заразы мира и искать родной обстановки и родных людей, была потребность искать правду...

И на этот раз я ехал в Оптину пустынь, к старцу Анатолию, потому что не доверял ни своему, ни чужому уму, потому что искал правды, какой не мог найти вокруг себя... И так же, как и раньше, я испытывал, по мере приближения к Оптиной, все больший душевный трепет... Там, за оградой монастыря, по ту сторону реки Жиздры, жили иные люди, у которых были иные задачи и цели, иное дело, чем у меня. И насколько моя жизнь казалась мне беспросветной и никому не нужной, насколько дело мое казалось мне преступной тратой времени, нужного для приготовления к загробной жизни, для спасения души, настолько жизнь этих счастливых избранников являлась в моих глазах постепенным восхождением к Богу и была полна глубочайшего содержания... Они имели то, чего не имел самый счастливый человек в миру: имели учителей жизни, премудрых старцев, опытно познавших науку жизни... Они не были одиноки, тогда как мы, миряне, блуждали подобно стаду без пастыря, и нашими учителями были лишь *воспоминания об ощущениях детства*, за которые мы судорожно хватались, чтобы не заблудиться в дебрях жизни, чтобы не потерять хотя бы образа правды.

Подле келии о. Анатолия толпился народ. Там были преимущественно крестьяне, прибывшие из окрестных сел и соседних губерний. Они привели с собою своих больных и искалеченных детей и жаловались, что потратили без пользы много денег на лечение...

"Одна надежда на батюшку Анатолия, что вымолит у Господа здоровье неповинным".

С болью сердца смотрел я на этих действительно неповинных несчастных детей, с запущенными болезнями, горбатых, искалеченных, слепых... Все они были жертвами

недосмотра родительского, все они росли без присмотра со стороны старших, являлись живым укором темноте, косности и невежеству деревни... В некотором отдалении от них стояла другая группа крестьян, человек восемнадцать, с зажженными свечами в руках. Они желали "собороваться" и были одеты по-праздничному. Я был несколько удивлен, видя перед собой молодых и здоровых людей, и искал среди них больного. Но больных не было: все казались здоровыми. Только позднее я узнал, что в Оптину ходили собороваться совершенно здоровые физически, но больные духом люди, придавленные горем, житейскими невзгодами, страдающие запоем... Глядя на эту массу верующего народа, я видел в ней одновременно сочетание грубого невежества и темноты с глубочайшей мудростью. Эти темные люди знали, где Истинный Врач душ и телес: они тянулись в монастыри, как в духовные лечебницы, и никогда их вера не посрамляла их, всегда они возвращались возрожденными, обновленными, закаленными молитвой и беседами со старцами.

Я вновь чувствовал себя в родной обстановке, среди людей, какие были столь чужды мне по уровню своего развития, но так близки и дороги по вере. И так же, как и раньше, мне хотелось остаться навсегда в любимой Оптиной пустыне, чтобы начать новую, осмысленную жизнь, жизнь по уставу мудрейших людей, столь отличную от мирской жизни, изгнавшей самую мысль о спасении души, о нравственной ответственности и загробной жизни... И никогда еще эта мирская жизнь не угнетала меня больше, как в эти моменты соприкосновения с "настоящею" жизнью; никогда еще мои мирские дела и занятия не казались мне менее нужными, чем в эти моменты возношения души к Богу.

Вдруг толпа заволновалась; все бросились к дверям келий. У порога показался о. Анатолий. Маленький сгорбленный старичок, с удивительно юным лицом, чистыми, ясными, детскими глазами, о. Анатолий чрезвычайно располагал к себе. Я давно уже знал батюшку Анатолия и любил его. Он был воплощением любви, отличался удивительным смирением и кротостью, и беседы с ним буквально возрождали человека. Казалось, не было вопроса, которого бы о. Анатолий не разрешил; не было положения, из которого бы этот старичок Божий не вывел своей опытной рукой заблудившихся в дебрях жизни, запутавшихся в сетях сатанинских... Это был истинный "старец", великий учитель жизни. При виде о. Анатолия, толпа бросилась к нему за благословением, и старец, медленно протискиваясь сквозь толщу народа, направился к крестьянам, ожидавшим соборования и приступил к таинству елеосвящения. Я улучил момент, чтобы просить о. Анатолия принять меня наедине.

"Сегодня, в 4 часа, перед вечерней", – ответил на ходу о. Анатолий.

Было 8 часов утра. Я вернулся в гостиницу; затем прошел в главный храм, где началась поздняя обедня, после которой навестил настоятеля и начальника скита Оптиной. Все они были моими старыми друзьями, родными, близкими мне по духу людьми.

В 4 часа я вошел в келию о. Анатолия.

Глава XXXI. Беседа со Старцем Анатолием

"Батюшка отец Анатолий, не разберусь я ни в чем, – начал я, – с детских лет бессознательно тянулся в монастырь и уже не в первый раз стучусь и к Вам, в Вашу обитель; а все еще никак не могу развязаться с миром, и кажется мне, что я все больше и больше запутываюсь в сетях сатанинских... Боюсь я за свою душу... Откуда это влечение в обитель, какое делает мне жизнь в миру такой немилой, что хочется бежать из него, какое обесценивает в моих глазах всякое мирское дело, не позволяет мне, из опасения измены пред Богом, завязываться мирскими связями, заставляет жить между миром и монастырем, между небом и землей... Если бы Вы знали, как это тяжело, как трудно остаться чистым среди мирской грязи, как болезненны греховные падения и, даже безотносительно к ним, какую бессмысленною кажется мне мирская жизнь, когда сознаешь, что зиждется она на неверном фундаменте, что живут люди не так, как повелел Господь, делают не то дело, какое должны были делать... Иной раз бывает так тяжело от всяких противоречий и

перекрестных вопросов, что я боюсь даже думать... Так и кажется, что сойду с ума от своих тяжелых дум"...

"А это от гордости", – ответил о. Анатолий.

"Какая там гордость, батюшка, – возразил я, – кажется мне, что я сам себя боюсь; всегда я старался быть везде последним, боялся людей, сторонился и прятался от них"...

"Это ничего; и гордость бывает разная. Есть гордость мирская – это мудрование; а есть гордость духовная – это самолюбие. Оно и точно, люди воистину с ума сходят, если на свой ум полагаются, да от него всего ожидают. А куда же нашему уму, ничтожному и зараженному, браться не за свое дело. Бери от него то, что он может дать, а большего не требуй... Наш учитель – смирение. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. А благодать Божия – это все... Там тебе и величайшая мудрость. Вот ты смирись, да скажи себе: "Хотя я и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да свершается надо мною воля Божья"... Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и действительно смело, как и подобает истинному христианину, положишься на Господа, с *твердым намерением безропотно подчиниться воле Божией*, какова бы она ни была, тогда рассеются пред тобою тучи и выглянет солнышко, и осветит тебя и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко станет тебе на душе"...

Я почувствовал, как затрепетало мое сердце от этих слов...

"Как глубоко и как просто", – подумал я.

О.Анатолий, между тем, продолжал:

"Трудно было бы жить на земле, если бы и точно никого не было, кто бы помог нам разбираться в жизни... А ведь над нами Сам Господь Вседержитель, сама Любовь... Чего же нам бояться, да сокрушаться, зачем разбираться в трудностях жизни, загадывать, да разгадывать... Чем сложнее и труднее жизнь, тем меньше нужно это делать... Положись на волю Господню, и Господь тебя не посрамит тебя. Положись не словами, а делами... Оттого и трудной стала жизнь, что люди запутали ее своим мудрованием, что, вместо того, чтобы обращаться за помощью к Богу, стали обращаться к своему разуму и на него одного полагаться... Не бойся ни горя, ни болезней, ни страданий, ни всяких испытаний – все это посещения Божии, тебе же на пользу... Пред кончиною своей будешь благодарить Господа не за радости и счастье, а за горе и страдания, и чем больше их было в твоей жизни, тем легче будет умирать, тем легче будет возноситься душа твоя к Богу"...

"Это так, батюшка; но, если задачей нашей жизни является спасение души, то не гордость, а страх Божий заставляет искать места, где можно легче спастись... Если даже сильные, духовно-мудрые люди с трудом выдерживают борьбу с кознями сатанинскими в миру, то куда же нам, слепым и слабым!.. Я помню свои детские годы... Мир точно умышленно развращал нас, и только в родной семье, да в келии старца, я слышал о том, о чем наедине говорила мне душа моя... И еще тогда я недоумевал, зачем оставаться в миру среди чужих и недобрых людей, и спрашивал старцев, куда мне идти и что делать с собою... Я знал, куда идти и что делать, но боялся следовать своей воле и запрашивал старцев, чтобы они открыли мне волю Божию, но они удерживали меня в миру, не пускали в монастырь; все говорили, что Господь предназначил мне иной путь, и что не пришел еще час мой... А чем дальше, тем было хуже, тем тяжелее... Жизнь стала складываться так, что без измены Богу, я уже не мог покинуть мира. Сначала подошло дело Св. Иоасафа; затем постройка храма Св. Николаю в Бари; а вот теперь подходит еще одно дело, и я не знаю, от Бога ли оно или нет, но хорошо знаю, что, если возьмусь за него, то оно окончательно привяжет меня к миру... Вот за этим, чтобы спросить Вас и посоветоваться, я и приехал сейчас в Оптину"...

"А какое это дело?" – спросил меня о. Анатолий, пристально глядя на меня.

"Царь хочет назначить меня на службу в Синод, Товарищем Обер-Прокурора, и вот я и не знаю, что это означает... Если бы Царь и Царица близко знали меня, тогда бы я не сомневался; но знают меня Их Величества мало, видели только несколько раз..."

Сказывается ли здесь воля Божия и Св. Иоасафа, промыслительную руку Которого я вижу над собой, в своей жизни, или, может быть здесь козни сатанинские, чтобы не пустить меня в монастырь... Место это высокое; много соблазнов для тщеславия и гордости и самолюбия; много будет у меня врагов, которые станут травить меня так, как сейчас травят всех, входящих в состав правительства; и я не знаю, как мне поступить, и ни в чем не могу сам разобраться... Откройте мне волю Божию, и как Вы скажете мне, так я и сделаю".

"А ты верно знаешь, что Царь зовет тебя на это место?" – спросил о. Анатолий.

"Верно знаю", – ответил я.

"А коли Царь зовет, значит – зовет Бог. А Господь зовет тех, кто любит Царя, ибо Сам любит Царя и знает, что и ты Царя любишь...

Нет греха больше, как противление воле Помазанника Божия... Береги его, ибо Им держится Земля Русская и Вера Православная... Молись за Царя и заслоняй Его от недобрых людей, слуг сатанинских... Царь не только Объявитель воли Божией людям, но"...

О.Анатолий задумался, и слезы показались у него на глазах; взволнованный, он кончил невысказанную мысль, сказав:

"Судьба Царя – судьба России. Радоваться будет Царь, радоваться будет и Россия. Заплачет Царь, заплачет и Россия, а... не будет Царя, не будет и России. Как человек с отрезанной головой уже не человек, а смердящий труп, так и Россия без Царя будет трупом смердящим. Иди же, иди смело, и да не смущают тебя помыслы об иночестве: у тебя еще много дела в миру. Твой монастырь внутри тебя; отнесешь его в обитель, когда Господь прикажет, когда не будет уже ничего, что станет удерживать тебя в миру"...

Одарив меня иконами, о. Анатолий, с великой любовью, благословил и отпустил меня. И снова я уехал из Оптиной пустыни с тем чувством, с каким выезжал всякий раз за ограду любимой обители, точно из рая, с тем, чтобы снова погружаться в глубины житейского водоворота, в толщу мирской жизни для борьбы с нею, для борьбы с самим собою...

Глава XXXII. Отставка А.Н. Волжина. Новый Обер-Прокурор Св. Синода Н.П. Раев. Высочайший указ о моем назначении Товарищем Обер-Прокурора

Быстро промчалось лето. Как и следовало ожидать, никакого уведомления о своем назначении я не получал от А.Н.Волжина и в конце августа вернулся в Петербург, к началу занятий в Государственной Канцелярии. В деревне я не читал газет и ничего не знал о последних новостях. Подъезжая к Петербургу, я купил на станции Любань несколько свежих газет и был немало удивлен, встретив статью под заглавием, напечатанным жирным шрифтом:

"*Отставка А.Н.Волжина*". Тут же приводились имена предполагавшихся заместителей, среди которых значились член Государственного Совета А.С.Стишинский, генерал Шведов, Н.П.Раев и я. О каждом из нас были приведены сравнительно подробные биографические сведения, причем все мы вводились под один общий знаменатель "реакционеров". Было совершенно очевидно, что эти сведения составлял газетный репортер, знавший каждого из нас только понаслышке, совершенно незнакомый с нами. Развернув другую газету, я увидел в ней портрет Н.П.Раева, с подписью – "Новый Обер-Прокурор Св. Синода".

Я не только не знал лично Н.П.Раева, но и никогда не слышал о нем, и это назначение явилось для меня, как равно и для многих других, совершенно неожиданным. Я был уверен, что, с назначением Н.П.Раева, кончилась почти двухлетняя история о моей кандидатуре, и, прибыв в Петербург, погрузился в свои обычные занятия в Государственной Канцелярии, не допуская даже мысли, что вопрос о моем назначении может снова возобновиться.

Каково же было мое удивление, когда чуть ли не на другой день После моего приезда в Петербург, новый Обер-Прокурор Св. Синода пригласил меня к себе и встретил меня такими словами:

"Я ждал только своего назначения, чтобы познакомиться с Вами... Хотя я и новый человек в ведомстве, но, исходя из духовной среды, всегда был близок к нему, и интересы Церкви были мне всегда дороги. Соприкасаясь с духовным ведомством в области моих частных знакомств, я, конечно, не мог не слышать о Вас и хотел бы просить Вас не отказывать мне в сотрудничестве со мною... Н.Ч.Заиончковский едва ли будет мне полезен; но первое время Вам придется числиться вторым моим Товарищем. Я надеюсь, что это не будет долго. Я вижу Вас первый раз и не знаком с вашими взглядами на церковно-государственные задачи... Позвольте мне остановиться на них и выяснить Вам мои точки зрения... Центром церковно-государственной силы является сельский священник... Туда должны быть направлены наши преимущественные заботы... Он одинок: ему мы должны протянуть руку помощи в первую очередь... Всякое здание крепко только тогда, когда имеет прочный фундамент; а сельское духовенство является фундаментом всего церковно-государственного здания... Весь сложный механизм нашего церковно-государственного аппарата должен быть направлен преимущественно в эту сторону и я надеюсь, что в этом отношении встречу полную поддержку с Вашей стороны"...

"Вы повторяете только мои мысли, Николай Павлович, – оказал я, – и первые годы моей службы протекли, точно нарочно, в деревне, чтобы я мог всесторонне ознакомиться с горемычным бытом сельского духовенства и с чувством глубочайшего уважения преклониться перед сельским священником... Как можно было бы сказать о нем... Если бы не сельский священник и Земский Начальник, то удалась бы революция 1905 года на местах, и правительству было бы трудно справиться с ней. Впрочем, не это главное, а главное то, что они не погубили своей веры и, довольствуясь малым, способны на великое... На общем фоне России, они чуть ли не единственные представители подлинной России – Святой Руси"...

"Я не знал, что Вы так думаете: тем приятнее убеждаться, что между нами будет полное единомыслие, – ответил Н.П.Раев... – Итак, позвольте рассчитывать на Вашу помощь. В случае Вашего согласия, представление будет сделано завтра, и числа 12-15-го сентября состоится Ваше назначение"...

"С Вами я охотно буду служить и благодарю Вас за доверие ко мне", – ответил я, прощаясь с Обер-Прокурором.

"Какая разница между этим простым, скромным, смиренным человеком и испорченным губернаторской школой А.Н.Волжиным", – думал я, возвращаясь домой.

Мне трудно было судить о Н.П.Раеве, которого я видел в первый раз, но общее впечатление от знакомства с ним получилось очень благоприятное. Это был простой, скромный человек, сын бывшего митрополита Петербургского Палладия, не только не скрывавший своего происхождения, как делали многие, вышедшие из духовной среды, миряне, а, наоборот, сохранивший почтительную преданность к своему сословию и озабоченный его участью. Не было в нем и того, что отличало А.Н.Волжина: не было желания рисоваться, производить впечатление; не было ни одного неестественного движения и неискреннего жеста... Безукоризненно воспитанный, он являл собою счастливое сочетание свойств своего духовного происхождения, где простота и смирение скрывают за собою не сознание немощей, а отражают преимущественно духовную мудрость, с отличными приемами светского воспитания и особенностями, являвшимися принадлежностью хорошего общества...

Прошла только одна неделя со времени этого свидания, и 15 сентября 1916 года состоялся Высочайший Указ о назначении меня вторым Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода. Две недели спустя, Н.Ч.Заиончковский вышел в отставку и я заступил на его место... Должность второго Товарища была упразднена. Тотчас после своего назначения, не вступая в должность, я уехал в Белгород, к Святителю Иоасафу, чтобы у подножия раки любимого Угодника Божия испросить благословение на предстоящие труды, а 30-го Сентября вступил в исполнение своих новых обязанностей.

Такова история моего назначения на должность Товарища Обер-Прокурора Св. Синода; таковы факты, какие нелицеприятная правда, когда-нибудь вынесет наружу, и концепция которых была так сложна, что только духовное око могло подметить их природу и сущность.

Глава XXXIII. Выводы

Может быть, я слишком подробно остановился на истории своего назначения, точнее – на обстоятельствах, сопровождавших его и вызванных А.Н.Волжикым. Но да не подумает читатель, что я имел в виду сводить какие-либо личные счеты с последним. Чувство обиды, в свое время глубокое и острое, давно у меня исчезло; а месть – не в моем характере.

Нет, не личные причины руководили мною, когда я останавливался на этом эпизоде в своей жизни, который и в моих воспоминаниях должен занять место только эпизода, хотя, по ходу изложения, мне, может быть, и придется не раз еще вернуться к нему.

Что выражала собой борьба А.Н.Волжина с митрополитом Питиримом и со мной?! Да и можно ли было назвать "борьбой" односторонние нападения А.Н.Волжина на нас, когда ни митрополит, ни я не наносили А.Н.Волжину ответных ударов? Жаловался ли митрополит Питирим на А.Н.Волжина Их Величествам, распространял ли о нем дурные слухи в обществе? Нет, Владыка был слишком умен для того, чтобы колебать престиж царских слуг, не говоря уже о том, что, по свойству своего характера, был готов самого себя принести в жертву общему миру, что и делал.

Что касается меня, то в беседах с Государем Императором я ни разу не упомянул даже имени А.Н.Волжина, а Императрице давал о нем только добрые отзывы. Да иначе я и не мог бы поступить, во-первых, потому, что и сам считал А.Н.Волжина, хотя и ограниченным, но хорошим человеком, а во-вторых, и потому, что Императрице было известно отношение А.Н.Волжина ко мне, и всякий другой отзыв о нем был бы, конечно, истолкован как борьба соперников из-за власти.

И митрополит, и я видели в А.Н.Волжине только один недостаток – он не разбирался ни в порученном ему деле, ни в людях, ни в окружавшей его политической обстановке, был неискренен и, *потому что был неискренен*, потому и попался в расставленные сети и способствовал клевете, распространявшейся вокруг имени митрополита и моего, вместо того, чтобы, по долгу присяги, бороться с нею. Но, как митрополит, так и я, связанные долгом к Царю, предпочитали терпеть обиды, вместо того, чтобы "реабилитировать" себя ценою унижения престижа царских сановников.

"Борьба" А.Н.Волжина с нами была лишь одним из выражений той болезни, какая свела Россию в могилу. Болезнь же эта была эпидемической и поражала всех. В тот момент вся Россия уже являла признаки сумасшедшего дома, в котором были заперты и больные, и здоровые, где люди не понимали друг друга, не имели общего языка, где дрались между собой, нанося удары и правым, и виноватым. Интернационал перемешал все карты в политической игре, а выдвинутая им фигура Распутина заслоняла собою буквально всех.

Везде мерещился Распутин; везде на первом плане было это роковое лицо, и чтобы ни делали и ни говорили Царь с Царицей – везде то кричали и шептались, то про себя думали, что за спиною Их Величеств стоял Распутин и руководил Их действиями и помыслами. Этот дурман охватывал все высшие круги, завлекал и преданных царских слуг, которые оказывались еще большими врагами Престола и династии, ибо они громче всех кричали о Распутине, усматривая в нем государственную опасность, еще энергичнее защищали Царя и Россию, не понимая, по недомыслию, того, что такая "защита" могла бы выразиться только в одном – в замалчивании имени Распутина.

Почему же общество так легко попадалось в расставленные сети?!

Потому, что не имело веры в Промысл Божий; потому, что перестало понимать *религиозную сущность самодержавия* и рассматривало Царя не как Выразителя воли Господней, Помазанника Божия, а как человека, не только творившего свою собственную волю, но даже отдавшего эту волю Распутину.

Эта мысль превосходно выражена О.В.Винбергом, писателем неподкупной честности убеждений, одним из тех людей, с которыми Россия никогда бы не погибла и без которых должна была погибнуть. Вот что О.В.Винберг пишет в своей книге "Крестный путь", на стр. 2:

"Тот, кто умеет проникновенно видеть духовным взором, кто понимает силу и значение Таинства Миропомазания и чувствует неразрывную связь между Царем и народом, которая, санкционируя историческую преемственность, невидимо образуется силой этого Таинства, тот знает, почему теперь так страдает русский народ... Ныне свершается Суд Божий!"..

В этих проникновенных словах одного из тех людей, мимо которых проходит толпа, или не замечая их, или побивая камнями, ключ к уразумению не только настоящего России, но и ее далекого, далекого прошедшего.

Глава XXXIV. Высочайшая аудиенция. Отъезд в Белгород. Курский архиепископ Тихон. Губернатор А.П. Багговут. Посещение церковно-приходской школы

Высочайший Указ о моем назначении последовал 15 сентября 1916 года, а 18 сентября, или днем позже, точно не помню, я был вызван в Царское Село к Ея Величеству. К сожалению, об этой аудиенции у меня не сохранилось никаких воспоминаний... Мой дневник, какой я вел с раннего детства, чуть ли не с 8 лет, убежденный доводами, что этим путем можно научиться писать и выработать умение владеть стилем, погиб вместе с прочим имуществом в Киеве, будучи похищен большевиками. Там, на его страницах, имелась подробная запись и об этой первой, после моего назначения, аудиенции, оставившей мне сейчас воспоминания лишь об общих впечатлениях... Та же материнская любовь к России, те же болезненно переживаемые скорби о ее тревожном настоящем и грядущем будущем, та же сердечная заботливость о церковных нуждах и пастырях Церкви, какие отличали мудрую, непонятую, неоцененную Императрицу... Напутствуемый добрыми благопожеланиями, тронутый вниманием Государыни, я вернулся в Петербург, с мыслью оправдать доверие Ея Величества ценою каких угодно жертв...

То, другими относилось к области фантазии и мистицизма, то для меня являлось реальной действительностью. Участие в моем назначении Св. Иоасафа казалось мне до того очевидным, что я не мог пройти мимо этого факта и заявил Обер-Прокурору Н.П.Раеву, что, прежде вступления своего в должность, считаю обязательным для себя поехать к Святителю, в Белгород, за благословением...

Как я ни старался придать своей поездке частный характер, как ни хотелось мне прибыть в Белгород в качестве простого паломника, однако о моем отъезде из Петербурга были посланы предуведомления и, по прибытии в Курск, я был встречен на вокзале местными властями и духовенством, а архиепископ Курский Тихон выслал за мной свой экипаж. Я был вынужден отправиться к Владыке, что не входило в мои планы, ибо я желал, не останавливаясь в Курске, ехать дальше, в Белгород. С Преосвященным Тихоном, бывшим Костромским, я встречался уже раньше, когда, несколько лет тому назад, гостил у Костромского губернатора А.П.Веретенникова, посетив его после торжеств по случаю прославления Св. Анны Кашинской. Однако встреча была мимолетная и не оставила никаких воспоминаний. Встреченный архиепископом и губернатором А.П.Багговутом, я прошел в гостиную, куда вскоре явились и консисторские служащие, которых Владыка и представил мне.

"Вам будет угодно проследовать и в нашу консисторию?" – спросил меня архиепископ.

"Нет, Владыка: я желал бы прежде испросить благословения у Святителя Иоасафа и сегодня же быть в Белгороде", – ответил я.

Но в этот момент ко мне подошел попечитель вновь открытой церковно-приходской школы, с неотступной просьбой посетить школу, где ожидают этого посещения как дети, так и учительский персонал, заранее предуведомленные о приезде Товарища Обер-

Прокурора. Я вспомнил о просьбе протоиерея А.И.Маляревского посетить эту школу и обещал заехать в нее. По окончании церемонии представления должностных лиц, я остался в обществе архиепископа и губернатора, и между нами завязался разговор на общие темы. Архиепископ говорил о нашумевшей ереси имябожников на Афоне и высказал мысль, что весь этот шум поднял своими газетными статьями архиепископ Антоний (Храповицкий).

"Если бы не это, то не было бы и вздутия дела", – сказал архиепископ.

Я невольно улыбнулся и заметил:

"Именно, "вздутия" бы никакого и не было".

Губернатор рассказывал о выборах в Думу и подчеркивал, что на этот раз пройдут правые. В устах губернатора Багговута, известного мне с тех сторон, какие делали его одним из лучших губернаторов России, такое заявление не было фразой.

Пробыв у архиепископа положенное для официального визита время, я направился в церковно-приходскую школу и по пути завез визитную карточку губернатору.

Школа действительно блистала своей внешностью. Дети до того бойко отвечали, так мастерски декламировали разные стихи, так стойко выдерживали натиск учителя и учительницы, забрасывавших их всевозможными вопросами по всем предметам школьной программы, что даже рассмешили меня. Тренировка была изумительная. Но именно по этой причине, наученный горьким опытом, я опасался предлагать ученикам свои вопросы, ибо был уверен, что не получу на них ответа... Я часто видел эти великолепные ажурные здания, которые разбивались при первом дуновении ветерка. На лицах детей, выделявавших эти фокусы и эквилибристику с памятью, не отражалось никакой мысли; они абсолютно не понимали того, о чем говорили; их внимание было сосредоточено только на автоматической передаче заученного. Это были типичные жертвы той школьной рутины, какая, казалось, преследовала единственную цель – убить в самом зародыше проблески сознания и уничтожить самую способность мышления. Скрывая свое тягостное впечатление, я, прощаясь со школой, обратился к учительскому персоналу с нижеследующей речью:

"Вам было угодно просить меня посетить Вашу школу в краткий промежуток моего пребывания в Курске. Я охотно исполнил Вашу просьбу и вижу, что учебно-воспитательное дело в Вашей школе действительно вполне отвечает требованиям, какие к нему обычно предъявляются. Дети опрятны, выдержаны, отвечают на задаваемые вопросы бойко и свидетельствуют о том, что Вы вложили много труда в дело, которое любите.

Но, далекий от мысли омрачать Ваше впечатление от моего посещения школы, я хотел бы, однако, сказать Вам о том, о чем говорю в каждом учебном заведении, какое посещаю, ибо то, что является в моих глазах недостатком, присуще каждой школе, от низшей до высшей. Я хочу Вам сказать, что еще мало прививать ученикам знания, а нужно и научить умению использовать эти знания для целей, ему предназначенных. Центральным местом всякой школьной программы должен быть Закон Божий, не как предмет науки, а как закон Бога, одухотворяющий всякую науку и дающий ей смысл, нормирующий основные требования, предъявляемые Богом к человеку в сферах частной и общественной жизни и регулирующий взаимоотношения людей между собой. Само собой разумеется, что, при этих условиях, оценка знаний ученика должна иметь место в совершенно иной плоскости и меньше всего там, где ныне допускается. Не тот ученик хорош, кто знает притчу о богатом и Лазаре, а тот, кто, при встрече с нуждой, горем и страданием, не проходит мимо них равнодушно, а протягивает свою руку помощи, кто понял сущность этой притчи и проводит ее в личной жизни. Не тот должен получить высший балл, кто хорошо усвоил притчу о мытаре и фарисее, а тот, в ком Вы заметите истинное смирение, и т.д... Между тем, мои наблюдения утверждают меня в том, что Вы следите лишь за усвоением учениками фактов, из которых они или вовсе не делают никаких выводов, или делают неверные. Я не помню ни одного ученика, который бы не прочитал мне молитвы Духу Святому, великолепно всеми усвоенной. Однако, на мой вопрос, о чем просят в этой молитве Духа Святого, никто мне не ответил. Когда и указывал ученикам на то, что основная мысль этой молитвы выражена словами: "приди и вселися в ны", и спрашивал, замечали ли они когда-либо,

чтобы Дух Святой исполнял их просьбу и вселился в них, мне давали один и тот же ответ: "Нет, не замечали".

Между тем, обязанность преподавателя, казалось бы, в том и состоит, чтобы помочь ученикам разбираться в этом и подобных вопросах, указать им на ту перемену ощущений и настроений, какие связываются с их отношением к Богу в тот или иной момент. Что такое "окамененное нечувствие", или противоположное ему состояние сердечной теплоты и умиления, как не показатели нашего расстояния от Бога?!

Остановитесь только на одной молитве к Духу Святому, раскройте ученикам всю глубину ее содержания; укажите на процесс душевных переживаний в момент борьбы человека со злой волей; помогите разобраться в той "невидимой брани", какую ведет каждый человек; обнажите источник этой брани, и тогда молитва к Духу Святому явится в глазах Ваших учеников одним из способов борьбы со злой волей, с греховными навыками и страстями: тогда Вы дадите им действительное оружие в этой борьбе, которое они уже не выпустят из своих рук и которым будут всегда пользоваться в жизни. А иначе они забудут эту молитву так же, как и все прочее, приобретаемое в школе. То же самое нужно сказать и по отношению ко всем прочим молитвам, ибо каждая из них выражает конкретную просьбу к Богу: нужно указать, в чем эта просьба заключается, каковы признаки того, что она исполнена, и в чем выразились результаты обращения к Богу. А притчи Христовы и неисчерпаемая глубина их содержания!.. Каждая из них – предмет глубочайшего психологического анализа, целая программа жизни... Между тем, их рассматривают только как рассказы, и отношение к ним такое же, как и ко всем прочим фабулам и рассказам, с которыми ученики знакомятся в школе. Не могли мне ответить даже ученики старших классов гимназии на вопрос, почему Христос Спаситель любил детей и в чем видел их преимущества перед взрослыми... И нужно было видеть, с каким захватывающим вниманием слушали они мои объяснения той или иной молитвы, или притчи Христовой, рассматриваемых мной с точки зрения их практической ценности... *Закон Божий – не предмет науки, а теория и практика богоугодной жизни.* Так и смотрите на него.

Правда, вы можете мне сказать, что выполняли лишь общую учебную программу и должны были к определенному сроку пройти ее, как выражаются ученики – "отсюда и досюда"; что не ваша вина в несовершенстве этих программ и пр. Вы будете отчасти правы... Мысль о коренном пересмотре школьных программ духовного ведомства является одной из первейших моих забот... Но, прощаясь с вами, я, все же, не могу не сказать вам, что не тот ученик хорош, кто много знает, а тот, кто умеет использовать свои знания во славу Божию и на пользу ближним, кто вышел из школы с запасом нравственных сил... Давайте пищу уму, но давайте ее и сердцу, ибо самый умный есть все же самый добрый, наиболее нравственно дисциплинированный человек"...

Простившись с детьми и учебным персоналом школы я вернулся к архиепископу Тихону, откуда через полчаса уехал на вокзал, следуя в Белгород. Мог ли я думать, что, несколько лет спустя, архиепископ Тихон примкнет к революции, страха ради иудейска изменит Православию, и в качестве митрополита Киевского сделается гонителем Церкви...

Глава XXXV. Белгород. У раки Святителя Иоасафа. Преосвященный Никодим, епископ Белгородский

Через несколько часов я уже был в Белгороде и задумчиво стоял перед ракою Святителя Иоасафа. В храме никого не было. Преосвященный Никодим и братия монастыря, не предполагая, что я пройду сначала в храм, ожидали меня в архиерейских покоях... И я был рад, что мог остаться наедине с любимым Угодником Божиим...

Вся жизнь моя за последние годы промелькнула в моем сознании, мельчайшие подробности моих переживаний и ощущений воскресали в моей памяти. Я вспомнил деревню и первые шаги моей служебной деятельности. Как трудны они были, сколько было огорчений и разочарований, как медленно и постепенно, настойчиво и упорно превращался в моих глазах "народ богоносец" в зверскую, жестокую массу! Народ, которого я, выросший

в деревне, сын помещика, так горячо любил и которому так верил, который пользовался такими безмерными милостями со стороны моего кроткого и смиренного отца и оставался всегда угрюмым и неблагодарным, этот народ, который казался мне, на расстоянии, таким жалким и несчастным, мгновенно переменился ко мне с того момента, когда я надел кокарду Земского Начальника, и безжалостно разрушал все мои идеалы... Куда девалась его кротость и смирение, его кажущаяся любовь, какую он так часто выражал мне, в бытность мою студентом, и какая так искренно влекла меня в деревню с тем, чтобы отдать ей все свое время, все силы и разумение!.. Дождавшись диплома университетского, запасшись нужными знаниями, я пошел к этому народу... И что же я увидел?! Анархию и злобу, безмерную хитрость и лукавство, беспросветную тьму и невежество... И однако же, воспоминание о деревне болезненной тоской сжимало мое сердце... Расставшись с ней, я очутился точно в пустыне и не знал, куда идти и что делать с собой... Там были звери, и их было большинство; но были и такие люди, каких нигде не было и нигде нельзя было найти, люди недостижимой нравственной чистоты и величия духа, воспоминание о которых и до сих пор укоряет меня в том, что я их покинул, хотя уход мой из деревни и был вынужденным и совершился против моей воли... Это были старики, бывшие крепостные моих предков, самые искренние и близкие друзья моего отца, люди мудрейшие и богобоязненные.

Немного их было, но все они были людьми замечательными стойкостью своей веры, непоколебимой преданностью Царю, безграничным смирением, этим показателем истинной мудрости, и верю я, крепко верю, что все они стоят теперь перед Престолом Божиим впереди всех прочих людей... К ним, к этим исключительным людям, принадлежала и моя святая няня, всю жизнь свою беззаветно служившая нашему дому, единственным желанием которой было желание умереть в двенадесятый праздник... И Господь услышал ее смиренную просьбу и позвал ее к Себе в день Своего Преображения, 6 августа... И девятый день после кончины пришелся в двенадесятый праздник Успения Божией Матери, и сороковой день в праздник Воздвижения Креста Господня... Это были люди, вся жизнь которых была непрерывным общением с небом, с Богом и Его святыми... Они точно не прикасались к земле, я никогда не видел, чтобы они гневались или раздражались, или считались с разными житейскими невзгодами... Они стояли выше земных соображений и расчетов; их ангельские души вносили везде и повсюду любовь, мир и безграничную ласку... И как ярко горели эти звезды на темном небосклоне деревни!..

Но не только воспоминания об этих дорогих людях неудержимо влекли меня назад, в деревню: этого требовало и сознание долга бороться с ее темнотою и невежеством и зверством, ибо, как ни велики были мои разочарования и болезненные пережитые скорби и страдания, все же, далекий от идеализации народа, я чувствовал в тайниках своей души, что не вправе обвинять его... Что иного могло получиться, когда, брошенный освободительными реформами на произвол судьбы, народ очутился в руках сельского учителя и тех агентов революции, которые в освобождении крестьян от крепостной зависимости увидели не великий акт великой любви Царя к народу, а великий шаг вперед на пути к революционным достижениям и свою победу?!

Какой пустой и бессодержательной показалась мне жизнь в столице после деревни, каким ненужным мое новое дело в Государственной Канцелярии, каким тяжелым укором отзывались в моем сердце блестящие стены Мариинского Дворца, после убогих крестьянских изб и хижин!

И тяжело, до физической боли, затосковала моя душа, и взмолился я к Святителю Иоасафу и просил Его или вывести меня из мира, или дать мне какое-нибудь дело в руки, которое бы привязало меня к жизни и наполнило бы ее содержанием, родственным моему духу... Услышал Святитель мою молитву и дал мне это дело, какое заставляло меня каждый год ездить в Белгород, и привело к торжеству прославления Святителя Иоасафа, 4 сентября 1911 года... Но вот кончилось это дело, и опять я остался не у дел Божиих, и опять затосковала душа, и опять я стал надоедать Святителю своими неотступными просьбами

протянуть мне руку помощи... А теперь я стоял перед ракою Святителя, имея такое дело, какое и наполняло душу мою умилением, и пугало меня, и я благодарил Святителя и в то же время горячо просил Его помочь мне, направлять мою волю на добро, охранить меня от соблазнов власти и благословить предстоящие труды...

Приход благочинного, заявившего, что Преосвященный Никодим, с братией монастыря, ожидают меня в архиерейских покоях, прервал мои думы... "Торжественная" встреча, – подумал я: зачем это, как мало они меня знают...

Я вышел из храма. В Иоасафовском зале была собрана старшая братия монастыря, и среди нее Преосвященный Никодим, с образом Святителя Иоасафа в руках... Сделав несколько шагов мне навстречу, Владыка обратился ко мне с пространной речью, в которой отметил промыслительную руку Святителя в нашем роду и, в частности, в моей личной жизни, и в заключение просил меня принять дорогую мне икону Святителя.

Меня до крайности связывали и стесняли всякая "представительность", участие в "торжественных" встречах, проводах и приемах; но когда эти церемонии обрушивались всей тяжестью на меня лично, когда меня обязывали отвечать на непрошенные мною речи, каких я не умел и не любил произносить, тогда я окончательно терялся... Однако речь Преосвященного Никодима была так длительна, а окружавшая его братия монастыря так жадно ожидала моего ответного слова, что я вынужден был сказать его и, принимая от Владыки образ, я обратился к нему с такими словами:

Ваше преосвященство и достопочтимая братия обители Святителя Иоасафа!

Промыслом Божиим и волею Царскою призванный к высокому церковно-государственному служению, я, прежде вступления своего в должность, приехал к вам, в вашу обитель, испросить у Святителя Иоасафа благословения на подлежащий сложный и ответственный труд и обратился к Угоднику Божию с молитвой о помощи, вразумлении и наставлении.

Истинное знание – а таковым является лишь знание духовное – обретается не в книгах, а там, где рождается умиление от ощущения живой связи с Богом, где растворяется "окамененное нечувствие сердца" где созидается та религиозная настроенность, какая одна только в силах освещать жизненный путь человека, предостерегать его от ошибок, указывать должное направление и мыслям, и делам и открывать единственно верные перспективы жизни. Вне света религиозной настроенности – люди слепы, живут во тьме, сбившиеся с истинного пути жизни. Вот почему каждый из нас, независимо от своего положения и своих обязанностей, должен всемерно стремиться к оживлению своей связи с Богом, развивать в себе религиозную настроенность и тем создавать ту почву, какая указана самим Богом для нашего нравственного совершенствования. В чем же значение религиозной настроенности? Только ли в том, что к религиозному человеку, выражаясь просто, пристаёт все доброе и он сам делается добрым, тогда как человек не религиозный становится все более черствым и делается добычею дьявола? Нет, не только в этом, а и в том, что религиозная настроенность пробуждает нравственную ответственность пред Богом и устанавливает истинную природу наших отношений друг к другу. В этой области взаимных отношений между людьми царит наибольший хаос. Люди перестали понимать друг друга, сделались подозрительными и недоверчивыми, прониклись взаимной ненавистью и злобой, и все это только потому, что перестали ощущать в себе религиозную настроенность, только потому, что утратили сознание нравственной ответственности пред Богом и даже не допускают ее у других. Здесь источник взаимного непонимания, вражды и того, что люди стали говорить на разных языках. Отсюда все ужасы жизни, какие являет нам картина нашего времени. Если бы вы знали, чем должна была быть Россия и чем она стала, если бы у вас открылись духовные очи для того, чтобы увидеть, насколько далеко уклонилась Россия от пути, уготовленного ей Богом, как тяжки ее прегрешения, какие могут быть сведены к одному общему преступлению – замене Божеских законов человеческими установлениями, то вы бы со дня на день ожидали справедливой кары Божией и молили бы Господа только о времени для покаяния.

Было время, когда гражданские законы согласовались с Божескими, когда не только от низших, но и от высших должностных лиц требовалось соблюдение установленных Церковью обрядов, когда требование религиозной настроенности было первым требованием, предъявлявшимся к каждому начальнику, когда даже сенаторами назначались только лица, неуклонно соблюдавшие Посты Православной Церкви и бывавшие у исповеди и Св. Причастия. Так бережно охранялись Божеские законы; так глубоко уважались начала нравственной ответственности пред Богом. Это время прошло... Указанные начала, на протяжении веков, постепенно заменялись новыми. Вместо нравственной ответственности стала выдвигаться ответственность юридическая: человек стал бояться человека больше, чем Бога... Россия сбилась с пути и катится в бездну. Кто же может вовремя удержать ее от гибели, где тот маяк, при свете которого можно найти поворотный пункт? Как твердыня, которую не одолеют и врата адовы, стоит Православная Церковь, озаряя светом Истины каждого, кто приходит к ней. Но еще мало иметь свет пред собой: нужно иметь и глаза, чтобы его видеть, нужно желать еще и смотреть на него. Еще мало держать в руках Евангелие: нужно уметь прочитать его и иметь желание читать... И монастыри православные искони были очагами духовного света, обучающими и возрождающими во мраке живущих, омывающими и очищающими погрязших в грехе. Оттуда шел свет истинного знания и в мир: там создались и основы русской государственности, столь отличной от государственности западно-европейской. Но и это время уже прошло... Что являют собой монастыри нашего времени? Вам лучше знать об этом, чем мне. Но и то, что я знаю, заставляет меня еще раз сказать вам – *молитесь, чтобы Господь дал вам время хотя бы только для покаяния*... Если вы не имеете сил идти путем своих предшественников и властью нравственной чистоты искоренять зло в мире, то, хотя бы, не вносите этого зла в ограду монастыря, в храм Божий, в свои кельи; оживляйте в своем сознании данные вами обеты Богу, а, если не можете этого сделать, если не находите в себе сил нудить себя для этой цели, то вы совершите меньший грех, если покинете обитель. Поставленный на страже интересов церковно-государственных, обязанный охранять святыню от поругания, я буду зорко следить за мельчайшими проявлениями церковной жизни в России, дабы согласовать ее с требованиями, какие предъявляются к ней и со стороны Церкви, и со стороны государства. Преклоняясь перед величием и святостью иноческой идеи, глубоко почитая монастырский уклад жизни, я не могу не видеть ни крайне тусклого выражения этой идеи, ни нарушения этого уклада и пренебрежения уставами. Ваша обитель, более чем какая-либо иная, останавливает мое внимание и требует моего попечения. В этом я вижу долг перед Святителем Иоасафом, понимаемый мною, однако, не только как заботу о внешнем благоустройстве обители, но и прежде всего как заботу о согласовании внутренней жизни обители с требованиями, предъявляемыми к ней Церковью и нашедшими столь яркое выражение в жизни и деятельности великого Угодника Божия, Святителя Иоасафа".

Кончилась церемония встречи, и братия разошлась по кельям, а через полчаса вновь собрались в храме, где Преосвященный Никодим служил напутственный молебен, с акафистом Святителю Иоасафу. По окончании молебна, простившись с Владыкою и братией монастыря, я в тот же день, 24-го сентября, вернулся на вокзал в свой вагон, где и остался ночевать, с тем, чтобы на другой день утром выехать в Харьков, а оттуда в Петербург.

Глава XXXVI. Приезд в Харьков. Архиепископ Антоний и его викарий, епископ Старобельский Феодор. Начальница Харьковского женского епархиального училища Е.Н. Гейцыг

Я прибыл в Харьков 25 сентября, в день памяти Преподобного Сергия Радонежского. Архиепископ Антоний совершал литургию в храме Харьковской Духовной семинарии, а его викарий, епископ Феодор Старобельский (скончался от сыпного тифа, в первых числах января 1920 г., в Екатериинодаре) – в кафедральном соборе. Я направился в собор и, стараясь быть незамеченным, стал у входных дверей, подле свечного ящика... Однако, как я ни

прятался, все же, к концу литургии, Преосвященный Феодор, давно знавший меня, заметил меня, и, после усиленных настояний, я вынужден был пройти в алтарь, где на престоле увидел дорогой образ-складень Божией Матери... Я догадался, что Владыка собирается готовить мне "встречу", и мое настроение было до крайности тягостным; я с беспокойством и тревогой взирал на Озерянскую икону Божией Матери, стоявшую в дорогом складне на престоле...

После окончания литургии, когда собор уже почти опустел, Преосвященный Феодор вышел на амвон; за ним следовал настоятель, с образом Божией Матери, и сослужившее Владыке духовенство... Ко мне подошел какой-то иеромонах и просил меня подойти к амвону...

Преосвященный обратился ко мне с речью, поздравляя меня с высоким назначением и призывая Божие благословение на предстоящие труды. Каждая подобная речь обычно грешит пристрастием, и я был вдвойне смущен как содержанием речи, так еще более тем, что она была обращена ко мне в соборе, где я не считал возможным отвечать на нее и рисковал очутиться в очень неловком положении... Прихожане, не знавшие об этой церемонии, покидали храм, и я мысленно желал, чтобы собор опустел к концу очень пространной речи Владыки, дабы, в случае необходимости отвечать на нее, я бы мог чувствовать себя менее связанным. Закончив свою речь, Преосвященный Феодор передал мне икону и, стоя на амвоне, ждал моего ответного слова. Окружавшее Владыку духовенство также не собиралось уходить: оглядывая меня со всех сторон, ждали моей ответной речи... Делать было нечего: скрепя сердце, вызванный против воли к ответу, я сказал:

"Ваше Преосвященство, призванный Державною волею Монарха к служению Церкви Божией, я, прежде чем приступить к исполнению возложенных на меня обязанностей, ездил за благословением в Белгород, к Святителю Иоасафу, Белгородскому Чудотворцу... Вы первые встречаете меня на пути моего следования к месту нового служения и приветствуете в храме Божиим, благословляя святой иконой Матери Божией... Благодарю Господа за все, благодарю вас за любовь вашу и благословение на труды сложные, ответственные и перед Богом, и перед Царем, и перед совестью моей... Я вижу в тех приветствиях, какие получаю отовсюду, не только любовь друзей моих, но и желание их дать мне моральную поддержку, подкрепить мои духовные силы... Меня трогает это желание; однако будем помнить, как опасно искать эту поддержку извне, как опасно опираться на общественное мнение, а тем паче, руководиться им... Нужно черпать свои силы не в помощи и ободрении извне, а в молитве к Богу, единственному Источнику благодати, без которой и мы сами, и наша работа, как бы блестяща ни была с внешней стороны – духовно мертвы. Нужно развивать в себе ту внутреннюю религиозную настроенность, какая создается благодатной связью с Богом и Его святыми и какая является не только источником духовной силы и энергии, но и источником действительного знания. Эта же настроенность чаще является уделом одиночества и страдания... Мы не должны бояться ни того, ни другого... Только страдание открывает духовное зрение, только горе великое научает правде жизни... Но будем бояться рукоплесканий, будем осторожны к внешности, ибо она обманчива, и всякий успех, на ней основанный, не может быть прочен, ибо не имеет под собой почвы... Там самообман, там великий соблазн, там источник духовной гордости, медленно и незаметно, но неминуемо и неизбежно разрушающий не только преследуемые идеалы, но и тех, кто к ним стремится...

Только слепые не видят того, что делается вокруг, какие грозные тучи покрыли небосклон и с какой ураганной быстротой закрывают солнце, бледные лучи которого едва уже освещают нашу несчастную Россию... Воспользуемся же хотя этими бледными лучами, чтобы при свете их увидеть те страшные перспективы, какие рисуются духовному взору, дабы не быть застигнутыми врасплох... Более чем когда-либо нам надлежит удвоить нашу бдительность, чтобы быть в силах охранить интересы, нам вверенные. Но чем и как мы можем отстоять их от расхищения со стороны озверевшего врага?! В нашем распоряжении только одно орудие – сила нравственная. Если мы лишимся этой силы –

победа останется за врагами, грозные признаки чего уже наблюдаются... А в чем заключается нравственная сила? Только ли в честности своего отношения к Богу и ближнему, только ли в самодовольном сознании, что мы не участвуем в том зле, какое видим вокруг себя? Нет, этого мало!.. Нет заслуги не делать зла: нужно бороться с ним, и сила нравственная заключается в деятельности и активной защите христианского начала, вытесняемого из жизни, в борьбе с теми, кто вносит в государственную жизнь элементы разложения... Этой борьбы мы не видим, а видим восхищение, преклонение и соглашательство с так называемыми "новыми" требованиями жизни. Мы встретились с фактом присутствия духовенства в Думе и с еще более невероятным фактом разделения представителей Церкви на партии. Мы слышим голос духовенства в общей массе голосов, идущих из лагеря "прогрессистов", одурманивающих звонкими фразами нашу сбитую с толку молодежь и усыпляющих ее совесть. Все это мы видим и слышим; но, к сожалению, не видим и не слышим того властного голоса Церкви, который бы указал на *источник заразы* и призывал к борьбе с ней... Взамен этого мы слышим обвинения Обер-Прокуратуры в том, что она держит Церковь точно в плену и стесняет ее свободу... О какой свободе идет речь?! *Свободу духа никто не может отнять, и путь к святости всегда свободен*. Если же мы сошли с этого пути, то потому, что шли за жизнью, вместо того, чтобы вести жизнь за собой... Идеалы Церкви не впереди, а позади, у подножия Голгофы: если мы жаждем обновления, то должны вернуться назад... Принципы церковного а следовательно, и государственного управления, ибо церковность – основа государственности, вековечны и неизменны, не могут и не должны находиться в зависимости от отношения к ним со стороны тех, кто их забывает или не понимает. Пренебрежение этими принципами неизбежно ведет к величайшим государственным потрясениям и гибели государства... "Книга Правил", а не общественное мнение, должна лежать в основе наших программ, и нашу первейшую задачу составляет сообразоваться с ее велениями и руководствоваться ее указаниями. Бойтесь всего "нового", будьте совершенно убеждены в том, что это "новое" – от врага, на протяжении веков работающего над подменой старых истин, провозглашенных Господом Иисусом Христом"...

Я давно знал и любил Преосвященного Феодора за его безграничное смирение. Робкий и застенчивый, сам попадавший в трудные положения и создававший их вокруг себя, благодаря неумению ориентироваться в условиях момента, Преосвященный Феодор не пользовался расположением среди иерархов, ставивших ему в вину его излишнюю, по их мнению, "аттенцию" к мирянам. Но здесь сказывалось не подобострастие к мирской власти, а смирение бывшего сельского священника, какое осталось за ним и по возведении его в сан епископа.

Из собора я, вместе с Преосвященным Феодором, проехал к архиепископу Антонию, у которого встретился с гостившим у него Сербским епископом Варнавою. Затем я посетил начальницу женского епархиального училища Евгению Николаевну Гейцыг, самую деятельную и энергичную мою сотрудницу в деле прославления Св. Иоасафа, гордость и красу Харьковской епархии, создавшую из ничего епархиальное училище, лучшее в России... К ней я еще вернусь позднее... Вечером того же дня я выехал в Петербург.

Глава XXXVII. Печать о моем назначении

Две недели моего отсутствия из Петербурга были достаточны для того, чтобы как столичные, так и провинциальные газеты уделили бы на своих столбцах всевозможные статьи по поводу моего назначения. Возвратясь домой, я увидел на своем письменном столе массу газетных вырезок, какие с интересом прочитывал... Так как меня мало кто знал, то и отзывы, в общем были сдержанные, туманные и неопределенные; только Московские газеты нападали на меня, приводя мнение либеральных профессоров Московской Духовной Академии, глубокомысленно утверждавших, что для лица, призванного не только руководить церковно-государственной жизнью, но и устанавливать новые линии этой жизни, в соответствии с выдвигаемыми жизнью "новыми" требованиями, нужна большая

"широта", нужны понимание этих требований и желание идти им навстречу, чего от нового Товарища Обер-Прокурора нельзя ожидать. В этом почтенные профессора были действительно правы, ибо "новые" требования рассматривались мною сквозь призму "старых" понятий и производили на меня такое впечатление, какое обязывало меня не только не прислушиваться к ним, тем менее идти им навстречу, но, наоборот, вести с ними ожесточенную борьбу и безжалостно вырывать с корнем эти жидо-масонские семена, засыпавшие все поле церковной и государственной жизни России.

Изредка, кое-где, попадались и добрые отзывы, так что общее впечатление от газетных вырезок получилось у меня даже благоприятное, несмотря на массу неточностей и на то, что в них было много неправды.

Но вот я приехал в Петербург, и ко мне стали стучаться репортеры столичных газет, с неизменным вопросом, какова будет моя будущая программа. Странно было предлагать такой вопрос Товарищу министра, не могущему иметь никаких самостоятельных программ: я понимал что этот вопрос был обращен ко мне не как к Товарищу Обер-Прокурора, а имел личное значение, и что от ответа на этот вопрос зависела та позиция, какую пресса должна будет установить в отношении меня.

Я сделал этот вывод не только потому, что являвшиеся ко мне репортеры были евреи, но и потому, что они сосредоточивали свой главный интерес на модных вопросах, волновавших общественность, и особенно настойчиво касались приходского вопроса, склоняя слово "демократизм" во всех падежах и связывая с обновлением приходской жизни свои преимущественные надежды. Я терпеливо слушал репортеров, а затем сказал им: *"Нам нужна не демократизация, а христианизация общественной и государственной мысли и жизни; нужно создание условий для закрепления христианских начал, вытесняемых из жизни на протяжении веков действиями, враждебными этим началам... Вот что нам нужно, и в этом моя программа"*...

После этого я больше не видел ни одного репортера, а в газетах началась определенная, планомерная и систематическая травля; стали появляться статьи, резко критиковавшие каждый мой шаг... Наиболее памятной для меня явилась статья типичного выразителя модных требований в области церковной жизни, профессора Н.Верховского, проводившего ту мысль, что лучше вовсе не высказывать своих убеждений, чем, высказывая их, отнимать всякую надежду на возможность "обновления" церковной жизни. Упрек был неоснователен, ибо стремился я к такому обновлению не менее горячо, чем профессор Н.Верховский; только понимал сущность этого обновления иначе, чем он... Кто из нас был прав, показала "Живая Церковь", воплотившая собой все тезисы как профессора Верховского, так и прочих передовых профессоров, не понимавших того, что прогресс в области церковной жизни возможен только после отмены Евангелия, являющегося совершенной Истиной, какой только нужно следовать, но корректировать которую столько же глупо, сколько и преступно. В начале 1917 года мне пришлось познакомиться с профессором Верховским в Ростове, и он признался, что не написал бы своей статьи, если бы был раньше знаком с моими взглядами на церковно-государственные задачи... И за то спасибо!

Я погружался все глубже в те глубины, где зарождалась общественная мысль, где выдавались аттестаты людям, стоявшим у власти, и намечались линии государственной жизни. И какой же огромной показалась мне сила печати, какими наивными и слепыми казались те, кто оценивал события текущей жизни с точки зрения внешних причин, или видел в Распутине источник главного зла... Я чувствовал себя игрушкой в руках печати и знал, что скоро сделаюсь и ее жертвой.

Глава XXXVIII. Вступление в должность и первые впечатления

30-го сентября 1916 года я впервые вошел в Синод в качестве Товарища Обер-Прокурора и в этот же день принял участие в заседании Св. Синода. Меня очень тронуло то сердечное отношение, с каким меня встретили митрополиты С.-Петербургский Питирим

и Московский Макарий, а также Обер-Прокурор Св. Синода Н.П.Раев, и очень удивила та сдержанность, с которой отнеслись ко мне прочие иерархи. Удивила меня эта сдержанность потому, что, до своего назначения, я встречал с их стороны не только внимание, но самое искреннее, как мне казалось, расположение, о котором свидетельствовала также и та груда приветственных писем и телеграмм, какая лежала у меня на письменном столе, среди которой были и приветствия со стороны заседавших в Синоде иерархов. Что касается обоих протопресвитеров, Г.Шавельского и А.Дернова, то они не проявили ко мне внимания даже в степени, требуемой обычной благовоспитанностью; но иного отношения я и не мог ожидать от них. Люди мы были разные и понимали это. За Обер-Прокурорским столом сидели Н.П.Раев, Н.Ч.Заиончковский и я. Перед началом заседания митрополит Питирим обратился ко мне с приветственным словом, и это до того смутило меня, что я ограничился только словом благодарности, а в ответ на приветствие ничего не сказал.

Я впервые столкнулся с иерархами в положении Членов Синода, разрешавших дела, поступившие на рассмотрение Св. Синода. Один только благостнейший митрополит Московский Макарий оставался тем, чем был, сохраняя обаяние мудрого и смиренного, любвеобильного и кроткого архипастыря. Все же прочие, за исключением митрополита Питирима, не принимавшие никакого участия в делах и только присутствовавшие за общим столом, были сановниками, горделивыми и высокомерными, абсолютно не допускавшими никаких возражений со стороны Обер-Прокуратуры, крайне нетерпимыми к чужому мнению и самолюбивыми. Положение смиренного и робкого Н.П.Раева было очень затруднительное, ибо малейшая попытка его принять участие в разрешении того или иного дела встречала самое резкое противодействие иерархов, и, прежде всего, со стороны Новгородского архиепископа Арсения, сопровождавшего его архиепископа Сергия Финляндского, сидевшего с ним рядом... Архиепископы Литовский Тихон, Нижегородский Яков и Гродненский Михаил обыкновенно отмалчивались; протопресвитер А.Дернов возвышал свой голос лишь тогда, когда этого требовала оппозиция к Обер-Прокуратуре. Дела, в сущности, решались архиепископом Арсением Новгородским и протопресвитером Шавельским, которого иерархи хотя и очень, недолюбливали, но, из-за близости его к Государю Императору, изрядно побаивались. Что касается митрополита Киевского, бывшего Первенствующего, Владимира, то его роль ни в чем не выражалась. Он был абсолютно неспособен руководить заседанием: в течение 3 часов, из подлежавших рассмотрению 30-40 дел, стоявших на повестке, в лучшем случае рассматривалось 3-4 дела, прочие же дела откладывались...

Оппозиция к Обер-Прокуратуре была строго выдержана и проявлялась в самых разнообразных формах, причем одни из иерархов действовали открыто, другие же, подобно архиепископу Сергию Финляндскому, скрывали ее под личиной иудиних поцелуев. В одиночку, впрочем, редко кто выступал с такой оппозицией, и эта последняя проявлялась только на заседаниях Св. Синода; вне же стен Св. Синода иерархи точно соревновались друг с другом в выражении своих преизбыточествующих чувств к Обер-Прокурору и его Товарищу, и проявляли их в трогательно нежных формах... Исключение составлял разве архиепископ Арсений Новгородский, да и то нужно сказать, что в нем отражался скорее недостаток воспитанности, чем оппозиция. В Синоде же оппозиция была дружная: там шла борьба с принципом, и каково бы ни было действительное отношение иерархов к этому принципу, но никто не хотел отставать друг от друга; в жертву этой борьбе приносились даже интересы ни в чем неповинных людей, судьба поступавших на рассмотрение Синода дел... Припоминаю такой случай.

В канцелярию Синода поступило ходатайство графа Армфельдта с жалобой на то, что Синод, основываясь на представлении бывшего Обер-Прокурора А.Н.Волжина, вычеркнул его из списков штатных членов Училищного Совета и тем лишил графа всяких средств к жизни. По наведенным мною справкам оказалось, что граф Армфельдт был исключительным ревнителем церковных школ Новгородской епархии; что большинство этих школ даже создано было на его средства и что, в заботах о постройке и поддержании

их, граф разорился, потеряв свое состояние, вследствие чего Синод, во внимание к такому исключительному усердию, назначил графа пожизненным членом Училищного Совета, с жалованьем в 1 или 2 тысячи рублей в год – точно не помню. Впоследствии, сокращая штаты, Синод, по представлению А.Н.Волжина, вычеркнул графа из списков, чем лишил его единственного источника средств к существованию. Ходатайство графа нашло живейший отклик у директора Синодальной канцелярии П.В.Гурьева, по просьбе которого я и доложил его Синоду, не сомневаясь, что архиепископ Новгородский Арсений поддержал меня. Каково же было мое изумление, когда архиепископ Арсений, со свойственной ему резкостью, категорически воспротивился моему ходатайству, а Синод, не приведя никаких мотивов, отклонил его. Однако мое изумление было еще большим, когда, спустя неделю, тот же архиепископ Арсений вновь доложил ходатайство графа Армфельдта, на этот раз доказывал, что, как назначение, так и увольнение членов Училищного Совета принадлежит Синоду, и что Обер-Прокурор не имеет никакого права, прикрываясь именем Синода, вычеркивать кого бы то ни было из списков... В заключение архиепископ ходатайствовал об обратном включении графа Армфельдта в означенный список, ссылаясь как на заслуги графа по духовному ведомству, так и на совершенное отсутствие у него средств к жизни. Но красноречие архиепископа оказалось уже недостаточным. Синод резко отказал. "Что это Вы, Владыка, то проваливаете представления, то снова их вносите? – сказал архиепископ Литовский Тихон. – Ведь Вы же сами возражали неделю тому назад на ходатайство Товарища Обер-Прокурора"...

Что же, – как бы про себя, тихо, сказал митрополит Владимир, – мы будем сегодня разрушать то, что построили вчера"...

И ни в чем не повинный граф Армфельдт сделался жертвой идейной оппозиции Синода к Обер-Прокуратуре, в частности, жертвой того архиепископа, епархию которого прославил своими бескорыстными трудами...

По окончании заседания Синода, Н.П.Раев пригласил Н.Ч.Заиончковского и меня в свой кабинет для переговоров о распределении дел, подлежащих ведению каждого из нас. Н.Ч.Заиончковский оставил за собой учебное дело, на меня же была возложена, к преждевременной радости директора Хозяйственного Управления А.Осецкого, хозяйственная часть Синода.

"Только на неделю, – сказал мне Н.П.Раев, после того как простился с Н.Ч.Заиончковским. – Должность второго Товарища будет упразднена, как только уйдет Н.Ч.Заиончковский, а этого недолго ждать"...

Так и случилось. На следующее заседание Синода Н.Ч.Заиончковский не явился, а через неделю окончательно покинул Синод, будучи назначен сенатором.

Глава XXXIX. Игуменья Маргарита (Мария Михайловна Гунароуло)

Говоря о принципиальной оппозиции Синода к Обер-Прокуратуре, не могу не вспомнить еще об одной жертве этой оппозиции, о монахине Марии Гунароуло, жившей в подмосковной обители графов Орловых-Давыдовых "Отрада и Утешение". Я давно знал матушку Марию: в бытность свою Земским Начальником в Полтавской губернии, вел с ней оживленную переписку. В то время Матушка Мария, тогда Мария Михайловна, жила в Киеве и только собиралась принимать иноческий постриг. Я часто встречал ее у о. протоиерея Александра Корсаковского, ее духовника, настоятеля Киево-Георгиевской церкви, в приходе которой она жила. Вышедший из светской среды, бывший статский советник, о. Александр Корсаковский опытно пережил душевные движения тонко одаренной натуры, и настроение Марии Михайловны, страдавшей и тосковавшей в миру, было ему понятно. Я видел в лице Марии Михайловны воплощение пламенной веры и горячей любви к Богу и наряду с этим те именно качества, какие отличают только подлинных христиан. У нее не было половинчатости, не было никаких компромиссов с совестью: она до того боялась возможности таких компромиссов, что чуть ли не по каждому, самому маленькому вопросу повседневной жизни обращалась за советом к

своему духовнику. Ее безмерная, рвавшаяся наружу любовь к ближнему, искавшая случаев проявить себя, ее безграничная снисходительность к человеческим немощам не создавали, однако, никаких компромиссов с совестью, не рождали двойственности, ни всего того, что обычно прикрывается благочестием, а в действительности выражает только равнодушие к христианскому долгу. Маленькая, тщедушная, почти уже старушка, Мария Михайловна горела как свеча пред Богом: все, кто ее знал, знали и то, что она родилась точно для того, чтобы согревать других своей любовью... Так люди, все отдающие другим и ничем не пользующиеся со стороны других, всегда одиноки, и никто никогда не спросит у них – может быть и им что-нибудь нужно, может быть и они нуждаются в поддержке и в том, чтобы получить ответную ласку. К ним шли, когда было нужно; но не замечали, когда нужда в них проходила... Ее беседы и письма возгревали религиозное настроение, были умны и носили тот изящный отпечаток, который свойственен только глубоко культурному человеку, проникнутому подлинной религиозностью. К сожалению, моя огромнейшая переписка с этой замечательной женщиной погибла, вместе со всем прочим моим имуществом, во время революции, тогда как могла бы составить несколько томов самого назидательного чтения.

Пришел момент, когда ее заветная мечта исполнилась, и она приняла иноческое пострижение, с именем "Маргариты", и была послана в обитель "Отрада и Утешение", где игуменьей была престарелая графиня Орлова-Давыдова. Этот период жизни монахини Маргариты явился для нее тяжелым испытанием. Переписка моя с нею не оборвалась, и я знал, по ее письмам, хотя и очень сдержанным, что она очень страдала.

Я навел на нее, предупредив письмом. У станции стояла кибитка, на которой обычно ездят крестьяне. Кибитка, как оказалось, была выслана за мною. Рядом стояли прекрасные рессорные экипажи, поддерживавшие регулярное сообщение между монастырем и станцией. Не желая показать пренебрежение к тем, кто выслал за мной грязную кибитку, я сел в нее. Меня подвезли к гостинице, где, чуть не со слезами, меня встретила монахиня Маргарита, сказавшая, что она предупредила игуменью о моем приезде и просила выслать игуменский экипаж, но на ее просьбу не обратили внимания. Этот миленький инцидент без слов сказал мне о положении матушки Маргариты, трактуемой в обители за рядовую монахиню... Понятно, что и ко мне отнеслись только как к знакомому этой рядовой монахини. Это было и еще раз подчеркнуто. Графиня-игуменья приняла меня очень холодно, и хотя сидела в тот момент в саду за столом, покрытым белоснежной скатертью, подле шумевшего самовара, и кушала чай с ватрушками вместе со старшими сестрами обители, но мне чашки чаю не предложила. Матушка Маргарита была до крайности подавлена и угнетена оказанным мне приемом: ее чуткая, изящная душа чрезвычайно страдала и не удовлетворялась моими заверениями, что я нисколько не чувствую себя обиженным или задетым.

Прошло несколько лет, а образ матушки Маргариты, забитой и затравленной в глуши подмосковной обители, светился прежним ярким светом. Получив назначение в Синод, я вспомнил о ней и на первом же заседании Св. Синода выставил ее кандидатуру на свободную вакансию игуменьи одного из женских монастырей в центральной России.

С моей точки зрения, монахиня Маргарита оказалась бы незаменимой в положении игуменнии. Ее духовный опыт, высокие качества, ум, происхождение, пережитые и переживаемые страдания – все было тому порукою.

Иначе посмотрел на вопрос Синод. Первым, к моему крайнему удивлению, возразил против моего предложения обычно молчаливый митрополит Киевский Владимир.

"Да мы ее не знаем", – глухо, точно про себя, сказал митрополит.

"Очень жаль, что не знаете, – подумал я, – всю жизнь свою прожила Мария Михайловна Гунароуло в Киеве, и весь город ее знал".

Разумеется, к голосу первенствующего в Синоде присоединились все прочие иерархи и провалили кандидатуру монахини Маргариты.

Дождался я другой вакансии... Результаты получились те же. Тогда я поручил Директору Синодальной канцелярии осведомлять меня о каждой вновь открывающейся вакансии и представлять мне список перед началом заседания Св. Синода. Наконец, с большим трудом и с еще большей потерей времени, мне удалось настоять на назначении монахини Маргариты игуменьей, если не ошибаюсь, Свято-Ильинской обители, Уфимской епархии. Я имел в виду немедленно же перевести ее в другое место, ибо перемещение из одного места на другое все же было легче, чем назначение... Я не хотел, чтобы такая святая женщина оставалась в епархии одного из самых бездарных и преступных иерархов, каким был епископ Андрей, в мире князь Ухтомский, встретивший потом революцию со словами умиления и восклицавший в своих печатных брошюрах: "Слава Богу, лишились Автократора; да здравствует Пантократор!"

Возведение в игуменский сан монахини Маргариты происходило в Москве в присутствии Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, чрезвычайно любившей матушку Маргариту... Я не мог отлучиться из Петербурга и узнал о подробностях торжества только из писем игуменнии Маргариты. С напутствиями и благословениями отправилась игуменья Маргарита к месту своего служения... Стояла глубокая осень, подходила уже зима. Переезд был длителен и чрезвычайно труден.

Я уехал для ревизии на Кавказ, откуда вернулся только накануне революции, 24 февраля. Переписка с игуменьей Маргаритой оборвалась.

Последнее ее письмо было получено мной в апреле 1917 года и свидетельствовало о том, что революционная волна докатилась уже и до ее монастыря... В течение последующих месяцев я не имел никаких вестей ни от игуменьи Маргариты, ни от общих знакомых с нею. А осенью того же 1917 года я узнал потрясающую весть о том, что она была расстреляна большевиками в самом храме. Сообщались такие подробности.

Ворвавшись в монастырскую ограду, большевики пожелали осквернить храм; но игуменья не пустила их туда... Они ушли, с угрозой придти завтра и убить игуменью. Матушка игуменья Маргарита безбоязненно вышла к толпе пьяных и вооруженных до зубов большевиков и кротко сказала им: "Смерти я не боюсь, ибо только после смерти я явлюсь к Господу Иисусу Христу, к Которому всю жизнь свою стремилась. Вы только ускорите мою встречу с Господом... Но я хочу терпеть и страдать в этой жизни без конца, лишь бы только вы спасли свои души... Убивая мое тело, вы убиваете свою душу... Подумайте над этим"...

В ответ на эти слова посыпались площадная брань и требования открыть храм. Игуменья наотрез отказала, а большевики сказали ей:

"Так смотри же: завтра, рано утром, мы убьем тебя"...

С этими словами они ушли.

После их ухода, заперев на запоры церковную ограду, игуменья, вместе с сестрами, отправилась в храм Божий, где провела всю ночь в молитве, а за ранней обедней причастилась.

Не успела игуменья выйти из храма, как большевики, видя ее сходящей с амвона, взяли на прицел и в упор выстрелили в нее.

"Слава тебе, Боже!" – громко сказала игуменья, увидя большевиков, с установленными против нее ружьями, и... замертво упала на пол, пронзенная ружейными пулями извергов.

Да будет тебе вечная память и вечная слава, исповедница Христова!

Глава XL. Политическое настроение России. Церковно-государственная деятельность митрополита Питирима

Я получил свое назначение в тот момент, когда Россия находилась уже в преддверии революции, когда неистовства революционеров достигли уже, казалось, своего предела, и оставался уже небольшой промежуток времени для того, чтобы от слов перейти к делу.

Благороднейший Государь, озабоченный одной мыслью довести войну до благополучного конца, не желал обострять положения проявлением Своей Самодержавной

воли и, уступая натиску революционной Думы, требовавшей, под разными предлогами, смены кабинета, снисходил к этим требованиям, надеясь уступками успокоить Думу и сосредоточить ее внимание на главном, на заботе об окончании войны и победе над врагами...

В противоположность Императрице, усматривавшей в этих Думских требованиях выражение заранее обдуманной революционной программы и желавшей распустить Думу, хотя бы до времени окончания войны, Государь продолжал верить Думе, не допуская мысли, чтобы Дума, накануне ликвидации войны, близившейся к благополучному концу, была бы способна на революционные действия, направленные против Царя и России.

Вот почему в последние месяцы один министр уступал место другому, и состав Правительства постоянно изменялся... В момент назначения меня Товарищем Обер-Прокурора Св. Синода Председателем Совета министров был Б.В.Штюрмер, а в момент вступления моего в должность был призван на этот пост А.Ф.Трепов, который через два-три месяца уступил свое место князю Н.Д.Голицыну. Еврейская печать неистовала и обливала грязью каждого, вновь входившего в состав кабинета, погружая общественную мысль в хаос всевозможных сомнений и предположений, преследовавших единую мысль – дискредитировать в глазах общества как Царя, так и Правительство, с целью доказать, что "царизм" уже отжил свое время и должен уступить место народоправству. Шла война не против отдельных лиц, а против системы управления, против Самодержавия, и натиск революционеров был тем более стремителен, чем яснее было, что война близилась к благополучному концу, разбивавшему все планы революции... Если бы положение на фронте грозило поражением, тогда бы революция могла быть отсрочена и отодвинута на неопределенное время; но осенью 1916 года до того ясно обозначились контуры победы, что Дума не могла уже медлить... Опасаясь, что победа покроет Монарха неувядаемой славой и еще более закрепит в сознании народа идею Самодержавия, преступная Дума употребляла все усилия для того, чтобы вырвать победу из рук Царя, выдать это краденое добро за свое и тем закрепить противоположную идею народоправства...

Нужно ли говорить, что эта сатанинская ярость с наибольшей силой обрушивалась на Церковь Христову, на все то, что сдерживало инстинкты толпы и укрощало страсти?! Нужно ли объяснять, почему одной из первых жертв этой ярости явился Первоиерарх Православной Церкви, митрополит С.-Петербургский Питирим?!

В целях дискредитировать его имя, революционная печать обратилась к уже испытанному средству, достигавшему одновременно обеих целей – уменьшения престижа преследуемого травлей лица и дискредитирования священного имени Монарха... Снова появилось на сцене имя Распутина; снова и в обществе, и в печати сочинялись всякого рода легенды об этом человеке, "назначающем и сменяющем министров и управляющим Россией"...

Митрополита Питирима открыто называли "распутинцем", говорили о его симпатиях к "старцу", указывали на дружбу с ним... Говорили, что и свое высокое назначение митрополит получил исключительно благодаря Распутину: об этом шептались не только в Думе, но и делались прозрачные намеки в печати... Робкий, запуганный митрополит был окончательно терроризирован, бился точно в силках, желая освободиться от сетей клеветы, болезненно его угнетавшей, и переносил мучительные страдания, болея и за себя, и за Церковь...

С назначением Н.П.Раева Обер-Прокурором, а меня его Товарищем, положение митрополита Питирима в Синоде мало чем изменилось... В глазах митрополита это назначение дало только тот результат, что клевета, с еще большей яростью, обрушилась на новых представителей Обер-Прокуратуры, и это обстоятельство причиняло впечатлительному Владыке двойные страдания...

"Такова уже судьба всех моих друзей, – говорил митрополит Питирим, – на них всегда клеветают; их всегда обижают, потому что я слаб и не могу их защитить... Дорого мне их сочувствие; но, когда я вижу, как они из-за меня страдают, то всегда говорю им: "покиньте,

оставьте меня; уж лучше я один буду страдать, чем мучиться, глядя на ваши муки, какие вы переносите из-за меня"...

Новый Обер-Прокурор Н.П.Раев, известный митрополиту Питириму по его прежней службе в Курске, был предан Владыке; но, будучи безгранично мягким и робким человеком, не в состоянии был оказывать никакого противодействия натиску врагов митрополита и изменить царившую в Синоде атмосферу. Не пользовался он престижем и в среде Синодальных чиновников, злоупотреблявших его добротой... Главная же причина оппозиции Синода к Н.П.Раеву и ко мне заключалась все же в том, что мы оба были друзьями митрополита Питирима, к которому Синод продолжал относиться с крайней неприязнью. Недоброжелательство к нам лично скрывало за собой, кроме того, и традиционную оппозицию к Обер-Прокуратуре, какая, с включением в состав Синода представителей белого духовенства, еще более обострилась. В результате, создалась почва, не только исключавшая возможность нормальной работы, но и приводившая к недоразумениям и конфликтам... Я отмечал уже, что только благостнейший митрополит Московский, обессмертивший свое имя подвигами на Алтае, человек выдающегося ума и величайших достоинств, заступался за смиренного Н.П.Раева и дарил меня своей любовью. Но он сам чувствовал себя чужим в Синоде, и, хотя общая молва называла его святым, в чем действительно не было преувеличений, однако же именно эта святость его и отталкивала от него его собратьев по Синоду...

Эта атмосфера угара, взаимного недоброжелательства и интриг создавала крайне тяжелые условия для работы и тормозила всякого рода полезные начинания, исходившие, кстати сказать, преимущественно от митрополита Питирима, что, в свою очередь, чрезвычайно болезненно отзывалось на ходе церковно-государственных дел. Митрополит Питирим был глубоко вдумчивым человеком; его начинания охватывали в очень широком масштабе церковно-государственные нужды: будучи проведены в жизнь, они дали бы ощутительные результаты... Но тот факт, что эти начинания исходили от митрополита Питирима, уже обесценивал их... Первым обрушивался на них архиепископ Арсений Новгородский, которому вторили оба протопресвитера и, разумеется, Архиепископ Сергей Финляндский, составлявший прямую противоположность чистосердечному митрополиту Питириму; остальные же иерархи обычно отмалчивались... Архиепископ Тихон Литовский занимал выжидательное положение, не высказывая своего мнения, а митрополит Киевский Владимир всегда примыкал к оппозиции митрополиту Питириму... С мнением же митрополита Московского Синод вовсе не считался...

При такой несогласованности действий Синода, митрополиту Питириму ничего не оставалось, как перенести центр своей деятельности из Синода в покои Александро-Невской Лавры, где собирались разного рода комиссии и совещания, с участием близких к митрополиту лиц, и разрабатывались всякого рода законопроекты.

Митрополит Питирим наметил очень глубокую и широкую схему законопроектов. Исходя из необходимости согласовать церковно-государственную жизнь с каноническими требованиями Церкви, митрополит имел в виду, в первую очередь, уничтожить разделение епархий на "хлебные" и "не хлебные" и перемещение епископов из одной епархии в другую, ссылаясь на то, что, если епископ оказался не соответствующим в одной епархии, то останется таковым и в другой... Равные по власти, им Богом врученной, епископы должны быть, по возможности, уравнены и в материальном положении; а это может быть достигнуто лишь после того, как будут установлены более или менее равные территориальные размеры епархий и увеличено число епископских кафедр. Последнее условие необходимо и с целью приближения епископа к его пастве, ибо, при нынешних территориальных размерах епархий, народ даже редко видит своего архипастыря, и деятельность последнего оставляет следы лишь на бумаге... Хотя архипастыри и желают быть духовными генерал-губернаторами и губернаторами, но задачи у них иные. Они ответственны за души своих пасомых, дают им не правовую защиту, что составляет задачу гражданской власти, легко осуществляемую через разнородные органы управления, а

духовную опору в жизни: они должны быть ближе к народу, должны знать если не поименно свою паству, то хотя бы окормляющее паству духовенство: а знать этого невозможно при многомиллионном составе паствы и необъятных размерах территорий. Перемещение епископов из одной епархии в другую с целью "повышения по службе", по мнению митрополита Питирима, нецелесообразно и может разрешаться в самых крайних случаях, лишь по болезни; те из епископов, которые сами ходатайствуют о таких перемещениях, свидетельствуют лишь о забвении своего долга к пастве, или измене ему. Параллельно с увеличением числа епископских кафедр, митрополит Питирим был озабочен и восстановлением митрополичьих округов, с целью объединения деятельности епископов и созыва поместных соборов два раза в год, согласно прямому повелению Апостольских правил.

Эти два законопроекта – сокращение территориальных размеров епархий, с одновременным увеличением числа епископских кафедр, и восстановление митрополичьих округов, имели огромное церковно-государственное значение и только по недоразумению не встретили сочувствия со стороны иерархов. Митрополит Питирим не был сторонником патриаршества и с восстановлением его не связывал условий, могущих обновить церковно-государственную жизнь. Но в то же время он не мог не видеть недостатков и в Синодальной системе управления и находил, что только возвращение к каноническим началам церковной жизни может устранить эти недостатки. Восстановление митрополичьих округов, обнимающих пределы нескольких епархий, обязательные поместные соборы этих последних епархий под председательством митрополита, созываемые два раза в год в сроки, указанные "Книгой Правил", в феврале и октябре, не только урегулировали бы церковную жизнь, но и разгрузили бы Синод от той массы дел, какие, в своем большинстве, составляют область ведения епархиального архиерея и могли бы разрешаться на местах. Такое возвращение к каноническим началам, несомненно, видоизменило бы функции Синода и Обер-Прокуратуры и освободило бы последнюю от нареканий за вмешательство ее в церковную сферу, ибо церковная жизнь стала бы регулироваться поместными соборами епископов, входящих в состав того или иного митрополичьего округа, а роль Обер-Прокуратуры свелась бы только к задаче нормировать юридическую сторону церковной жизни. Однако в глубины законодательных предложений митрополита Питирима никто не всматривался.

Образовал митрополит Питирим и самостоятельную комиссию по вопросам о жаловании духовенству, хотя и находил, что необходимость прибегать к помощи государства в этой нужде является постыдной и свидетельствует об упадке и недостойности пастырей, допустивших такой упадок... Согласно слову Божию, пастырь должен питаться от алтаря, а не получать жалованье из средств государственного казначейства, и истинные пастыри, близкие к своей пастве и любящие ее, никогда не жалуются на нужду, ибо все имеют в изобилии: наш русский народ таких пастырей никогда не обижал. Когда же пастырь нерадив и далек от паствы, тогда народ забывает не только пастыря, но и Бога. Народ чутьем угадывает пастыря: если батюшка потребует платить за потребу, то ему уже трудно будет заручиться доверием и любовью своих прихожан; если же не будет требовать, тогда тот же народ вознаградит его сторицей.

Тем не менее, уступая настояниям и сочувствуя немощам и нужде духовенства, митрополит Питирим в короткое время разработал в своей комиссии законопроект о жаловании духовенству, и только революция помешала провести этот проект в жизнь. Такую же участь постиг и законопроект о пенсиях духовенству, разработанный междуведомственной комиссией под моим председательством.

Кипучая деятельность митрополита Питирима была совершенно новым явлением на общем фоне Синодальной жизни. Члены Синода обычно не проявляли ни инициативы, ни самостоятельности, и ограничивались лишь рассмотрением текущих дел. Они были поглощены лишь интересами своих епархий, но общая церковно-государственная жизнь протекала вне поля их зрения. Между тем, как Государь, так и Императрица

интересовались, разумеется, только этой последней областью и с большим вниманием прислушивались к взглядам митрополита Питирима, рисовавшего Им общий план оздоровления церковно-государственной жизни. Развивая однажды свои мысли по этому вопросу, митрополит до такой степени заинтересовал Государыню, что Ея Величество просила Владыку составить памятную записку и лично представить ее Государю, находившемуся тогда в Ставке. Так состоялась поездка митрополита Питирима в Ставку.

Молва объяснила ее политическими причинами: в обществе стали говорить, что митрополит Питирим поехал к Государю с целью поддержать кандидатуру Б.В.Штюрмера, намечавшегося в председатели Совета министров; а когда такое назначение состоялось, то нового Председателя стали называть ставленником митрополита и, следовательно, "распутинцем".

В действительности же, отношения митрополита Питирима и Б.В.Штюрмера никогда не были дружными, а впоследствии и совсем оборвались.

Намечался митрополитом Питиримом и целый ряд других важных законодательных предложений, причем его особенное внимание привлекал вопрос о пересмотре школьных программ духовного ведомства и подготовке молодых людей к пастырской деятельности, а также вопрос о приходе, рассматривавшийся тогда комиссией под председательством Архиепископа Сергия Финляндского. Этим вопросом очень интересовались "передовое" духовенство и революционно настроенные прихожане: первые потому, что стремились сбросить с себя зависимость от епископа, освободиться от ответственности перед ним; вторые потому, что желали установить контроль за своими пастырями и за расходованием церковных сумм. Приходский вопрос был лишь этапом к отделению Церкви от государства, и митрополит Питирим очень скорбел, что истинная природа этого вопроса не для всех была одинаково ясной. По мнению митрополита Питирима, надлежащее разрешение этого вопроса связывалось с выработкой условий, возлагавших на прихожан конкретные обязательства по отношению к Церкви, а не с предоставлением прихожанам каких-либо юридических прав в отношении пастыря, чего так усиленно добивались авторы всевозможных проектов улучшения приходской жизни.

Не меньшее внимание сосредоточивал митрополит Питирим и на задачах Православия за границей. Он был единственным иерархом, не только разделявшим, но и поддерживавшим мою мысль об учреждении епископских кафедр в столицах Западной Европы и перевод круга богослужебных книг, а также святоотеческой литературы, на иностранные языки. Последняя мысль признавалась среди иерархов чуть ли не еретической, но митрополит Питирим тем более горячо поддерживал ее, чем отчетливее сознавал все чрезвычайное значение ознакомление Запада с Православием. Он видел в этой мысли не только церковное, но и политическое значение и всемерно помогал мне... По этому вопросу я часто вел беседы с Владыкою, указывая на параллели, какие сами собой напрашивались при сопоставлении пропаганды католицизма и одновременной пассивности и инертности с нашей стороны... Предположено было начать осуществление этих мыслей с постройки православного храма в Лондоне. Насколько такая мысль встретила сочувствие как со стороны русской колонии в Лондоне, так и со стороны англичан, свидетельствует тот факт, что к началу 1917 года уже была образована в Лондоне комиссия по постройке храма, находившаяся в теснейшем общении с митрополитом Питиримом и намеревавшаяся весной того же года приступить к закладке храма...

Но революция смела с пути и это благое дело... В теснейшем единении с митрополитом работала и Обер-Прокуратура, где был намечен ряд сложных кодификационных работ, имевших целью создать писанное церковное законодательство и многое другое.

Но здесь условия для работы были еще сложнее.

Глава ХLI. Речь в покоях С.-Петербургского митрополита при вручении высокопреосвященным Питиримом Феодоровской Иконы Божией Матери

Мои личные взгляды на церковно-государственные задачи находили со стороны митрополита Питирима живейший отклик; между нами царил полное единомыслие. Нас связывала, кроме того, и долголетняя личная дружба и я часто пользовался своими краткими досугами для того, чтобы навещать Владыку и своими беседами ободрять его. Я не могу не вспомнить с величайшей признательностью о том, с какой сердечной теплотой встречал меня митрополит Питирим, как ценил мое участие к нему и с какой скорбью воспринимал ту клевету, какая витала вокруг моего имени. Вскоре после своего назначения, я навестил митрополита. Поднимаясь по лестнице, я столкнулся с группой людей, шедших мне навстречу и громко деливших своими впечатлениями от свидания с митрополитом... Еще и сейчас звучат у меня эти восторженные отзывы, еще и теперь я слышу их горячие слова... Глядя на них, я подумал: "Вот этих слов никто не слышит; а клевету разносят по всему свету, и никто не заступится за Владыку"...

Совсем неожиданно для меня Владыка встретил меня с дорогим образом Божией Матери и, приветствуя с назначением, обратился ко мне с проникновенной речью, содержания которой я никогда не забуду... Так говорить мог только тот, кто видел в страданиях единственный путь к Богу и сознательно шел этим путем. Я чувствовал, как каждое слово Владыки возрождало меня, как крепили духовные силы, и какими мелкими и ничтожными являлись все те причины, какие угнетали меня, под бременем которых я изнемогал, впадая, порой, в уныние...

Я вспомнил иные ощущения, когда, под влиянием минутной радости чувствовал себя счастливым, и как тяготился этим счастьем... Сопоставляя эти минутные ощущения радости с обычным настроением грусти, я знал, и всегда предпочитал это последнее настроение, ибо там было больше правды. А речь митрополита точно звала на подвиг, и мне казалось что в этот момент я не задумался бы над тем, чтобы пойти ему навстречу.

Митрополит кончил свою речь, а я подумал: "хорошего человека еще могут иногда назвать хорошим; но если этот человек очень хороший, то его непременно назовут дурным"...

Так ясно было для меня, зачем травят и преследуют митрополита Питирима, почему гонители Церкви и делатели революции так боялись этого маленького, тщедушного, смиренного и кроткого старичка.

Отвечая на речь митрополита, я сказал:

"Дорогой Владыка, десять лет тому назад, в бытность Вашу епископом Курским и Обоянским, Вы благословили меня на дело собирания материалов для жития Святителя Иоасафа, Чудотворца Белгородского, иконой Знамения Божией Матери. Ни для Вас, ни для меня не было тайной, что это дело было преддверием другого дела – прославления великого Угодника Божия и сопричисление Его к лику Святых Православной Церкви. Вот та почва, на которой я впервые встретился с Вами, на которой совместно трудился и на которой, вместе с Вами, выдерживал осаду со стороны врага... Как злостны были его ухищрения, как тонки его козни, и как легко поддавались им легионы люди, создававшие нам препятствия в этом святом деле и приписывавшие нам и цели недостойные, и побуждения неискренние... Ни одним словом жалобы не обмолвились мы на обиды, чинимые нам злыми людьми, на клевету, вокруг нас распространявшуюся, на обвинения, к нам предъявлявшиеся, ибо мы знали, что Бог поругаем не бывает и что правда восторжествует... И вот, не прошло и пяти лет со времени прославления Святителя Иоасафа, и Господу Богу было угодно посрамить всех Ваших врагов и возвести Вас на кафедру Первосвятителей Земли Русской, а меня приобщить к такому делу, о котором я даже мечтать не мог и которое примирило меня с жизнью в миру, полной тонких и неуловимых, но до крайности болезненных коллизий с совестью..."

Но жестоко посрамленный враг еще более ожесточился и, пользуясь своим обычным орудием – клеветой, – обрушился всей тяжестью своей злобы на Вас. Недаром, в лице Св. Иоасафа, Вы явили миру уже третьего Угодника Божьего; недаром вырвали из его когтей и тех закоренелых грешников, которые обратились к Богу только во время прославления этих новоявленных Угодников Божиих... Напрасны усилия врага, неверны его расчеты... Духовно зрячие люди не поддаются влияниям общественности, какова бы она ни была. Они не заражаются общественным мнением, когда оно за них; они не падают духом и тогда, когда оно против них...

Верный повелению Царскому, вступил и я на Ваш тернистый путь... Я не успел еще сделать ни одного шага, а между тем уже вижу козни дьявольские, слышу отголоски подпольной работы, знаю, что придет момент, когда дьявол, со всей яростью, обрушится на меня и мою работу: *но я знаю и то, что, когда это время настанет, когда нас сменят слуги сатаны, тогда России не будет*, тогда все то, что ныне попирается, будет громко обличать совесть и тех людей, которые ее потеряли и сейчас ее не имеют. Не будем же бояться клеветы, не будем и оправдываться в том, в чем не виноваты. Время, какого не долго уже осталось ждать, скажет, чем мы были, что думали и чего желали, и чем больше будут клеветать на нас, тем суровее будет приговор этого времени для клеветников.

С тем чувством, с каким новопостригаемый инок, отрешаясь от всего земного, входит в храм Божий, отдавая себя в Объятия Отчий, с этим чувством я вхожу в Синод, с единой мыслью отдать служению Церкви все свои силы, все помыслы, время и разумение, чуждый личных целей и земных расчетов... И о том только молю Господа, чтобы сберечь это настроение, не поддаться искушениям и соблазнам власти, не утратить тех начал, коими определяется соотношение между требованиями непокорного сердца и долгом к правде. Сердечно благодарю Вас, Владыка, за Вашу любовь и благословение. Верю, что нынешнее Ваше благословение на труд великий и ответственный даст мне силы для того, чтобы нести его во славу Божию, в оправдание уповающих на меня, в утешение чающих правды нелицеприятной... Верю, что Святитель Иоасаф соединил нас для общей работы во славу Божию, верю в благодатную силу его заступления, ибо вижу его водительство и в Вашей жизни, и в своей"...

Глава XLII. Посещение Синодального лазарета имени Наследника Цесаревича и речь к раненым воинам 5 октября 1916 года, в день тезоименитства Его Императорского Высочества

В день тезоименитства Наследника Цесаревича, вернувшись из Казанского Собора, я обязан был, по поручению Обер-Прокурора, посетить Синодальный лазарет имени Его Императорского Высочества, Я застал еще богослужение в домовой церкви; по окончании молебна, я собрался обойти лазарет. Но в этот момент подошел ко мне директор канцелярии Обер-Прокурора Св. Синода В.И.Яцкевич, и указал на то, что выздоравливающие нижние чины собрались в соседнем зале и им нужно сказать приветственное слово... Такое заявление застало меня врасплох, ибо я не собирался говорить официальных речей, а имел в виду обойти больных и раненых и поговорить с каждым из них отдельно. И картина вытянувшихся передо мной солдат, пожиривших меня глазами и следивших за каждым моим движением, до крайности смутила меня. Кто сорвал этих солдат с постелей и собрал целую роту в зале, для чего это было нужно, к чему?! Но, очутившись в таком нелепом положении, я должен был выйти из него и обратился к солдатам с такими словами:

"Господа, приветствую вас с радостным днем тезоименитства Наследника Цесаревича, приветствую и с теми подвигами на поле брани, какие привели вас сюда, в лазарет имени Августейшего Именинника. Едва вступив в жизнь, вы сделались уже свидетелями этих ужасов, особенно ярко раскрывшихся пред вами на войне. Если вы сами страдали и видели страдания ваших братьев, если вы видели смерть, безжалостно косившую ваши ряды, если знали страх смерти и то, что переживает и должен будет пережить каждый человек перед разлукой с жизнью, тогда вы должны были выйти из поля битвы, хотя и израненными,

больными, но закаленными духом, с окрепшей верой, с запасом свежих сил, которые позволят вам бодро смотреть вперед в будущее, как бы грозно оно ни было. А будущее действительно грозно и нужно иметь много мужества, много духовных сил, чтобы ему смотреть в глаза. Вы видели в этой войне чудные знамения на небе: вы видели или слышали от соратников ваших, как Матерь Божия надевала венцы на головы павших воинов, открывая им двери рая; видели воинство небесное, ободрявшее ваши полки и вместе с вами ведущее эту ужасную, беспримерную в истории брань... С другой стороны, вы видели столько ожесточенной безграничной злобы, какой еще никогда не было в мире... Чему же вы научились на этой войне, с чем вы вернетесь домой, что расскажете своим домашним? Скажите им, что весь мир уже накануне гибели и что нужна особая милость Божия, чтобы отдалить надвигающуюся кару Божию; что эта война особенная и послана Богом за грехи людей и, потому, кончится только тогда, когда люди вымолят у Бога прощение молитвой, слезами покаяния, обетами и добрыми делами... Расскажите всем о том, что сами видели, с чем сами боролись; о том, с какой хитростью и злобой старался сатана вырвать из ваших рук крест Христов, ослабить вашу веру в Бога, внести разложение в среду вашу, лишить вас награды небесной за ваши подвиги земные. Скажите тем, кто этого еще не знает, что эта война есть война против Креста Христова, против Церкви Православной, и что, если люди не покаются, то Господь отнимет от них и Крест, и Церковь... Скажите об этом громко, чтобы все слышали и перестали делать то, что делают теперь... Что видим мы вокруг себя, в тылу?! В то время как одни отдают свои жизни на поле брани, другие набивают свои карманы краденым добром, спекулируют на крови своих братьев, сознательно помогают дьяволу добывать несчастную Родину нашу... Все делается потому, что еще не открылись у людей их очи духовные, что не знают они еще, какая это война и что нужно для того, чтобы она кончилась... Об этом вы и должны сказать, когда вернетесь домой. Запомните мои слова: "в этой войне будут побеждать не оружие и снаряды, а молитва к Богу всех, всех, как воюющих на фронте, так и остающихся в тылу... Фронтом этой ужасной войны является вся Россия, ибо дьявол борется с Крестом в тылу еще яростнее, чем на позициях; но славные люди этого не замечают. Пока люди не образумятся, пока не перестанут думать, что им все можно, пока не смирятся и не обратятся к *Господу, Единому Вершителю судеб мира и человека*, до тех пор эта война не кончится, до тех пор не будет победы. В этом смысле победа зависит от каждого из нас. Тогда только мы не словами, а делами порадуем и Государя Императора, и Наследника Цесаревича, за драгоценное здоровье Которого сегодня молились. Будьте же здоровы и благополучны, и да хранит вас Матерь Божия на путях жизни вашей".

Эта речь, в среде Синодальных чиновников, была признана революционной, и по поводу ее громко шептались.

Тяжелое впечатление производили на меня столичные лазареты для больных и раненых воинов: многое бы можно было сказать о них...

Великолепно оборудованные, они имели все, кроме того, что рождало бы у солдат желание вернуться обратно на фронт, по выздоровлении. Царившая в лазаретах, размещенных большей частью во дворцах, роскошь, нелепое отношение к "бедным солдатам" великосветских барынь, привозивших им шоколад, духи и конфеты, все это в свое время принесло очень горькие плоды... Как глубока была мысль Государыни Императрицы учреждать такие лазареты в деревнях, вблизи святых мест, а не в шумных, больших центрах, где раненые, выздоравливая физически, заболели духовно!..

Глава XLIII. Междуведомственная комиссия по выработке устава о пенсиях духовенству

Нужно ли говорить о том, как неблагоприятно отзывалась на ведомственных делах частая смена должностных лиц, стоявших во главе ведомства!.. Менялись первоначальные точки зрения и принципы; работа получала иное направление и надолго задерживалась... Междуведомственная комиссия по выработке устава о пенсиях духовенству работала, с

большими перерывами, около двух лет, а между тем успела рассмотреть за это время только меньшую половину устава. Председателем этой комиссии был Товарищ Обер-Прокурора. Вскоре после своего назначения, я заступил место своего предшественника Н.Ч.Заиончковского и поторопился созвать заседание, на которое прибыли представители прочих ведомств, в том числе и один из моих бывших сослуживцев по Государственной Канцелярии. С какой болью сердца я вспоминаю теперь об этих заседаниях! Какими неразумными казались мне приемы, коими выражалось отношение всех этих представителей ведомств, всех участников комиссии, к разрабатывавшемуся вопросу! Каждый из них подходил к вопросу с точки зрения интересов своего ведомства; но никто не возвышался до интересов самого вопроса, подлежавшего рассмотрению. Я очень рискую встретиться с упреком в нескромности; однако же должен сказать, что я был едва ли не единственным человеком в комиссии, для которого вопрос о пенсиях духовенству являлся живым вопросом... В то время как члены моей комиссии видели перед собой только законопроект, плод кабинетной работы, и рассматривали его с редакционных и кодификационных точек зрения, я видел перед своими глазами картины деревни, со всеми ее ужасами...

Я вспомнил несчастного священника села Яблоновки, Нирятинского уезда, Полтавской губернии, о. Евгения Дарагана, приехавшего ко мне, в бытность мою Земским Начальником, с просьбой защитить его от преследования со стороны одного из его прихожан, богатого местного кулака, нанесшего батюшке тяжкое оскорбление в храме, во время богослужения...

О. Евгений был до того истерзан, так запуган и измучен, до такой степени боялся своего врага, что не решался даже жаловаться на него.

"Но и помимо этого, как же я, пастырь Церкви, могу судиться со своими прихожанами", – с отчаянием проговорил о. Евгений и, склонившись, в полном изнеможении, на столе, горько заплакал.

Жалко мне было несчастного священника, а узнав подробности, я дрожал от негодования, возмущаясь дерзновением негодяя, осмелившегося так тяжело оскорбить пастыря Церкви в самом храме Божиим.

"Этот человек затравил меня: я не знаю за что, но я знаю, что не снесу больше обиды... Куда мне деваться... В Яблоновке у меня свой домик, грунт, семья, куча детей... Ну, куда же пойду!.. Да и не подобает пастырю Церкви проситься на другой приход... А оставаться невмоготу... Жаловаться и некому, и нельзя... И что же мне делать, где искать помощи, кому я нужен и где те добрые люди, которые заступятся за меня"...

"Правду вы сказали, батюшка, – ответил я, – что не подобает Вам судиться с Вашими прихожанами... Я знаю, как обуздать этого негодяя... Если он богач, значит – скряга... Будьте уверены, что он Вас более не тронет".

О.Евгений уехал, а я привлек кулака к ответственности и, после очень жаркого разноса, оштрафовал его в 100 рублей, штраф для деревни небывалый... Результаты сказались мгновенно. Негодяй струсил, стал целовать руки о. Евгения, старался всячески войти в доверие к своей бывшей жертве и до того успел в этом, что добрый священник вторично приехал ко мне, за 30 верст, и, отмечая разительную перемену поведения кулака, просил меня о сложении штрафа... Каково же было удивление батюшки, когда он узнал от меня, что хитрый мужик подал на мое решение апелляционную жалобу и переменил свое отношение к о. Евгению только потому, что не знает еще и хода решения Уездного Съезда. В большом унынии уехал от меня о. Евгений и я больше его не видел... Либеральный Уездный Съезд, этот рассадник деревенской безнаказанности, не имея оснований отменить мое решение, изменил его, понизив штраф со 100 рублей до... 2 рублей.

Торжеству негодяя не было границ, и он захлебнулся в этом торжестве... В тот же день полсела было пьяно, бесшабашный разгул и... зверская месть батюшке... О.Евгений не выдержал травли и... сошел с ума... Его поместили в больницу душевнобольных в Полтаве,

а несчастная и ни в чем не повинная семья осталась нищей, сделавшись жертвой жалостливого отношения либеральных глупцов к "мужичку"...

Вот какие картины стояли перед моими глазами, когда я впервые открыл заседание комиссии, под своим председательством, и вот почему я так искренно и глубоко возмущался, когда встречал со стороны членов комиссии, знавших деревню только понаслышке и совершенно незнакомых с ее бытом, возражения на свои предложения и замечания, отражавшие суровую, ничем неприкрашенную деревенскую действительность.

Впрочем, среди членов комиссии был один выходец из деревни, представитель министерства финансов, сын сельского священника, вице-директор финансового департамента. Упитанный и выхолонный, с мясистыми руками и бриллиантовыми кольцами на пальцах, с жирной золотой цепью возле часов, этот вице-директор, точно умышленно, поставил своей целью опрокидывать всякое мое предложение, клонившееся к улучшению быта сельского духовенства.

В оправдание своих тезисов он ссылаясь на свое происхождение, давшее ему возможность изучить быт сельского пастыря и... вынести самое отрицательное впечатление. Так как у меня, после изучения этого быта, получилось как раз обратное впечатление, а препирательство с этим Ракитиным было бесцельным, то я, тотчас после заседания, просил министра финансов не присылать более в мою комиссию этого господина, а заменить его другим лицом, что министр и сделал. После этого, заседания комиссии пошли ровнее, и мне удалось, в течение одного месяца, окончательно рассмотреть законопроект и довести работу комиссии, длившуюся около двух лет, до благополучного конца... Однако, выработанному законопроекту не суждено было заручиться законодательной санкцией...

Революция все разрушила.

Глава XLIV. Комиссия по расследованию злоупотреблений при покупке воска за границей

Если не ошибаюсь, собранный в начале 1916 года Свечной Съезд постановил образовать комиссию для расследования злоупотреблений при закупке воска за границей и выделил из своего состава группу членов Съезда, оставшихся в Петербурге, на которых возложил обязанность следить за работами означенной комиссии. Остальные же члены Съезда разъехались по местам, и Съезд закрылся. Председателем этой группы Съезд выбрал члена Св. Синода, протопресвитера А.Дернова; а председателем комиссии по расследованию злоупотреблений был назначен Товарищ Обер-Прокурора Н.Ч.Заиончковский. С его уходом, эта тяжелая обязанность перешла ко мне, к вящей досаде А.Осецкого, полагавшего, что, после отставки А.Н.Волжина и Н.Ч.Заиончковского, отношение к нему новых представителей Обер-Прокуратуры изменится и комиссия будет закрыта.

Самый факт избрания протопресвитера Дернова председателем группы и его своеобразные приемы защиты А.Осецкого убеждали меня в несомненной виновности последнего, для чего, впрочем, имелись основания и помимо моего личного убеждения. Но обосновать обвинения фактическими данными было трудно потому, что сношения Хозяйственного Управления с германскими фирмами по поставке воска велись на немецком языке, и требовалось много времени для рассмотрения и изучения документов, сваленных в кучу и заполнивших почти целую комнату. Лично для меня казалось несомненным то, что в таком переводе документов на русский язык не было ни малейшей надобности и что он был предпринят с умышленной целью затянуть дело и отсрочить развязку... Было совершенно очевидно, что для такого перевода понадобились бы многие месяцы, а может быть и годы. Не было в этом надобности еще и потому, что обвинения, предъявлявшиеся Осецкому, сводились к указанию на предпочтение им иностранной фирмы, а не русской, несмотря на то, что условия последней были выгоднее. Нужно было выяснить причины такого предпочтения и опровергнуть утверждения печати о проявлении

А.Осецким недобросовестности и допущенной им умышленной растрате казенных денег, уплаченных им за купленный в Германии воск.

Однако А.Осецкий, имея поддержку не только у протопресвитера А.Дернова, но и со стороны Синода и даже Государственной Думы, создавал условия, при которых отказ Комиссии в дальнейшем переводе немецких документов на русский язык мог бы истолковаться как действие враждебное к нему, и Обер-Прокурор не находил возможным допускать этого. Вот почему я стал назначать заседания комиссии по мере поступления ко мне новых материалов, и на этих заседаниях старался выяснить попутно и общие вопросы. Среди членов комиссии почти все были убеждены в виновности Осецкого и находили, что я не должен приглашать ни эти заседания Осецкого, дабы его присутствие не стесняло комиссию.

Я ответил, что комиссия призвана не судить А.Осецкого, а лишь рассмотреть те обвинения, какие к нему предъявляются печатью, громко кричащей о Синодальной панаме и бросавшей тень даже на Синод; что, каковы бы ни были личные предположения, но доколе мы не выслушаем противной стороны, мы не вправе выносить никаких обвинений, и что по этим соображениям я считаю обязательным приглашать в свою комиссию и Осецкого.

С моими доводами согласились, и Осецкий явился. Здесь и разыгрался эпизод, уже описанный мной в 6 главе.

На другой день состоялось заседание Св. Синода, и протопресвитер Дернов в очень резкой форме потребовал от меня ускорить работы моей комиссии, настаивал на том, чтобы я зафиксировал определенный срок их окончания. Я отказался это сделать, ибо работы комиссии тормозились, главным образом, переводами документов; мне же было неизвестно, когда эти переводы закончатся.

Дернов был до того взбешен, что со всего размаха ударил кулаком по столу, забыв, что он сидит в зале заседаний Св. Синода, в присутствии членов Синода, и что в этом месте не подобает держать себя так, как он, вероятно, привык держаться у себя дома...

Безобразное впечатление произвела на меня эта дикая выходка священника, добравшегося до сана протопресвитера, увешанного звездами и не научившегося держать себя прилично...

Она, кроме того, повредила и Осецкому, ибо превратила подозрения в его виновности в убеждения и заронила сомнения даже в среде иерархов.

Комиссии так и не суждено было закончиться... Подошла революция и замела следы всех преступлений, частью предав их забвению, частью используя их для своих целей.

Глава XLV. Лояльность Синодальных чиновников

Разного рода Синодальных комиссий, где я или председательствовал, или состоял членом, было так много, что я не буду на них останавливаться; однако не могу не вспомнить еще об одной, также перешедшей ко мне по наследству и созданной для выработки условий, на которых бы могла состояться продажа Ея Императорскому Величеству участка земли в Царском Селе, примыкавшего к Царским владениям и принадлежавшего Синодальному Ведомству. Этот участок земли понадобился Ея Величеству для постройки какого-то просветительного или благотворительного учреждения – не вспомню сейчас какого, – и Государыня обратилась к Обер-Прокурору с просьбой доложить Синоду о желании Ея Величества приобрести означенный участок, в результате чего и была созвана помянутая комиссия.

Не могу без краски стыда за Синодальных чиновников, и особенно за Осецкого, вспомнить об этой комиссии.

Открывая заседание, я обратился к комиссии с вступительной речью, в которой проводил ту мысль, что самая идея созыва этой комиссии кажется мне не только неудачной, но и обидной для сознания верных поданных Царя... Царю принадлежит не только мое имущество, но и моя жизнь; отдавая их по требованию Царя, мы не вправе предъявлять

Монарху никаких условий. Я находил бы, поэтому, целесообразным, не вырабатывая никаких условий, повергнуть к стопам Ея Величества намеченный Государынею участок земли, удовлетворившись той суммой, какую Ея Величеству угодно будет предложить Синодальному Ведомству. Лично же, как председатель комиссии, я не считаю себя даже вправе принимать в выработке условий продажи никакого участия.

Я убежден, что условия Ея Величества ни в каком случае не явятся неприемлемыми для Синода; но, даже допуская обратное, я находил бы, что Синод, сочувствуя идейным побуждениям Императрицы, должен был бы выразить свое сочувствие не только на словах.

Моя речь была громом среди ясной погоды... Первым заволновался Осецкий, а за ним и его ставленники, мелкие чиновники Хозяйственного Управления... Один только представитель Дворцового ведомства, благородный князь Михаил Сергеевич Путятин, поддержал меня, исходя из одинаковых со мной точек зрения.

Что выражали собой протесты Осецкого и "иже с ним"?!

Хамское опасение, что при этих условиях сделка окажется невыгодной Синоду и что Дворцовое ведомство использует деликатный жест Синода в ущерб интересам последнего?!

Нисколько! Комиссия знала, для Кого Дворцовое Ведомство приобретало этот участок, и таких опасений не могло быть.

Здесь отражалась принципиальная оппозиция Престолу со стороны тех людей, которые шли рука об руку с врагами России и династии и делали общее с ними дело... И когда это дело завершалось революцией 1917 года, то первыми завизжали от радости еврейчики и их главные пособники – семинаристы, те люди, которые прежде всего восстали против своих родных отцов, смиренных сельских пастырей, а потом примкнули к делателям революции и с непостижимой злобой, ожесточением и азартом подрывали устои государства... Главный контингент Синодальных чиновников состоял, за редкими исключениями, из таких сынков; на общем фоне их, Осецкий являл наиболее типичную фигуру.

При всех своих несомненных достоинствах, бывший Обер-Прокурор Св. Синода В.К.Саблер был чрезвычайно падок к внешнему преклонению и это было известно каждому Синодальному чиновнику, знавшему, что его карьера теснейшим образом связана с холопством перед В.К.Саблером. Осецкий и в этой области побил рекорд и из чиновников особых поручений 6 класса, в каковой пребывал безнадежно долгие годы, умудрился в течение около двух лет сделаться директором Хозяйственного Управления и получить генеральский чин, что уже узаконило, в его глазах, и ту оппозицию Престолу, какой он был насквозь пропитан и какая обеспечивала ему почетное место в Государственной Думе.

Насколько, однако, государственный организм был уже расшатан, показывает ответ одного из премудрых государственных деятелей, с которым я делился своими предположениями о необходимости немедленно же уволить Осецкого от службы...

"Но, ведь, у нас армия почти уже вся распропагандирована, и верными Престолу остались только 200 человек Михайловского артиллерийского училища", – сказал он.

"Причем же армия?" – удивленно спросил я.

"Как причем?! Теперь увольняемые чиновники апеллируют к общественному мнению и его средоточию – Думе. Возникнет конфликт между Думой и Советом министров, а, при настоящих условиях, еще неизвестно, чья возьмет, и спор пришлось бы решить оружием"...

Как ни картинно было такое объяснение, но в нем было много правды, в каждом департаменте каждого министерства было едва ли не 90% революционеров, и для борьбы с этим засильем требовались уже чрезвычайные меры...

Глава XLVI. Думы о прошлом. Роковая эпоха. Депутация бывших сослуживцев по государственной канцелярии

Для меня всегда было загадкой, из каких источников рождается людское самомнение, сознание личных преимуществ перед другими, та горделивость, которая одинаково отличает и сановника, и его лакея...

Стоит человек в толпе и, кроме своих ближайших соседей, не видит и не слышит никого; а поднимается над толпой, или, хотя бы, отойдет от нее в сторону, и тогда, будучи даже самым заурядным человеком, увидит и более широкие горизонты, подметит соотношение между единицей и массой, увидит концепцию фактов, природа которых оставалась ему раньше непонятной. Истинное знание – это в большинстве случаев картины того, что видит человек своим физическим или духовным оком с того места, на котором стоит, в гораздо меньшей степени – плод теории и науки. Теория всегда обманчива, и теоретики, строившие жизнь, почти всегда превращались в преступников, независимо от тех отвлеченных идей, какие исповедовали.

Когда я находился на службе в Государственной Канцелярии, затерявшись в общей массе ее чиновников, тогда я видел перед собой только чернильницу и лист бумаги; но общегосударственные вопросы, как равно общественная и государственная жизнь, протекали вне моего зрения. Когда же Невидимая Рука вывела меня из толпы и поставила на вершину пирамиды, тогда пред моим взором открылась вся необъятная Россия, и то, что я увидел, не только не заставило меня возгордиться, а, наоборот, смирило меня... Я увидел буквально то, что и 14 лет тому назад, когда, тотчас после окончания курса в Университете, впервые приехал в деревню в качестве Земского Начальника, с той разницей, что здесь были гораздо более широкие масштабы, и картины были еще ужаснее... Как тогда я увидел, что ни мне, ни моему поколению не суждено осуществлять активную работу по просвещению и культивированию невежественной крестьянской массы, а нужно только подготавливать почву для других, очищать ее от сорных трав и бороться, бороться без конца, без передышки, – так теперь я увидел, что Россия окружена шайкой разбойников и до тех пор не выйдет на волю, пока не передавит их, не освободится от ужасных тисков, в какие попала... Увидел я и то, как гениально, на протяжении веков, эти разбойники и злодеи завлекали Россию в свои сети, с какой настойчивостью и упорством работали над подменой христианских начал и понятий, вводя в них не то содержание, какое дал Христос-Спаситель, и превращая любовь к ближнему, предполагающую прежде всего его пользу, в сентиментальность, рождавшую горе и слезы... Каким черным пятном на фоне исторической жизни России казалась мне "эпоха великих реформ", и как жалко становилось обманутого Ангела – Царя, так горячо любившего Россию, так глубоко веровавшего народу и жившего только мыслью о его благе...

Чем отличалась основная идея "великих реформ" от ныне проводимой большевиками? Ничем! Цель была одна – *устранение интеллигенции* ... Различны были только способы. Там создание искусственных преград, не допускавших общения народа с интеллектуальным классом; здесь – шаг вперед, поголовное *истребление* последнего.

И эта цель красной нитью проходила через все реформы освободительной эпохи, начиная от способа наделения крестьян землей, путем отобрания ее от помещиков, что создало у крестьян убеждение в незаконном пользовании помещиками крестьянской землей и оправдывало возможность дальнейших насильственных захватов, и кончая судом присяжных, родившим в народных массах недоверие к коронным судьям, облеченным специальными юридическими знаниями, и предпочтение суда улицы. Земство? Чем оно должно было быть по мысли Царя-Освободителя и чем в действительности было!.. Легализованным с высоты Престола органом оппозиции Царю и правительству, прародительницей Государственной Думы, этого генерального штаба российских земских учреждений... Как горько плакал, в свое время, друг Преп. Серафима, Н.А.Мотовилов, видевший в "земстве" начало конца России!

Судебные реформы 1864 года? С момента их издания правосудие было уничтожено, и суд только усилил оппозицию земства. Фемида явилась самодовлеющим началом, согласование которого с началами государственности признавалось посягательством на судейскую совесть. И никто более не подрывал устоев государственности, как судебная реформа, с пресловутым судом присяжных, анализировавших каждое государственное

преступление и с диким злорадством выпускавших политических преступников на свободу...

Тяжело вспоминать об этой эпохе... Каким стадным чувством были проникнуты восторги общества и печати, воспитавших эту роковую эпоху!.. Отголоски этих песен слышатся еще и доныне. А между тем все освободительные реформы великого Царя были только орудием развала России в руках жидов. И это доказали большевики... Опрокинув Царский Престол и вырвав власть из рук Царя, они в первую же очередь уничтожили свое собственное детище, Государственную Думу, а затем и все наследие "великой эпохи", все реформы Царя-Освободителя, переставшие быть нужными и сослужившие уже свою службу, отдавши жидам всю Россию... *Подлинная эпоха великих реформ и подлинное освободительное движение только впереди; но мы уже едва ли доживем до этого времени...*

Сознаю, что эпоха великих реформ, созданная столько же интригами интернационала, сколько идейным вдохновением благороднейшего Царя, имеет не только одни отрицательные стороны, но и много положительных. Однако этим последним не суждено было родить благих результатов вследствие того духа времени, в атмосфере которого протекала эпоха, насквозь проникнутая общим сентиментализмом XIX века, этим "завоеванием" французской революции, отравившим своим ядом всю Европу.

"Народ" есть понятие отвлеченное, и "гений народа" существует только в воображении. *Все лучшее и возвышенное шло и всегда будет идти от верхов, а не от низов.* И не "народ" дал России и всему миру Пушкина и Достоевского, Глинку и Чайковского, Васнецова и Нестерова, а наоборот, эти гениальные люди поделились с народом теми дарами, какие получили от Бога. Народ же, как таковой, чаще дает Алексеевых, Рузских и Корниловых, Гучковых, Милюковых и Керенских. Уклонения в ту или иную сторону были и будут, но подорвать ценность утверждения, что не мы должны учиться у народа, а, наоборот, народ должен учиться у образованной и верующей интеллигенции, они не могут. Ссылки на безверие интеллигенции и параллельные ссылки на веру народа – плод или недоразумения, или того же сентиментализма, ибо все то, перед чем, в этой области, преклоняется общество, повторяя слова Достоевского о "народе-богоносце", находило и будет находить в среде интеллигенции гораздо более полное и глубокое выражение, чем в среде крестьянства. Между тем, все реформы освободительной эпохи прошли под этим углом зрения и, вместо того, чтобы сблизить народ с интеллигенцией, разъединили их. *Как интеллигенция, без народа, останется без корней, так и народ, без интеллигенции, останется без плодов.*

Чем пристальнее я всматривался в дали, открывшиеся моему мысленному взору, тем яснее было для меня сознание, что единственным осмысленным и разумным делом момента являлась бы беспощадная борьба с разбойниками, завлекавшими Россию в пропасть, и что эта борьба должна быть смелой и решительной. Отсюда мой пессимизм, ибо я не только не видел людей, способных вести такую борьбу, но не видел даже тех, кто признавал бы такую борьбу необходимой. Прогрессивная общественность, состоявшая из преступников, конечно, не могла требовать такой борьбы; а либеральная власть видела свою задачу в непротивлении злу и, стараясь примирять непримиримое, изыскивала какие-то средние пути, вместо того, чтобы говорить с злодеями и разбойниками языком виселиц и пулеметов.

Прочитывая теперь свои прежние речи, я вижу в них отражение того, что видел с того места, на котором стоял, отражение того настроения, какое свидетельствовало о моей подавленности и одиночестве и о том, что зловещие предчувствия ужасов, надвигавшихся на Россию, меня не обманывали...

3 ноября в Синод явилась депутация моих прежних сослуживцев по Государственной Канцелярии, сотрудников моей редакции, и поднесла мне на память фотографическую группу... Меня очень тронуло такое внимание и, в ответ на обращенные ко мне речи, я сказал своим друзьям следующую речь:

"Дорогие друзья мои! Трогает меня Ваша любовь к Вашему бывшему начальнику, и если бы Вы только знали, как глубока моя признательность к Вам и, в то же время, как искренна скорбь о разлуке с Вами... Я называю Вас своими друзьями, как называл и тогда, когда был Вашим начальником, когда, стоя во главе Редакции, руководил Вашими занятиями в родных стенах дорогого нам Мариинского Дворца. Знаете ли Вы о том, как много нужно для того, чтобы начальник называл своих подчиненных своими друзьями, сколько нужно взаимного понимания, сколько доверия, сколько уважения! Увы, все это можно было найти только в Государственной Канцелярии, этом средоточии людей чести, высоких нравственных понятий, глубокого понимания служебного долга, связанных между собой общностью воспитания и благородными традициями рода, преемственно передаваемыми из поколения в поколение.

Мы составляли одну дружную семью, где иерархические рамки различия служебного положения создавались не внешними требованиями субординации и дисциплины, а взаимным тактом и глубоким пониманием психологии власти, достойнейшими представителями которой мы были окружены. Мы видели перед собой, в лице представителей власти, сочетание огромных знаний, наряду с величайшим смирением; мы видели тяжелое бремя обязанностей, какое они несли с редким самоотвержением, но не видели того, чтобы кто-либо из них величался своими преимуществами, или жаловался на свое бремя.

Два, всего два месяца тому назад, я вступил в Синодальный Дом, и что я могу сказать Вам, какими впечатлениями могу поделиться!..

Несмотря на величайшие усилия, мне не удалось еще найти общего языка для разговоров со своими сослуживцами; я не привык еще и, кажется, никогда не привыкну к той специфической атмосфере, какой пропитаны стены этого Дома... Я вижу здесь людей другого склада, иного духа, иных понятий, в отношении которых мои обычные приемы общения с сослуживцами, столь хорошо Вам известные, сказываются непригодными... Здесь в каждом начальнике видят лишь носителя прав и привилегий; здесь совершенно не учитывается ни юридическая, ни нравственная ответственность власти, и в этом учреждении Духовного ведомства – нет никакой духовной связи ни между начальниками и подчиненными, ни между этими последними друг с другом. Отсюда взаимные недоверие и неискренность, соблюдение внешних требований отношения к начальству, часто даже в ущерб личному достоинству, а наряду с этим глубоко сокрытое недоброжелательство и зависть, хитрость и обман...

Все это до крайности осложняет мою задачу установления добрых, простых, искренних отношений с моими сослуживцами и отягощает бремя той ноши, какое я должен нести... Правда, говорят, что целительное время сглаживает всякие неровности... Это верно; но беда в том, что *времени больше не будет*, и я не обольщаю себя никакими иллюзиями. Да, повторяю Вам еще раз, времени больше не будет... Каждый из нас останется в глазах других тем, чем был; но новых друзей мы не успеем уже приобрести. Вот почему нужно вдвойне дорожить старыми, вот почему мне так дорога ваша любовь и то выражение, каким Вы ее увековечиваете и какое останется для меня последней памятью от моих последних друзей". Из числа участников этой депутации один только Даниил Леонидович Серебряков остался в живых, чудом спасшись от большевиков; остальные погибли, а мой ближайший сотрудник, заместивший меня и назначенный редактором Полного Собрания Законов Российской Империи, тихий и скромный Валериан Валерианович Свенске, как мне сообщали, сошел с ума, подавленный ужасами революции.

Глава XLVII. Речь члена Государственной Думы Н.Н. Милюкова 1-го ноября 1916 г.

В составе Совета министров было много способных и энергичных людей и, в условиях нормальной государственной жизни, каждый из них оставил бы крупный след. Но даже у наиболее уверенных в себе оптимистов опускались руки при встрече с теми злодеяниями,

какие пускались в обращение Думой в ее неудержимом стремлении опрокинуть Трон и свергнуть Царя. С высоты думской кафедры раздавались все более возмутительные речи, отравлявшие своим ядом все большие круги и вносившие разложение в толщу народа и даже армию.

Думали ли об этом думские ораторы, всходившие на кафедру, с заготовленными речами?! Полагаю, что если и думали, то не все, а только те, кто был игрушкой в руках интернационала и выполнял его задания. Все же прочие были только рабами толпы, глупыми и наивными людьми, смаковавшими то впечатление, за которым гнались, с целью сорвать рукоплескания. Это погоня за дешевой славой, свойственная только ограниченным людям, и вдохновляла бездарных ораторов, подбиравших в своих речах наиболее хлесткие словечки и выражения, рассчитанные на впечатление, какое даст в итоге несколько лишних аплодисментов...

О России же в те моменты никто из них не думал. Наиболее типичной фигурой среди этих самовлюбленных в себя тупых людей был прославленный, известно кем, "профессор" Н.Н.Миллюков. Его речи были наиболее развязны и свидетельствовали не только о его личной ненависти к Их Величествам, но и о том, что он был одним из тех, кто, по идейным или неидейным мотивам, выполнял определенные задания интернационала и шел открыто к ниспровержению Царского Трона. 1 ноября этот господин произнес свою проклятую Богом и всеми честными людьми речь... Что это была за речь? Полная гадких выпадов против Ея Величества, эта речь была до того гнусна, и пошла, до того цинична и преступна, что я до сего дня недоумеваю, каким образом могло случиться, что этот Миллюков получил в награду за нее гром рукоплесканий, а не виселицу, и продолжает даже до сих пор делать свое преступное дело.

Это была не речь, а призыв к открытому восстанию, и совершенно логичными явились вопли истеричного Керенского: "когда же, когда, наконец!", – раздавшиеся в думском зале вслед за речью Миллюкова и призывавшие к открытым революционным действиям...

Какое впечатление произвела речь Миллюкова на армию – говорить не нужно: однако я не могу воздержаться, чтобы не привести отрывка из воспоминаний одного из тех генералов, кто грудью своей отстаивал честь и достоинство России и, ведя борьбу на фронте, отбивался одновременно от тех преступников, кто, в тиши своего кабинета, разлагал армию и мешал его честной, полной самоотвержения и героизма, работе:

Вот что пишет генерал Н.Н.Краснов в своих воспоминаниях: "Памяти Императорской русской армии", напечатанных в "Русской Летописи", книга 5, стр. 56:

"...В начале Декабря 1916 года, когда вся армия замерла на оборонительной позиции, старший адъютант штаба вверенной мне дивизии принес кипу листов газетного формата. На них в нескольких столбцах была напечатана речь Н.Н.Миллюкова, произнесенная 1 Ноября. Эта речь была полна злобных, клеветнических выпадов против Государыни, и опровергнуть ее было легко. Я приказал листки эти уничтожить, а сам объехал полки и всюду имел двухчасовую беседу с офицерами. Речь Миллюкова проникла в полки. О ней говорили в летучке Союза городов; о ней говорили в полках.

Приходилось брать быка за рога, прочитать эту речь перед офицерами и по пунктам опровергать ее. Наблюдая за офицерами во время беседы, разговаривая с ними после нее, легко было подметить разницу между офицерами старого воспитания и новыми. Старые были враждебно настроены против Миллюкова. "Эта речь сама по себе – измена, – говорили они. – Мы тут на позиции жертвуем собой, а они там разговаривают... Конечно, эта речь станет известна немцам и как их обрадует! Не Мясоедов и не Штюмер изменники, а изменник Миллюков... Как он смел так говорить про Императрицу!.. Что же представляет собой сама Дума, если в ней могут быть произносимы такие речи?"

Но были и другие толки.

"Господа – говорила молодежь, – это не измена, это – мужество. Говоря так, Миллюков головой рисковал и добивался правды. И мы должны быть ему благодарны. Он не изменник, а патриот. Начальник дивизии говорит, что это клевета: но он говорит неправду... Он так

говорит, потому что он начальник и генерал. Он сам воспитан в "беспредельной преданности Государю"; а между тем преданность должна быть разумная"...

Беседуя на эту тему со своими соседями по фронту – начальниками пехотных дивизий – я убедился, что там речь Милюкова была сочтена за великое *откровение*, за *программу*, и те немногие офицеры, которые протестовали против нее, должны были замолчать. Там молчали даже старшие начальники, подавленные мнением большинства. В некоторых полках эту речь читали и солдаты. Но особенно широко распространялась она по тылам, по командам ополчения, маршевым ротам и по госпиталям. Зараза шла в армию"...

Предположить, что Милюков не учитывал впечатления от своих речей на массы, конечно, нельзя. Значит, он действовал умышленно, значит – был изменником и предателем сознательно...

Претит нравственному чувству всякое преступление, в чем бы оно ни выражалось; однако, упоминая на страницах своих воспоминаний преступное имя Милюкова, я не могу не противопоставить этому имени светлые имена С.В.Таборицкого и П.Н.Шабельского-Борк, тех пламенных патриотов и прочих, верных сынов России, какие и поднесь томятся в тюрьме и попали туда только потому, что трехмиллионная русская эмиграция вовремя не заступилась за них, не закричала громко о том, о чем думают все русские честные люди, о том, что, как бы велико ни было преступление этих юношей, выразившееся в покушении на убийство Милюкова, но преступления этого последнего, убившего всю Россию, были еще больше. С точки зрения уголовного кодекса, в их деянии был состав преступления; но с точки зрения тех лучших душевных движений, какие стоят над этим кодексом, было не преступление, а пламенная, не знающая пределов, любовь к России, загубленной Милюковым, любовь, нашедшая, к сожалению, неудачное выражение. И пора, давно пора объединиться русской эмиграции в общем голосе за правду, за облегчение участи страдальцев, и сказать Германии, за что же она, так бережно охраняющая святыне начала патриотизма, столь равнодушно отнеслась к высоким душевным движениям подсудимых; за что наказала своих же друзей и, в угоду общественному мнению и натиску жидов, заступилась за Милюкова, своего злейшего врага?!

Глава XLVIII Член Государственной Думы В.П. Шеин

"Записка", составленная Товарищем Прокурора Екатеринославского Окружного Суда В.М.Рудневым на основании данных, полученных им во время командирования его в 1917 году, по распоряжению Керенского, в Чрезвычайную Следственную Комиссию по рассмотрению злоупотреблений бывших Министров, Главноуправляющих и других должностных лиц, в достаточной мере осветила истинную природу тех фактов, которыми преступники пользовались для ниспровержения Императорского Трона и династии. О том, что все эти факты были вымышлены и создавались с определенной злостной целью использовать темноту и легковерие невежественной, загипнотизированной толпы и планомерной клеветой дискредитировать священные имена Царя и Царской семьи, об этом знали не только сами клеветники, не только окружавшие Государя близкие ко Дворцу лица, но знали все, мало-мальски отдававшие себе отчет в революционном настроении Думы и худшей части общества. Все они прекрасно учитывали и истинное значение Распутина... Однако гипноз был так велик, революционные вожеления так сильны, что только очень немногие удерживались на позиции объективной оценки фактов и рассматривали их сквозь призму долга к Государю и России. Государственная Дума создавала и регулировала общественное настроение, отравляя ядом клеветы всю Россию; отсюда шли нити заговора против Царя и династии, там было средоточие всех революционных замыслов; на нее оглядывались, с ней считались, и даже правительство, в лице Совета министров, искало путей к соглашательству с Думой, вместо того, чтобы одним ударом уничтожить ее...

Как я ни чуждался Думы, как ни уклонялся от какого бы то ни было соприкосновения с партиями, все же, в глазах общества, я имел определенную репутацию монархиста, дававшую жидовской прессе повод называть меня "известным реакционером". Этого

одного факта было, конечно, достаточно для того, чтобы я оказался неугодным Думе. Вот почему, когда печать впервые назвала мое имя в числе кандидатов на пост Обер-Прокурора Св. Синода, или Товарища его, то поднялась та обычная и никого уже более не удивлявшая травля, какая сопровождала каждого, входившего в состав Правительства... Совершенно ясно, что не в интересах революционной Думы было закреплять позицию Монарха и усиливать Правительство монархическими элементами, давая своим врагам оружие в руки... Но это было в интересах каждого верного подданного, каждого честного и мало-мальски разумного человека. До Распутина, борьба с этими элементами была трудной и длительной: требовалось много данных, чтобы опорочить их; требовались доказательства... С появлением Распутина, ничего этого не нужно было. Достаточно было сказать, что такой-то видел Распутина, чтобы бросить на него тень подозрения в нравственной нечистоте... Что он разговаривал с ним – чтобы превратить эти подозрения в непреложный факт... С точки зрения тонко задуманных и гениально проводимых революционных программ, такая система действий была совершенно понятна; но навсегда останется непростительным тот факт, что проведению в жизнь этих преступных программ содействовали и те люди, которые это делали только по своей глупости, не ведая, что творили.

Общий голос утверждал, что в устах А.Н.Волжина "Распутин" был только ширмой, какой он пользовался столько же для того, чтобы закрепить свое положение в Думе, сколько и потому, что опасался приглашать в свои ближайшие сотрудники Товарища, имевшего шансы сделаться его заместителем и более его сведущего. Однако я лично держался другого мнения и этих мыслей не приписывал А.Н.Волжину. Напротив, я был убежден, что А.Н.Волжин заблуждается добросовестно и, как выражался Распутин, находится во лжи, искренно считая меня "распутинцем". Да и как можно было не считать меня "распутинцем", когда я сам подавал повод для этого!.. Нужно было быть гораздо более глубоким человеком, чем был А.Н.Волжин, чтобы не соблазняться во мне.

В то время как на имени Распутина отыгрывались малодушные люди, когда отношение к этому имени сделалось критерием нравственной ценности людей, когда неумные люди тем громче кричали о Распутине, чем громче желали засвидетельствовать свои верноподданнические чувства к Государю; в то время, когда малейшее противодействие этим крикам вызывало гонения против смельчаков, которых клеймили прозвищем "распутинец", что являлось смертным приговором в глазах "общественного" мнения – в это время я был в числе тех немногих, которые смело и безбоязненно проповедовали обратное, доказывая, что крики о Распутине опаснее самого Распутина, и что никто не смеет посягать на волю Помазанника Божьего.

"Смотрите, слепые вы люди, откуда идут крики о Распутине! – кричал я везде, где только мог. – Разве вы не видите, что ваши голоса сливаются с голосами, идущими из Государственной Думы, из еврейской печати, с голосами тех, которым важен не Распутин, а Царь и династия, кто кричит о Распутине не для того, чтобы удалить его от Царя, а, наоборот, для того, чтобы еще более прикрепить к Царю?! Ради этого-то и сочиняются все ужасы о положении Распутина, чтобы дискредитировать, дружбой Царя с развратником, священное имя Монарха... Зачем же вы идете вместе с ними и своими криками увеличиваете число Царских врагов?! Потому что, замалчивая имя Распутина, боитесь сами прослыть "распутинцами"!.. Да кому вы нужны! и не все ли равно России, чем вас будут считать?... Где же ваши присяги и обещания жизнь свою положить за Царя, если опасение сделаться в глазах жидовской прессы "распутинцами" до того велико, что вы гораздо больше заботитесь о собственном престиже, чем о престиже Царя. Думайте о Царе и России, а не о том, чем вас будут считать общество и пресса. Не прикасайтесь к Тому, Кого Сам Господь Бог назвал Помазанником *Своим*! Не смейте вторгаться в личную жизнь Царя, *через которого Господь творит Свою Волю*, ибо Он поругаем не бывает, и Тот, кто сказал: "Мне отмщение, Аз воздам", настигнет вас... Теперь вы ходите с гордо поднятой головой; но придет час, когда вы покраснеете от стыда при одной мысли о том, какими глупыми

способами "защищали" Престол и династию, являясь бессознательным орудием в руках тех, кто разрушал их"...

"Распутинец!" – раздавалось из толпы. И А.Н.Волжин этому поверил, не потрудившись даже оглянуться в сторону, чтобы увидеть, кто вместе с ним разделял такую веру... Там были или очень глупые, или очень дурные люди... А на другой стороне стояли Царь с Царицею и те люди, которым психология моего отношения к Распутину была понятна и которые осуждали А.Н.Волжина. "Ошибке" А.Н.Волжина суждено было не ограничиться только тем, что она закрепила в моем сознании ходячее мнение о А.Н.Волжине, как неглубоком человеке, но и вызвать гораздо более печальные последствия.

Мой бывший сослуживец по Государственной Канцелярии, член Государственной Думы Василий Павлович Шеин, с коим меня связывала теснейшая дружба, стал все чаще и чаще навещать меня и предупреждать об ударах, которые не сегодня-завтра разразятся над моей головой... Я был совершенно озадачен и ничего не понимал.

Пришел ко мне, однажды, Василий Павлович поздно вечером и чуть ли не шепотом просил меня выйти куда-нибудь из дома, где и стены имеют уши, чтобы сделать мне важное сообщение... Он был до того встревожен, что его беспокойство заразило и меня... Когда мы зашли в отдельный кабинет какого-то ресторана, то Василий Павлович, умоляющим тоном, сказал мне:

"Я знаю, что Вы меня любите: поэтому прошу Вас, сделайте ради меня – поезжайте завтра же к члену Думы В.Н.Львову с визитом, на квартиру".

"Зачем? – удивился я. – Ведь я только один раз встретился с ним у Вас, в прошлом году, и его почти не знаю: он только удивился бы моему визиту".

"Нет, нет, – горячо перебил меня В.П.Шеин, – это нужно для Вас же: он готовит ужасную речь против Вас и забросает Вас грязью. Эту речь нельзя пропустить: нужно предотвратить скандал"...

"Но в чем же он может обвинить меня? Я не знаю за собой никаких преступлений и не боюсь никаких разоблачений... Но, если он действительно собирается забросать меня грязью, тогда тем более я не могу ехать к нему и выпрашивать его милость... Не нахожу возможным визит к нему и по принципиальным соображениям... Члены Думы занимают в отношении правительства такую недопустимо наглую позицию, что я не считаю возможным никому из них делать визитов... Они могут ругать в Думе как им угодно, но добиться того, чтобы члены правительства признавали за ними право это делать, они не смогут. Мой визит только укрепил бы позицию Львова, и я категорически отклоняю самую возможность такого визита"...

"Князь, смотрите, чтобы не было хуже: я вовремя предупредил Вас; еще есть время" – сказал взволнованный В.П.Шеин, болевший обо мне и желавший избавить меня от грядущей беды.

"Василий Павлович, – обратился я к нему, – скажите, что же может сказать Львов? Ведь он совершенно меня не знает; а за два с половиной месяца службы в ведомстве я, и при желании, не мог бы совершить никаких преступлений; напротив, ваше же думское духовенство, говорят, превозносит меня за проведенный устав о пенсиях"...

"Разве он имеет в виду вашу личность?! Вы – член правительства, а он член оппозиции правительству: вот и все мотивы его речи; а человек он шалый... О чем он собирается говорить, я не знаю... Свою речь он тщательно скрывает, но говорит, что материал для нее получил от Волжина"...

"Хорошо, Василий Павлович: я готов встретиться с Львовым, чтобы опровергнуть полученный им материал; но только при одном условии: если эта встреча будет случайной и произойдет у Вас на квартире", – сказал я.

"Ничего не выйдет, – ответил В.П.Шеин, – вся сила в Вашем личном визите. Это польстит его самолюбию: ведь члены Думы, хотя и бранят правительство, но больше по зависти, ибо сами хотят быть министрами"...

"Это я давно знаю, но именно поэтому и не могу унижаться перед Львовым", – ответил я.

Так наша беседа, затянувшаяся далеко за полночь, ничем и не кончилась, и я расстался со своим верным другом, незабвенным Василием Павловичем, огорчив его своим отказом исполнить его просьбу.

Тем не менее, я несколько раз ездил, после этого, в Думу, с намерением встретиться с В.Н.Львовым; но видел его только на заседаниях в Думском зале; во время же перерывов он куда-то исчезал, умышленно прячась от меня, и усилия В.П.Шейна найти его не приводили к цели...

Настал, наконец, день 29 ноября, и В.Н.Львов разразился своей речью... Ужасного в ней ничего не было: сказать ее мог только тот, кто уже два раза сидел в больнице для душевнобольных и собирался сесть туда и в третий раз... Это была речь дегенерата, сумасшедшего, речь шулера, передергивавшего карты...

Глава II. Речь члена Государственной Думы В.Н. Львова 29 ноября 1916 г. Свидание с А.Н. Волжиным

При всей своей впечатлительности, заставлявшей меня болезненно реагировать на то, мимо чего проходили с полным равнодушием другие, менее истерзанные нервно люди, предостережения В.П.Шейна не произвели на меня никакого впечатления. Относясь к своим служебным обязанностям как к долгу перед Богом, просиживая ночи за письменным столом, не имея личной жизни и отдаваясь безраздельно службе, я был уверен, что самые строгие судьи не нашли бы поводов для каких-либо упреков, тем менее обвинений, а потому, не только не интересовался речью В.Н.Львова, но и тем, когда он намерен ее произнести.

Я узнал о ней несколько дней спустя, когда В.П.Шейн принес мне стенографический отчет этой речи.

В речи, какую мог произнести только одержимый, значилось, что "темные силы" проникли уже за церковную ограду и свили себе гнездо в самом Синоде, и что дальше уже терпеть нельзя, ибо в опасности находится самое дорогое достояние русского народа – Православная Церковь. Как на иллюстрацию такого угрожающего положения указывалась история создания должности второго Товарища Обер-Прокурора и моего назначения на эту должность, причем эта история излагалась так:

"Явился к Обер-Прокурору Волжину некий князь Жевахов, потребовал от него список должностных лиц и заявил, что желает получить место в ведомстве с окладом не ниже 10000 рублей в год. Когда Волжин заявил, что таким жалованьем оплачивается только должность Товарища Обер-Прокурора, какая занята, то князь Жевахов, нисколько не смущаясь, ответил Волжину: "Что ж такое, что занята: создайте другую"... И Волжин, зная, кто стоит за спиной князя, и на какие темные силы последний опирается, стал всячески изворачиваться, однако ничего не мог сделать и, в конце концов, был вынужден создать новую должность второго Товарища Обер-Прокурора специально для князя Жевахова, ad hoc. Конечно, он не решился войти в Государственную Думу с таким ходатайством, ибо знал, что Дума откажет ему в кредитах; но он обошел закон с другого конца, в результате чего содержание по новой должности отнесено на счет свечных сумм и остатков от кредитов, идущих на церковные школы... "Знайте же, господа, – патетически закончил В.Н.Львов свою речь, – что каждая копейка, какую вы жертвуете на свечку, ставя ее в храме Божию, пред иконою, идет теперь в карман князя Жевахова"...

Оглушительные рукоплескания были наградой дегенерату. Я же черпал источник величайшего удовлетворения в тех криках, какие сопровождали каждое слово этой речи и сводились к вопросам: "Кто такой Жевахов, откуда он взялся!"..

Эти вопросы служили лучшей оценкой речи В.Н.Львова и лучшим моим оправданием, ибо оставаться совершенно неизвестным Думе, оперировавшей даже подпольным материалом и пресыщенной агентурными сведениями, мог только тот, кто действительно

не думал о своей карьере и менее всего был способен на те действия, какие ему приписывались.

Тем не менее, получив стенограмму речи, я немедленно отправился к А.Н.Волжину. Он, конечно, не мог меня ожидать, и мое появление в его кабинете озадачило его... Принужденно улыбаясь, А.Н.Волжин засыпал меня вопросами о том, что делается в Синоде, как идут дела, повесили ли его портрет и в каком месте и пр.

"Вы читали речь Львова?" – обратился я к А.Н.Волжину с вопросом.

"Да. Ничего значительного", – как-то нехотя и небрежно ответил он.

"Наоборот, она весьма значительна, – выразил я, – в ней сделана ссылка на Вашу беседу со мной, когда Вы предъявили мне список чинов Синодального Ведомства, и я, не рассматривая этого списка, вернул Вам его обратно... Помните?.. Вы, верно, не забыли еще, что пределом моих желаний, высказанных Вам, по Вашему принуждению, была должность сверхштатного члена Училищного Совета при Св. Синоде; что о жалованье не было и не могло быть даже речи и что если бы Вы даже предложили его мне, то я бы должен был отказаться от него, как отказался и от десяти тысячного оклада, предложенного мне по должности члена Главного Управления по делам печати, ибо не желал расставаться с Государственной Канцелярией, а занимать две штатные должности в двух разных ведомствах – невозможно; что я *никогда не выставлял своей кандидатуры на должность Товарища Обер-Прокурора и ни с какими требованиями к Вам не обращался*... Если, несмотря на это, В.Н.Львов ссылается в своей речи на Вашу беседу со мной и говорит, что получил материал для этой речи от Вас, то важно установить, в каком виде он получил этот материал от Вас. Вы ли снабдили его неверными сведениями, или он сам искажил их? За ответом на этот вопрос я и приехал к Вам. Ввиду ссылок В.Н.Львова на Вас, а также в виду того, что в материалах, полученных от Вас, содержится прежде всего клевета на Государя, ибо не Распутин, а Государь повелел Вам представить меня к назначению, я требую, чтобы клевета была опровергнута лично Вами. Если Вы этого не сделаете, тогда, оставаясь в убеждении, что В.Н.Львов использовал только готовый материал, от Вас полученный, я лично оглашу в печати содержание наших бесед, расскажу о том, чем эти беседы вызывались и под каким углом зрения велись Вами... Я не виноват, что Вы совершенно меня не постигали и не понимали... От этого мне не легче: клевету я должен сбросить"...

А.Н.Волжин был очень смущен; однако же определенно ответил мне: "Львов такая сволочь, что я не только не принимаю его у себя, но и руки ему не протягиваю... И стоит ли Вам обращать внимание на то, что говорит Львов... Вспомните, как меня травили и какой грязью забрасывали, а разве я обращал на это внимание?! Советую и Вам поступить так же; все равно теперь никто никаким опровержениям не поверит"...

В этих словах не заключалось, однако, ответа на предложенный мной вопрос, и потому я повторил его:

"Я пожелал бы, однако, знать, откуда В.Н.Львов получил материал для своей речи, и намерены ли Вы восстановить наши беседы в их подлинном виде и тем опровергнуть клевету?"..

"Может быть я и делился с кем-либо своими впечатлениями, – ответил А.Н.Волжин, – но того, что значится в речи Львова, я не говорил. А что касается опровержений, то я не только не могу этого сделать, но и Вас прошу воздержаться от них... Стоит ли начинать опять все сначала!"

"В таком случае я сам это сделаю и сделаю это так, чтобы навсегда рассеять сомнения в том, что Государь Император и Распутин не одно и то же, и что, получив личное повеление Его Величества о моем назначении, Вы не имели ни права, ни оснований распускать слухи об участии Распутина в моем назначении, чего вы ни в каком случае не могли бы доказать".

Сказав это, я откланялся. С отменной любезностью и законченными движениями гофмейстера, проводил меня А.Н.Волжин в переднюю, продолжая настаивать на бесполезности каких-либо опровержений и достигая этим как раз обратных целей... Я

допускал, что В.Н.Львов мог исказить полученный им материал; но сомнений в том, что этот материал был передан ему А.Н.Волжиным, у меня не было.

На другой день я передал содержание своей вчерашней беседы с А.Н.Волжиным директору канцелярии Обер-Прокурора В.И.Яцкевичу, а последний рассказал мне историю посылки в Ставку всеподданнейшего доклада с ходатайством о назначении Н.Ч.Заиончковского и учреждения должности второго Товарища Обер-Прокурора, о чем уже было рассказано мной выше.

Я не сливался с окружавшей меня средой и часто был той костью, какой давились другие, особенно в пору столь требовательной, не терпящей никаких компромиссов, юности. Клевета не составляла для меня нового явления, она причиняла мне много страданий, но не выбивала меня из колеи, не меняла моих позиций, не переставляла точек зрения, не научила приспособляться, тем более изменять принципам.

Но речь В.Н.Львова явилась для меня жестоким и незаслуженным ударом, от которого я даже до сих пор не оправился, и который болезненно переживаю и в настоящее даже время. И это потому, что эта речь зафиксировала непостижимое недомыслие даже лучших людей, к числу которых я относил А.Н.Волжина, которое, в своем последовательном развитии, привело и не могло не привести к революции, даже безотносительно к работе специальных агентов ее.

Не мог, ведь, А.Н.Волжин не сознавать того, что, делясь с членами, Думы своими сомнениями и подозрениями относительно меня, считая меня "распутинцем", т.е., по меньшей мере нравственно-нечистоплотным человеком, и одновременно ссылаясь на настоянии Государя Императора представить меня к назначению на высокий пост Товарища Министра, он, прежде всего, дискредитировал в глазах Думы, а следовательно, и всей России, Государя Императора?!

Или он этого не сознавал?.. Потому ли, что он действительно опасался моей конкуренции и, следовательно, отказывал мне в простой порядочности, потому ли, что желал заручиться расположением Думы, где его положение было невыносимым, потому ли, что действительно искренне сомневался в моей нравственной чистоплотности, но только он не нашел ничего умнее, как пожаловаться на Царя... члену Думы В.Н.Львову.

А поступить он должен был не так.

Перед ним было два выхода на выбор:

1. Если у него существовали какие-либо сомнения относительно меня, то он должен был бы откровенно высказать их мне. Если у него были факты, порочившие мое имя, то, вместо вкрадчивой любезности, вводившей меня в заблуждение, вместо того, чтобы сотни раз приглашать меня к себе и вести бессмысленные переговоры, он не должен был бы вовсе принимать меня и объяснить мне причины, почему это делает.

2. Если бы эти причины не были приняты во внимание Государем Императором, то он должен был бы молча выйти в отставку...

В путях охраны престижа Монарха и России других выходов не было.

Однако, А.Н.Волжин использовал тот, какой, в последнее время, стал обычным, и каким пользовались все те, кто дерзал приносить в жертву личной популярности священное имя Монарха – путь апелляции к общественному мнению, средоточением которого была революционная и враждебно настроенная к Государю Дума. Отставка наиболее популярных в Думе Самарина и графа Игнатьева, перевод из Петербурга в Киев, приобретшего неожиданную популярность в той же Думе, митрополита Владимира, рассматривались под тем углом зрения, какой исключал даже мысль о верности и преданности Царю. Разве эти акты Высочайшей воли рассматривались как свободное волеизъявление Самодержца и Помазанника Божия?! Нет, их рассматривали как народное бедствие. За овациями покидавшим свой пост скрывалась самая откровенная враждебная демонстрация против Царя, за которым не признавалось права ни на какое самостоятельное проявление личной влиятельности, Который должен был поступать только так, как того требовала

прогрессивная общественность, с ее штабом, Думою, бывшей на поводу у еврейской печати.

Глава L. Беседа с Председателем Совета Министров А.Ф. Треповым

Результаты свидания с А.Н.Волжиным, разумеется, не удовлетворили меня. Написав краткое, но выразительное "Открытое письмо члену Государственной Думы В.Н.Львову", я послал его в редакцию "Нового Времени" для напечатания, о чем и протелефонировал Н.П.Раеву.

"Что Вы сделали! – услышал я встревоженный голос Н.П.Раева. – Бога ради, верните письмо обратно. Председатель Совета Министров категорически запретил какую бы то ни было полемику с членами Государственной Думы"...

"Но ведь это невозможно! – возразил я, – до каких же пор Дума будет подрывать престиж правительства, а Советов Министров – молчать?!. Что же думает А.Ф.Трепов?"

"Вы знаете, что Председатель Совета Министров запретил мне выступать с опровержениями даже с Думской кафедры; тем более невозможна полемика в газетах, какую Александр Федорович признает ниже достоинства членов кабинета. Прикажите сейчас же чиновнику особых поручений съездить в редакцию и приостановить набор", – настаивал Обер-Прокурор.

Я должен был повиноваться, и в 2 часа ночи С.Троицкий привез мне мое письмо к В.Н.Львову, с пометкой редакции "набрать".

На другой день было назначено заседание Совета Министров, на котором я принимал участие в качестве заместителя Н.П.Раева. Воспользовавшись перерывом, я обратился к А.Ф.Трепову с такого рода заявлением: "Обер-Прокурор Св. Синода передал мне о Вашем запрещении ответить на инсинуации члена Думы В.Н.Львова, и я вынужден был затребовать из редакции "Нового Времени" написанное мною "Открытое письмо" В.Н.Львову. Я полагал, что поскольку я состою членом кабинета, клевета В.Н.Львова задает не только меня одного, и, потому, считал бы своею обязанностью ее опровергнуть".

"Полемика с членами Думы недопустима: не нужно обострять отношений с Думой. Эти речи нисколько не отразятся на отношении к Вам Совета Министров; но в общих государственных интересах жертвы личного самолюбия неизбежны, и с этим приходится считаться", – ответил А.Ф.Трепов тоном, не допускавшим никаких возражений.

Настаивать на продолжении беседы было бесполезно. У меня получился очень горький осадок от сознания принципиальных ошибок, допускавшихся Председателем Совета Министров в отношении к Государственной Думе. Для меня было очевидно, что никакое соглашательство с ней невозможно, и попытки его вызвать только усиливали позицию Государственной Думы. Они, кроме того, свидетельствовали и об отсутствии определенных государственных программ у правительства, ибо, разумеется, первый параграф такой программы потребовал бы от правительства не соглашательства с Думой, а немедленного разгона ее.

Я должен был удовлетвориться заявлением Председателя Совета Министров о неизбежности жертв самолюбия, требуемых интересами общегосударственными, сознавая, однако, что интересы государственные требовали как раз обратного и налагали на Совет Министров обязанность обуздать обнаглевшую Думу и прекратить издевательства над членами правительства. Я жил под тяжестью клеветы, какая причиняла мне тем большую боль, что я не имел возможности ее опровергнуть.

Глава LI. Аудиенция у Ея Величества

Первым отозвалось на причиненную мне А.Н.Волжиным и В.Н.Львовым обиду чуткое сердце Государыни Императрицы. Я был вызван в Царское Село, и Ея Величество встретила меня такими словами:

"Не смущайтесь клеветой Думы... Это общая участь каждого, переступившего порог нашего дома".

Глубоко тронутый этими словами, я ответил:

"Меня давно предупреждали об этой речи, и Львов только ждал моего назначения, чтобы произнести ее. Он – один из членов прогрессивного блока Государственной Думы, задача которого состоит в определенной и систематической травле членов правительства... Пропаганда ширится все больше, и Дума уже не скрывает своих истинных намерений и становится все более опасной"...

Я не продолжал дальше, ибо сознавал, что для решительных и смелых действий не было людей; что если бы даже сам Государь Император выразил намерение разогнать Думу, то, наверное, встретил бы возражения со стороны слабого правительства, все еще надевавшегося на возможность компромиссов с Думой и ее прогрессивным блоком, этим ударным батальоном революционной Думской армии предателей и негодяев.

Впрочем, в этом не было и нужды, ибо Императрица гораздо лучше меня учитывала значение политического момента и глубоко понимала, что нужно было делать. Когда министр внутренних дел А.Д.Протопопов настаивал на разгоне Думы, а Дума, заодно с Советом Министров, требовала удаления А.Д.Протопопова, то Императрица написала Государю письмо, где говорилось: "Вспомни, что дело не в человеке Протопопове или Х. Y. Z., но вопрос идет о монархии и о Твоем престиже, который не должен быть подорван при существовании Думы. Не думай, что они на нем остановятся: они заставят уйти и других, которые Тебе преданы, одного за другим, – *а потом и нас самих*"... (Письма Императрицы А.О. к Императору Николаю II. Том II. С. 230).

"Разгони Думу сразу, – писала Императрица в другом письме. – Я бы спокойно и с чистой совестью пред *всей* Россией отправила князя Львова в Сибирь (это делалось за гораздо менее серьезные поступки), отняла бы у Самарина его чин... Милюкова, Гучкова и Поливанова также в Сибирь. Идет война и в такое время внутренняя война есть государственная измена"... (Там же, стр. 262).

Много нужно было бы сделать выписок из кощунственно опубликованной переписки Императрицы с Государем, чтобы показать, как глубоко верно понимала Государыня психологию политического момента исторической жизни России; но то, что широкая публика узнала из этой переписки, то имевшим счастье лично знать Императрицу было давным-давно известно. Можно было только удивляться глубокой осведомленности Ея Величества и той энергии, с какою Императрица защищала горячо любимую Ею Россию.

"Но какими низкими средствами пользуется Дума!.. Как она не брезглива! Раньше, когда я была помоложе, клевета причиняла мне нестерпимую боль, и я глубоко страдала; а теперь, я уже привыкла к ней", – сказала Императрица и задумалась.

Мне было невыразимо жалко Императрицу.

"Пусть уже Дума, да жида, забрасывают Царя и Царицу, с их верными слугами, клеветой, – думал я. – На то и Дума, чтобы это делать... Но А.Н.Волжин!.. Сознал ли он, что делал, знал ли он, как обижал Императрицу, внушая сомнение и недоверие к тем, кого Государыня дарила Своим вниманием и кому верила... Да не подумает читатель, что я свожу личные счеты с А.Н.Волжиным... Нет, я вытираю только слезы ни в чем неповинной Страдалицы-Императрицы"...

Глава LI. Министр внутренних дел А.Д. Протопопов

Кто способен видеть за внешними выражениями факта его психологию, тот скажет, что, несмотря на величайшие огорчения, причиняемые Государю Императору Думой, Его Величество добросовестно желал совместного с нею сотрудничества в пределах, обеспечивающих истинное благо России, что Император Николай II менее, чем Его Предшественники, держался за прерогативы единоличной власти и для блага России готов был не только отказаться от этих прерогатив, но и в буквальном смысле слова пожертвовать Своею жизнью.

Вот почему, когда Дума стала выдвигать кандидатуру на пост министра внутренних дел лидера левых партий, своего товарища председателя А.Д.Протопопова, то со стороны Государя не встретилось возражений, и Его Величество удостоил А.Д.Протопопова Высочайшей аудиенцией. Последняя совпала с тем моментом, когда А.Д.Протопопов успел уже вернуться из Англии, куда, вместе с другими членами Думы, был делегирован и где до того очаровал собою английского короля, что последний написал письмо Государю Императору, прося Его Величество обратить особое внимание на исключительные способности и дарования А.Д.Протопопова. Эта рекомендация, в связи с отличным впечатлением, какое произвел на Государя А.Д.Протопопов, и вызвала его назначение министром. Дума ликовала, но... недолго. Выдвинув кандидатуру своего товарища председателя, убежденного земца и, следовательно, левого, пользовавшегося, по этой причине, особым весом в Думе, в среде левых партий, Дума, конечно, была убеждена в том, что А.Д.Протопопов явится орудием в ее руках и сделает то, чего никакие думские горланы не добьются своими криками с высоты думской кафедры. Вышло иначе, А.Д.Протопопов оказался в глазах Думы самым опасным предателем и изменником и... отсюда его травля, отсюда та яростная клевета, какая буквально разрывала А.Д.Протопопова на части, с каким-то бешеным остервенением и особым жидовским смаком... Его называли то неврастеником, то сумасшедшим и, конечно, в первую голову "распутинцем".

Государь Император был до крайности удивлен таким отношением к А.Д.Протопопову и говорил: "...Я всегда мечтал о министре внутренних дел, который будет работать совместно с Думою... Протопопов, выбранный земствами, товарищ Родзянко... Протопопов был хорош в общественном мнении и даже был выбран делегатом за границу; но стоило Мне назначить его министром, как его сделали сумасшедшим"...

Когда председатель Думы или Совета министров повторяли молву о сумасшествии А.Д.Протопопова, то Государь спросил: "С какого же времени он стал сумасшедшим? Вероятно, с того момента, когда Я назначил его министром"...

Я знал А.Д.Протопопова, и вот что я могу написать о нем и тем почтить память этого благородного человека и великого христианина.

А.Д.Протопопов был человеком блестящих способностей и дарований. Он лучше всех прочих министров понимал содержание политического момента в России. Принадлежа в Думе к левым партиям, А.Д.Протопопов знал не только общую картину думского революционного заговора, но и то, чего никто не знал – все нити этого заговора, все извилистые тропинки, какие вели к свержению Престола и династии... Вот почему он был так опасен Думе; вот почему Дума ни разу не пустила А.Д.Протопопова на думскую кафедру, опасаясь разоблачений, которые стали бы известны всей России. С момента назначения А.Д.Протопопова министром, Дума трепетала пред ним, и у нее было только два выхода – или путем заискиваний вернуть доверие к себе министра внутренних дел, или же затравить его, признав сумасшедшим, для того, чтобы обесценить его разоблачения. Первое не удавалось: осталось второе и отсюда – месть, самая жестокая месть, в убеждении, что стадное общество поможет окончательно добить А.Д.Протопопова. И общество действительно помогло жидам, и в глазах весьма многих А.Д.Протопопов и сошел в могилу сумасшедшим.

Потому ли, что он подвергался еще большей травле и клевете со стороны общества и печати, чем другие, или по иным причинам, но А.Д.Протопопов не только проявлял ко мне большое участие, но и чувствовал искреннюю симпатию, подчеркивая нашу общую любовь к Государю и даже духовное сродство душ. Оба мы были задавлены делом; встречались редко; за все время своего состояния на службе, я виделся с ним только три раза: один раз за завтраком и два раза за обедом, ибо только в эти моменты мы оба были свободными. Обед назначался обычно в 8 часов вечера; но садились за стол не раньше 9 часов, а иногда и в 10 часов: до такой степени министр внутренних дел был занят. Всякий раз А.Д.Протопопов сажал меня подле себя и, наклоняясь ко мне, шептал что-нибудь важное на ухо...

"Вы не удивляйтесь, – шепнул мне однажды Александр Дмитриевич, – даже у себя, за обедом, я окружен шпионами и не могу говорить громко... Знаете ли, мне-таки удалось поймать Амфитеатрова"...

А.Д.Протопопов не кончил фразы: кто-то обратился к нему с вопросом и отвлек его от мысли...

После обеда мы уходили с ним обыкновенно в маленький кабинет и вели задушевные беседы, и на них-то я и хочу сосредоточить внимание читателя.

"Вы не думайте, – сказал мне министр, – что я всегда так думал, как думаю сейчас... Нет, я был... левым; а теперь, видите ли, не снимаю с себя формы шефа жандармов... Она для Думы то же, что красное сукно для быка. О, я великий предатель в глазах Думы... Но зато и Дума в моих глазах – еще большая предательница и преступница. Царя я не знал: я слышал лишь то, что угодно было жидам, чтобы я слышал; но Царя не видел, проверить слухов не мог и горения любви к Помазаннику Божьему не проявлял, хотя всякое предубеждение относительно кого или чего-либо всегда было мне чуждо... И это спасало меня... Спасло и на этот раз. Царь позвал меня... Я явился, предстал пред Его небесными глазами и... расплакался. Всем существом своим я ощутил, что вижу пред собою Божьего человека, и я поклялся умереть, но не дать Его никому в обиду... Воистину он был помазан на царство Самим Богом... Это не было минутное впечатление: нет, в этом я убеждался с каждым днем, с каждым часом, и что бы ни случилось с Россией, какие бы несчастья ни суждено было претерпеть ей в будущем, но я уже знаю, почему это совершилось бы. *Потому, что Господь праведен, милостив и справедлив*, и наказывал Россию и еще будет наказывать ее за то, что и помыслами своими и делами Россия обижала Его Помазанника. Я знаю, что делать... Никакое соглашательство с Думой невозможно. Это шайка преступников, которую нужно разогнать, и чем скорее, тем лучше, ибо иначе она разгонит нас и казнит Царя... Но Государь не решается принимать резких мер, пока не кончится война; а Ставка... о ней лучше не говорить. Государь Император там, точно кроткий агнец в клетке диких зверей".

После беседы А.Д.Протопопов, обыкновенно, провожал меня до самого выхода, и в вестибюле мы всегда встречали ненавистных мне людей, ожидавших приема... Как-то однажды министр, провожая меня и увидя такую толпу ожидавших в вестибюле, отвел меня в сторону и, улыбаясь, спросил меня:

"Вы знаете, кто это такие?"..

"Нет", – ответил я.

"Это члены Думы... В Думе они, как звери, готовы растерзать меня; а сюда ходят, некоторые из них даже с черного хода, чтобы их никто не заметил, и проявляют аттенцию ко мне свыше меры... Ну, и людишки же!.. Посмотрите, как они сейчас съезжались, когда я подойду к ним; а выйдут на улицу, будут бранить меня... Вот где та гниль, какая разъедает Россию и может свести ее в могилу"...

Вспоминая теперь свои беседы с А.Д.Протопоповым, я не могу разделить ходячего мнения о его слабости и близорукости... Один в поле – не воин. Тем более не мог быть таким воином А.Д.Протопопов, которого травили не только жидовская пресса и Дума, но и Совет министров, не пускавший его на свои заседания и не имевший с ним никакого общения. А.Д.Протопопов был типичный русский человек старого закала, один из тех людей, кто не войдет в комнату, не осенив себя крестным знамением, не сядет за обеденный стол, не прочитав молитвы, не проедет мимо церкви, не сняв шапки, не заснет, если в спальне не будет гореть лампада... Это глубокое сознание зависимости от Бога даже в мелочах повседневной жизни не было у него рисовкою, а проникало из глубоких недр его религиозной настроенности. Из этого самого настроения вытекала и та его безграничная смелость, которая позволила ему, бывшему лидеру левых партий Думы, бросить последним вызов и открыто вступить с Думой в смертный бой.

Победила Дума. Но эта победа, кончившаяся смертью А.Д.Протопопова, явилась и ее собственной смертью, и гибелью всей России.

Глава LIII. Речь к бывшим сослуживцам по Государственной Канцелярии

Вскоре после Думской речи В.Н.Львова, в первых числах декабря, если не ошибаюсь, я был обрадован приездом ко мне на квартиру депутации бывших сослуживцев по Государственной Канцелярии, состоявшей из Секретаря Государственного Совета С.В.Безобразова, помощника Статс-Секретаря Ф.К.Пистолькорс, моего заместителя по редакции Полного Собрания Законов В.В.Свенске и других, поднесшей мне дорогой образ-складень Св. Иоасафа, Белгородского Чудотворца... Я не оправился еще от тяжелых впечатлений, вызванных речью В.Н.Львова – клевета, ведь, прилипчива, а я, как затравленный заяц, озирался во все стороны, думая, что, в результате этой речи, не только погибну во мнении общества, чем, признаться, я не был особенно озабочен, но и растеряю своих прежних друзей, что было для меня и тяжело, и горько... Вот почему приезд депутации очень приободрил меня. Совестно и неудобно как-то приводить содержание обращенных ко мне речей, и я их опускаю, а ограничиваюсь лишь своею ответною речью.

"Дорогие мои сослуживцы, – начал я, – сердечно благодарю вас за все те слова, с которыми вам было угодно обратиться ко мне. Никогда бы ваше внимание не тронуло меня больше, чем в настоящее время тяжелых личных переживаний. Я вижу в нем не только свидетельство духовной связи, сроднившей меня с вами, но и ответ на взведенные на меня, с высоты Думской кафедры, обвинения, и от всего сердца благодарю вас.

Мои слова не предназначаются для печати: я могу быть с вами откровенным и сказать то, что может быть сказано лишь в тесном кругу близких друзей. Вы знаете особенности переживаемого момента и то, что в настоящее время создалось такое положение, когда каждое лицо, принимающее тот или иной высокий пост, учитывает не только свои знания и способности, содержание и характер новых обязанностей и свою ответственность, но и свои духовные силы, способность выдержать натиск злостной клеветы со стороны враждебно настроенных против правительства Государственной Думы и прессы. Вы знаете, что сейчас перед каждым из нас стоит альтернатива – или во имя интересов личного престижа жертвовать интересами государства, или, наоборот, во имя интересов государственных губить себя во мнении "прогрессивной общественности" и становиться под обстрел ее.

Казалось бы, что выбор не труден, что мы, давшие присягу, любящие своего Государя и Россию, и не должны задумываться над ним... Увы, так только кажется тем, кому не нужно разрешать этой дилеммы, кто не получал еще реальных предложений. Лица же, приглашаемые на ответственные посты, не сразу решаются занять их... Пред ними так много грозных перспектив, созданных поистине "темными силами", так много перекрестных вопросов, что разобраться в них бывает нелегко. Не мог в них разобраться и я... Я принял предложение лишь после того, как получил определенное указание от своего духовника...

Однако я знал, на что иду и что ожидает меня; я знал, что придется, вместе с другими представителями высшей власти, выдерживать тяжелую осаду со стороны врагов Церкви и государства, как знал и то, что не найду союзников, даже в своем ведомстве... Вот почему Думские речи меня несколько не смущают. Я вижу в них выражение недомыслия глупых людей, не способных, за ограниченностью их кругозора, учесть тот вред, какой они наносят прежде всего самим себе. Напрасны их вожделения... *Не будет нас, не будет и их.*

С глубокой грустью я расстался в сентябре с вами. Когда, 14 лет тому назад, я, с университетской скамьи, ушел в деревню и занялся церковно-школьным строительством, я увидел в этом свое призвание, почитая служение народу на месте важнейшим государственным делом, отвечающим и наиболее чутким запросам духа. Три года моей жизни и службы в деревне сроднили меня духовно с народом. Я увидел, как заброшена и невосделана эта нива народная, как сильно нуждается в культурно-просветительной работе и какими ничтожными средствами она располагает для этой цели. Я увидел и то, как мало

соответствия между словами и делами тех радетелей народного блага, которые, в действительности, оказываются его злейшими врагами. Менее всего я думал, что неисповедимые пути Промысла Божия оторвут меня от любимого места и дела и что я найду приют в стенах Мариинского Дворца, в вашей среде... Даже теперь, спустя 10 лет, мне тяжело вспомнить о причинах, заставивших меня покинуть деревню, то место, где я был нужен, те обязанности Земского Начальника, с которыми связывалось удовлетворение самых насущных нужд населения, уже успевшего ко мне привыкнуть, уже награждавшего меня своим доверием...

10 лет совместного с вами служения, несмотря на исключительные условия и обстановку, несмотря на неразрывные дружеские связи, здесь приобретенные, не могли все же, убить во мне влечения к деревне, к прежнему делу, не могли заглушить во мне того сознания, которое так живо чувствуется в деревне и которое только и может быть охарактеризовано как тоска по идеалу, как бессознательное влечение души к Богу. Чем ближе человек к природе, тем ближе он и к Богу, и это общее нам чувство одиночества, горечь сознания некоторой неудовлетворенности собою, не поглощается никакой работой, никакими знаниями, как бы сложны и многочисленны они ни были... Душа всегда найдет время для того, чтобы остаться наедине с собою и услышать свой собственный голос... И эти 10 лет моей службы в Государственной Канцелярии были почти непрерывною борьбою с самим собою и, с одной стороны, вы давали мне все и даже более всего; я духовно сроднился почти с каждым из вас; с другой стороны, дело мое не удовлетворяло меня, не давало пищи моим духовным запросам. Напротив, чем больше вы мне давали, чем беззаботнее протекала моя внешняя жизнь в блестящих стенах Мариинского Дворца, тем громче укоряла меня моя совесть, настойчиво напоминавшая о "едином на потребу"; тем острее были переживания внутренние, тем сильнее были мои нравственные страдания. Не будучи в силах бороться с ними, пробыв на службе только год, я бежал из Петербурга и занялся собиранием материалов для жития Св. Иоасафа, делом, которое хотя и не разрешало в полной мере моих душевных тревог и сомнений, но все же примиряло меня с самим собою и восстанавливало мое душевное равновесие. Это было в конце 1906 года... Год спустя, это же дело снова привело меня в Петербург, и вы опять приняли меня в свою среду, где во внеслужебное время я продолжал начатое мною дело, руководя изданием своих книг, печатавшихся в типографии Киево-Печерской Лавры. Прошло пять лет; дело Святителя Иоасафа, кончившееся прославлением великого Угодника Божия, было завершено... Я снова остался без духовной опоры, снова с новою силой воскресли предо мною прежние запросы, обесценивавшие в моих глазах значение моей жизни и службы в Петербурге; снова я не знал, что делать с собою... И в поисках ответа на мучившие меня сомнения, я встретился с делом, в котором увидел указание Божие и которое привело меня в Бари, к Святителю Николаю. В том, что это указание Божие, у меня не было никаких сомнений, и в результате... мое новое бегство из Петербурга. Но вы и на этот раз удержали меня, вы снова не приняли моей отставки, предоставив мне возможность делать мое новое дело, не покидая службы; вы не стесняли меня ни в поездках за границу, когда того требовали интересы этого дела, ни в участии в делах Барградского Комитета.

Теперь я у дела, не рождающего во мне никаких противоречий, дающего величайшее нравственное удовлетворение, у дела, имеющего вечное жизненное значение... Но это дело, в той части, какая отведена мне, связывается со властью и... здесь источник зависти со стороны одних, клеветы и злобы со стороны других.

Три месяца прошло с момента моего вступления в Духовное Ведомство. Не скрываю ни трудности положения, ни сложности переживаемых настроений. В Государственной Канцелярии моя совесть не встречалась ни с какими испытаниями; здесь – море соблазнов, груда подводных камней; здесь борьба, от исхода которой зависит не только личное спокойствие, но и незыблемость принципов. Но, отдавая себе вполне ясный отчет о характере, размерах и содержании моей нынешней работы, я в то же время усматриваю залог успеха своей деятельности в том сознании, которое заключается в словах "сила Божия

в немощи нашей совершается" и какое нашло столь яркое выражение в стенах Мариинского Дворца.

Никогда я не видел такого средоточия громадных познаний и такого же смирения, как здесь, среди вас; нигде красота этого соединения ума и сердца не находила более яркого выражения, как здесь, в вашей среде. И где бы я ни был, мне остается только подражать вам и в вашем отношении к начальникам и подчиненным, и в вашем отношении к работе и служебным занятиям, отражающим такое глубокое понимание долга к Богу, Царю и Родине. Позвольте же мне искренно, от всего сердца, сказать вам, как дорого мне каждое даже маленькое воспоминание и тех впечатлений, какие мною пережиты в этих стенах, в вашей среде, и какие, конечно, никогда более не повторятся, но зато, правда, и никогда не изгладятся из моей памяти.

Глава LIV. Распутин и Добровольский

Когда человек богат и славен, у него нет недостатка в друзьях. Когда же он впал в несчастье, подвергся клевете или лишился своего богатства, тогда друзья его, один за другим, покидают его, и он остается одиноким часто в самые тяжелые моменты своей жизни.

Вчера ищущие и пресмыкающиеся, эти друзья ходят сегодня с гордо поднятою головой и с каким-то непостижимым злорадством забрасывают своего бывшего благодетеля камнями, вымещая на нем свою злобу, точно он и в самом деле был виноват в том, что они пред ним холопствовали, жертвовали своим достоинством и пресмыкались...

На фоне общей мерзости, творимой злой волей человека, есть ли явление более гадкое, более отвратительное и в тоже время более старое?! Это свойство испорченной человеческой натуры было давно подмечено врагами правды и они широко использовали его. Я сказал бы даже, что никакая революция не была бы возможна, если бы люди не попадались так легко в сети, расставленные теми, кто видел в клевете свое сильнейшее орудие, без промаха попадавшее в цель.

Если бы люди были менее восприимчивы к клевете, менее падки к сенсациям, если бы развили в себе больше гражданского мужества и не судили бы тех, кого не знают, а наоборот, смело выступали бы на защиту поруганной правды, не оглядываясь по сторонам, не считаясь с "общественным" мнением, не боясь запачкаться грязью клеветы, ибо этого боятся только грязные люди, то выбили бы из рук революционеров самое главное их оружие. Ибо революция всегда ложь, всегда клевета...

Имя Распутина приобрело мировую известность, но я еще не видел человека, который бы имел мужество подойти к этому имени с тем беспристрастием, какое исключало бы опасение подвергнуться обвинениям в "распутинстве". Никто еще не делал попыток рассмотреть Распутина в связи с условиями революционного времени, переживавшегося Россией в момент его появления, а все останавливались на его облике, как частном лице, и приписывали ему то, что, по всей справедливости, нужно было бы приписать делателям революции.

А вдруг мое "беспристрастие" будет понято как защита грязного имени, и меня самого забросают грязью! А вдруг я сам прослышу "распутинцем и подвергнусь травле" – вот что удерживало и удерживает малодушных людей от объективного отношения к Распутину.

Принято, ведь, думать, что *выгоднее* присоединяться к стадному голосу толпы, чем идти вразрез с ним и плыть против общего течения, хотя это и неверно, ибо, даже базируясь только на выгоде, нужно признать, что выгоднее иметь на своей стороне хотя бы горсть нравственно чутких, верных Богу людей, чем разношерстную толпу.

Распутин имел много отрицательных сторон; но его личные минусы сводились к одной причине: он был – мужик.

Это значит, что он, подобно всем мужикам, рассматриваемым в массе, был хитер и пронырлив, угодлив и вкрадчив, любил не столько деньги, сколько жирный кусок мяса, с салом, и рюмку водки, какие получал за деньги; был ленив и беспечен и цепко держался за

те блага жизни, какими пользовался, причем нужно сказать, что эти блага были очень скромные и не выходили за пределы потребностей желудка, главных и почти единственных потребностей русского мужика. При этих условиях я даже затрудняюсь инкриминировать Распутину его развязную манеру держать себя в обществе, проявление бестактности, самомнение и неучтивость, словом, все то, что отличает всякого зазнавшегося мужика, вскормленного милостями своего господина. Это был типичный мужик, со всеми присущими русскому мужику отрицательными свойствами.

Все же прочие его минусы, в большинстве случаев, и притом в гораздо более широком масштабе, явились чрезвычайно тонкой и искусной прививкой со стороны тех закулисных вершителей судеб России, которые избрали Распутину, именно потому, что он был мужик, орудием для своих преступных целей, и в том и была вина русского общества, что оно этого не понимало, а раздувая дурную славу Распутина, работало на руку революционерам... На эту удочку попался даже такой типичный монархист, каким первое время был В.М.Пуришкевич.

Но были у Распутина и хорошие стороны: о них никто не говорил, и они тщательно замалчивались.

Распутину спаивали и заставляли говорить то, что может в пьяном виде выговорить только русский мужик; его фотографировали в этом виде, создавая инсценировки всевозможных оргий, и затем кричали о чудовищном разврате его, стараясь, при этом, особенно резко подчеркнуть его близость к Их Величествам; он был постоянно окружен толпою провокаторов и агентов Думы, которые следили за ним, измышляя поводы для сенсаций и создавая такую атмосферу, при которой всякая попытка разоблачений трактовалась не только даже как защита Распутина, но и как измена Престолу и династии. При этих условиях неудивительно, что молчали и те, кто знал правду.

Нужно ли говорить, после этого, о том, что и так называемое вмешательство Распутина в государственные дела, приведшее к утверждению, что не Царь, а Распутин "правит Россией", назначает и сменяет министров, являлось только одним из параграфов выполнявшейся революционерами программы, а, в действительности, не имело и не могло иметь никакой под собой почвы. Именем Распутина пользовались преступники и негодяи; но Распутин не был их соучастником и часто не знал даже, что они это делали. Как на характерный пример я укажу на визит ко мне некоего Добровольского, надоедавшего Обер-Прокурору Св. Синода Н.П.Раеву домогательствами получить место вице-директора канцелярии Св. Синода, остававшееся вакантным после перемещения на другую должность А.Рункевича.

Явился этот Добровольский ко мне на квартиру, развязно вошел в кабинет, уселся в кресло, положив ногу на ногу, и цинично заявил мне, что желает быть назначенным на должность вице-директора канцелярии Св. Синода.

"Кто вы такой и где вы раньше служили, и какие у вас основания обращаться ко мне с таким странным ходатайством?.. Предоставьте начальству судить о том, на какую должность вы пригодны, и подавайте прошение в общем порядке, какое и будет рассмотрено, по наведению о вас надлежащих справок", – сказал я.

"Никакого другого места я не приму; а моего назначения требует Григорий Ефимович (Распутин)", – ответил Добровольский.

Посмотрев в упор на нахала, я сказал ему:

"Если бы вы были более воспитаны, то я бы вежливо попросил Вас уйти; но так как вы совсем не умеете себя держать и явились ко мне не с просьбою, а с требованием, то я приказываю Вам немедленно убраться и не смей показываться мне на глаза"...

С гордо поднятой головой и с видом оскорбленного человека Добровольский поехал к Распутину жаловаться на меня, а я обдумывал способы выхода в отставку, стараясь не предавать огласке истинных причин, вызвавших такое решение, и только поделился своими горькими мыслями с моим прежним начальником, государственным секретарем С.Е.Крыжановским.

"Александр Николаевич, – обратился я мысленно к А.Н.Волжину, – вот как Вы должны были поступить со мною, если видели во мне второго "Добровольского": я как раз очутился в Вашем же положении, но вышел из него иным путем"...

На другой день Н.П.Раев вызвал меня в свой служебный кабинет, и между нами произошла такая беседа:

"Вы прекрасно поступили, что выгнали этого проходимца; но я боюсь огласки, – сказал Обер-Прокурор. " Он станет закидывать Вас грязью, а, наряду с этим, будут опять кричать о Распутине и жаловаться, что он вмешивается не в свое дело. Если бы Распутин знал, что за негодяй этот Добровольский, то, верно, не хлопотал бы за него... Добровольский совсем уже замучил митрополита Питирима"...

"Другими словами, Вы хотите, Николай Павлович, чтобы я лично переговорил с Распутиным и заставил бы его взять назад кандидатуру Добровольского?" – спросил я Обер-Прокурора...

Н.П.Раев вспыхнул, очень смутился, что я угадал его мысль, и нерешительно ответил:

"Знаете, бывают иногда положения, когда приходится жертвовать собою ради общих целей... Я не смею просить Вас об этом, ибо хорошо сознаю, какому риску подвергаю Вас, как неправильно бы истолковалось Ваше свидание с Распутиным; но, если бы Вы нашли в себе решимость поехать к Распутину, то сняли бы великое бремя с плеч нашего доброго митрополита, который один борется с Добровольским и отбивается от него"...

"Господи, – подумал я, – что за напасть такая!.. И А.Ф.Трепов находит, что я должен быть принесен в жертву В.Н.Львову; а теперь и Н.П.Раев требует от меня жертвы"...

"Хорошо, – ответил я после некоторого раздумья, – верным службе нужно быть и тогда, когда это невыгодно. Если Вы и митрополит считаете этот выход единственным, то я поеду, ибо готов идти на всевозможные жертвы, лишь бы только не допустить в Синод проникновения таких негодяев, как Добровольский"...

И я поехал... Я ехал с тем чувством, с каким идут на подвиг: я отчетливо и ясно сознавал, какое страшное оружие даю в руки своим врагам; но все опасения подавлялись идеей поездки, сознанием, что я еду к Распутину не для сделок со своей совестью, а для борьбы с ним, для защиты правды от поругания, что я жертвую собой ради самых высоких целей... И эти мысли успокаивали меня и ободряли...

"Знаю, миленькой; я всегда все знаю, – Доброволов напирает; пуцай себе напирает", – сказал Распутин.

"Как пуцай, – возразил я, с раздражением, – разве вы не знаете, что он за негодяй; разве можно таких людей натравливать на Синод!.. Мало ли кричат о вас на весь свет, что вы наседаете на министров и подсовываете всяких мерзавцев. Вчера Добровольский был у меня, и я его прогнал и приказал не показываться мне на глаза"...

"А потому и кричат, что все дурни... Вольно же министрам верить всякому проходимцу... Вот ты, миленькой, накричал на меня, а только не спросил, точно ли я подсунул тебе Добровола... А может быть он сам подсунулся, да за меня спрятался... Ты, хоть и говоришь, миленькой, что он негодящий человек, а про то и не знаешь, что он человекоубийца и свою жену на тот свет отправил... Пуцай себе напирает, а ты гони его от себя. Он и на меня напирает, и я сам не могу отвязаться от него"... Я был ошеломлен и чувствовал себя посрамленным.

Слова Распутина подтвердились буквально: Добровольский вскоре был арестован, будучи уличен в отравлении своей жены.

Предо мною было еще одно свидетельство доверчивости митрополита Питирима и того, что свидания с Распутиным вовсе не были так часты, как об этом кричали, ибо иначе Владыка не терзался бы из-за Добровольского и путем личных переговоров с Распутиным убедился бы в том, что Добровольский лишь прикрывался именем Распутина так же, как и многие другие проходимцы, рассчитывавшие на то, что ни один из министров не отважится путем личных расспросов Распутина, проверять их слова.

Как и следовало ожидать, этот факт моего личного посещения Распутина сделался известным членам Думы и закрепил за мною прозвище "распутинец", что и требовалось доказать тем, кому это было нужно.

Но, значит, министры действительно считались с Распутиным, если для того, чтобы отбиться от негодеев и проходимцев, пользовавшихся именем Распутина, посылали к нему своих Товарищей для переговоров, вместо того, чтобы смело прогонять от себя этих проходимцев?..

Да, так может казаться, и, во всяком случае, такие факты, как мною приведенный, всегда будут иметь двусмысленную внешность. В действительности же здесь было иное... Здесь было, во-первых, выражение общего гипноза, созданного именем Распутина, а во-вторых – добросовестное желание оградить ведомство от его предполагаемых посягательств на него; в-третьих – вполне понятное желание не допустить огласки факта, диктуемое верноподданническим долгом.

Глава LV. День Св. Иоасафа, 10 декабря 1916 г. Вызов в Царское Село к Ея Императорскому Величеству

Было 4 часа дня 10 декабря. Я сидел за письменным столом и был погружен в свои обычные занятия. Раздался телефонный звонок и голос: "сейчас будут говорить с Вами по дворцовому проводу"...

Я взволновался, ибо никогда ни с кем не разговаривал по этому проводу. У телефона была А.А.Вырубова, сказавшая мне:

"Императрица желает видеть Вас. Приезжайте сегодня к 6 часам вечера во дворец"...

"Сомнений нет, – быстро пронеслось в моем сознании, – Распутин обманул меня, отрекшись от Добровольского; нажаловался на меня Императрице, и меня требуют к ответу"...

Однако, делать было нечего: быстро собравшись, я поехал в Царское Село. Но странно: я не только не волновался, а, наоборот, чувствовал себя героем; я ехал с гордым сознанием решимости сделать то, чего не удавалось сделать другим. Я хотел сказать Ея Величеству, что не верил никаким сплетням о Распутине, никаким жалобам на вмешательство его в служебные дела министров, пока сам в этом не убедился; я хотел нарисовать картину самочувствия министра, вынужденного делать выбор между долгом к совести и опасением вызвать недовольство Императрицы, и подбирал слова, которые бы сказали, что нельзя создавать таких коллизий, ибо иначе среди министров не останется ни одного честного человека, и министерские портфели будут захвачены такими же проходимцами, как Добровольский... Так я тогда думал; а теперь краснею за свои мысли.

Вот до чего был велик гипноз имени Распутина!.. С обычною лаской и чарующей приветливостью встретила меня Императрица и в этот раз.

"Вы знаете, кажется, все святые места в России, – сказала мне Государыня, – и Я бы хотела посоветоваться с Вами, прежде чем куда-нибудь поехать... Сначала Я хотела бы, вместе с дочерьми, посетить Новгород, а потом Тихвинский монастырь. Вы, верно, знакомы с Новгородскими святынями: скажите мне, куда Я должна заехать, а Я запишу"...

Я вспомнил, что сегодня день Св. Иоасафа, и в словах Ея Величества увидел одно из многочисленнейших чудес Святителя... Я был убежден и громко высказывал свои мысли, доказывая, что Их Величества до той поры не сделают верной оценки Распутина, пока не увидят подлинных старцев и подвижников, пока не предпримут путешествия по святым местам... И я молил Святителя внушить Их Величествам эту мысль и, потому, в словах Государыни Императрицы увидел ответ на просьбу, обращенную к дивному Угоднику Божию.

Я хорошо знал Новгород... Сделав перечень Новгородских святынь, я добавил:

"В Десятинском монастыре проживает и до сих пор великая подвижница, 116-летняя старица Мария Михайловна... Я ездил к ней для назидания еще будучи студентом

Университета... Она пользуется большим почитанием и слывет среди народа за прозорливую".

"Пожалуйста, запишите ее адрес: Я непременно заеду", – сказала Императрица, подавая мне карандаш и кусочек почтовой бумаги.

Беседа длилась долго и непринужденно. Императрица с большим интересом выслушивала мои рассказы о посещении мною всевозможных обителей, о встречах с подвижниками и старцами и выражала намерение объездить эти места, сказав:

"Как непонятно, что русские так любят ездить на заграничные курорты вместо того, чтобы посещать святые места, каких так много в России... Тут они скорее бы набрались и физического здоровья, и духовных сил"...

Высказав мне благодарность за полученные указания, Императрица отпустила меня, сказав, что желает ехать в Новгород 12 декабря...

Только вернувшись домой я вспомнил, что не спросил Государыню, должен ли я сопровождать Ея Величество в этой поездке, или нет. На мой телефонный запрос, А.А.Вырубова ответила, что Ея Величество желает придать Своей поездке частный характер, так как едет на богомолье.

"Вот и Распутин! – подумал я. – Императрица даже не вспомнила о нем, как никогда и не вспоминала ни раньше, ни позже... Распутин также сказал мне правду о Добровольском, и мои предположения, что он нажаловался на меня Императрице, оказались навеянными той общей атмосферой, среди которой мы все жили, атмосферой лжи, непроверенных слухов, невысказанных сомнений и всякого рода подозрений"... Как ни велика была вера Императрицы в Распутина, и как ни сильно было его влияние, но никто еще не отметил того, что это влияние было ограничено тесными пределами области, отведенной "старцам", и никогда не выходило за эти пределы. Об этом свидетельствуют государственные взгляды Императрицы, нашедшие столь яркое отражение в переписке Их Величеств, какие могли принадлежать только мудрой Императрице, а не полуграмотному русскому мужику, хотя, высказывая свои взгляды, Государыня часто и ссылалась на авторство Распутина, желая придать ему больший вес.

Вскоре после возвращения Ея Величества из Новгорода, А.А.Вырубова уведомила меня телеграммой о том впечатлении, какое произвело на Императрицу посещение старицы Марии Михайловны. Я не буду останавливаться на этом впечатлении, нашедшем отражение в "Письмах" Императрицы к Государю; скажу лишь, что в гостинных провинциальной Новгородской аристократии много шептались по поводу того, что Ея Величество посетила, по моему совету, старицу, жившую в такой грязной келии... Передавая мне об этом. Императрица сказала:

"Меня все отговаривали от посещения старицы, находя, что ее келия, откуда она не выходила 40 лет, действительно очень грязна; но зато душа ее чистая, и Я никогда не забуду того часа, который провела у нее"...

Эта поездка чрезвычайно освежила Императрицу. Последующие дни были заняты заготовлением тех подарков, какие Ея Величество, впоследствии передала мне для вручения их как старице Марии Михайловне, так и в те храмы, какие посетила. Я отвез их в Новгород к праздникам Рождества Христова... Об этом скажу ниже, а сейчас вынуждаюсь сделать довольно большой перерыв, вызванный убийством Распутина, 17 декабря 1916 года.

Глава LVI. Русское богоискательство

Всякий факт становится понятным только в историческом освещении. Вот почему прежде чем перейти к обрисовке облика Распутина и к выяснению его роли в событиях, предшествовавших революции, нужно сказать несколько слов о русском богоискательстве вообще, а затем остановиться на религиозной атмосфере столичного общества, вызвавшей самую возможность появления Распутина.

Распутин – вовсе не случайное явление, а чрезвычайно сложный бытовой факт русской жизни, и говорить о Распутине без исторических предпосылок – нельзя.

По поводу жизни и смерти Распутина написаны сотни книг и десятки тысяч всякого рода статей; но в них нет ни одной верной характеристики. Все отзывы о Распутине или грубо тенденциозны и стараются оправдать гонения, коим он подвергался, и, в связи с этим, преступления делателей революции, или недостаточно глубоко разъясняют природу его действительного облика, или не учитывают того специального значения, каким он пользовался при Дворе. Важно сказать, чем он в действительности был; но не менее важно отметить и то, чем он казался в глазах Их Величеств и тех людей, которые считали его святым. Об этом или ничего не сказано в обширной литературе о Распутине, или сказано очень мало и недостаточно ясно, и этот пробел мне бы и хотелось восполнить. Однако же, прежде всего нужно остановиться на русском богоискательстве и его истории, точнее – на ее беглом очерке, ибо писать историю русского богоискательства – значило бы писать историю России, – труд, невыполнимый в условиях нашей горемычной беженской жизни, где вместо библиотек и исторических материалов приходится пользоваться только скудными обрывками памяти...

Много было в России разных писателей; но едва ли не все они соблазнялись ароматом "неблагонадежности" и вносили в свои произведения струи революционного воздуха, не без удовольствия ими вдыхаемого. И только *два* из них были столько же гениальными, сколько и поистине *русскими* писателями и, к стыду русских читателей, прошли почти незамеченными.

Это были Павел Иванович Мельников и Николай Семенович Лесков. Первый из них написал повесть: "На горах", одно из величайших произведений русской литературы, настоящий русский эпос в прозе. Вот что пишет мне по поводу этой повести русский ученый А.В.Стороженко:

"К сожалению, русские читатели плохо оценили гениальное произведение Мельникова, а критика наших толстых журналов даже замолчала его, ибо останавливалась преимущественно на произведениях, отражавших революционные веяния... В эпической же повести П.И.Мельникова не было и не могло быть ничего революционного; иначе она не была бы эпической.

Русское богоискательство нашло в этой повести свое вернейшее отражение и представлено в лицах, со всею выпуклостью, свойственной великим мастерам слова. Картина захватывает все слои русского народа: и высшую помещичью интеллигенцию, и средний купеческий и чиновный круг, и простонародье. Господа Луповицкие, Мария Ивановна Алымова, уездный чиновничек, с прозрачной, полинялою дочкой, отставной солдат, диакон-пчеловод, разные бабы – все, по своему, искали Бога и оказались в хлыстовском "Корабле". Книжник и начетник Герасим Силич перепробовал что-то восемь или десять "вер" и пришел к заключению, что только бескорыстная любовь к обнищавшей семье брата может дать ему нравственное успокоение. Дуня Смолокурова родилась с порывами к неземным областям и "чтоб сердцем взлететь во области заочны", по выражению Пушкина, и чувствуя себя оскорбленной в своей чистой любви к Пете Самоквасову, поддавалась было влиянию хлыстовки Алымовой, но потом опомнилась, главным образом благодаря беседе с простеньким, но верующим православным священником, убежала с "корабля" в мир, чтобы стать доброю женою раскаявшегося Самоквасова".

Обращаю особенное внимание на этот психологический фактор, на беседу с *посторонним*, простеньким священником, давшим Смолокуровой возможность посмотреть на "корабль" (читайте, на Распутина) *со стороны*.

Пред читателями повести Мельникова вскрывается самая сущность русской души, а не те ее революционные увлечения, которые столь лубочно и аляповато изображаются так называемыми "народниками" вроде Писаревых, Успенских, Помяловских, Добролюбовых, Решетниковых, Горьких и К.

Войдя в живой круг изображенных в повести Мельникова русских богоискателей, мы можем, под его руководством, произвести анализ побуждений к богоискательству в русском народе.

Если мужиков и баб ведет к этому, главным образом, лень, стремление отмахнуться как-нибудь от ежедневного упорного труда, прожить как птица небесная, не сея и не собирая в житницы, на счет хлыстовского "корабля", или большевистской "коммуны", то интеллигенцию и тонко одаренную натуру толкают – мечтательность и те, прибавлю от себя, высокие душевные движения, какие были описаны мною в статье "Природа русской души. Русские проблемы духа", входящей в состав главы 36 моих воспоминаний. В погоне за великим, русская интеллигенция теряла и то малое, что имела, мечтала о земном рае, не удовлетворяясь прозою жизни, и... потеряла Россию.

Достойна быть отмеченною и книга В.В.Розанова: "Апокалиптические секты", где приведено много интересных соображений о хлыстовстве и скопчестве. Книги Мельникова и Розанова – это введение к изучению богоискательства, для более полного ознакомления с которым надлежало бы остановиться, затем, на деятельности русских мартинистов 18 века, последователей испанского жида Мартинеса Пасхалиса.

Надежным руководством могут служить сочинения М.Н.Лонгинова о Николае Ивановиче Новикове и его кружке, в котором играл, между прочим, видную роль профессор Шварц, прадед министра народного просвещения Александра Николаевича Шварца. Личности самого Н.И.Новикова, проф. Шварца, Семена Ивановича Гамалеи и других членов "Дружеского ученого Общества" чрезвычайно интересны и привлекательны. Самым крупным человеком среди них был, конечно, Н.И.Новиков. Он стремился "просвещать" людей в смысле понятий французских энциклопедистов, но, в противоположность им, искал Бога и в просвещении видел способ привить людям человеколюбие, христианскую любовь к ближнему. Когда в 1773 году Новиков встретился с приехавшим в Петербург энциклопедистом Дидро, то его впечатление выразилось в следующих словах: "Он (Дидро) – умный француз; но ему, как неверующему, верить нельзя".

Императрица Екатерина, обладая чересчур сухим умом, не понимала Н.И.Новикова и подвергала его преследованию, вместо того, чтобы ему помогать. Между тем Новиков мыслил совершенно правильно:

"Все науки сходятся в религии: лишь в ней разрешаются их важнейшие проблемы. Без нее никогда не доучитесь, а, притом, и не будете спокойны", – вот его подлинные слова.

В уме Екатерины II можно было подметить интересный изгиб.

28 июня 1744 года она приняла Православие, а того же 28 июня 1762 года – взошла на престол. Каким-то внутренним чутьем угадывая, что носитель короны в России по идее – ктитор православной русской церкви, она, вероятно, по совещанию с кем-либо из иерархов, постановила в день празднования восшествия ее на престол читать на литургии из Апостола 20 стихов 16 главы послания Ап. Павла к Римлянам, начинающейся словами: "Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас"...

Екатерине, очевидно, хотелось, чтобы в душах ее православных подданных сложилось о ней представление, как о диакониссе, по-русски – служительнице православной Российской Церкви, что вполне соответствует православной идее власти. Можно только удивляться необычайной проницательности императрицы Екатерины II. Но по отношению к Новикову ум ей изменил: богоискателя она стала гнать как политического преступника, и, наконец, заточила его в Шлиссельбургскую крепость, где Новиков просидел 4 1/2 года, до воцарения Павла. Дело Новикова – это одна из крупнейших ошибок умного и великого, в общем, царствования Екатерины. Желая опираться на религию, она загубила жизнь человека, стремившегося будить в соотечественниках религиозные чувства. Тогдашний митрополит Московский Платон считал Новикова одним из лучших своих чад и всецело был на его стороне. Напуганная французской революцией, Екатерина II не разобралась в деле.

Профессор Шварц стремился обосновать науку на религиозных началах и читал лекции о трех родах познания: любопытном, приятном и полезном. Корень полезного познания – вера, что Бог есть "руководитель к мудрости и исправитель мудрых" (Прем. Сол. 7, 15). "Всякая премудрость – от Господа, и с Ним пребывает во век" (Иис. Сир. 1, 1). К сожалению, Шварц очень рано умер (17-II 1784г.).

Семен Иванович Гамалей – был глубочайший мистик, как то видно из речей его, напечатанных во 2-ой части "Магазина свободно-каменщического" (1784 г.). Гамалей происходил из Малороссии; кажется, имел много родственного со Сковородой.

Из Московских мартинистов интересны еще фигуры *Лопухина* – аристократа, посвятившего себя печатанию в собственной типографии духовно-нравственных книг мистического настроения; купца *Походяшина*, пожертвовавшего буквально все свое состояние на человеколюбивые предприятия Новикова; писателя *Лабзина*, очень популярного потом среди хлыстов.

Из малороссийских богоискателей выдаются в XVIII веке *Величковский* и *Сковорода*. Первый перевел "Добротолубие", а второй оставил целую религиозно-философскую систему, о которой много писали Харьковские ученые Зеленогорский, Багалеи и др. ...

В царствование Александра I интересен петербургский кружок богоискателей, с Татьяной Филипповной Татариновой во главе. Она, помнится, была под влиянием писаний Лабзина. К кружку Татариновой принадлежал знаменитый художник Боровиковский, родом из Миргорода, ближайший земляк Гоголя. Его церковная живопись потому столь возвышенна и вдохновенна, что он сам в мистическом экстазе переживал душою те видения, которые потом переносил на стены храмов и в иконы. К Татариновой примыкала баронесса Крюднер, с которой был дружен Император Александр I. Здесь источник мистицизма Государя. В связи с мистическим настроением Александра I (в последние годы Его царствования) сложилась легенда о Его мнимой смерти и о старце Федоре Кузьмиче, скончавшем свои дни в Томске. Мистические течения, связанные с Оптиной Пустынью, известны каждому образованному человеку, и распространяться о них нет нужды. Нельзя не отметить, впрочем, интересной личности Климента Зедергольма, сына немецкого пастора, протестанта, принявшего православие и иноческий сан, одного из самых преданных учеников знаменитого старца Амвросия Оптинского; Константина Николаевича Леонтьева, братьев Киреевских, Аксаковых, Хомякова и др. Хомякова можно изучить основательно по книге проф. *Завитневича*, о которой имеется, между прочим, замечательный отзыв священника Флоренского в "Богословском Вестнике", напечатанный незадолго до революции. Сам Флоренский высказывает ту мысль, что, восстанавливая патриаршество, мы идем к восточному папизму, с его догматом непогрешимости папы "ex cathedra", – мысль, уже неоднократно мною высказываемую. Нашло свое отражение русское богоискательство и в сочинениях Мережковского, Розанова, Булгакова, Бердяева, князей Трубецких, Сергея и Евгения и, конечно, также Владимира Сергеевича Соловьева, поднявшегося в своих полетах мысли на такую высоту, какая дала ему возможность написать "Три разговора", – произведение исключительное по проникновенности и интуиции.

Тема о русском богоискательстве до того обширна и необъятна, а материалов для ее изучения, заключающихся лишь частично в светской литературе и сосредоточенных, преимущественно, в литературе святоотеческой, так много, что, конечно, не в беглом очерке обозреть ее.

Я наметил лишь общие вехи того пути, каким шли верующие люди, в поисках Бога, точнее, литературу по этому вопросу, к которому возвращаюсь в главе 36-ой, указывая начальные и конечные этапы этого пути.

Глава LVII. Религиозная атмосфера Петербурга. Предшественники Распутина – архимандрит Михаил, священник Григорий Петров и косноязычный Митя

Какова же была религиозная атмосфера Петербурга в момент появления Распутина? Что представляла собою столичная знать, аристократия, о которой провинция всегда так гордо отзывалась, не находя для нее ни одного доброго слова? С духовной стороны столица была и лучше, и чище провинции. Религиозная атмосфера столицы резко отличалась от провинциальной. В то время как эта последняя отражала определенный индифферентизм, жизнь столицы, наоборот, представляла исключительно благодарную почву для духовных посевов. Петербургская аристократия не только чутко отзывалась на религиозные вопросы, но искренно и глубоко искала в разных местах удовлетворения своих духовных запросов.

Салоны столичной знати точно соревновались между собою в учреждении всевозможных обществ и содружеств, преследовавших высокие религиозные цели. Так возникли Общество распространения Священного Писания в России, Христианское Содружество Молодежи, Общество распространения христианского просвещения. Общество Единения, Кружок имени княжны М.М.Дондуковой-Корсаковой, Братство Святителя Иоасафа и мн. др. Во главе каждого из этих обществ стояли представители высшего столичного общества, объединявшие вокруг себя лучших людей столицы. В притонах нищеты, среди чернорабочих Петербургской гавани, в подвалах и трущобах, в тюрьмах и больницах, *всегда*, и я это подчеркиваю не как случайное явление, можно было встретить представителей столичной знати, с евангелием в руках и всякого рода приношениями... Я не упоминаю уже о тех бесчисленных "духовных беседах", у графини С.С.Игнатьевой, баронессы Корф, камергера Е.Г.Шварцгауза, А.Брянчанинова, Ф.Пистолькорса и др., какие заменили собою карты, танцы, журфиксы и какие сделались обычною принадлежностью каждого салона, привлекая не только интеллигенцию, но и духовенство... Эти салоны были центром, объединявшим высшую иерархию с ее столичною паствою, средоточием религиозной мысли, барометром религиозного настроения, очень чутко отзывавшимся на каждое религиозное явление или событие церковной жизни. Митрополиты и епископы, члены Государственного Совета, сенаторы, крупные государственные и общественные деятели, писатели и литераторы, были не только обычными посетителями этих салонов, но и активными деятелями, выступавшими со своими докладами и рефератами на религиозные темы... Нужно ли говорить о том, что при этих условиях ни одно явление церковной жизни не проходило мимо без того, чтобы не найти своей оценки и отражения в этих салонах! Излишне добавлять и то, что такое отражение было часто уродливым и свидетельствовало об изумительном незнакомстве столичного общества с церковною областью и о религиозном невежестве.

Вопросы христианского социализма привлекали в то время особое внимание Петербургского общества, и имя доцента Духовной Академии, архимандрита Михаила (Семенова), выпускавшего серии своих брошюр, под общим заглавием "Свобода и христианство", пользовалось чрезвычайной популярностью. Эти брошюры ходили по рукам, читались нарасхват и производили сильнейшее впечатление на тех, кто не прозревал их сущности и не догадывался о намерениях автора, еврея, принявшего православие, впоследствии перешедшего в старообрядчество, с возведением в сан старообрядческого епископа, и убитого при крайне загадочной обстановке...

На смену ему явился священник Григорий Петров. Трудно передать то впечатление, какое он произвел своим появлением. Залы, где он читал свои убогие лекции, ломились от публики; многотысячная толпа молодежи сопровождала каждый его шаг; знакомства с ним искало как высшее общество, так и широкая публика; газеты были переполнены описаниями его лекций; издательство Сытина не жалело ни денег, ни бумаги для распространения его "сочинений" в народе; фотографические карточки и портреты его красовались в витринах магазинов на Невском, и "общественная" мысль была погружена в созерцание его облика, создавая ему небывалую славу. Даже такие авторитеты, как

незабвенный, великий пастырь Земли Русской о. Иоанн Кронштадский, не могли поколебать той почвы, на которой утвердился бездарный Григорий Петров, человек неумный, необразованный, типичный "оратор", умевший трескучими фразами прикрывать свое скудоумие. А между тем его "сочинения", в виде мелких брошюр, с громкими заглавиями, но крайне тощим содержанием, расходились в миллионах экземпляров, создавая ему столько же славу, сколько и состояние; его газетные фельетоны печатались на страницах повременной печати, а лекции, как я уже говорил, осаждались публикою, жадно прислушивавшейся к каждому его слову.

В чем же была причина такого успеха Григория Петрова? Она очень несложна. Он пел в унисон с теми, кто был хозяином общественного мнения, кто, сидя за кулисами, создавал его и управлял им. Лейтмотивом его лекций и сочинений был призыв к счастью, к царствию Божию на земле, какое он ставил в зависимость от переустройства социальных форм жизни, достигшей, по его мнению, почти полного совершенства за границей... Было ли его убеждение продуктом его собственного недомыслия, или же Петров сознательно осуществлял задания интернационала – сказать трудно; но ясно, что только немногие прозревали действительную сущность его деятельности, большинство же тянулось к нему так же, как и к архимандриту Михаилу, как тянется к каждому, от кого надеется услышать новое слово или получить ответ на свои сомнения и запросы... И не виноваты эти темные люди, к какой бы среде ни принадлежали, если в поисках этих ответов наталкивались на ложных пророков, посрамлявших их веру...

Слава священника Петрова была недолговечной... Она стала быстро увядать, столько же потому, что общество увидело в нем такого же христианского социалиста, каким был и архимандрит Михаил, только менее глубокого и менее искреннего, заимствовавшего свои мысли из сочинений Функе и др. немецких источников, столько и потому, что, одурманенный славою, он смел посягать на исконные верования русского народа. Это последнее обстоятельство отшатнуло от него лучших и привлекло худших, именно тех, кто рассчитывал использовать славу Петрова для революционных целей. Такая попытка не удалась, ибо Св. Синод вовремя снял с него священный сан, после чего личность Петрова утратила интерес даже для революционеров. Разочарованный теориями христианского социализма, оскорбленный в своих надеждах на архимандрита Михаила и священника Петрова, религиозный Петербург стал искать ответов на свои сомнения и духовные запросы в иной плоскости и вступил на почву "народной" веры, не знающей никаких религиозных проблем, не сталкивающейся ни с какими противоречиями, не связанной ни с какою наукою... Сделать это было тем легче, что в представителях такой веры не ощущалось недостатка... И скоро эти представители, доньше вращавшиеся среди Петербургской бедноты и богомольных торговцев столичных рынков, или посещавшие известного Петербургу высотою религиозной настроенности инспектора Духовной Академии архимандрита Феофана, перешагнули пороги великосветских салонов и гостиных. Наиболее почетное место среди них занял косноязычный Митя. Это был совершенно неграмотный крестьянин Калужской губернии и, притом, лишенный дара речи, издававший только нечленораздельные звуки. Тем не менее, народная молва наделила его необычайными свойствами, видела в нем святого, и этого факта было достаточно для того, чтобы пред ним раскрылись двери самых фешенебельных салонов. В тех звуках, какие он издавал, безуспешно стараясь выговорить слово, в мимике, мычании и жестикуляциях, окружающие силились угадывать откровение Божие, внимательно всматривались в выражение его лица, следили за его движениями и делали всевозможные выводы. Увлечение высшего общества "Митей" было так велико, что, в порыве религиозного экстаза, одна из воспитанниц Смольного института благородных девиц предложила ему свою руку и сердце, какие "Митя", к ужасу своих почитателей, и принял. Насколько, однако, девица, вышедшая замуж за юродивого, засвидетельствовала свою подлинную религиозность, настолько "Митя", женившись на воспитаннице Смольного института,

расписался в обратном и похоронил свою славу. Его признали обманщиком и мистификатором, и он скоро исчез с Петербургского горизонта.

Я несколько бы не удивился, если бы меня спросили: неужели же высший свет Петербурга состоял из сумасшедших людей, способных увлекаться даже такими типами, как косноязычный "Митя"? Неужели уровень духовного развития русского общества был так низок, что не позволял ему различать действительную святость от мнимой!.. Что это, религиозное невежество, некультурность или самодурство?! В чем причина такого непонятного явления, что образованные люди, принадлежащие к высшему обществу, и даже представители высшей церковной иерархии, митрополиты и епископы, преклоняются пред неграмотным мужиком, в котором видят полноту нравственных совершенств и мудрость даже тогда, когда этот мужик не в состоянии произнести ни одного слова, а, будучи косноязычным и глухонемым, издает только нечленораздельные звуки?!

Причина этого явления в том, что этот мужик стал известен Петербургу как *юродивый*.

В природе русской жизни есть много явлений, совершенно неизвестных Западной Европе. Впрочем, "Юродство во Христе" настолько сложное явление, что даже в России не всем известно. Спотыкаются в определении этого понятия даже ученые богословы, и это понятно, ибо явления духовной жизни не укладываются ни в какую науку, а стоят *над нею*. Чтобы понять сущность этого явления, необходимо сделать психологический анализ самой природы русской души и остановиться на *русских* проблемах духа. Я подчеркиваю слово "русских" потому, что, хотя природа души и одинакова у всех людей, как созданий Божиих, однако проблемы духа различны... Одни довольствуются малым, другие более требовательны к себе: от этого и духовные устремления у разных людей различны, и проблемы у них разные.

Глава LVIII. Природа русской души. Русские проблемы духа

Истина – едина. Путь к Истине – один. В разные времена, разные люди, различными способами восходили к Богу, и потому принято думать, что таких путей много. Это – неверно.

Путь к Богу – *Один*.

Какими бы извилистыми тропинками, сквозь толщу греховных наслоений, сквозь житейские дебри, ни пробивались люди навстречу к Богу, но, если они выберутся на прямую дорогу, то непременно встретятся друг с другом... И встретившись, будут видеть одинаковые картины, испытывать одинаковые впечатления, будут знать одно и то же. И то, что видели и знали и испытывали впереди идущие, много веков назад, в глубочайшей древности, то увидят, узнают и станут испытывать и люди нашего времени, идущие позади них. И ни время, ни пространство, ни расовые и национальные особенности, ни различие верований, не изменит этих картин и видений, впечатлений и ощущений, ибо Истина – *Едина, Вечна и Неизменна*.

Пока люди находятся каждый на своей тропинке и еще не вышли на прямую дорогу к Богу, они Истины не видят и Ее не знают... Они настолько далеки от Нее, что только наиболее чуткие люди верят в Нее и инстинктивно стремятся к Ней, ищут Ее и не доверяют себе... Огромное же большинство людей довольствуется выводами своего разума и принимает за Истину то, что открывается их полю зрения... Они не догадываются даже, что со своего места видят ровно столько, сколько видит человек, сидящий на дне глубокого колодца... Они и не могут знать больше, ибо их разум является пока единственным проводником приобретаемых ими познаний, а вера еще враждует с ним...

Но вот они выбрались из своих дебрей, вышли на прямую дорогу и вереницею потянулись к Богу... По мере движения вперед, им открываются все новые и новые картины; они знакомятся с ощущениями людей, шедших этим путем до них; опытно проверяют их впечатления и рассказы, выводы собственного разума и науки и начинают *верить* тому, чему раньше не верили. Они знают, что то, что еще не попало им навстречу, при первом повороте, то они увидят при втором, и терпеливо ждут оправдания своей веры, какая все

более укрепляется и все более колеблет выводы разума и науки, оказавшиеся, после проверки их личным опытом, неверными. Прежние самонадеянность и самоуверенность сменяются смирением; увеличивается доверие к Промыслу Божию; наступает спокойствие... Прошное, причинявшее столько боли и страданий, создававшее такой мучительный разлад с собою, отражавшее на самом деле только страх одиночества, все жертвы, принесенные ими, чтобы разорвать с этим прошлым и выбраться на дорогу к Богу – все это забыто. Они более не одиноки. Они счастливы, что выбрались на эту дорогу, но дойдя до первого привала, успокаиваются на этом этапе и... останавливаются. Они *нашли себя*. В условиях новой жизни, они не чувствуют более душевного разлада; им хорошо; они задерживаются на этом этапе, и нет у них потребности идти дальше...

Таковых большинство.

Но есть люди, которые не удовлетворяются первым этапом, а идут дальше. Для них недостаточно *найти себя*: они стремятся *найти Бога*. Они ищут не своего, как бы возвышенно оно ни было, не душевного спокойствия, как результата компромисса между небом и землею, а *правды*, какая требует активной борьбы, истины, не знающей никаких компромиссов... Они успокаиваются только тогда, когда найдут Бога, когда будут жить и растворяться в Нем.

Стремление выбраться из дебрей житейского омуты на путь к Богу присуще каждому человеку, и нет той души, которая бы не слышала зова Божьего. Но отношение к такому зову у всех людей разное. Одни вовсе не откликаются на этот зов; другие отзываются и идут за ним, однако только до первого поворота, до первой встречи с тем, чему нужно *верить* и против чего восстает их разум, на который они привыкли полагаться. Здесь они останавливаются и не идут дальше... Доверие к собственному разуму и недоверие к вере не пускают их вперед... Они слышат звуки небес, но их не постигают; они видят впереди идущих, но не понимают ни природы их стремлений, ни их точек зрения, обесценивающих самый мир и его задачи. Но это их не беспокоит. Они уживаются с противоречиями и часто их не замечают.

Совершенно исключительное место среди людей, ищущих Бога, занимает русский человек. Только у русского эти поиски Бога превращаются в *самостоятельное и важнейшее дело жизни, несовместимое ни с каким другим делом*; только у русского это дело является самоцелью, обесценивающей все прочие цели, опрокидывающей весь мир, со всеми его задачами... И в этой сфере исканий Бога ни один народ не проявляет такой изумительной *добросовестности*, как русский.

Эта добросовестность сказывается не только в области разрыва с прошлым, как бы дорого оно ни было, как бы крепки ни были связи с ним, не только в области достижения новых целей, как бы трудны они ни были, но и в выборе способов, посредством которых эти цели достигаются. Русская душа неохотно покидает свое место на земле и, слыша зов Божий, не сразу откликается на него. Но, если раскачается и сорвется со своего места, то уже ничто не удержит ее полета к небу... Она будет лететь до тех пор, пока не сбросит с себя не только мирское иго, под бременем которого изнемогала, но и свою земную оболочку, пока не долетит уже до той предельной высоты, где, лицом к лицу, будет говорить с Богом.

Этот процесс восхождения русской души к Богу нашел, к сожалению, весьма бледное отражение в русской литературе и выясняется гораздо яснее из святоотеческих творений, этой бесценной сокровищницы потустороннего знания, так мало, однако, известной людям.

В своем полете к Богу русская душа ни на шаг не уклонялась от путей, указанных величайшими подвижниками древности, и часто даже оставляла их позади себя.

Вот схема восхождения русской души к Богу:

С момента вступления на путь к Богу, или иначе, с момента своего обращения к Богу, русский резко порывает с прошлым.

У него уже нет середины... Или все, или ничего.

С этого момента *все* прошлое становится ему не только не нужным, но и мешает, и пугает его.

Он начинает оценивать окружающее с недостижимых точек зрения, и весь мир, со всеми своими задачами, кажется ему бессмыслицей.

Зачем люди занимаются пустяками, — думает он, — зачем начинают с конца и перестраивают свою жизнь в соответствии с требованиями времени, когда время предъявляет все более жестокие требования, вызывая у лучших людей коллизии между совестью и долгом и выбрасывая их за борт жизни. Разве зло так неотделимо от жизни, что в жертву ему нужно перестраивать весь уклад жизни, приспособляясь к его требованиям, разве нельзя христианизировать жизнь и ввести ее в русло, указанное Богом?! Но отчего же никто не делает этих попыток?.. Оттого, что никто не доходит до конечных этапов, а с полпути поворачивает назад; оттого, что никто не хочет проникать в ту область веры, где живет Истина, с какою все встретятся за гробом, но какую можно познать еще на земле; оттого, что никто не думает о спасении и загробную жизнь считает выдумкой...

И весь мир кажется ему в величайшей опасности, и он бросается спасти его от гибели... Отсюда это тяготение русского к широким масштабам, его характерное свойство поучать других, переставлять чужие точки зрения, сочинять проекты спасения, разрешать мировые проблемы...

Попытки эти не достигают цели; душевный разлад растет; одиночество увеличивается; начинается процесс углубления в сущность своих личных переживаний и, с каких бы сторон он ни рассматривал себя и окружающее, он приходит к выводу, что нужно начинать с самого себя. Но этот вывод не только обесценивает в его глазах его собственную жизнь и то дело, какое он делает, но и заставляет его видеть в окружающем повсюду расставленные вражеские сети, каких не замечали другие, и, с неудержимою силою, вытаскивает его из мира...

Так возникли монастыри, эти излюбленные убежища русской одиночной мысли, эти земные очаги небесной правды и истины, приюты страдающих душ, не нашедших места в миру.

"Пусть считают меня эгоистом, думающим только о собственном спасении, — говорит русский, разрывая свои связи с миром, — но гораздо важнее закладывать верный фундамент жизни, чем строить здание на неверном".

И с этого момента русская душа, не стесняемая мирскими заботами, стремительно поднимается к небу... Яснее чем когда-либо она видит, что на земле есть только одно осмысленное дело, и это дело заключается в систематической и непрерывной работе над совершенством своего духа...

Следить за состоянием своей духовной сущности, изучать природу своих страстей и их источник, вести борьбу с ними, обостряя свое духовное зрение и улучшая свою нравственную природу, отдаться всецело "стяжанию Святаго Духа", как говорил Преподобный Серафим Саровский, — вот что нужно делать каждому человеку, вместо того, чтобы заниматься пустяками и делать то дело, какое кажется нужным только потому, что люди злы и не желают быть лучше. Когда все это поймут, тогда увидят, как много из того, что они делают, не нужно делать и как много нужного они не делают. Тогда явятся другие дела, и можно будет выйти в мир и вместе работать. А теперь нужно идти все вперед и набираться новых знаний; нужно все дальше и дальше убегать от людей и мирской заразы...

И он идет и идет, и все глубже уходит в себя, и пред ним открываются все новые горизонты, новые цели и задачи, новые способы достижения их, новые понятия и новые точки зрения...

Он сам делается новым, испытывает неизведанные раньше ощущения, новые элементы радости и горя, какие переставляют все прежние точки зрения его на жизнь и ее задачи, на свое место в ней, на отношение к окружающему и отношение последнего к нему...

Он постигает уже слова Апостола Павла: "кто во Христе, тот *новая* тварь: древнее прошлое, теперь все *новое*" (2-е Посл. к Коринф., гл. 5, ст. 17). Ему кажется непонятным интерес людей к делу, какое не может быть продолжено в пределах вечности; кажется страшным это равнодушие их к загробной участи; его пугает их беззаботность, это общее желание укрыться от скорбей и слез, от всего, что народ так глубоко и метко назвал "посещениями Божьими", эта погоня за славой, за радостями и благами жизни... Он плачет, когда другие смеются... Он знает цену земным радостям и бежит от них; ему тяжело, когда его приобщают к ним; еще тяжелее, когда хвалят и превозносят, привязывают к земле и удаляют от неба...

"Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?... Или какой выкуп даст человек за душу свою?" (Матф., гл. 16, ст. 26) – слышит он слова Христа Спасителя.

Но приобретая *новое* знание, он связывает себя и новыми обязательствами к Богу. Чем выше он поднимается, чем более возрастает, тем ближе приближается к Богу, тем глубже проникает в его душу свет Божий, озаряющий глубочайшие недра ее, и пред ним раскрывается во всем своем необъятном значении и ужасе величайшая Жертва на Голгофе, от которой, в страхе за свое преступление, содрогнулся даже тот мир, который пригвоздил к Кресту Божественного Страдальца.

Принесенные им жертвы, бегство из мира, отказ от земных благ, почестей и славы, добровольная нищета, одиночество монастырской келии и затвор, – все это уже перестает удовлетворять чуткую душу русского, и он ищет уже подвигов и личных страданий, радостно идет им навстречу, считает потерянным для Бога тот день, когда не плакал, сокрушается, когда не страдает, счастлив, когда изнемогает... Он чувствует уже потребность приобщиться к страданиям Христовым...

Здесь, на этом месте, он расстается и с теми немногими, каких встретил, дойдя до него. Те остались; а он пошел еще дальше.

Мир, со всеми своими сокровищами и соблазнами, остался уже далеко позади него... внешние связи порваны, привязанностей нет больше, и ему не нужно вести борьбы с ними... Но у него остались еще природные страсти, наследственные и приобретенные, и он вступает с ними в невидимую брань и безжалостно вырывает одну за другой, побеждая "естества чин", пока не достигнет полной победы и превратится в небесного человека, или земного ангела... Этот удивительный процесс превращения, духовного обновления и перерождения самой природы человека нашел свое отражение в многотомном творении, известном под названием "Добротолюбие", где с изумительною правдою, какую каждый человек может проверить на личном опыте, переданы малейшие изгибы душевных движений и ощущений человека, стремящегося к Богу, и указаны пути, приемы и способы достижения этой цели...

Трудно было дать этому творению более точного заглавия, ибо, действительно, с того момента, когда человек вступил на путь борьбы с собственными страстями и увидел свою собственную греховную скверну, с этого момента сделался снисходительнее к немощам других и строже к самому себе, сделался добрее, приобрел любовь к доброте...

Но и на этом этапе чуткая русская душа, с природным запасом добра, растворенного жалостью, не останавливается, а летит и летит все выше, пока не достигнет предельных высот, пока не долетит до Самого Бога и проникнется всепрощением и любовью...

И очищенная личными страданиями, обновленная и возрожденная, с небесными точками зрения на окружающее, она выходит из затвора и возвращается в мир не судить и карать, а спасать его своею любовью.

Здесь подвига и жертвы, пред которыми в изумлении останавливается человеческая мысль, пред которыми содрогалось само Небо, останавливая разные стихии, запрещая им вредить подвижникам, приносившим себя в жертву Богу.

Казалось бы, здесь предел достижений, и дальше идти некуда...

Но русская душа идет еще дальше.

Она на высоте, откуда всем видна. Она желает укрыться и бежать от славы людской... Эта слава заслоняет образ Распятого; она обесценивает в глазах русского подвижника все его достижения и принесенные жертвы... Он нес страдания и боли, чтобы сораспяться Христу и тем хотя отчасти заглушить сознание той виновности пред Богом, какое не позволяет ему забывать о Голгофской жертве, делает неспособным испытывать какие-либо радости на земле... Он *все* отдал Богу, пожертвовал всем, отказался от *всего*, сбросил с себя не только греховное иго, но и свою земную оболочку, превратился в земного ангела; а взамен получил только сторицею, вкусил только блаженство, изведal только небесные ощущения, и его стали считать за ангела, за святого и слава земная стала для него еще более тяжким игом, чем его прежнее греховное бремя...

И он поднимается еще выше и достигает уже таких высот, откуда только тонкое духовное зрение может его заметить... Большинство же не замечает его, не понимает, не постигает... Он надевает на себя маску безумия; навлекает на себя гонения и преследования, подвергает себя всевозможным испытаниям и нравственным пыткам, идет к Богу не проторенным путем, а выбирает самый трудный, каким шли лишь немногие избранные. Это – *юрродство во Христе*. Это люди с наиболее тонкой душевной организацией, наиболее глубоко чувствующие и мыслящие. Это – предел святости, доступной человеческим силам, предел достижений...

Глава LIX. Юродство во Христе. Его содержание и психология

В основе этого величайшего из подвигов, доступных человеческим силам, лежит прежде всего сознание той страшной виновности пред Богом, какая не только не позволяет чуткой душе пользоваться никакими благами на земле, но и обязывает ее страдать и сораспяться Христу. "И воздух тот, которым дышишь Ты, считаем мы стяжанием неправым", – вот идея этого подвига. Сущность же его заключается в добровольном принятии на себя поношений и поруганий в целях довести смирение, незлобивость и кротость до предельной высоты и развить в себе любовь даже к своим врагам и гонителям. Это – беспощадная борьба не с грехом только и страстями, а с их источником, борьба с самолюбием в его тончайших, неуловимых проявлениях. В сущности говоря, даже лучшие, наиболее нравственно развитые люди не замечают того, что основывают все содержание своей жизни и характер взаимоотношений с другими на отношении лично к себе. Жить так, чтобы снискать себе расположение и любовь окружающих, прожить жизнь так, чтобы оставить после себя добрую память, все это азбука общежития, с которой знакомятся, вступая в жизнь... Вот почему даже лучшие, наиболее смиренные люди, далекие от славолубия, гордости, или тщеславия, в то же время чрезвычайно чувствительны к тому отношению, какое к ним питают окружающие. Стремление заслужить любовь окружающих, приобрести доверие и уважение со стороны возможно большего числа не только не считается греховным, а, наоборот, признается естественным и является часто одним из главных побудительных мотивов к деятельности, дающей этим людям наибольшее нравственное удовлетворение. Отсюда понятно, что малейшее недоброжелательство, незначительная клевета, недостаточное признание их нравственной стоимости, заставляет этих людей, а таких большинство, опускать руки, терять точки опоры и нравственное равновесие и чувствовать себя заброшенными и покинутыми... Настолько велика зависимость среднего человека от общественного мнения.

Психология таких гигантов духа, как "юрродивые", совершенно иная.

Они знают, что в основе даже такого чувства, как нравственное удовлетворение, лежит часто самолюбие; что нередко нравственное удовлетворение черпается из нечистых источников и служит не наградою совести, а результатом компромиссов с нею. Они видят, какую ценою и путем каких нравственных преступлений приобретается часто любовь со стороны других. Угождение людским страстям, непротивление злу, поругание правды и подмена ее требованиями момента являются часто той почвой, которая создает наибольшую популярность между людьми, питает их тщеславие и самолюбие, рождая все большую

зависимость от общественного мнения. Не замечая того, насколько такая почва шатка, люди вступают на нее тем охотнее, чем громче рукоплескания толпы, и скоро делаются жертвой этой толпы, отнявшей у них, взамен своих рукоплесканий, способность даже незначительного нравственного сопротивления. Самолюбие все глубже погружает их в сферу нравственного безразличия, и мнение окружающих становится законом их совести...

"Юродивые", наоборот, думают не о том, чтобы снискать себе любовь и расположение, или оставить добрую после себя память, а о том, чтобы прожить жизнь без малейших уступок неправде, и, потому, не только не считаются с общественным мнением, но бросают ему вызов, вызывают его на поединок и... всегда побеждают. Побеждают потому, что они неуязвимы и ничего уже не должны миру, ибо уже разорвали все связи с ним. Здесь источник того дерзновения, той смелости и силы, с какими "юродивые" обличают грех и борются с неправдой; здесь и причина того, что их так боится русский народ; здесь, наконец, и причина их чрезвычайных успехов... Одного появления "юродивого" бывает часто достаточно для массового пробуждения от греха, для нравственного возрождения греховного общества... Кто не знает юродивого Василия Блаженного, пред которым трепетал даже Царь Иоанн Грозный?!

Но, выполняя свою великую общественную миссию, юродивые преследуют и цели личного нравственного совершенствования... Само собою разумеется, что обе эти цели лежат в одной плоскости, и я бы не останавливался на каждой из них в отдельности, если бы достижение этих последних целей не связывалось бы с некоторыми особенностями, свойственными только "юродивым во Христе". Какими способами ведут юродивые борьбу с грехом? Эти способы и по форме, и по содержанию резко отличаются от обычно практикуемых. В противоположность тем, кто связывает успех борьбы с высотой своего личного авторитета, хотя бы такая высота была и наружной, "юродивые", наоборот, стараются казаться грешниками, скрывая от окружающих свою действительную нравственную высоту. Вот почему, когда они выступают в роли обличителей греха, их встречают насмешками, поруганиями и издевательствами. Им не верят, не признают за ними права обличать других, их гонят, преследуют до тех пор, пока не обнаружится вся дивная красота их нравственного облика, так тщательно скрываемая за обманчивою внешностью, пока Сам Бог не засвидетельствует их святость... Тогда одно вскользь брошенное слово их творит чудеса и перерождает грешника; но тогда же юродивые, скрываясь от славы людской, удаляются туда, где их никто не видит, где никто не считает святыми, чтобы в тишине и молитве снова предаваться тем подвигам, пред которыми в изумлении всегда останавливалась человеческая мысль.

Для чего это нужно, для чего эти добровольные бичевания и поругания, сознательно и умышленно вызываемые, эта маска безумия, какую носят "юродивые", эти суровые способы борьбы с личными и чужими грехами?!

Ответы на эти вопросы всегда останутся непонятными для тех, кто не представляет себе конечных пределов сознания своей виновности пред Богом, исключаящих возможность пользоваться даже малейшими благами жизни при мысли о Распятом *за нас* Христе, приобщиться к страданиям Которого является уже потребностью чуткой, не знающей никаких компромиссов совести. Что дал Христос миру и что Он получил от мира, от людей?! Спасителю негде было преклонить Свою усталую голову; Он видел вокруг Себя измену и предательство; нес на Своих плечах грехи всего мира; подвергался преследованиям и гонениям, поношениям и надругательствам, пока не был предан мучительной казни на кресте, одно представление о которой отнимает у чуткой совести право стоять в стороне от Искупительной Жертвы, а обязывает к страданиям, как выражению ее покаяния, виновности пред Богом. Могу ли я предаваться веселью и радости при виде страданий моих отца и матери?! А юродивые, равно как и прочие подвижники, *всегда* видели страдания Христа и *никогда* их не забывали. Распятый Христос всегда был пред их глазами, всегда был живым укором, всегда звал к Себе на Голгофу... И чем живее они слышали этот зов, тем радостнее шли ему навстречу и шли тем путем, какой всегда и

во все времена был самым трудным и тяжелым. Легче идти ко Христу тем, кто имеет спутника, знающего дорогу, или не встречает препятствий на пути, и неизмеримо труднее двигаться между скал и ущелий, наполненных дикими зверями, готовыми в каждый момент растерзать вас. И юродивые шли именно этим последним путем, ибо считали греховным всякий иной путь... Легко казаться святым тем, кого признают таковым; но неизмеримо труднее удерживаться на определенной нравственной высоте тем, за кем не признается даже малейших нравственных качеств. "Юродивые" своим поведением и отношением к окружающим умышленно создавали себе такую почву, которая до крайности осложнила их борьбу с их личными грехами, но, в то же время доводила эту борьбу до конечных пределов, искореняющих самый источник греха. Они стояли уже на такой нравственной высоте, которая обязывала их вести борьбу с общественным мнением не тогда только, когда это мнение было против них, но и тогда, когда оно было за них, и эта последняя борьба была еще более ожесточенной, упорной и настойчивой... В первом случае была борьба с чужими грехами, во втором – борьба с личными страстями. И, убегая от славы людской, удаляя от себя поводы для признания за ними даже обычных качеств среднего человека, эти чистые люди жили в атмосфере гонений, насмешек и издевательств, подвергались поруганиям и побоям, крестясь крещением Христовым, разделяя чашу Христа...

Короче сказать, "юродивые", в противоположность грешникам, носившим личину святости, были святыми, носившими личину грешников.

Жизнь этих великих людей отвечает на вопрос, почему в Нагорной Проповеди отведено последнее место заповеди, обещающей блаженство тем, кого "поносят и ижденут и рекут всяк зол глагол". Потому, что для способности перенести клевету нужно выполнить сперва все предыдущие заповеди. Нужно ли говорить, что, под видом святых, носивших личину грешников, появлялись грешники, носившие личину святости, и что на этой почве создавалось много мистификаций и обманов со стороны тех, кто эксплуатировал веру народа!.. Нужно ли доказывать, что такое сложное явление, как "юрродство во Христе", требующее для распознавания не только духовных познаний, но и духовного опыта, могло ввести в заблуждение даже иерархов, не говоря уже о светской интеллигенции, не сведущей в духовной литературе!

Вот почему, на поставленный в начале главы вопрос, я отвечаю определенным утверждением, что Петербургское общество, во главе со своими иерархами, отнеслось с доверием даже к "косноязычному Мите" не потому, что было духовно слепо, а, наоборот, потому, что чрезвычайно чутко отзывалось на всякое явление религиозной жизни, предпочитая ошибиться, приняв грешника за святого, чем наоборот, пройти мимо святого, осудив его.

Глава LX. Появление Распутина. Старчество и его природа

Как, однако, ни печально кончилась карьера Мити Косноязычного, тем не менее столичное общество несколько не было поколеблено в своем отношении к существу, характеру и выражениям "народной" веры. В ней, и только в ней, видели разрешение религиозных сомнений и ответы на вопросы духа. И когда на горизонте Петербурга появился Распутин, которого народная молва называла "старцем", приехавшим из далекой Сибири, где он, якобы, прославился высокою подвижничеством жизнью, то общество дрогнуло и неудержимым потоком потянулось к нему. Им заинтересовались и простолюдины, и верующие представители высшего общества, монахи и миряне, епископы и члены Государственного Совета, государственные и общественные деятели, объединяемые между собою столько же общим религиозным настроением, общими религиозными сомнениями, сколько, может быть, и общими нравственными страданиями и невзгодами... Славе Распутина предшествовало много привходящих обстоятельств и, между прочим, тот факт, что известный всему Петербургу высотой духовной жизни и духовным опытом архимандрит Феофан, будто бы, несколько раз ездил к Распутину в Сибирь и пользовался его духовными наставлениями... Нужно знать психологию русского

верующего, чтобы не удивляться такому явлению. Когда из "старца", каким он был в глазах веровавших, Распутин превратился в политическую фигуру, тогда, только стали осуждать этих людей и усматривать в их заблуждении даже низменные мотивы. Но несомненным остается факт, что, до этого момента, к Распутину шли не худшие, а лучшие, вся вина которых заключалась или в религиозном невежестве, или в излишней доверчивости к рассказам о "святости" Распутина. Это были те наиболее требовательные к себе люди, которые не удовлетворялись никакими компромиссами со своей совестью, какие глубоко страдали в атмосфере лжи и неправды мира и искали выхода в общении с людьми, сумевшими победить грех и успокоить запросы тревожной совести; те люди, которым уже не под силу была одинокая борьба с личными страданиями и невзгодами жизни, и нужна была нравственная опора сильного духом человека. Потянулся к Распутину тот подлинный русский народ, который не порвал еще своей связи с народной верой и народным идеалом, для которого вопросы нравственного совершенствования были не только главным содержанием, но и потребностью жизни. Об этих людях еще Достоевский в своих "Братьях Карамазовых" сказал: "... Для смиренной души русского простолюдина (не только простолюдина, но и для каждой смиренной души русского человека; а душа человека интеллигентного бывает часто еще смиреннее души простолюдина – Н.Ж.), измученной трудом и горем, а главное – всегдашнюю несправедливостью и всегдашним грехом, как своим, так и мировым, нет сильнее потребности и утешения, как обрести святыню, или святого, пасть пред ним, поклониться ему: если у нас грех, неправда и искушение, то все равно, есть на земле там-то, где-то, святой и высший; у того зато правда, тот зато знает правду; значит, не умирает она на земле, а, стало быть, когда-нибудь и к нам перейдет и воцарится по всей земле, как обещано"...

К числу этих истинно русских лучших людей принадлежал и архимандрит Феофан, инспектор Петербургской Духовной Академии, для которого было достаточно услышать о Сибирском подвижнике, чтобы потянуться к нему, с полной верой в него. К числу этих же людей принадлежал и непонятый и неоцененный русским народом Государь Император, глубокая вера и величайшее смирение Которого, в связи с великими страданиями, выпавшими на Его долю, заставляли императора, подобно Его Прадеду, Императору Александру Благословенному, искать общения с теми, кого весь мир был недостоин, кто скрывался от людского взора в укромных кельях монастыря и был известен только ищущим Бога... Я никогда не забуду рассказа Государя Императора о свидании Их Величеств с Пашей Саровской и общении со старцем Макарием Верхотурским, гостившим одно время в Царском Селе...

Одного этого рассказа было бы достаточно для того, чтобы преклониться пред красотой и высотой нравственного облика Государя и Императрицы. Имею право сказать, что я знал Государя и Императрицу с этой стороны и имею основание, при рассмотрении дальнейших событий, исходить из совершенно иных отправных точек зрения и с негодованием отвергать созданную интернационалом гнусную клевету, витавшую вокруг священных имен Царя и Царицы.

Я уже сказал, что еще задолго до своего появления в Петербурге Распутин был известен как "старец", проводивший подвижническую жизнь в Сибири. Что такое "старец?"

Под этим именем разумеются люди, отмеченные особою благодатью Божиею, призванные вещать волю Божию людям, живущие в уединении, посте и молитве, вдали от мира, и несущие в монастырях, сохранивших древние уставы иноческой жизни, подвиг "старчества". Институт "старчества" сохранился в России далеко не во всех монастырях, несмотря даже на то, что является главным условием успеха иноческой жизни и неразрывно связан с таинством покаяния, отличаясь от последнего тем, что в таинстве покаяния верующему подается отпущение грехов, а в старчестве, как откровении помыслов, ниспосылается благодатная помощь для борьбы с ними. В первом случае прощается уже совершенный грех, а во втором – совершение греха предваряется своевременной поданною благодатною помощью чрез чистосердечное признание в

греховном помысле, влечении к греху, или страсти. Эти тонкие душевные движения свойственны преимущественно природе русского человека, всегда недовольного собою, всегда ищущего Бога и ни при каких условиях не способного удовлетвориться земными благами. Удивительная высота и красота этих тонких движений, переживаний и настроений нашла свое отражение в духовной литературе русского народа, с которой, к сожалению, незнакома не только западно-европейская, но и русская интеллигенция, благодаря чему многие явления русской духовной жизни не только неверно толкуются и превратно понимаются, но нередко вовсе неизвестны.

В представлении русского народа "старец" есть человек, ниспосланный Самим Богом для врачевания этих тонких душевных переживаний и страданий духа, непонятных среднему человеку, не усваиваемых никаким знанием, не постигаемых никакою наукою. Их может понять только обладающий даром прозорливости, наделенный особыми дарами благодати Божией человек, растворивший свое сердце такою любовью к человечеству, какая позволила ему вместить в нем всю полноту его страданий... Таким старцем был Амвросий Оптинский, ставший прототипом старца Зосимы Достоевского в "Братьях Карамазовых", прототипом, к сожалению, неудачным, ибо Достоевский знал о "старцах" только понаслышке и с сущностью иночества был незнаком; таким был Исидор Вифанский, Варнава Гефсиманский, Иосиф Оптинский, Анатолий (Зерцалов) и мн. др. Такие старцы живут и в наше время в монастырях, сохранивших институт "старчества", в Оптиной, Глинской, Саровской, Зосимовой и др. пустынях, в скитах Сергиевской и Киево-Печерской Лавры, на Валааме, в подмосковных обителях и в других местах, не говоря уже о тех, которые скрываются от людского взора в многочисленных мелких монастырях, разбросанных на пространстве необъятной России, где их никто не видит.

Совершенно ошибочно думать, что только простой народ ходил на поклонение к этим старцам. Наоборот, верующая интеллигенция не только стремилась к ним с неменьшим рвением, но и жила под их руководством и духовным окормлением. Гоголь, Достоевский, Владимир Соловьев, братья Киреевские, Леонтьев и многие другие были духовными детьми Амвросия Оптинского и Варнавы Гефсиманского, и даже Лев Толстой ходил в Оптину к Амвросию, от которого вышел, по собственному признанию, значительно поколебавшимся в своих убеждениях. И нужны были цепкие руки интернационала, в которых находился Толстой, чтобы попытки последнего высвободиться из них, попытки, не прекращавшиеся в течение многих лет и завершившиеся бегством Толстого в ту же Оптину, почти накануне своей смерти, кончились бы неудачей... Ходил к Варнаве Гефсиманскому, а, по слухам, даже побывал в Гефсиманском скиту и пресловутый Владимир Львов, стяжавший славу Обер-Прокурора Св. Синода, причем Варнава отзывался о нем, как "одержимом бесами", еще задолго до революции, прославившей Львова. Но стоит, конечно, хотя один раз в своей жизни встретиться с этими исключительными людьми, чтобы признать за ними тот несомненный дар прозорливости, которыми они обладают. Наряду с этими, так сказать, официальными "старцами", несущими в монастырях возложенное на них послушание, в России встречается еще один тип людей, неизвестный Европе. Это так называемые "Божьи люди". Хотя это понятие общее и распространяется часто и на "юродивых", и на "старцев", однако включает в себе и некоторые особенности, отличающие "Божьих людей" от этих последних. В противоположность "старцам", эти Божьи люди редко остаются в монастырях, а преимущественно странствуют, переходя с места на место, вещая волю Божию людям и призывая к покаянию. "Старцы" всегда монахи, тогда как между "Божьими людьми" встречаются и миряне; но как те, так и другие ведут строгую аскетическую жизнь и пользуются равным нравственным авторитетом, очень высоким у некоторых из них. Многие из них примыкают к числу "юродивых во Христе", и черты различия между ними часто неуловимы. Выходя из борьбы с неправдою, искореня малейшие компромиссы с совестью, "Божьи люди" стараются быть живым воплощением правды Христовой на земле, проповедуемой личным примером жизни, и отличаются от "старцев" и "юродивых" только тем, что стремятся к достижению своих целей иными

способами и путями. Этот тип людей, несмотря на свое древнее происхождение, сохранился только в России и свидетельствует не о темноте русского народа, а о той его вере, которая на Западе уже давно утрачена.

Глава LXI. Первые шаги Распутина

Появлению Распутина в Петербурге предшествовала, как я уже указывал, громкая слава. Его считали если не святым, то, во всяком случае, великим подвижником. Кто создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю, но в обрисовке дальнейших событий, тот факт, что Распутину не нужно было пробивать дорогу к славе собственными усилиями, имел чрезвычайное значение. Его называли то "старцем", то "юродивым", то "Божьим человеком", но каждая из этих платформ ставила его на одинаковую высоту и закрепляла в глазах Петербургского света позицию "святого".

Как ни странно сопоставлять имя Распутина с именем "святого", однако в моих словах не содержится никакого преувеличения. Утверждать, что никто не считал его таковым, так же нельзя, как нельзя утверждать и противное. Одни искренно считали его облагодатствованным, другие не менее искренно видели в нем воплощение дьявольских сил.

Чем же, в действительности, был Распутин? Я уже подчеркивал ту мысль, что Распутина нельзя рассматривать вне связи с общеполитическим положением России и, потому, прошу сосредоточить особое внимание на том, – кто считал его праведником, а кто – одержимым. На стороне первых стояли Их Величества, епископы Феофан и Гермоген, А.А.Вырубова, ее шурин А.Э.фон-Пистолькорс и очень немногочисленный круг столичной аристократии, какую ни при каких условиях нельзя было заподозрить в неискренности... На стороне вторых стояла Государственная Дума, печать и... толпа, которая увеличивалась по мере удаления от столицы и того места, где жил и действовал Распутин.

Может быть, этот один факт даст психологу материал для размышлений: может быть не случайным покажется, что оппозиция к Царю, династии и престолу сливалась с оппозицией к Распутину?!

Был ли Распутин агентом интернационала, игравшим политическую роль и выполнявшим определенные задания, оправдывал ли он свою славу наличием выдающихся качеств, или из ряда выходящих преступлений?

Нет, ничего подобного не было. Ничьим агентом Распутин не был, никакой политической роли не играл, никаких особенностей, отличавших его от заурядных представителей его среды, не имел; никаких выдающихся преступлений не совершал...

Но, тогда, на чем же зиждилась его слава? Чем же объясняется, что его имя прогремело на весь мир и сделалось синонимом зла, достигшего своих крайних пределов?

Объясняется это тем, что Распутин, в момент своего появления в Петербурге, а может быть и раньше, попал в сети агентов интернационала, которые желали использовать полуграмотного мужика, имевшего славу праведника, для своих революционных целей. Вот почему в первые моменты появления Распутина в Петербурге так усиленно раздувалась его слава как "святого", открывая пред ним двери великосветских гостиных и великокняжеских салонов и приведшая его во дворец; вот почему, с еще большим азартом, раздувалась впоследствии противоположная слава, приведшая к его убийству людьми, одураченными тем же интернационалом.

Что это так, не подлежит никакому сомнению, ибо, конечно, каково бы ни было его благотворное влияние на здоровье Наследника Цесаревича, но этот один факт еще не сделал бы Распутина святым, как равно посещение какого-нибудь кабака не сделало бы его воплощением дьявольских сил... Над созданием славы Распутина работали невидимые агенты интернационала, имевшие, в лице окружавших Распутина еврейчиков, бойких сотрудников: здесь велась тонкая и очень сложная игра, здесь осуществлялись давно задуманные революционные программы...

Мы еще не знаем, мы даже не догадываемся о тех гениальных приемах, какие пускаются интернационалом в обращение для достижения его целей. Они так же легко превращают ангела в демона, как и демона в ангела; иудейская мораль противоположна христианской и открывает чрезвычайный простор для самых тонких преступлений и злодеяний, имеющих обратную внешность и без промаха попадающих в цель.

Этой тонко задуманной и умело проводимой революционной программы, конечно, никто не замечал. Не замечала ее широкая публика, не замечал и Распутин, даже не догадывавшийся, что являлся намеченною жертвою интернационала. Он был типичным олицетворением русского мужика и, несмотря на свою природную хитрость и несомненный ум, чрезвычайно легко попадался в расставленные сети. Хитрость и простодушие, подозрительность и детская доверчивость, суровые подвиги аскетизма и бесшабашный разгул, и над всем этим фанатическая преданность Царю и презрение к своему собрату-мужику – все это уживалось в его натуре, и, право, нужен или умысел, или недомыслие, чтобы приписывать Распутину преступления там, где сказывалось лишь проявление его мужицкой натуры.

Именно потому, что он был мужик, именно по этой причине он и не учитывал, что близость ко Двору налагает уже обязательства, что каждый приближенный к Царю есть прежде всего страж имени Государева, что не только в Царском Дворце, но и за порогом его нужно вести себя так, чтобы своим поведением не бросать тени на Священные Имена. Не учитывал Распутин и того, что русский народ дорого ценит свою веру в тех, кого считает "святыми", требуя от них взамен преклонения перед ними, абсолютной нравственной чистоты и проявляя к ним, в этом отношении, очень строгие требования. Достаточно малейшего сомнения в чистоте их нравственного облика, чтобы им вменилось в преступление и то, что составляет обычную человеческую слабость, мимо чего, при других условиях и в отношении к другим людям проходят без внимания; достаточно самого незначительного проступка, чтобы вчерашний "святой" был объявлен сегодня преступником.

Ничего этого Распутин не учитывал и, потому, когда его звали в гости, он ехал; давали вино и спаивали его – он пил и напивался; предлагали потанцевать – он охотно пускался в пляс, в присядку, танцуя камаринскую под оглушительный гром рукоплесканий умиравшей со смеху публики... Но, неужели, можно серьезно говорить о том, что Распутин сознавал в этот момент преступность своего поведения?.. Он не сознавал даже того, что его высмеивают с самыми гнусными и преступными намерениями, что хитростью и обманом умышленно завлекают в расставленные сети для того, чтобы поглумиться над Священными Именами Царя и Царицы, считавших его подвижником. Распутин был до того далек от таких предположений, что отправлялся на званные вечера не иначе, как в шелковой голубой рубашке, и хвалился тем, что получил ее в подарок от Императрицы.

Нет, психология крестьянской натуры мне понятна, и я не нахожу данных для того, чтобы приписать этим действиям Распутина криминальный характер.

Я знал одного схимника, человека сравнительно не старого, пользовавшегося большим уважением у крестьян, всегда приглашавших его в качестве "свадебного генерала" на свадебные торжества... Без этого схимонаха не обходилось ни одно деревенское торжество.

Величавою поступью, в полном схимническом одеянии, торжественно входил он в избу, садился на почетном месте, держал себя чинно, мало говорил, еще меньше вкушал, но... выдерживал свою позицию только... до первой рюмки. Но вот раздалось пиликанье скрипок и задорные звуки бубен и схимник протягивал руку за второй рюмкой, потом еще и еще и... русская натура не выдерживала, прорывалась, и схимник пускался в пляс, и так отплясывал "гопака", что вызывал зависть даже у деревенских парней. Такое "искушение" настигало схимника при каждом деревенском торжестве; в остальное же время он запирался в своей келии, вымаливал свой грех пред Богом, и его видели только где-нибудь в темном уголке храма... Его поведение нисколько не колебало его престижа у крестьян, которые

ограничивались только одним замечанием: "ослабел батюшка; а раньше, когда был помоложе, то куда лучше танцевал; да и на ногах держался тверже"...

Совершенно несомненно, что, принимая приглашения на званые вечера со стороны людей, ему неизвестных, не подозревая с их стороны умысла, Распутин только тщеславился своею известностью и славою, не зная того, какою дорогою ценою ему придется искупить их...

Нет, неизмеримо большими преступниками были те, кто с гнусными и преступными намерениями злоупотреблял доверием и простотою Распутина, чем Распутин, который им верил. Он был так же искренен, когда обнаруживал пред Государем свои качества, как и тогда, когда, не будучи заинтересован мнением окружающих, обнаруживал пред ними свои недостатки... Да и кто же стал бы действовать иначе?.. В глазах Царя каждый хотел казаться святым; а той школы, которая превращает великосветских мерзавцев в джентльменов, Распутин, будучи мужиком, не проходил и искренно выкладывал наружу свои недостатки, быть может, даже не считая их недостатками или же раскаиваясь в них.

Однако, к стыду глумившихся над Распутиным, нужно сказать, что он распоясывался в их обществе только потому, что не питал к ним ни малейшего уважения и мнением их о себе нисколько не был заинтересован. Ко всем же прочим людям, не говоря уже о Царском Дворце, отношение Распутина было иное. Он боялся уронить себя в их мнении и держался всегда безупречно. Я несколько раз встречался с Распутиным в 1910 году, то в Петербургской Духовной Академии, то в частных домах, и он производил на меня, хорошо знакомого с монастырским бытом и со "старцами", такое впечатление, что я даже проверял его у более духовно сведущих людей и сейчас еще помню отзыв епископа Гермогена, сказавшего мне: "Это раб Божий: Вы согрешите, если даже мысленно его осудите"...

Отзыв епископа Гермогена, сделавшегося впоследствии одним из самых яростных гонителей Распутина, не убедил меня в святости последнего, но является очень характерным и свидетельствует о том, что Распутин действительно казался святым тем, кто считал его таковым и подходил к нему, как к святому. Однако справедливость требует признать, что Распутин не только ничего не делал для того, чтобы его считали святым, а, наоборот, до крайности тяготился таким отношением к себе. Очень характерный рассказ приводит Ф.В.Винберг на страницах своей интересной книги "Крестный Путь", полной чрезвычайно тонких психологических наблюдений и великолепно написанной.

"... Одна из русских женщин, – говорит Ф.В.Винберг, – горячая патриотка, старая писательница, владевшая многими тайнами масонства, за что вытерпела немало мук и горя в своей жизни, решила ехать прямо к Распутину и ребром поставить ему вопрос: Знает ли он, какой вред приносит России. По странной случайности, день ее поездки совпал с днем 16 декабря 1916 года, т.е. кануном убийства Григория Распутина. В ее лице, как будто бы, Бог посылал Распутину последнее предостережение, которому не суждено было, однако, изменить уже окончательно преднаметившегося хода событий.

Дверь у Распутина, на ее звонок, открыл какой-то полковник, встретивший ее вопросом: "Вам что угодно, сударыня?"

"Могу ли я видеть Григория Ефимовича Распутина?"

"Батюшки нет дома, и вообще он никого не принимает".

"Нет правил без исключения, полковник... Быть может, Ваше "нет дома" означает, что он именно дома... Тогда разрешите уже Вас просить передать ему мою карточку. Если господина Распутина, действительно, нет, то очень жаль, но ничего не поделаешь, в другой раз я уже не приеду: тащиться же мне Бог весть откуда... Однако, удовлетворите, полковник, любопытство старухи: почему называли Вы Распутина "батюшкой"? Что он – священник, диакон, монах, или, может быть, Ваш beau pere?"

"Григория Ефимовича все так называют"...

"Как Вам не стыдно, полковник, что же у Вас за стадное чувство такое. Ну, называли бы его Григорием Ефимовичем, или просто Распутин, а то вдруг – батюшка!"..

Полковник смешался и, растерянно теребя в руке карточку посетительницы, вдруг неожиданно спросил:

"А как прикажете доложить о Вас Григорию Ефимовичу?"

"Голубчик, у Вас в руках моя карточка... И, ради Бога, ничего не докладывайте, а просто передайте или... прочтите эту карточку".

Полковник ушел, попросив ее пройти в гостиную.

Там находилось несколько дам, из которых две между собою непринужденно болтали по-французски...

Через несколько минут в комнату вошел Распутин. При входе его, все, сидевшие дамы, кроме вновь прибывшей, встали, бросились к нему, стараясь поцеловать у него руки и... концы вышитой рубахи, в которой он был.

Досадливо от них отмахнувшись, Распутин подошел к писательнице и, заложив руки за пояс, спросил:

"Это ты, матушка, хотела видеть меня? Что тебе надо-ть?"

Ничего не ответила ему посетительница, а только долгим и пристальным взглядом посмотрела на него, точно желая проникнуть в душу... Говорят, Распутин обладал магическим, удивительным взглядом; но когда глаза его встретились с глазами этой маленькой старушки, он не выдержал и потупился.

"Что это ты на меня смотришь так!.. Как-то особенно", – пробормотал он.

В это время он услышал ее голос:

"Я пришла задать Вам несколько вопросов, Григорий Ефимович. До этого нам встречаться не приходилось; после этой встречи – вряд ли когда увидимся. Про Вас я очень много слышала, ничего доброго, но много плохого... Вы должны ответить мне, как священнику на духу: отдаете ли Вы себе отчет, как Вы вредите России? Знаете ли Вы, что Вы – лишь слепая игрушка в чужих руках, и в каких именно?"

"Ой, барыня, никто еще и никогда со мною таким тоном не говаривал... Что ж Вам на эти вопросы отвечать?"

"Читали ли Вы Русскую Историю, любите ли Царя, как Его надо любить?"

"Историю, по совести скажу, не читал – ведь я мужик простой и темный, читаю по складам только, а уж пишу – и сам подчас не разберу...

А Царя-то, как мужик, во-как люблю, хоть, может, против Дома Царского и грешен во многом; но невольно, клянусь крестом... Чувствуется, матушка-голубушка, что конец мой близок... *Убьют-то меня – убьют, а месяца так через три – рухнет и Царский Трон.* Спасибо Вам, что пришли -знаю, что поступили, как сердце велело. И хорошо мне с Вами, и боязно: как будто с Вами есть еще кто-то... А как бы Вы поступили на моем месте?"

"Будь я на Вашем месте, я бы уехала в Сибирь, да спряталась там так, чтоб обо мне и слухи замолкли, и следы пропали"...

Много еще говорила с Распутиным старая писательница, и он слушал ее жадно, как бы впитывая каждое слово...

Наконец, она поднялась и стала прощаться...

Распутин шел сзади, говоря: – уж я проведу вас сам...

"Скажите Григорий Ефимович, спросила его она: почему Вас все Ваши поклонники и поклонницы называют "батюшкой", целуют Вам руки, края рубахи? Ведь это же гадость! Почему Вы позволяете?"

Распутин усмехнулся и, показывая по направлению гостиной рукою, сказал: "А спросите вот этих дур... Постой, я уже их проучу"...

При прощании, подавая руку Распутину, писательница с удивлением увидела, как он вдруг склонился и горячо поцеловал ей руку.

"Матушка-барыня, голубушка Ты моя. Уж прости Ты меня, мужика, что на "ты" Тебя величаю... Полюбилась Ты мне, и от сердца это говорю. Перекрести Ты меня, хорошая и добрая Ты... Эх, как тяжело у меня на душе"... Маленькая ручка, освобожденная вновь от

перчатки, осенила Распутина крестным знамением, и он услышал: "Господь с Тобою, брат во Христе"...

Она ушла. Распутин долгое время стоял и смотрел ей вслед, точно здесь оставалось одно его тело, а его грешную душу взяла она, явившаяся к нему ангелом смерти...

А через двенадцать часов, на Мойке, Распутин покончил земные расчеты" (Ф.В.Винберг. Крестный Путь, стр. 304-307).

С разных сторон можно рассматривать этот знаменательный рассказ; но одною из самых характерных останется та, которая подтвердит уже высказанную мысль, что Распутин казался "святым" лишь тем, кто его считал за такового... С теми же, кто в нем видел только русского мужика, с теми он не лицемерил и в святости своей не убеждал, а, наоборот, даже смирялся пред ними.

Об этом свидетельствует и характерный случай, переданный мне Петром Николаевичем Ге, который, однажды, встретился случайно с Распутиным в вагоне железной дороги и спросил его:

"Почему Вами так интересуются и возят Вас из дома в дом?"

"А это, миленькой, потому, что я знаю жизнь, – ответил Распутин.

П.Н.Ге улыбнулся и спросил:

"А Вы действительно ее знаете?"

Распутин тоже улыбнулся и простодушно ответил: "Нет, я ее не знаю, но они думают, что я знаю... Пушай себе думают"... Известна и телеграмма Распутина епископу Тобольскому Варнаве: "Милой, дорогой, приехать не могу, плачут мои дуры, не пушают"... В этих двух ответах сказался весь несложный облик Распутина.

Разве это не типичные ответы благодушного русского мужика, могущего даже не иметь никаких других недостатков, кроме тех, которые в своей совокупности дают представление о мужичьей психологии? И, разумеется, Распутин светился отраженным светом и прошел бы совершенно незамеченным в истории русской жизни, если бы за его спиною не стоял интернационал, если бы он не был орудием в руках этого интернационала.

Вопрос лишь в том, был ли Распутин сознательным, или бессознательным орудием последнего?..

И печать, и общество, и стоустая молва доказывали и продолжают доказывать, что Распутин был сознательным орудием и "работал" за деньги. Я лично думал и продолжаю думать, что это неправда и что он был орудием бессознательным. Думаю я так потому, что мое убеждение вытекает из целого ряда логических и исторических предпосылок, а также из данных, добытых следственным материалом и установивших абсолютное бескорыстие Распутина. Еврейчики, правда, желали его подкупить и связать его волю преступными обязательствами; но их замыслы разбились о фанатическую преданность Распутина Царю, после чего тактика была изменена, и вся дальнейшая игра велась уже на страстях Распутина, на удовлетворении его мелкого самолюбия и тщеславия, и притом велась настолько умело, что Распутин не только не замечал этой игры, но даже не догадывался о ней...

Глава LXII. У барона Рауш-фон-Траубенберг

Насколько Распутин широко распоясывался в обществе тех людей, мнением которых не дорожил, настолько он следил за собою там, где ему было выгодно производить впечатление. Он настолько успешно достигал эту последнюю цель и до того в совершенстве владел искусством подчинять себе окружавших, что на этой почве создавались легенды, приписывающие ему совершенно необычайные качества и чудодейственную силу. Значительную долю его успеха в этой области нужно, конечно, отнести к религиозному невежеству столичной знати; однако отрицать за Распутиным умения удерживаться на позиции, на которой его утвердила народная молва, не приходится.

Не помню по какому случаю, я был в один из праздничных дней в церкви Духовной Академии на богослужении. В храме я встретил своего сослуживца по Государственной Канцелярии А.Э.фон-Пистолькорс.

Это был один из тех моих сослуживцев, которые тянулись ко мне, мучились религиозными сомнениями и жили в атмосфере церковной мысли. Выпущенный недавно из Пажеского корпуса, А.Э.фон-Пистолькорс был совсем еще юноша, проявлявший исключительное горение духа и с юных лет мечтавший об иночестве, стремившийся к подвигам... Теоретически знакомый с житиями подвижников Церкви, пленявшими его воображение, он, конечно, не имел никакого опыта, и неудивительно, что он был одним из первых, прибежавших навстречу Распутину, которого искренно считал "старцем" и к которому чувствовал безграничное доверие, утверждая, что на себе лично испытал его чудодейственную силу. Эта его слепая, но чистая и бескорыстная вера в Распутина создавала ему бесчисленное множество огорчений, какие он мужественно и стойко переносил в убеждении, что страдает за правду. Гнусная и ничем не брезгующая клевета, пользуясь тем, что А.Э.фон-Пистолькорс был женат на младшей дочери Обер-Гофмейстера А.С.Танеева, сестре А.А.Вырубовой, а его мать, княгиня Палей, была замужем за великим князем Павлом Александровичем, безжалостно травила его, относя и его к числу "темных сил", окружавших Престол, и приписывая его вере в Распутина корыстные расчеты.

Распутин старался чрез посредство А.Э.фон-Пистолькорса расширять круг своих знакомых и тем закреплять свое положение, причем сосредоточивал свое преимущественное внимание на лицах, занимавших известное положение и имевших связи. Не менее горячо стремился к этой же цели и А.Э.фон-Пистолькорс, желавший окружить Распутина людьми, преданность которых Престолу была вне сомнений. Такое желание было логичным и вытекало из его веры в Распутина как святого. При всем том, А.Э.фон-Пистолькорсу долго не удавалось познакомить меня с Распутиным. Я оспаривал его мнение о святости последнего и, не имея причин отзываться о Распутине дурно, ибо лично не знал его, а тому что, говорилось, не придавал значения, я ограничивался лишь указанием на то, что истинные "старцы" в Петрограде не проживают, на автомобилях не ездят, в гостях ни у кого не бывают, а сидят себе в монастырях и считают грехом выходить даже из келий, памятуя иноческое правило: "никто не возвращается в свою келию таким, каким из нее вышел".

Однако мои доводы были бессильны поколебать пламенную веру А.Э.фон-Пистолькорса, и он объяснил мой скептицизм только незнакомством с Распутиным. Как-то однажды А.Э.фон-Пистолькорс пригласил меня к себе на вечер. Это было в 1908, или в 1909 году. Я впервые встретился у него с Распутиным. Впечатление от вечера получилось такое, что мне хотелось заплакать... Станным показался не Распутин, который держался так, что мне было жалко его; а странным было отношение к нему окружавших, из коих одни видели в каждом, ничего не значащем, вскользь брошенном слове его – прорицание и сокровенный смысл, а другие, охваченные благоговейным трепетом, боязливо подходили к нему, прикладываясь к его руке... Как затравленный заяц озирался Распутин по сторонам, видимо, стесняясь, но в то же время боясь неосторожным словом, жестом или движением разрушить обаяние своей личности, неизвестно на чем державшееся... Были ли на этом вечере те, кто притворялся и лицемерил, не знаю... Может быть, и были... Но большинство действительно искренно было убеждено в святости Распутина, и это большинство состояло из отборных представителей самой высокой столичной знати, из людей самой чистой и высокой религиозной настроенности, виноватых только в том, что никто из них не имел никакого представления о природе истинного "старчества".

Подробности этой первой встречи с Распутиным описаны мною на страницах моих воспоминаний за предыдущие годы, и я не буду их повторять. С течением времени, Распутин приобретал все большую уверенность в себе, а в описываемый мною момент, быть может, даже сознавал себя призванным поучать и наставлять других.

Увидя меня, А.Э.фон-Пистолькорс подошел ко мне и стал горячо упрашивать меня ехать с ним, после богослужения, на Васильевский Остров, к барону Рауш-фон-Траубенберг, куда поедет и Распутин и будет "говорить"... В то время проповеди Распутина вызывали сенсацию... Он не любил говорить длинных речей, а ограничивался отрывистыми

словами, всегда загадочными, и краткими изречениями, а от пространных бесед – уклонялся. Желание А.Э.фон-Пистолькорса было мне понятно; но, не имея ни малейшего представления о бароне Рауш-фон-Траубенберг, с которым я нигде не встречался и не был знаком, я только удивился приглашению А.Э.фон-Пистолькорса ехать с ним в незнакомый дом, к неизвестным мне людям.

"Но никто из нас не знаком с бароном, – живо возразил А.Э.фон-Пистолькорс, – а мы все туда едем: барон дал Григорию Ефимовичу свою столовую и позволил ехать кому угодно", – сказал А.Э.фон-Пистолькорс.

Как я ни отбивался, однако мне пришлось уступить просьбе и, через несколько минут, автомобиль примчал нас на Александровскую улицу, к дому, где жил барон Рауш-фон-Траубенберг.

Когда мы вошли в столовую, то уже застали там Распутина, сидевшего за столом в обществе неизвестных нам лиц. Там были и представители аристократии, и какие-то подозрительные типы, умильно засматривавшие ему в глаза, льстившие ему и громко восхвалявшие его... Один из них, ни к кому в частности, не обращаясь, кричал о своем исцелении "отцом Григорием" – можно было бы подумать, что он умышленно создавал Распутину рекламу, если бы последний очень резко не оборвал его. В углу комнаты, не смея подойти к столу, стояла какая-то женщина, обращавшая на себя всеобщее внимание... Ее неестественно раскрытые глаза были устремлены на Распутина; она была охвачена экстазом и, видимо, сдерживала себя, истерически вздрагивая и что-то причитая...

"Это генеральша О.Лохтина, – шепнул мне на ухо А.Э.фон-Пистолькорс, – она бросила мужа и детей и пошла за Григорием Ефимовичем, убежденная в том, что Распутин – воплощенный Христос".

"Куда я попал! – подумал я. – Сумасшедший дом, сумасшедшие люди"...

Распутин угрюмо сидел за столом и громко щелкал орехи.

Увидя А.Э.фон-Пистолькорса и меня, он оживился и, бесцеремонно прогнав от себя каких-то молодых людей, посадил А.Э.фон-Пистолькорса по одну сторону, а меня – по другую и начал "говорить".

Мне трудно передать его образную речь, и я вынужден, к сожалению, изложить ее литературным языком, вследствие чего речь потеряет свой характерный колорит.

"Для чего это-ть вы пришли сюда? – начал Распутин. – На меня посмотреть или поучиться, как жить в миру, чтобы спасти свои души?"..

"Святой, святой!" – взвизгнула в этот момент стоявшая в углу генеральша О.Лохтина.

"Помалкивай, дура, – оборвал ее Распутин.

"Чтобы спасти свои души, надо-ть вести богоугодную жизнь", – говорят нам с амвонов церковных священники да архиереи... Это справедливо... Но как же это сделать?.. "Бери Четьи-Минеи, жития святых, читай себе, вот и будешь знать как", – отвечают. Вот я и взял Четьи-Минеи и жития святых и начал их разбирать и увидел, что разные святые только спасались, но все они покидали мир и спасение свое соделывали то в монастырях, то в пустынях... А потом я увидел, что Четьи-Минеи описывают жизнь подвижников с той поры, когда уже они поделались святыми... Я себе и подумал – здесь, верно, что-то не ладно... Ты мне покажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сделавшись святыми, а то, как они достигли святости... Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними были великие грешники, разбойники и злодеи, а про то, глянь, опередили собою и праведников... Как же они опередили, чем действовали, с какого места поворотили к Богу, как достигли разума и, купаясь в греховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомнили о Боге, да пошли к Нему?! Вот что ты мне покажи... А то, как жили святые люди, то не резон; разные святые разное жили, а грешнику невозможно подражать жизни святых.

Увидел я в Четьи-Минеи и еще, чего не взял себе в толк. Что ни подвижник, то монах... Ну, а с мирскими-то как? Ведь и они хотят спасти души, нужно и им помочь и руку протянуть"...

"Протяни, помоги! – не выдержала генеральша О.Лохтина. – Ты, Ты все можешь, все знаешь, Христос, Христос!" – кричала несчастная и забилась в истерику, протягивая руки к Распутину...

"Замолчи, дура! – строго прикрикнул Распутин. – Я тебя..."

"Не буду, не буду", – взмолилась О.Лохтина.

"Прогоню тебя, дуру: скажу не пушать, этакая", – сердито оборвал ее Распутин.

"Ну, а ты чего таращишь на меня глаза?" – повернулся Распутин к одному из своих поклонников, с необычайным умилением глядевшего на него и пожиравшего Распутина глазами, жадно ловя каждое его слово.

Тот смутился, а Распутин продолжал:

"Значит, нужно придти на помощь и мирянам, чтобы научить их спасать в миру свои души. Вот, примерно, министр Царский, али генерал, али княгиня какая, захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти ее... Что-же, разве им тоже бежать в пустыню или монастырь?! А как же служба Царская, а как же присяга, а как же семья, дети?! Нет, бежать из мира таким людям не резон. Им нужно другое, а *что нужно*, того никто не скажет, а все говорят: "ходи в храм Божий, соблюдай закон, читай себе Евангелие и веди богоугодную жизнь, вот и спасешься".

И так и делают, и в храм ходят, и Евангелие читают, а грехов, что ни день, то больше, а зло все растет, и люди превращаются в зверей...

А почему?.. Потому, что еще мало сказать: "веди богоугодную жизнь", а нужно сказать, как *начать* ее, как оскотинившемуся человеку, с его звериными привычками, вылезть из той ямы греховной, в которой он сидит; как ему найти ту тропинку, какая выведет его из клоаки на чистый воздух, на Божий свет. Такая тропинка есть. Нужно только показать ее. Вот я ее и *покажу*".

Нервное напряжение достигло уже крайних пределов, с О.Лохтиной снова случился истерический припадок, и Распутин, чрезвычайно резко, снова накричал на нее, приказав вывести ее из комнаты.

"Спасение в Боге... Без Бога и шагу не ступишь... *А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя не будешь видеть...* Потому и зло, потому и грех, что все заслоняет Бога, и ты Его не видишь. И комната, в которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и люди, какими окружен – все это заслоняет от тебя Бога, потому что ты и живешь не по-Божьему, и думаешь не по-Божьему. Значит что-то да нужно сделать, чтобы хотя *увидеть* Бога... Что же ты должен сделать?"...

При гробовом молчании слушателей, с напряжением следивших за каждым его словом, Распутин продолжал:

"После службы церковной, помолясь Богу, выйди в воскресный или праздничный день за город, в чистое поле... Иди и иди все вперед, пока позади себя не увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую над Петербургом, а впереди прозрачную синеву горизонта... Стань тогда и помысли о себе... Таким ты покажешься себе маленьким, да ничтожным, да беспомощным, и вся столица в какой муравейник преобразится пред твоим мысленным взором, а люди – муравьями, копошащимися в нем!.. И куда денется тогда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти, прав, положения?.. И жалким, и никому не нужным, и всеми покинутым осознаешь ты себя... И вскинешь ты глаза свои на небо и *увидишь* Бога, и почувствуешь тогда всем сердцем своим, что один только у тебя Отец – Господь Бог, что только Одному Ему нужна твоя душа, и Ему Одному ты захочешь тогда отдать ее. Он Один заступится за тебя и поможет тебе. И найдет на тебя тогда умиление... *Это первый шаг на пути к Богу.*

Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад в мир и становись на свое прежнее дело, храня, как зеницу ока, то, что принес с собою.

Бога ты принес с собою в душе своей, умиление при встрече с Ним стяжал и береги его, и пропускай чрез него всякое дело, какое ты будешь делать в миру. Тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело, и не подвигами, а трудом своим *во славу Божию* спасешься.

А иначе труд во славу собственную, во славу твоим страстям, не спасет тебя. Вот это и есть то, что сказал Спаситель: "царство Божие внутри вас". Найди Бога и живи *в Нем и с Ним* и хотя бы в каждый праздник, или воскресение, хотя бы *мысленно* отрывайся от своих дел и занятий и, вместо того, чтобы ездить в гости, или в театры, едь в чистое поле, к Богу".

Распутин кончил. Впечатление от его проповеди получилось неотразимое, и, казалось бы, самые злейшие его враги должны были признать ее значение. Он говорил о *теории* богоугодной жизни, о том, чего так безуспешно и в разных местах искали верующие люди и, без помощи учителей и наставников не могли найти. Их не удовлетворяли общие ответы, им нужно было нечто конкретное, и то, чего они не получали от своих пастырей, то, в этот момент, казалось, нашли у Распутина.

Что нового, неизвестного людям, знакомым с святоотеческою литературою, сказал Распутин? Ничего!

Он говорил о том, что "начало премудрости – страх Божий", что "смирение и без дел спасение", о том, что "гордым Бог противится, а смиренным дает благодать" – говорил, словом, о наиболее известных каждому христианину истинах; но он облек эти теоретические положения в такую форму, какая допускала их опытное применение, указывала на конкретные действия, а не в форму философских туманов, со ссылками на цитаты евангелистов или апостольские послания.

Я слышал много разных проповедей, очень содержательных и глубоких; но ни одна из них не сохранилась в моей памяти; речь же Распутина, произнесенную 15 лет тому назад, помню и до сих пор и даже пользуюсь ею для возгревания своего личного религиозного настроения.

В его умении популяризировать Божественные истины, умении, несомненно предполагавшем известный духовный опыт, и заключался секрет его влияния на массы. И неудивительно, если истерические женщины, подобные О.Лохтиной, склонные к религиозному экстазу, считали его святым.

Глава LXIII. Аудиенция Государя Императора, данная Распутину, и впечатление, произведенное им на Царя

Первые шаги Распутина рождали, несомненно, двойственное впечатление. Для всякого, хотя бы только поверхностно знакомого с природою "старчества" и видевшего действительных "старцев", было ясно, что Распутин не принадлежит и не может принадлежать к ним. Этого не допускал прежде всего его образ жизни, позволявший ему проживать в столице и посещать своих многочисленных знакомых, тогда как настоящие "старцы" живут в монастырях и считают грехом покидать даже свою келию, а тем более выходить за ограду монастыря... При всем том, некоторые действия Распутина были положительно необъяснимы. Удостоверено, с несомненностью факта, несколько случаев исцеления им больных; известны его загадочные предсказания; общепризнанно и его влияние на болезнь Наследника Цесаревича...

Вот почему религиозный Петербург занял в отношении его среднюю позицию, теряясь в истинном представлении о нем и предпочитая относиться к нему скорее с доверием, чтобы "не согрешить" пред Богом, чем открыто порицать его. Многие попросту даже боялись Распутина и, не отрицая его влияния на окружающих, но не умея объяснить его, опасались осуждать Распутина.

Такой позиции держались и иерархи, в том числе и архимандрит Феофан, возведенный вскоре в сан епископа и назначенный ректором Петербургской Духовной Академии, а за ними и благочестивые миряне... Осуждали и бранили Распутина только религиозно индифферентные люди, которые одинаково недоверчиво относились даже к о. Иоанну Кронштадтскому, к епископу Феофану и к прочим подвижникам, не укладывавшимся в рамки их религиозного мирозерцания, точнее, рационализма. А мнение этих людей не только не колебало позиции, занятой Распутиным, а еще более укрепляло ее, вызывая протест против общего безверия и равнодушия к мистицизму со стороны тех, кто видел в

"старцах", "юродивых", "Божьих людях" лишь пережиток старины или отражение религиозного невежества. Неудивительно, что как иерархи, так и благочестивые миряне в своих отношениях к Распутину основывались на народной молве, а не на суждениях этих, ни во что не веровавших, людей. Говорят, что гораздо легче приобрести позицию "святого", чем удержаться на ней, и что нужно уже иметь много личных данных для того, чтобы оставаться на этой предельной высоте человеческой славы. Я думаю – наоборот.

С моей точки зрения, удержать позицию "святого" легче, чем приобрести ее, ибо от святого уже не требуется доказательств его святости: этого никто не смеет делать; ему верят на слово, не подвергая критике ни действий, ни поступков; всякий его шаг, всякая мысль, всякий поступок признаются выражением воли Божией; его наставления, советы и указания не только связывают, но и обязывают, и малейшее сомнение или недоверие к его святости трактуются уже как величайший грех. Даже в поступках, явно, казалось бы, идущих вразрез с моралью, или обычаем, усматривается отражение "юрродства", т.е. глубоко сокрытые цели, умышленно прикрытые обманчивою внешностью. Вот почему, когда в общество стали проникать дурные слухи о Распутине, то им неохотно верили и признавали в них умышленное желание опорочить "святого". Да и кто из верующих дерзнул бы первым разоблачить "святого" и тем признать свое нравственное превосходство пред ним?! История являла нам примеры, когда человечество проходило мимо своих святых и пророков, не замечая их, или побивало камнями и распинало тех, в чью святость не верило; но обратные примеры такого отношения к признанным святым наблюдались только у гонителей веры в Бога; но таковым никто не желал быть в этот период славы Распутина и доверия к нему со стороны наиболее благочестивых людей. Вот почему никакие выступления против Распутина, имевшие место позднее, со стороны официальных представителей власти, не имели и не могли иметь успеха, ибо являлись в глазах Государя выступлениями гонителей не Распутина, а гонителей веры...

От великокняжеских салонов до Царского Дворца расстояние не большое и Распутин быстро его перешагнул. Как, где и при каких условиях состоялось знакомство Царя и Царицы с Распутиным, я не знаю. По одной версии, его представил Их Величествам епископ Феофан; по другой – это знакомство состоялось через посредство Великой Княгини Милицы Николаевны... Какое впечатление произвел Распутин на Царя?

Та высокая стена, которая издавна отделяла Царский Двор от русского общества, неизбежно вызвала полное незнакомство последнего с обликом Царя. Придет время, когда история скажет, что никто из Предшественников Государя Николая II не делал больших усилий для того, чтобы разрушить средостение и приблизиться к народу, что никто более не старался разрушить эту стену... Вспомнит история и Императрицу Александру Феодоровну, это воплощение истинного христианского смирения и простоты, с такою любовью и доверчивостью протягивавшей Свои руки народу и отдавшей Себя безраздельно служению его нуждам...

Что представлял Собой Государь Император?

Это был прежде всего богоискатель, человек, вручивший Себя безраздельно воле Божией, глубоко верующий христианин высокого духовного настроения, стоявший неизмеримо выше тех, кто окружал Его и с которыми Государь находился в общении. Только безграничное смирение и трогательная деликатность, о которых единодушно свидетельствовали даже враги, не позволяли Государю подчеркивать Своих нравственных преимуществ пред другими... Только невежество, духовная слепота или злой умысел могли приписывать Государю все то, что впоследствии вылилось в форму злостной клеветы, имевшей своей целью опорочить Его, поистине, священное имя. А что это имя было действительно священным, об этом свидетельствует, между прочим, и тот факт, что один из социалистов-революционеров, еврей, которому было поручено обследование деятельности Царя, после революции, с недоумением и тревогою в голосе, сказал члену Чрезвычайной Следственной Комиссии А.Ф.Романову: "Что мне делать! Я начинаю любить

Царя"... Не повторение ли это слов разбойника на Голгофе?! Не голос ли Иуды: "распяли Кровь Неповинную?!"

Эта высокая стена между Царским Двором и обществом, благодаря которой приезд ко Двору имели только официальные лица и те немногие из частных лиц, благонадежность которых была вне сомнений, свидетельствуют о том, что первая аудиенция, данная Царем русскому мужику, была возможна при условии наделения этого мужика какими-либо необычайными свойствами и совершенно исключительными качествами. И это было сделано, кстати сказать, теми, кто, впоследствии, корил Царя за то, что Царь им поверил. Кто знал Государя Императора Николая II, точнее, кто умел распознать за декорациями царского сана Его действительный облик "человека", тот знал и то, насколько Государь тяготился Своим высоким званием Монарха, насколько родственна Его духу была та религиозная атмосфера, какая окружала людей, презревших все блага мира и живущих идеей спасения души; тот знал и то, какую скорбью омрачалась душа Государя при мысли о том, что Он не может, подобно Своим подданным, отдаться всецело Своим духовным влечениям и хотя бы посетить обители, прославленные жизнью подвижников.

Я помню тот глубокий вздох, какой вырвался из груди Государя, сказавшего мне, что даже поездка на Валаам, куда Государь стремился, не могла состояться из-за политических причин. Помню и рассказ о том, какими трудностями было обставлено свидание Царя и Царицы с Пашею Саровскою, в Дивееве, и то воодушевление, с каким Государь рассказывал о Своих впечатлениях от этого свидания... Само собою разумеется, что Распутин, коему предшествовала громкая слава "старца", имя которого гремело в Петербурге и о котором Государь постоянно слышал восторженные отзывы от окружающих, в том числе от иерархов и даже Своего духовника, произвел на Государя сильное впечатление. Неизбалованный любовью общества, видя вокруг Себя измену и предательство, тяготясь придворною сферою, с ее ложью и лукавством, Государь сразу же проникся доверием к Распутину, в котором увидел прежде всего воплощение русского крестьянства, какое так искренно и глубоко любил, а затем и "старца", каким его сделала народная молва. Такому впечатлению способствовала, конечно, и манера Распутина держать себя. Я подчеркивал уже эту манеру, когда говорил, что Распутин совершенно не реагировал на окружающую обстановку, которая несколько его не связывала, и держал себя совершенно свободно, не делая различия между людьми. Сопоставляя отношение к Себе со стороны придворных кругов, проникнутых единственной целью произвести выгодное впечатление на Государя и, в стремлении достигнуть эту цель, не брезгавших никакими средствами, Государь невольно делал вывод в пользу Распутина, усматривая в его угловатости и даже бесцеремонности лишь выражение его простодушия и искренности. Идеология Распутина была, конечно, несложной и заключала в себе обычные представления русского крестьянина о Боге-Карателе и Царе – источнике милости и правды. Любовь Распутина к Царю, граничившая с обожанием, была действительно непритворной, и в признании этого факта нет противоречий. Царь не мог не почувствовать этой любви, какую оценил вдвойне, потому что она исходила от того, кто являлся в Его глазах не только воплощением крестьянства, но и его духовной мощи... Да и не было у Государя оснований отнестись к Распутину иначе. Менее всего мог Государь предполагать, что те люди, которые ввели Распутина во Дворец, умышленно наделили его теми качествами, которых он не имел! Дальнейшее поведение Распутина при Дворе только укрепило его позицию, ибо он не злоупотреблял доверием Государя, а, наоборот, увеличивал его, проявляя изумительное для крестьянина бескорыстие, отказываясь от Царских даров и всяких привилегий, с единственною целью не поколебать в глазах Государя позиции "старца", на которой стоял и *с которой во Дворце никогда не сходил*. С этой целью Распутин и воздерживался от политического общения с Государем, опасаясь выходить за пределы религиозной сферы, отведенной "старцу". Между Государем и Распутиным возникла связь на чисто религиозной почве. Государь видел в нем только "старца" и, подобно многим искренно религиозным людям, боялся нарушить эту связь

малейшим недоверием к Распутину, чтобы не прогневать Бога. Эта связь все более крепла и поддерживалась столько же убеждением в несомненной преданности Распутина, сколько, впоследствии, и дурными слухами о поведении Распутина, которым Государь не верил, как потому, что они исходили от неверующих людей, так и потому, что они неслись из Государственной Думы, удельный вес которой, понятно, не мог быть высоким в глазах Государя...

Глава LXIV. Родители Государыни Императрицы Александры Феодоровны

Какое же впечатление произвел Распутин на Императрицу?

Мы поймем это впечатление только тогда, когда ознакомимся с духовным обликом Ея Величества, с наследственными чертами, унаследованными Государыней Императрицей от родителей, с обстановкою ее родительского очага, с заложенными в раннем детстве духовными основами.

Духовный облик Ея Величества очень ярко и выпукло выясняется из кощунственно опубликованной переписки Императрицы с Государем Императором, а заложенные в детстве духовные основы – из переписки матери Ея Величества, Великой Герцогини Алисы Гессенской, с королевой Английскою Викторией, матерью герцогини, в промежуток между 1864 и 1878 гг. Переписка эта была издана в 1886 году, спустя 8 лет после смерти Великой Герцогини, и составила книжку под заглавием: "Алиса, Великая Герцогиня Гессенская и Рейнская, Принцесса Великобритании и Ирландии. Сообщения из ее жизни и писем. Дармштадт, 1886 г"...

К рассмотрению этой последней книжки я и хочу перейти.

Как ни скуден этот материал, однако он дает возможность достаточно ярко обрисовать как духовный облик матери Государыни Александры Феодоровны, так и наследственные черты Императрицы, условия и обстановку Ее детства, природу Ее характера, и потому, прежде чем перейти к рассмотрению писем Императрицы к Государю, необходимо на нем остановиться. Духовный склад человека складывается в раннем детстве, и условия семейной обстановки часто определяют черты характера, склонности и убеждения. В этом отношении Великая Герцогиня Алиса находилась в исключительно счастливых условиях, унаследовав от своих родителей, королевы английской Виктории и принца Альберта, те черты, какие отнесли ее к числу не только образованнейших женщин своего времени, но и христианских подвижниц и вызвали самое неподдельное и глубокое преклонение, о котором и доныне свидетельствует поставленный ей памятник в Дармштадте.

Относясь с трогательной любовью к своей матери, королеве Виктории, как видно из каждого письма цитируемой нами книги. Великая Герцогиня благоговела пред памятью отца, принца Альберта, который был идеалом ее жизни. Вот какими словами рисует она облик своего отца:

"Чем старше я становлюсь, тем совершеннее, возвышеннее и благороднее стоит пред моею душою облик моего отца. Жизнь, с такою радостью и смирением отданная только служению долгу, является во всяком случае чем-то невыразимо прекрасным и великим. И каким он был всегда нежным, любвеобильным и ясным! Я никогда не могу говорить о нем с другими, которые его знали, без того, чтобы слезы, как и сейчас, не выступали на глазах. Он был и остался моим идеалом. Я никогда не знала никого, кого можно было бы поставить с ним рядом, и который был бы так любим и достоин удивления". ("Алиса...", стр. 360.)

В письме от 12 декабря 1867 года, Великая Герцогиня пишет своей матери:

"Дорогой и любимый отец есть и всегда будет бессмертен. То хорошее, что он сделал, те большие идеи, какие он распространил по свету, его благородный и самоотверженный пример, какой он дал, будут жить так же, как и он сам, в чем я убеждена, как один из лучших, чистейших и богоподобных людей, явившихся в мир. И теперь, и в будущем его пример будет возвышать и заставлять других стремиться к высшим целям, и я уверена, что дорогой отец не даром прожил свою жизнь"... (Там же, стр. 205.)

В дальнейшем раскрывается такая идиллия семейной жизни родителей Великой Герцогини, такая пламенная любовь между ними, которая создавала совершенно особую благодатную атмосферу домашнего очага, в условиях которого росла и воспитывалась мать будущей русской Императрицы, под сенью которого зарождались, созревали и крепили ее духовные основы и особенности ее духовного склада. Процесс ее духовного развития не нашел, к сожалению, отражения в цитируемых нами письмах, так как последние были написаны уже после того, как этот процесс закончился, и духовный склад Великой Герцогини вполне определился. Но характер этого последнего обрисовывается в письмах очень ясно и свидетельствует о тех особенностях духовного облика Великой Герцогини, какие почти целиком перешли по наследству к ее дочери, Императрице Александре Феодоровне. Великая Герцогиня получила глубокое и разностороннее образование. Об этом свидетельствуют выдержки из ее писем, где имеются указания на те книги, какие она читала и какими интересовалась.

"Я как раз читаю книгу г. фон-Арнета, содержащую письма Марии Терезии к Марии Антуанетте за 1770-1780 гг". (стр. 93.)

"Я читаю очень много серьезных книг..." говорит Великая Герцогиня в письме от 31 мая 1865 года (стр. 103). В одном из последующих писем, вероятно отвечая на вопрос матери, Великая Герцогиня останавливается и на подробностях: "Я читаю сейчас одно из замечательно интересных произведений "Истории Англии, Паули", по-немецки, которая начинается с Венского конгресса 1815 г. и кажется мне очень обстоятельной и достоверною. Она содержит в себе и очерк царствования Георга III и так хорошо написана, что едва можно оторваться от нее" (стр. 107).

Далее, указывая на свой преимущественный интерес к историческим и научным произведениям, Великая Герцогиня говорит о своем знакомстве с учеными, от которых она получала книги для чтения и с которыми вместе читала.

"Я читаю очень много, особенно исторические и научные произведения, и имею несколько ученых знакомых, с которыми вместе читаю или которые дают мне книги" (стр.260).

Одним из них был знаменитый Фридрих Давид Штраус, с которым Великая Герцогиня познакомилась осенью 1868 года и которого приблизила к себе, не прерывая с ним общения в течение всего времени жизни Штрауса в Дармштадте (стр.247).

При всем том, справедливость требует отметить, что главный интерес Великой Герцогини сосредоточивался, все же, на книгах религиозного содержания. Издатель писем Великой Герцогини, лично ее знавший, говорил в своем послесловии к книге, что все ее столы были покрыты книгами религиозного содержания на всех языках.

"Я вспоминаю, что все ее столы были покрыты книгами религиозного содержания на всех языках и что некоторые из них она одоуждала мне" (стр. 419).

Об этом, впрочем, свидетельствует и сама Великая Герцогиня, упоминая часто о проповедях Робертсона, какие производили на нее такое неотразимое впечатление, что она считала их наилучшими среди всех прочих, какие знала (стр. 384). Эти проповеди, какие обыкновенно читались по воскресениям вслух (стр. 103), отрывали Великую Герцогиню от повседневных забот, подчас очень тяжелых, и, наряду с прочими условиями, о которых будет сказано ниже, возносили ее душу к Богу.

С впечатлением от проповеди "Безвозвратное Прошедшее" (т. II. стр. 22) Великая Герцогиня делится в письме к матери от 31 мая 1865 года и описывает его такими словами:

"По воскресениям мы читаем проповеди Робертсона. Во второй части есть проповедь: "Невозвратное Прошедшее" для молодежи, такая подбодряющая, такая полезная. Людвиг (Великий Герцог Людвиг IV, супруг герцогини Алисы) читал ее мне после возвращения своего из Шверина на похороны Анны (Великая Герцогиня Мекленбург-Шверинская, сестра Людовика IV скончавшаяся 16 апреля 1865 года). В самом деле, какая короткая жизнь, и как ощущаешь эту неизвестность жизни и необходимость в работе, самоотвержении, христианской любви и всяких добродетелей, к которым мы должны

стремиться. О, если бы я могла умереть, только закончив всю мою работу, без того, чтобы не согрешить против Добра, – ошибка, в которую легче всего впасть. Так как наша жизнь протекает спокойно, то есть много времени, чтобы серьезно все обдумать, и я сознаю, что ужасно видеть, как часто приходится падать и как незначительны успехи в самоусовершенствовании" (стр. 103).

Не только наука и литература занимали Великую Герцогиню. Живопись и музыка, в области которых она достигла таких успехов, какие позволяли ей выставять картины на выставках и принимать участие в домашних концертах наряду с первоклассными артистами, также наполняли ее досуги:

"Общение с известнейшими людьми каждой специальности, будь то художники, ученые или представители технических знаний – было ее потребностью. Она любила вникать в сущность вопроса и обнаруживала чисто немецкое отношение к научной работе. Из искусств она особенно любила и упражнялась в живописи и музыке. В обоих она возвышалась значительно над обычным уровнем дилетантов. Она рисовала легко, уверенно и сильно с ярко выраженным талантом в области композиции и с богатейшей изобретательностью. Она рисовала с тонким знанием созвучия красок, особенно счастливые морские сюжеты. В музыке она достигла такого совершенства, что преодолевала труднейшие страницы, и здесь ее вкус, как и во всякой другой области, был строго классическим. Среди прочих – Бах, Бетховен, Мендельсон, Брамс – были ее любимцами" (стр. 417).

Однако, при всем том, было бы ошибочным сделать вывод, что Великая Герцогиня вращалась только в области отвлеченных интересов. Напротив, это была натура деятельная, энергичная, независимая и самостоятельная, не только не терявшаяся при встречах с жизненными испытаниями и невзгодами, но и умевшая указывать другим выходы из положения.

"При всей склонности к чисто теоретическому научному рассматриванию окружающих явлений, что так отличало ее, она имела практический ум. В моменты опасности, предъявлявшие к ней свои наибольшие требования, ее силы, казалось, только вырастали. Здесь сказывалась природа истинной властительницы, которая остается спокойною и тогда, *когда все вокруг теряют голову*" (стр. 416).

Эта последняя черта, источник которой коренился в недрах религиозного сознания Великой Герцогини, была наиболее характерной, и на ней следует остановиться подробнее. Религия была для Великой Герцогини не только теоретическим, внутренним исповеданием веры, не только живым делом, которому она отводила главное место в жизни, но и опорой этой жизни, советником и другом, с которым Великая Герцогиня никогда не разлучалась, который все знает и понимает, никогда не изменит и не обманет, с которым не страшно ни при каких условиях и обстоятельствах. Религия не только проникала в толщу ее повседневных занятий, налагая конкретные, подчас очень тяжелые обязательства, но и заставляла Великую Герцогиню искать дел, отвечающих религиозным требованиям, что сделалось потребностью ее религиозного чувства. В этом отношении Великая Герцогиня была бессознательно проникнута духом Православия, и те формы, в каких находило свое выражение ее религиозное сознание, были чрезвычайно близки и родственны Православию и так ярко подтверждали основное положение о единстве пути к Богу и единстве ощущений, идущих этим путем, тождестве перспектив.

"Вера в Бога!" Всегда и беспрестанно я чувствую в своей жизни, что это – моя опора, моя сила, какая крепнет с каждым днем. Мои мысли о будущем светлы, и теплые лучи этого света, какой является нашим спутником в жизни, разгоняют испытания и скорби настоящего" (стр. 37).

Такая живая, деятельная вера не могла, конечно, не переставлять точек зрения на окружающее, на задачи и отношение к ним, и понятно, почему Великая Герцогиня называет земную жизнь только странствованием, приготовлением к загробной жизни, и видит родину на небе.

"Вся наша жизнь должна быть приготовлением и ожиданием вечности"... – говорит она в письме от 24 июля 1865 года (стр.109). Далее, "Жизнь – только странствование", (стр.137). "Жизнь – это такое странствование, и так неизвестна его длительность, что легко забываются и переносятся все маловажные заботы и огорчения, когда думаешь, для чего живешь" (стр. 154). "Родина – там" (стр. 408).

И Великая Герцогиня не только не забывала о своем христианском долге, не только рассматривала сквозь призму его все окружающее, но и следила за своим духовным ростом, работала над собою, не теряла связи с небом. Благодарная за ниспосылаемые Богом милости. Герцогиня сознавала, как мало достойны люди этих милостей, как мало дают Богу взамен их, и, в письме от 30 декабря 1865 г., пишет:

"Грустно подумать, как пробегают часы нашей жизни и как мало сделано добра в сравнении с теми неисчислимыми благословениями, какие выпали на нашу долю" (стр. 120).

Отношение ее к скорбям и испытаниям отражало глубокое понимание психологии и ничем не расходилось с точками зрения, установленными нашей святоотеческою литературою, конечно, незнакомой Великой Герцогине. Такое совпадение несколько не удивительно, ибо все, идущие верным путем к Богу, видят и знают одно и то же.

"Милосердие Божие действительно велико, и Он посылает бальзам на израненное, истерзанное сердце, чтобы дать ему облегчение и, посылая нам испытания, учит нас тому, как мы должны переносить их" (стр. 212).

Таков был духовный склад Великой Герцогини, содержание ее внутренней духовной сущности. Как же выражалась такая сущность во вне, в какие внешние формы воплощалась в жизнь?! Цитируемая нами книга дает обстоятельный ответ и на этот вопрос.

Я уже указывал на то, что эти формы были очень родственны Православию. К этому можно добавить, что Великая Герцогиня глубоко усвоила себе и самую идею подвига и стремилась к нему, столько же ради того, чтобы помочь ближнему, сколько и во имя христианского долга. Об этом свидетельствует, между прочим, и пространное письмо от 5 марта 1864 года, в котором Великая Герцогиня описывает один из таких подвигов, умоляя мать никому об этом не рассказывать: "... но прошу тебя никому ничего не говорить, ибо ни одна душа здесь ничего об этом не знает, кроме Людвига и моих дам" (стр. 71).

Уход за ранеными и больными в лазаретах и больницах и посещение разного рода благотворительных учреждений и приютов нищеты входили в программу каждого дня. Великая Герцогиня не ограничивалась существующими учреждениями, но и открывала новые, обращая особое внимание на беспомощное положение престарелых, лишенных возможности личным трудом зарабатывать себе средства к жизни. Помощью со стороны таких учреждений пользовались не только живущие в них, но и те бедные, которые, за недостатком места, оставались на городских квартирах и ютились на чердаках и в подвалах. Эти последние были особенно близки сердцу Великой Герцогини и она нередко лично посещала их. И цель, и результаты таких посещений, как видно из приводимого письма, резко отличались от обычных. Как-то однажды Великая Герцогиня, в сопровождении своей придворной дамы, отправилась "incognito" к одной бедной прачке, жившей в трущобах старой части Дармштадта. Много усилий потребовалось, прежде чем Великая Герцогиня отыскала ее, пройдя маленький грязный двор и поднявшись по темной лестнице на чердак. Там она застала бедную больную женщину, лежавшую вместе с маленьким Baby на кровати. Тут же находились и ее муж и еще четверо ребят. Муж не имел заработка, а дети были так малы, что не ходили даже в школу и не могли служить подспорьем для родителей, и в семье царила страшная нужда, так как имелось всего 4 крейцера. Великая Герцогиня отослала из помещения придворную даму и детей и, вместе с мужем, сварила бедной женщине обед, взяла у нее дитя, которому промыла больные глаза, привела в порядок постель, убрала помещение и, два раза посетив больную, оставила ее лишь после того, как облегчила ее горе и нужду и оказала действительную помощь ближнему. Письмо заканчивается такими словами: "Это было очень полезно для сердца найти в обстановке

такой нищеты столь верное ощущение. Подумай только, какое бедствие и злой рок! Когда никогда не видишь настоящей бедности и всегда вращаешься в придворной среде, чувство сердечности охладевает, и я чувствую потребность делать то малое добро, что в моих силах" (стр. 71-72).

В другой раз Великая Герцогиня, спустившись в подвал и застав там еще более тяжелую картину, потребовала горячей воды и, засучив рукава, собственноручно вымыла кучу белья, сваленную в углу.

Подобных случаев в жизни Герцогини было много, и все они свидетельствуют о том, что идею христианской помощи ближнему она связывала с личными трудами и подвигами... Там же, где подвиги, там смирение, и в этом отношении жизнь Великой Герцогини дает очень много характерных иллюстраций. Трудовой день Герцогини начинался в 6 часов утра и заканчивался после 10 часов вечера (стр. 51). "Жизнь дана для работы, а не для наслаждения" пишет Великая Герцогиня к матери 29 Августа 1866г. (стр. 157); а в чем заключалась эта работа, мы видели из предыдущего, когда отмечали, что, с точки зрения Великой Герцогини, земная жизнь должна быть только приготовлением к вечности, к загробной жизни. Таков духовный облик матери Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

Обратимся теперь к отцу Императрицы, Великому Герцогу Гессенскому Людвигу IV.

Облик отца, поскольку он находит свое отражение в письмах Великой Герцогини, рисуется в чрезвычайно привлекательных красках. Смелый, бесстрашный полководец на войне, рассудительный, спокойный и умный государственный деятель. Великий Герцог был в то же время и редким семьянином, любящим мужем и отцом, для которого семейный очаг был не только главным, но и единственным местом отдыха. Между супругами царило не только трогательное единодушие, но и нежная взаимная любовь и уважение, и Великая Герцогиня, считая свой брак одним из самых счастливых на земле, часто писала своей матери о том, что не знает даже, чем заслужила такое счастье и за что Господь изливает на нее Свои милости в таком изобилии. В письме от 24 июня 1862 г. Великая Герцогиня пишет:

"Когда я говорю, что люблю своего мужа, то это едва достаточно; здесь и любовь и уважение, какие увеличиваются с каждым днем и часом, и какие и он, со своей стороны, выражает мне так нежно и любовно. Чем была моя жизнь раньше в сравнении с настоящей!.. Это – такое святое ощущение быть его другом, чувствовать такую уверенность, и когда мы вдвоем, то имеем тот мир, какого никто не может ни отнять от нас, ни нарушить. Моя судьба действительно благословенна, но, все же, что же я сделала, чтобы заслужить такую горячую и усердную любовь, какую дает мне мой дорогой Людвиг! Я восхищаюсь его добрым и благородным сердцем больше, чем могу сказать. Как он меня любит – ты знаешь, и он будет тебе хорошим сыном. Каждый день он читает мне "Westward ho", и я нахожу это восхитительным и интересным. Я всегда так нетерпелива, пока не услышу его шагов по лестнице и не увижу его милого лица, когда он возвращается домой" (стр.31).

В письмах к матери, Великая Герцогиня часто останавливается на своих чувствах к мужу и в письме от 9 Декабря 1867 года, между прочим, пишет:

"Когда Людвиг дома и свободен, ... тогда я имею все, что мне может дать весь мир, ибо я никогда не бываю счастливее, чем тогда, когда нахожусь возле него, и время только увеличивает наше единение и все теснее привязывает друг к другу" (стр.204).

Такое духовное сродство было возможно, конечно, только при общности религиозного мировоззрения супругов, создававшего общие идеалы и стремления. Религия протестанта, чуждая мистических отвлечений, проникала в глубокие недра жизни Великого Герцога, и он ни на минуту не забывал не только о своих обязанностях христианина, но и о том, что, по своему положению, обязан был идти впереди прочих, подавая пример отношения к христианскому долгу другим. В этом отношении вся жизнь Великого Герцога была соткана из целого ряда мелких, единичных фактов, составлявших обычное содержание каждого дня

и рисовавших величие его души... Очень характерный случай описывается Великой Герцогиней в письмах от 17 Августа 1874 года из Blankoberghe:

"Вчера Людвиг спас одну утопавшую. Он купался – волны поднимались высоко; вдруг он услышал крик о помощи и увидел, как одна из купавшихся боролась с волнами, выбиваясь из сил... Ее муж пробовал спасти ее, но захлебнулся и выпустил ее из рук, тоже и шурин; тогда Людвиг, набравшись сил, сделал попытку схватить ее, но она выскользнула из его рук, и волна снова выбросила ее на поверхность. Людвиг выждал, пока новая волна приблизила к нему утопавшую, и, схватив ее крепко за руку, выплыл с нею на берег, до крайности истощенный... Я не была уже в озере, ибо волны были так ужасны, что я часто теряла дно и, из боязни несчастья, вышла раньше на берег. Утопавшая оказалась г-жею И.Злиго, шотландкой, и она только написала мне письмо, прося поблагодарить Людвиг за спасение ее жизни" (стр. 354).

Частная жизнь Великогерцогской четы поражала своею скромностью и ничем не отличалась от жизни людей среднего круга и достатка. Официальные приемы были редки, и ими одинаково тяготились обе стороны. Часы досуга Великогерцогская чета проводила в кругу семьи, отвлекаясь от нее или заботами о помощи ближним, что обязывало к посещению разного рода благотворительных учреждений, или вынужденными приемами официальных лиц. Таков был общий фон семейного очага, под сенью которого росли и воспитывались их дети. Как же относились к ним родители, каковы были взгляды их на задачи воспитания детей?..

Письма Великой Герцогини отвечают и на этот вопрос.

В письме, от 25-го Июня 1870 года, к матери, имеется характерное указание:

"Я чувствую буквально то же, что и ты, относительно различия положений и то, как важно князьям и княжнам знать, что они ничем не лучше прочих людей, хотя и стоят выше их, и что это положение налагает на них двойную обязанность жить для других и подавать им пример быть добрыми и скромными, и я надеюсь, что мои дети вырастут такими" (стр.262).

На этом основном фундаменте Великая Герцогиня строила все здание воспитания своих детей и зорко следила за тем, чтобы сделать их "... свободными от всякой гордости своим положением... которое, без того, что составляет их внутренняя сущность, само по себе ничего не стоит" (стр. 261).

Среди найденных после смерти Великой Герцогини писем имеется одно, заготовленное для будущего воспитателя ее сына, герцога Эрнеста-Людвига, написанное за неделю до ее смерти. Давая руководственные указания воспитателю, Великая Герцогиня говорит, что ее сын должен быть "... благородным человеком в полном смысле этого слова, без княжеских капризов, скромным, не эгоистом, отзывчивым, со всеми качествами, к развитию которых стремится английский метод воспитания: сознанием долга, чувством чести и любви к правде, почитанием Бога и законов, что одно дает истинную свободу" (стр. 409).

И умная мать успешно достигала намеченных целей. Об этом свидетельствует, между прочим, и письмо от 25-го декабря 1867 года.

Еще более характерную иллюстрацию взглядов Великой Герцогини на задачи воспитания детей мы находим в ее письме от 14 июня 1871 года, в котором она пишет:

"Все мои дети - друзья природы, и я стремлюсь развить это, поскольку это в моих силах, Это обогащает жизнь и всегда будет важно, когда они будут в состоянии отыскивать и находить вокруг себя тысячи красот и чудес природы. Они счастливы и довольны, и я всегда нахожу, что чем меньше людей подле них, тем меньше они в них нуждаются, и то, что они имеют, доставляет им только большую радость. Я воспитываю своих детей просто, с наименьшими потребностями, и учу их во всех случаях служить самим себе и заботиться о других, чтобы сделать их самостоятельными"... (стр.291).

С большим вниманием следила за воспитанием своих внуков и королева Виктория, которая, как видно из письма Великой Герцогини от 16-го ноября 1874 года,

придерживалась весьма строгих методов воспитания, не допускала того, чтобы детей баловали и уделяли им слишком много внимания. По этому вопросу между матерью и дочерью возникала обширная переписка, причем Великая Герцогиня оправдывалась от подозрений в излишней заботливости о детях и подтверждала, что добросовестно следует указаниям матери, стараясь развивать в детях самостоятельность и независимость, для чего избегала частого общения с детьми и навлекала на себя даже жалобы со стороны мужа, находившего, что она уделяет своим детям слишком мало времени (стр. 258-359).

Тем не менее, однако, заботы о детях заставляли Великую Герцогиню интересоваться даже медицинской литературой и приобретать специальные познания, чтобы иметь возможность оказать нужную помощь до прихода врача (стр. 93-94). Самый тщательный уход за здоровьем детей не мог, однако, предотвратить последствий той болезни, какая была, нужно думать, наследственной в семье Великого Герцога. Эта болезнь, "гемофилия", передаваясь мужскому поколению, выражалась в том, что кровь гемофилитика не имела свойств сгущаться, как у нормального организма: стенки артерий и вен больного были до того хрупки, что всякий ушиб или даже чрезмерное усилие могли вызвать разрыв сосудов и повлечь за собою кровоизлияние со смертельным исходом. Болезнь унаследовал младший сын Великой Герцогини Frittie, скончавшийся в детстве от кровоизлияния, явившегося последствием неосторожного ушиба. Болезнь ребенка причиняла жестокие страдания матери, и в письме от 1-го февраля 1873 года Великая Герцогиня описывает один из бывших случаев кровотечения из уха, настолько сильного, что никакие средства не могли остановить его в течение суток (стр. 323-324).

Часы досуга проходили или в чтении духовных книг, или в молитве, причем эти молитвы являлись не только возношением души к Богу, в моменты отрешения от обычных дел и занятий, а как бы самостоятельным и нужнейшим делом. Великая Герцогиня молилась вместе со своими детьми, приучая их к религиозному мышлению, вырабатывала у них определенное религиозное мировоззрение и особенно внимательно следила за тем, чтобы дети не ограничивались лишь теоретическим исповеданием веры, а воплощали бы религию в жизнь. Поэтому, не довольствуясь обычными утренними и вечерними молитвами, Великая Герцогиня приучала детей, между прочим, и к духовным песнопениям и вместе с ними пела духовные песни, относя это занятие к числу важнейших дел каждого дня. Здесь сказался очень тонкий психологический прием, коим мудрая мать желала подчеркнуть, что ведь мало верить, а нужно иметь и мужество всегда и при всяких случаях исповедовать свою веру, не нужно стыдиться ее, что обычно наблюдается в детском возрасте, а затем входит в привычку.

"Я чувствую потребность молиться. Я охотно пою духовные песнопения с моими детьми, и каждый из них имеет свое любимое песнопение" (стр. 419).

Таково было настроение, общий фон и характер родительского очага Императрицы Александры Феодоровны...

Кратки и отрывочны эти сведения; они не охватывают даже в полном объеме содержания цитированной мною книги, не касаются одного из важнейших данных, способного пролить свет на психологию той внутренней борьбы в области религиозной, какую вела Великая Герцогиня и о которой в упомянутой нами книге имеются лишь отдаленные намеки в послесловии от издателя: "Как ни ясны и безошибочны были ее взгляды в области религиозной практики, как ни часто она обращалась каждый раз, в горе и нужде, к словам Священного Писания, что так согласовалось с ее настроением, однако приходилось выдерживать жестокую борьбу с теоретическими сомнениями, и кажется, что эта борьба была долголетней" (стр. 418).

История восполнит недостающее, а благодарное потомство, воздвигнувшее Великой Герцогине великолепный памятник в Дармштадте, озаботится, в свое время, опубликованием и тех данных, какие сейчас сосредоточены в архивах Великогерцогского Двора и известны лишь близким и какие озарят еще большим сиянием светлый облик родителей Государыни Императрицы Александры Феодоровны.

Глава LXV. Прибытие Государыни Императрицы Александры Феодоровны в Россию и ее первые впечатления

Государыня Императрица Александра Феодоровна была четвертою дочерью Великого Герцога Гессенского Людвига IV и его супруги, герцогини Алисы, и родилась 6-го июня 1872 года. В числе восприемников при крещении были Император Александр III, тогда Наследник Цесаревич, и Его Супруга Императрица Мария Феодоровна, и этот факт давал окружающим повод называть новорожденную принцессу Алису будущей русской Императрицей. А.А.Танеева, в своих воспоминаниях, рассказывает, что во время посещения Государыней Императрицей Марией Александровной Дармштадта в семидесятых годах, Великая Герцогиня Гессенская Алиса привела показать ей всех своих детей и принесла на руках и маленькую принцессу Алису. Императрица Мария Александровна, обернувшись к своей фрейлине, баронессе Пилар, произнесла, указывая на принцессу: "Baisez lui la main: elle sera votre future Imperatrice". (Страницы из моей жизни, А.А. Танеевой (Вырубовой). Русская Летопись, кн. IV, стр. 24). Такое убеждение, с раннего детства привитое принцессе, сделалось настолько всеобщим и до того прочно укоренилось при Гессенском Дворе, что впоследствии проникло и в ее сознание и, может быть, было первым толчком, родившим у нее тот интерес к России и ко всему русскому, какой затем превратился в горячую любовь к ее новой Родине и позволил ей сказать: "Я более русская, чем многие другие" (Письмо Ея Величества к Государю Императору, №355, т. II, стр. 187).

С раннего детства принцесса Алиса стала обнаруживать склонность к сосредоточенности и самоуглублению и заметно выделялась среди детей своего возраста. Ее детская душа бессознательно тянулась к Богу и жила в атмосфере религиозной мысли, и принцессу называли в семье не иначе, как "Das Light der Welt" и "Sonnenschein". Последнее прозвище утвердилось за нею и сопутствовало ей в течение всей ее последующей жизни. 6-ти лет от роду, принцесса Алиса лишилась своей матери, и ее последующие годы протекали, главным образом, при дворе Английской Королевы. Об этом периоде ее жизни мы не имеем, к сожалению, никаких сведений; однако несомненно, что при Английском Дворе царила та же атмосфера, и основы, заложенные в семье родителей, получали лишь дальнейшее свое развитие.

12-ти летней девочкою, Императрица Александра Феодоровна в первый раз приехала в Петербург на свадьбу своей сестры, Великой Княгини Елизаветы Феодоровны, и познакомилась с Наследником Цесаревичем, Николаем Александровичем, которому в то время было 16 лет. А.А.Танеева рассказывает, в своих воспоминаниях, об одном эпизоде из жизни маленькой принцессы Алисы в этот период. Наследник подарил ей, однажды, маленькую брошку. Принцесса сперва приняла ее, но потом раздумала, полагая, что не должна была принимать подарка. Не зная, как вернуть подарок, чтобы не обидеть Наследника, принцесса, на детском балу, в Аничковом Дворце, потихоньку втиснула брошку в руку Наследника, который был очень огорчен этим и подарил эту брошку своей сестре (стр. 24).

С годами увлечение росло; но принцессе, нужно думать, приходилось выдерживать борьбу со своим чувством, ибо, как при Английском Дворе, так и при Гессенском, относились несочувственно к перемене религии. Об этом свидетельствует письмо Великой Герцогини Алисы от 12-го ноября 1872 года, написанное по поводу предполагавшегося брака Великого Князя Владимира Александровича с принцессою Марией Мекленбург-Шверинской:

"Die Kaiserin von Rubland schrieb neulich, dab die Verbindung mit Marie von Mecklenburg ganz unmöglich ist, da sie ihren Glauben nicht wechseln will. Ich hoffe, alle anderen deutschen Prinzessinnen werden ihrem Beispiele folgen" (Alice, стр. 313).

Столь же определенными были точки зрения на вопрос и при Английском Дворе. Однако, к тому времени, когда принцесса Алиса сделалась невестою Наследника

Цесаревича, колебаний уже не было, ибо принцесса успела уже настолько глубоко ознакомиться с Православием, что перемена религии перестала страшить ее.

Вот какими словами описывает А.А.Танеева первые впечатления принцессы Алисы, по приезде ее в Россию, в качестве Цесаревны:

"В это время смертельно заболел Император Александр III, и ее вызвали, как будущую Цесаревну, в Крым. Императрица с любовью вспоминала, как встретил ее Император Александр III, как он надел мундир, когда она пришла к нему, показав этим свою ласку и уважение. Но окружающие встретили ее холодно, в особенности, рассказывала она, княжна А.А. Оболенская и графиня Воронцова. Ей было тяжело и одиноко: не нравились шумные обеды, завтраки и игры собравшейся семьи, в такой момент, когда там, наверху, доживал свои последние дни и часы Государь Император. Затем переход ее в Православие и смерть Государя. Государыня рассказывала, как она, обнимая Императрицу-Мать, когда та отошла от кресла, на котором только что скончался Император, молила Бога помочь ей сблизиться с Нею. Потом длинное путешествие с гробом Государя по всей России, и панихида за панихидой. "Так я въехала в Россию, – рассказывала она. – Государь был слишком поглощен событиями, чтобы уделять мне много времени, и я холодела от робости, одиночества и непривычной обстановки. Свадьба наша была как бы продолжением этих панихид, только что меня одели в белое платье". Свадьба была в Зимнем Дворце. Те, кто видели Государыню в этот день, говорили, что она была бесконечно грустна и бледна.

Таковы были въезд и первые дни молодой Государыни в России. Последующие месяцы мало изменили ее настроение.

Своей подруге, графине Рантцау (фрейлине Принцессы Прусской), она писала: "Я чувствую, что все, кто окружает моего мужа, неискренни, и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат ему из-за карьеры и личной выгоды, и я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что мой муж очень молод и неопытен, чем все пользуются". Государыня целыми днями была одна. Государь днем был занят с министрами; вечера же проводил со своей матерью (жившей тогда в том же Аничковом Дворце), которая в то время имела большое на него влияние. Трудно было молодой Государыне первое время в чужой стране. Каждая молодая девушка, выходя замуж и попав в подобную обстановку, легко могла бы понять ее душевное состояние. Кажущаяся холодность и сдержанность Государыни начались с этого времени почти полного одиночества, и ее находили неприветливой.

Кто не стоит в стороне от жизни и в цепи случайных, отрывочных фактов видит отражение того, что они действительно выражают, тот увидит в этом кратком отрывке лишь кусочек общей грандиозной картины, скрывавшей подпольную работу преступников, толкавших Россию навстречу ее ужасному будущему. Не пришло еще время, которое бы открыло глаза ослепленному человечеству на работу того "Незримого Правительства", задачи которого заключаются в ликвидации христианства и гибели вековой христианской культуры. Работа эта ведется тысячелетиями и на пути к своим достижениям встречает все меньше препятствий со стороны инертной массы. Натиск на Россию начался давно. Убийство Императора Павла I и отравление Императора Николая I, убийство Императора Александра II и отравление Императора Александра III, – все это лишь этапы деятельности этого "Незримого Правительства", в существование которого не все даже верят, до того искусно и глубоко запряваны корни преступной работы этой шайки тайных агентов революции.

Так называемая "Эпоха великих реформ" была начальным пунктом планомерной, активной деятельности "Незримого Правительства" в России, заложившей прочный фундамент для дальнейшего развития революционных начинаний. Как ни почтенны были заглавия каждой отдельной реформы, но все они объединялись общей идеей, нашедшей свое выражение в лозунге "Царь и народ" и скрывавшей за собою цель – устранить одно из главнейших препятствий на пути к революционным достижениям, *общение народа с*

интеллигенцией, для чего нужно было подорвать доверие народа к образованному классу и озлобить против него.

Властная рука Императора Александра III положила предел дальнейшему развитию преступной работы, и то, что не удалось сделать в царствование Императора Александра III, то было решено закончить в царствование Императора Николая II.

Отсюда эта крайняя поспешность, эта стремительная деятельность тайных агентов революции, не отражавшая даже системы, эти непрекращающиеся в царствование Императора Николая II удары по России и династии. Ходынка, Японская война, революция 1905 года, Государственная Дума, война 1914 года и, как предел достижений, революция 1917 года, гибель России и династии – все это лишь осуществление давно намеченных этапов общей программы "Незримого Правительства", далеко еще не исчерпанной и включающей в себе идею всемирной революции как способа ликвидации христианства.

В описываемое нами время, главнейшим тормозом для осуществления намеченных программ был союз с Германией, и к расторжению этого союза были направлены все усилия "Незримого Правительства". Вражда между Россией и Германией искусственно развивалась с обеих сторон, и к концу царствования Императора Александра III отношения между монархиями обострились уже настолько, что Россия предпочла союз с республиканской Францией сохранению прежней дружбы с Германией.

Здесь источник того отношения, какое встретила со стороны окружавших прибывавшая в Россию немецкая принцесса Алиса Гессенская, будущая русская Императрица. Отсюда этот холодный прием и недоброжелательство, отсюда эта планомерная, систематически развиваемая травля, не знающая пределов злорадия и гнусная клевета

Глава LXVI. Духовный облик Императрицы Александры Феодоровны. А.А. Вырубова. Знакомство Ея Величества с Распутиным

Впечатление, произведенное Распутиным на Императрицу – было еще сильнее, чем то, какое он произвел на Царя. Этот факт имеет глубокие психологические основы. Придет время, когда об Императрице Александре Феодоровне будут напечатаны целые тома, и Ее имя будет жить в памяти потомства как имя Праведницы. Таковы уж законы извращенной природы человечества, распинающего тех, кому потомство ставит памятники.

Много разных причин, главным образом политических, создали ту почву, на которую вступила Императрица Александра Феодоровна, тогда еще принцесса Алиса Гессенская, в первый же момент Своего приезда в Россию. Обострившиеся к концу царствования Императора Александра III отношения между Россией и Германией не могли, конечно, не отразиться на отношении к Немецкой Принцессе, коей суждено было сделаться Русской Императрицей. Такое отношение политических и общественных кругов к Принцессе Гессенской находило, к несчастью, поддержку даже в тесном домашнем кругу Царской Семьи, где молодую Императрицу встретили, в лучшем случае, равнодушно, чтобы не сказать недружелюбно. Только очень немногие знали, какое великое духовное богатство принесла Императрица Александра в приданое Своему новому отечеству, какие великие традиции предков Она унаследовала, какую святую мать Она имела, какими глубокими моральными началами Она была проникнута. Мало кто знал и о тех дарованиях, какими Императрица была наделена, о ее уме, о глубине и широте ее христианского мировоззрения... О Ней в лучшем случае судили лишь по Ее официальным ученым дипломам; но мало кто интересовался взглянуть на то, что скрывали за собою эти дипломы и каков был в действительности нравственный облик Императрицы. А между тем, Императрица, точно умышленно, прятала Свои качества и дарования, вела крайне замкнутую жизнь, что объяснялось гордостью и высокомерием, тогда как в действительности там была, с одной стороны, застенчивость, а с другой – сознание того тяжелого чувства, какое испытывает всякий глубокий человек, принуждаемый отдавать дань светской мишуре...

Подавленная безжалостным отношением придворных кругов, настаивавших на официальных выездах и приемах и усматривавших в них наиболее соответствующую форму общения с обществом, Императрица сказала мне однажды: "Я не виновата, что застенчива. Я гораздо лучше чувствую Себя в храме, когда меня никто не видит; там Я с Богом и народом... Императрицу Марию Феодоровну любят потому, что Императрица умеет вызывать эту любовь и свободно чувствует Себя в рамках придворного этикета; а Я этого не умею, и Мне тяжело быть среди людей, когда на душе тяжело"...

Как много сказано этими немногими словами, и, поистине, нужно самому научиться страдать, чтобы уметь понять Императрицу. Если велики были страдания Государя Императора, уподоблявшего Себя Св. Иову Многострадальному, то страдания Императрицы Александры Феодоровны были еще больше. Всякое несчастье, всякая неудача, всякий неверный шаг, как в частной жизни Царской Семьи, так и в политической жизни государства, тоже умышленно, связывался с именем Императрицы, и этот психоз принял такие размеры, что даже в широкой публике стали говорить о том, что Императрица принесла несчастье России. Такое убеждение не только отзывалось глубокими страданиями чуткой и восприимчивой души Императрицы, но сделалось даже Ее собственным убеждением, еще более связывавшим Ее и заставлявшим еще глубже уединяться и в общении с Церковью искать утешения и духовных сил. Вся жизнь Императрицы была проникнута религиозным содержанием, какое растворялось лишь Ее горячей любовью к России и русскому народу. Благо этого народа было дыханием Ее жизни. Теперь это уже не личное мнение автора, а факт, ставший известным всему миру и обличающий издателей "Писем Императрицы к Государю Императору". И нужно было действительно горячо любить Россию, чтобы, будучи иностранкой, так глубоко изучить язык и литературу чуждого раньше народа и проникнуться Православием настолько, чтобы усвоить дух его... Здесь, в полной мере, сказалась и тренировка иностранки, то уважение к требованиям религии, какое отличает верующего протестанта от верующего православного. Для первого религия – жизнь; для второго – только исповедание, часто ни к чему не обязывающее. Самые, казалось бы, важные требования религии, для всех обязательные, не только не выполняются, но часто даже неизвестны православным. По учению православной Церкви, каждый христианин обязан иметь духовника, общение с которым должно быть непрерывным, а не только в момент исповеди. Никто не вправе менять своих духовников по своему выбору и желанию, а должен пользоваться тем, в приходе которого живет. Веления духовника безусловны: его требования выше закона и подлежат выполнению при всяких условиях. Ведя своих духовных детей к Богу, он руководит их жизнью, проверяет и очищает их совесть, связывает и разрешает и дает за них ответ Богу. Такова теория; а в действительности об этой теории не все православные даже знают... Совершенно иную картину мы наблюдаем у верующего протестанта или католика. Там религия жизненна; там она растворяется в мелочах повседневной жизни, проникает в толщу жизни, обязывает к конкретным действиям, налагает определенные обязанности; там религия – сама жизнь... Само собою разумеется, что, войдя в лоно Православия, Императрица прониклась не только буквою, но и духом его, и, будучи верующей протестанткой, привыкшей относиться к религии с уважением, выполняла ее требования не так, как окружавшие Ее люди, любившие только "поговорить о Боге", но не признававшие за собою никаких обязательств, налагаемых религиею.

Исключение составляла одна только Анна Александровна Вырубова, бывшая Фрейлина Государыни, старшая дочь Главноуправляющего Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею, обер-гофмейстера А.А. Танеева, несчастно сложившаяся личная жизнь которой рано познакомила ее с теми нечеловеческими страданиями, какие заставили ее искать помощи только у Бога, ибо люди были уже бессильны помочь ей. Общие страдания, общая вера в Бога, общая любовь к страждущим, создали почву для тех дружеских отношений, какие возникли между Императрицею и А.А. Вырубовою.

Жизнь А.А. Вырубовой была поистине жизнью мученицы, и нужно знать хотя бы одну страницу этой жизни, чтобы понять психологию ее глубокой веры в Бога и то, почему только в общении с Богом А.А. Вырубова находила смысл и содержание своей глубоко-несчастной жизни. И, когда я слышу осуждения А.А. Вырубовой со стороны тех, кто, не зная ее, повторяет гнусную клевету, созданную даже не личными ее врагами, а врагами России и Христианства, лучшей представительницей которого была А.А.Вырубова, то я удивляюсь не столько человеческой злобе, сколько человеческому недомыслию... И когда Императрица ознакомилась с духовным обликом А.А. Вырубовой, когда узнала, с каким мужеством она переносила свои страдания, скрывая их даже от родителей; когда увидела ее одинокую борьбу с человеческой злобой и пороком, то между Нею и А.А. Вырубовой возникла та духовная связь, которая становилась тем большей, чем больше А.А. Вырубова выделялась на общем фоне самодовольной, чопорной, ни во что не веровавшей знати. Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не знающая ни хитрости, ни лукавства, поражающая своею чрезвычайно искренностью, кротостью и смирением, нигде и ни в чем не подозревающая умысла, считая себя обязанной идти навстречу каждой просьбе, А.А. Вырубова, подобно Императрице, делила свое время между Церковью и подвигами любви к ближнему, далекая от мысли, что может сделаться жертвою обмана и злобы дурных людей... Вот почему, когда пронесся слух о появлении "старца" Распутина, А.А. Вырубова встрепенулась и была одною из первых, побежавших ему навстречу. В этом порыве сказалось столько же желание найти в общении со "старцем" личную духовную поддержку, сколько и желание дать ее несчастной Императрице. При каких обстоятельствах произошло знакомство Императрицы с Распутиным, я не знаю; но знаю, что, прежде чем познакомиться с ним, а затем и в последующее время, после знакомства, Императрица, не доверяя собственному впечатлению, *запрашивала отзывов о Распутине у Своего духовника*, имевшего в глазах Ее не только личный, но и церковный авторитет. *Это обстоятельство упускается из виду, или умышленно замалчивается, между тем имеет чрезвычайное значение.* Авторитет духовника был в глазах Императрицы настолько высок, что связывал личную волю, исключал свободу личного мнения, обязывал к беспрекословному послушанию, был, словом, таким, каким и должен быть в глазах каждого истинно верующего православного, претворяющего религию в жизнь. И совершенно понятно, что Государыня увидела в лице Распутина того, кто был "старцем" не только в глазах широких масс населения, но и в глазах Ее духовника... В Своем отношении к Распутину Императрица стояла на такой же высоте, на какой стояла вся "Святая Русь" пред келией старца Амвросия Оптинского или хибаркою преподобного Серафима... В этих отношениях находила свое лучшее выражение вся красота нравственного облика Императрицы, Ее глубочайшая вера, Ее смирение, преданность воле Божией... Эта черта, свойственная только русскому человеку, ищущему, в момент душевной боли, общения со святыми людьми, старцами и подвижниками, вместо того, чтобы "рассеяться" и бежать в гости, или в театр, так глубоко бы сроднила Императрицу Александру Феодоровну с русским народом, если бы между Нею и народом не была воздвигнута врагами России и династии стена, скрывавшая Ее действительный облик, если бы целая армия, в миллионы рук, не трудилась бы над этой преступною работою... Не вызывал сомнения у Императрицы Распутин еще потому, что составлял именно то явление русской жизни, какое особенно привлекало Императрицу, видевшую в его лице воплощение образов, с коими Она впервые ознакомилась в русской духовной литературе.

Этот тип "печальников", "странников", "юродивых", обнимаемых общим понятием "Божьих людей", был особенно близок душе Императрицы. Короче говоря, Императрица Александра Феодоровна была не только Русскою Императрицею, но и Русскою женщиною, насквозь проникнутою теми свойствами, какие возвеличили образ русской женщины и возвели Ее на заслуженный пьедестал.

И с этого пьедестала Императрица не сходила и выполнила Свой долг пред Россией, пред церковью и личной совестью до конца. И если, тем не менее, Она не была понята

русским народом, то только потому, что была не только выше общего уровня Своего народа и стояла на такой уже высоте, какая требовала духовного зрения, чтобы быть заметной.

Глава LXVII. Дурная слава Распутина и ее последствия

О Распутине так много говорилось и писалось, что для того, чтобы разобраться в его истинном облике и раскрыть игру тех, кто окружал его с заведомо преступными целями, выполняя задания интернационала, необходимо сперва установить резкие грани, отделявшие известные периоды его жизни до и после появления в Петербурге.

Первый период протекал в далекой Сибири и в точности мало кому известен. Общая молва утверждала, что Распутин был кающимся грешником, что в своей молодости он вел разгульную жизнь и губил полученные от Бога таланты; что затем благодать Божия вновь коснулась его, он раскаялся и подвигами самобичевания, паломничествами по святым местам, молитвою и постом старался заглушить в себе укоры совести и достиг таких успехов, что Господь простил ему его грехи и возвеличил... Было ли это так, или здесь отразилась только склонность русского народа к таинственным легендам, я не знаю. Однако долю правды в этих рассказах можно допустить, ибо Распутин, еще задолго до своего появления в Петербурге, имел репутацию подвижника и привлекал к себе не только своих односельчан, но и жителей соседних губерний, и слух о его подвижнической жизни дошел даже до столицы, откуда архимандрит Феофан, инспектор Петербургской Духовной Академии, не раз, будто бы, ездил к Распутину, почитая его за праведника.

Нет данных утверждать, чтобы слава Распутина, как подвижника, раздувалась бы в этот период времени искусственно, усилиями делателей революции. Живя в далекой Сибири, Распутин был еще вне поля зрения и наблюдения интернационала и, вероятно, обладал действительно какими-либо качествами и особенностями, выдвинувшими его на поверхность и заставившими говорить о нем.

Интернационал сосредоточил на Распутине свое внимание лишь после приезда последнего в Петербург и только использовал его доброе имя подвижника, раздувая его славу и окружая это имя ореолом святости.

Возможно, что архимандрит Феофан, посещая Распутина в Сибири, и пригласил его в Петербург. Монах исключительной настроенности и огромного авторитета, имевший большое влияние на студентов академии и производивший на окружающих сильнейшее впечатление, сосредоточивший на себе внимание Высочайшего Двора и, в частности, Императрицы Александры Феодоровны, избравшей его Своим духовником, архимандрит Феофан был всегда окружен теми "Божьими людьми", какие уносили его в надземный мир, в беседах с которыми он отрывался от мирской суеты... Сюда, в этот центр истинной монашеской жизни и духовного делания, нашел дорогу и косноязычный Митя; сюда же проник и Распутин, склонившийся пред высотой нравственного облика архимандрита Феофана и усердно распространявший тогда славу о подвижнической жизни последнего...

Как ни велико преступление русского общества, не сумевшего распознать козней интернационала и своими криками о Распутине, вместо того, чтобы замалчивать это имя, содействовавшего успеху преступной работы интернационала, однако, будучи беспристрастным, нужно признать, что эти козни были действительно тонко задуманы и еще более тонко проведены в жизнь... В том факте, что архимандрит Феофан не только принимал у себя Распутина, но даже навещал его в Сибири, Петербург мог усмотреть действительно достаточное оправдание своей вере в Распутина... Слава Распутина разрасталась все более, и пред ним раскрывались все чаще двери не только гостиных высшей аристократии, но и великокняжеские салоны... А нужно знать, что такое "слава", чтобы этому не удивляться... И добрая, и дурная слава одинаково связывают обе стороны. В первом случае подходят к человеку с тою долею предубеждения в его пользу, какая исключает возможность критики и беспристрастной оценки; во втором случае еще более резко наблюдается такая связанность, увеличивающая "мнительность и подозрительность со стороны того, о ком говорят дурно, и заставляющая тех, кто говорит о нем дурно, видеть

в каждом слове последнего, в каждом его движении, лишь отражение своих подозрений и заранее сложившегося мнения. О том же, что первоначально добрая слава о Распутине, а затем дурная, искусственно раздувались интернационалом, об этом, конечно, мало кто догадывался. Успеху Распутина способствовал и тот факт, что столичная знать, в среде которой он вращался, вообще не просвещенная в религиозном отношении, не имевшая общения с духовенством, или не удовлетворявшаяся этим общением, но в то же время интересовавшаяся религиозными вопросами, была весьма мало требовательна и трактовала его как "старца", далекая от мысли подвергать критике его слова и действия... Да в этом и не было надобности, вернее, возможности, столько же потому, что Распутин говорил отрывочными, не связанными между собою, фразами и намеками, которых невозможно было разобрать, сколько и потому, что его слава зиждилась не на его словах, а на том впечатлении, какое он производил своею личностью на окружающих. Чопорное великосветское общество было застигнуто врасплох при встрече с дерзновенно смелым русским мужиком, не делавшим никакого различия между окружающими, обращающимся ко всем на "ты", не связанным никакими требованиями условности и этикета и совершенно не реагировавшим ни на какую обстановку. Его внимания не привлекала ни роскошь великокняжеских салонов и гостиных высшей аристократии, ни громкие имена и высота положения окружавших его лиц. Ко всем он относился снисходительно милостиво, всех рассматривал, как "алчущих и жаждущих правды", и на вопросы к нему обращаемые, давал часто меткие ответы. И эта внешняя незаинтересованность производимым впечатлением, в связи с несомненным бескорыстием Распутина, удостоверенным впоследствии документально следственным материалом, тем более располагала верующих людей в его пользу.

И во всяком случае к доброй славе Распутина нужно отнести то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд интернационала, не использовал выгод своего положения для измены Царю, а, наоборот, разрушил козни врагов России своею фанатическою преданностью к Царю, в признании которой нет противоречий ни с чьей стороны...

К Царю он прошел; славу "святого" воспринял; сладко спал и вкусно ел, а от подкупа и преступлений, к каким обязывала его эта слава, не только отказался, но даже выдал Царю преступников, чем еще более укрепил свое положение... С этого поворотного пункта начинаются уже жестокая травля Распутина и его дурная слава... Не успев с одного конца, еврейчики зашли с другого и гениально использовали ту близость, точнее, то доверие, какое питали к Распутину Их Величества, и стали ковать ему противоположную славу. Сделать это было тем легче, что Распутин, как я уже указывал, с трудом удерживаясь на занятой им позиции "святого" и оставаясь в несвойственной ему среде, или в обществе людей, мнением которых не дорожил, распоясывался, погружался в греховный омут, как реакцию от чрезмерного напряжения и усилий, требуемых для неблагодарной роли "святого", и дал повод говорить о себе дурно. Этого было достаточно для того, чтобы использовать имя Распутина в целях дискредитирования священного имени Монарха.

Период славы Распутина, как "святого", кончился.

Наступил второй период славы – противоположной.

Все чаще и чаще стали раздаваться сначала робкие, единичные голоса о безнравственности Распутина, о его отношениях к женщинам; слухи поползли, и скоро вся Россия, а за нею и Европа, заговорили о Распутине, как воплощении векового зла России.

Будем внимательно следить за последовательным развитием дьявольски хитрой игры интернационала.

Слава Распутина, как "святого", была нужна для того, чтобы вызвать к нему доверие Государя и Императрицы; противоположная слава была нужна для обратной цели, для того, чтобы опорочить Священные Имена.

Какими же способами достигалась эта последняя слава? Что Распутин за порогом Дворца вел несдержанный образ жизни, в этом нет сомнений; однако вполне бесспорным является и тот факт, что его искусственно завлекали в расставленные сети, учиняли

всевозможные подлоги, фотографируя всякого рода пьяные оргии и вставляя затем, в группу присутствовавших, его изображение; создавали возмутительные инсценировки, с целью рекламировать его поведение и пр.

Кто же это делал, и кому это было нужно?

А между тем наивное, или, вернее, политически невоспитанное и бесталанное общество, все более неистовствовало и все громче кричало о его поведении, не догадываясь о том, какой удар династии наносит этими криками, отвечавшими лишь интересам революции и ее заданиям.

Малейшее противодействие этим слухам вызывало гонения против смельчаков, которых клеймили прозвищем "распутинец". Игра велась так тонко, что многие, из одного только опасения прослыть "распутниками", с удвоенной энергией кричали о преступлениях Распутина, не стесняясь создавать их в своем воображении.

А делателям революции только этого и нужно было.

Клевета, не встречавшая на своем пути никаких преград, делала свое гнусное черное дело, обрушиваясь, главным образом, на Императрицу. Отношение общества к Ея Величеству все более обострялось и принимало настолько недопустимые формы, что вызывало даже жалобы со стороны Императрицы, обычно крайне сдержанной и слезами смывавшей наносимые Ей обиды. Всем памятно письмо к Государыне княгини Васильчиковой, о котором Императрица, в беседе со мною, отзывалась с великой горечью, называя письмо недопустимым столько же по содержанию, сколько и по форме, и притом, наполненным клеветою... Памятен мне и другой рассказ Императрицы, так ярко отразивший Ее нравственное величие.

Начальница Епархиального женского училища в Царском Селе, г-жа Курнатовская, при встрече с Императрицею, не только не поклонилась, а демонстративно отвернулась в сторону. Рассказывая мне об этом, Императрица добавила: "Зачем она это сделала и, притом, в присутствии Моих дочерей; зачем оскорбила мать в глазах детей!.. Я бы не обратила внимания на ее неучтивость; но Мне было тогда так больно не столько за Себя, сколько за дочерей"...

Я был до того возмущен наглостью начальницы училища, призванной воспитывать своих питомцев и подающей такой преступный пример, что заявил Государыне о своем намерении немедленно же удалить такую начальницу, считая абсолютно невозможным дальнейшее пребывание ее в должности. Однако Императрица взяла с меня слово не только не увольнять начальницу, но даже запретила мне передать последней содержание Ее беседы со мною.

Никому, конечно, не приходила мысль о том, что бессовестная, злостная, безжалостная клевета на Императрицу, на Которой интернационал сосредоточил весь *odium* поведения Распутина, была связана с единственной целью вооружить еще более общественное мнение против Германии и приблизить момент разрыва с нею. В Распутине видели лишь явление местной жизни, рожденное нездоровым мистицизмом и безнравственностью общества; но мало кто прозревал истинную природу этого явления, хотя и рожденного на русской почве, но имевшего огромное международное значение. А между тем дурная слава о Распутине все более увеличивалась, и чем искреннее желали лучшие, но близорукие люди засвидетельствовать свою преданность династии и любовь к Государю, тем громче кричали о Распутине, не замечая того, что их голоса сливались с голосами, исходившими от Государственной Думы, еврейской прессы и тех худших людей, для которых облик Распутина не имел никакого значения и которые преследовали только одну цель – всячески унижить престиж Царя и династии. Революция потому и удается, что задумывается всегда худшими, а выполняется, нередко, и лучшими, но слепыми людьми. И как в первом случае, создавая Распутину славу "святого", интернационал пользовался лучшими людьми, введенными им в заблуждение, так и позднее, эти же лучшие, обманутые в своей вере в Распутина, выступили впереди прочих в своих "разоблачениях" и содействовали той дурной славе Распутина, какая, в этот момент, была так нужна "интернационалу".

Замечательно, что в обоих случаях лучшие русские люди исходили из своего личного отношения к Распутину, забывая, что центральным местом был Царь и династия, а не личность Распутина. Достоинство внимания и то обстоятельство, что слава Распутина, как "старца", гремела только в Петербурге, а дурная слава пронеслась по всей России, распространилась по Европе и перешагнула через океан, где американские газеты и журналы изошрялись над созданием определенной репутации Русского Царя и Его Семьи и отводили Распутину целые страницы, помещая его портреты и освещая его личность нужными интернационалу красками. Однако этот факт проходил даже незамеченным... Впрочем, цель была уже наполовину достигнута. Престиж Царя и династии падал все ниже; слепое общество, вторившее голосу интернационала и обвинявшее в этом Распутина, еще громче кричало о нем; а война с Германией была уже объявлена... Манифест о войне вызвал всеобщее ликование, вернее, беснование, и только немногие видели в нем величайшую победу интернационала.

Среди этих немногих был и полуграмотный Распутин, который прислал из Сибири две телеграммы Его Величеству, умоляя "не затевать войны" и связывая с ней роковые последствия для России и династии.

Однако Россия катилась в бездну с неумолимостью рока.

Глава LXVIII. "Разоблачения" и отношение к ним Государя и Императрицы

Замечательно, какое непостижимое легкомыслие проявило столичное общество при первом же камне, брошенном в Распутина интернационалом, с какою легкостью поверило "разоблачениям" и той клевете, какая распространялась вокруг его имени. С понятием о "Святости" не соединимо, конечно, никакое преступление; но, с точки зрения уголовного кодекса, никаких преступлений за Распутиным не числилось: все сводилось только к проявлениям его мужицкой натуры. Казалось бы, не только лояльность, но простое благоразумие и так должны были бы, в корне, пресечь распространение слухов, порочащих имя того, кто пользовался доверием Царя и Царицы, но не раздувать этих слухов до размеров, бросавших тень даже на Священные Имена. Однако общество иначе поняло свою задачу. Вчерашний святой был объявлен сегодня шарлатаном, и общество в ужасе отшатнулось от него, боясь запачкаться его грязью. И, как первыми побежали навстречу Распутину лучшие, наиболее религиозные люди, так теперь эти же люди первыми выступили против него, охваченные негодованием и горечью разочарования. Более всех страдал, конечно, епископ Феофан. Призвав к себе Распутина, Владыка потребовал от него объяснения позорящих его слухов, под угрозой разоблачения его в глазах Государя и Императрицы. Распутин, не отдававший себе отчета в том, в чем заключались его "преступления", исходивший в оценке своего поведения из мужицких точек зрения, не удовлетворил своими объяснениями епископа Феофана, подобно другим уже видевшему в Распутине олицетворение зла. Наступил момент не только жгучей, невыразимо тяжелой душевной боли, но и момент открытой борьбы с тем, кто уже успел пустить при Дворе глубокие корни и доказать свою преданность Царю и Престолу целым рядом действий, оправдавших в глазах Царя даже его репутацию "старца". Как, однако, ни были глубоки душевные страдания епископа Феофана, как ни ясно было для него, что разочарование в Распутине лишит его не только прежнего обаяния, но и того нравственного авторитета, которым он пользовался при Дворе, как, наконец, ни очевидно было, что его миссия не будет иметь успеха, ибо свяжет его с общей оппозицией к Престолу, для которой личность Распутина не играла никакой роли и которая только прикрывалась его именем, тем не менее епископ Феофан мужественно сознался в своей ошибке, рассказал Государю о поведении Распутина и умолял Царя об удалении его. Вслед за епископом Феофаном подобного рода ходатайства были возбуждены и со стороны дворцового коменданта В.А. Дедюлина. (Последовавшая вскоре после этого смерть В.А. Дедюлина была истолкована как кара Божья за выступление против Распутина), товарища министра Внутренних Дел В.Ф.

Джунковского, князя Орлова и других лиц. Неумолимая логика вещей, однако, делала свое дело. Епископ Феофан, а за ним и все прочие, шедшие его путем и боровшиеся с Распутиным теми же средствами, т.е. исходившие из фактов, рисовавших безнравственное поведение Распутина, впадали в немилость Государя и теряли доверие. Между Распутиным и Царской Семьей возникла уже духовная связь, разорвать которую уже было невозможно теми способами, какими пользовался епископ Феофан, а за ним и все прочие. Там, где отношения между людьми основаны на внешних факторах, там их легко разрушить, обесценивая эту внешность. Там же, где они коренятся на глубоких духовных связях, там внешность не играет никакой роли. Тем меньшее значение имела внешность в данном случае, когда ни Государь, ни Императрица не верили и не могли верить ей. Когда Дума или окружавшие Государя люди, указывая на несоответствие того или иного лица, просили о его отставке, тогда Государь до того часто шел навстречу этим просьбам, что дал В.М. Пуришкевичу даже повод произнести его крылатое слово "чехарда". Но отношение к назначаемым или удаляемым лицам базировалось у Государя на соответствии или несоответствии их требованиям политического момента. Когда же требование об отдалении от Двора было предъявлено Государю в отношении лица, не занимавшего никакого служебного положения, не игравшего никакой политической роли, полуграмотного мужика, в преданности которого Государь неоднократно убеждался, а слухам о дурном поведении которого не верил, то такое требование являлось в глазах Государя оскорбительным и справедливо рассматривалось как вторжение в частную жизнь Монарха. С официальными лицами Государь был связан, так сказать, служебными связями и расставался с ними, когда этого требовали государственные интересы, и даже прихоти Думы. Но с Распутиным у Царя связь была духовная, и этой связью Государь не желал пренебрегать в угоду Думе или по требованию общества и прессы.

В данном случае это был, помимо прочих причин, и вопрос самолюбия Царя, не желавшего делаться игрушкой в руках Думы и прессы, не только распоряжавшихся Царскими министрами, но и посягавших на частную жизнь Государя. Но основания для отказа Государя идти навстречу этим требованиям вытекали не только из означенных внешних причин, а были *гораздо глубже*. И напрасно историк будет их искать в упрямстве Государя и Императрицы, или в Их безразличии к поведению Распутина. Я имел уже случай неоднократно указывать на то, что поведение Распутина при Дворе было безупречным, не подавало и не могло подавать никаких поводов к сомнениям не только в его нравственной чистоте, но и в тех дарах, коими он был наделен, как "старец". Нравственная высота, на которой стояли Их Величества в Своем отношении к Распутину, разумеется, вне всяких сомнений. Но именно потому, что Государь и Императрица стояли на этой высоте, именно по этой причине все обличавшие Распутина рассматривались Их Величествами как сошедшие с этой высоты, потому ли, что сделались жертвою обмана со стороны других, или потому, что носили только маску благочестия, не имея ее. Допустить, чтобы те люди, которые ввели Распутина во Дворец, могли так грубо ошибиться и признать шарлатаном того, кого раньше признавали святым, Их Величества не могли и скорее поверили в измену этих лиц, чем в искренность или справедливость их отзывов о Распутине.

Какие же основания для недоверия к Распутину имелись у Их Величеств? На его стороне были – разоблачения придворных интриг, предупрежденные террористические акты, обнаружение предательства Думы, благотворное влияние на здоровье Наследника-Цесаревича, не подлежавшая никакому сомнению преданность к Царской Семье, простая, безыскусственная любовь к Государю, наконец, доказанная способность к гипнотическим внушениям, создавшая ему репутацию "старца"... Все это были плюсы, а не минусы. Против же него были обвинения о развратном поведении, исходившие от Думы, прессы и тех людей, духовный ценз которых не был высок в глазах Государя. Правда, среди этих последних был и епископ Феофан; но ведь от ошибок никто не застрахован, и Государь легко мог сделать такое предположение. Создавалась ли почва для чрезвычайного доверия Царя к Распутину умышленно и искусственно, или оправдывалась действительными

основаниями, — это безразлично; но очевидно, что, при наличии такой почвы, всякая попытка подорвать авторитет Распутина дурными отзывами о его поведении была покушением с негодными средствами. Вокруг Престола было так много лжи, предательства и лукавства, так много интриг и неискренности, что такая попытка в отношении человека, преданность которого была доказанной, являлась, кроме того, и неразумной. Мог ли Государь поверить дурным отзывам о Распутине, когда, будучи проникнут глубочайшей любовью к Своему народу и работая, как Лично выразился, "за четверых", встречал к себе только одно недоверие и видел вокруг Себя только измену и предательство.

Могла ли поверить таким отзывам и Императрица, отдавшая Себя всецело служению русскому народу и встречавшая открытое недоброжелательство, какое позволило Ея Величеству сказать мне однажды: "не смущайтесь и не огорчайтесь никакой клеветой: это участь каждого, перешагнувшего Наш порог".

При всем том, доверие Их Величеств к Распутину базировалось, как я указывал, не на внешних данных, а на убеждении, что Распутин был "старцем". Вот почему в борьбе общества с Распутиным Государь и Императрица занимали позицию исключительной нравственной высоты, будучи убеждены, что, защищая "старца", Они защищают в его лице *все достояние Русской Церкви с ее святынями, со всем многообразием ее мистического содержания, с ее "старцами", "юродивыми", "Божьими людьми"* и пр. И чем громче поносили имя Распутина, чем чаще требовали его удаления, тем решительнее было противодействие Царя, тем ярче вырисовывался на фоне этой борьбы, рожденной, по мнению Царя, неверием, лучезарный облик и нравственная мощь Государя, готового для защиты Церкви и подвижников ее принести в жертву не только Свое имя, но и Свою жизнь.

Правдоподобным казалось Их Величествам и замечание Распутина о том, что его бранят только царские враги... Эту мысль Распутин внушал Государю в форме загадочных изречений и предсказаний, к несчастью, впоследствии подтвердившихся.

Буду я, будет и Царь и Россия; а как меня не будет, не станет тогда ни Царя, ни России".

В устах "старца" такие загадочные фразы производили, конечно, свое действие. Вот почему движение, поднятое Думой, обществом и печатью против Распутина, так сильно раздражало и огорчало Государя и истолковывалось как вмешательство в сферу не только частной, но более этого, в сферу духовной жизни Государя. Трагизм Государя и Императрицы заключался в том, что Распутин не был "старцем".

Но это нужно было доказать; а доказать это было, очевидно, невозможно теми способами, какими пользовались епископ Феофан и прочие лица, ссылаясь на поведение Распутина. В отношении же некоторых лиц, в том числе и Их Величеств, никакие доказательства, наверное, не достигли бы цели, ибо для одних Распутин был только Распутиным, а для других, проникнутых верою в него — "старцем". Интересный случай приводится на страницах "Русской Летописи", кн. 2, стр. 17 из доклада А.Ф. Романова "Император Николай II и Его Правительство", составленного на основании данных Чрезвычайной Следственной Комиссии, учрежденной для расследования "преступлений" Царя и Его правительства.

"Жена одного генерала, при допросе ее Комиссией, называла Распутина "старцем", прошедшим "все степени добра", утверждая, что он исцелил ее. Она несколько лет лежала больная без ног, тщетно обращалась к врачам в России и за границей и начала ходить только после того, как обратилась к Распутину. На вопрос, знала ли она, что Распутин пьяница и разгульный человек — отвечала: "нет, не знала и этому не верю". Когда же Муравьев (председатель Комиссии) заявил ей: "Я Вам говорю, что это установленный факт", она спокойно ответила: "Для меня не имеет никакого значения то, что Вы говорите. Я была больна и выздоровела: он старец".

Сделать отсюда вывод, что Распутин был действительно "святой", нельзя; однако для исцеленной им генеральши он был и навсегда останется святым, и никакие доводы против не будут в состоянии поколебать ее веры в него, а останутся в ее глазах не только бессмысленными, но и безнравственными... Таким он был и в глазах А.А. Вырубовой,

предсказав ей несчастный брак, а затем исцелив ее; таким был и в глазах Их Величеств, считавшихся, помимо прочих причин, и с тем благотворным влиянием, какое Распутин имел на здоровье Наследника-Цесаревича...

О том же, в каком объеме и в каких размерах могло учитываться это последнее влияние, нужно спросить мать, имеющую единственного сына. Вера менее всего связана с объектом, а всегда является субъективным началом. Субъективное восприятие часто независимо от объекта. Может зародиться и существовать даже без объекта. И один и тот же факт, являющийся для одного объектом пламенной веры, не производит впечатления на другого. Эти мысли подробнее развиты во вновь вышедшей книге профессора богословия Вассаарского колледжа, Вильяма Банкрофт-Хилла: "Жизнь Христа". Говоря о Богоявлении на реке Иордане (Марк 1, 10-11 ст.), профессор пишет: "Были ли видение и голос объективными, т.е. увидел ли и услышал ли бы их посторонний наблюдатель? Вопрос этот для нас не важен: каковы бы ни были объективные факты, только субъективное имеет значение; не то, что достигло глаз и слуха Иисуса и Иоанна, но то, что произвело впечатление на их души. Если мы откинем объективность, мы этим не отрицаем реальность факта и не делаем его менее божественным. Доказательства, кажется, сильнее за то, что впечатление было субъективным, так как у Матфея голос обращен к Иоанну, а у Марка и Луки голос обращен к Иисусу; кроме того, Матфей говорит, что "отверзлись Ему небеса", т.е. как будто Ему одному".

Или "если бы во время Преображения случайно проходил мимо какой-нибудь пастух, он не увидел бы ничего, кроме четырех человек на молитве, но это было действительным и глубоким переживанием. Ведь и голос с небес, о котором говорится у Иоанна (12, 30), одним казался просто громом, а другим – голосом ангела, говорившим на неизвестном языке, – все это подтверждает заключение, что здесь, как и в предыдущих случаях, известие было для души, а не для внешнего уха".

Для вдумчивых людей Распутинская проблема не представляла никакой загадки, и тот факт, что одни считали его праведником, а другие одержимым, был совершенно понятен. Одни видели его таким, каким он был в Царском Дворце или у барона Рауш-фон-Траубенберга, а другие – таким, каким он был в кабаке, выплясывая "камаринскую".

Глава LXIX. Борьба с "Царизмом" и ее приемы

Кончился *второй* период. Программа, имевшая целью создать Распутину такую славу развратника, чтобы от него в панике разбегались прежние почитатели и чистые люди с тем, чтобы разносить эту славу повсюду, была исчерпана. Я уже указывал, что наиболее чистые люди, но малодушные и робкие, были настолько терроризированы именем Распутина, что боялись даже признаваться в том, что его видели, и тем громче кричали о нем, чем больше боялись скомпрометировать себя его именем. Но какое значение могли иметь суждения этих людей, удельный вес которых в глазах интернационала был высок?! Все это были просто верующие, мистически настроенные люди, могущие создавать великолепную декорацию, но непригодные для первых ролей... Важны были не они, а люди, чье мнение могло иметь политическое значение; а эти люди на подобные обвинения Распутина не обращали никакого внимания, как и вообще Распутиным не интересовались. Нужно было выдумать что-либо более веское...

И вот открывается *третий* период, когда к обвинениям в дурном поведении Распутина присоединяется обвинение во вмешательстве его в государственные дела... Стоустая молва подхватывает эти слухи, и скоро вся Россия заговорила о том, что не Царь, а Распутин управляет Россией, сменяет и назначает министров и пр. и пр... Лагерь противников Распутина стал наполняться новыми резервами. Предводительствуемые Думою, туда шли целые армии, состоявшие не только из людей, чье нравственное чувство возмущалось безнравственностью Распутина, но, главным образом, из людей, усматривавших в лице Распутина государственную опасность и считавших себя обязанными с нею бороться. Программа интернационала разыгрывалась как по нотам. Зарегистрированы случаи

провокации именно со стороны тех людей, которые усматривали в лице Распутина "государственную опасность". Эти люди, среди которых были и члены Думы, выдававшие себя за друзей Распутина, завлекали его в кабаки, спаивали и в пьяном виде фотографировали, а затем приобщали вновь добытые документы к следственному материалу... С какой целью? Чтобы удалить Распутина от Двора?... Нисколько! Наоборот, они были заинтересованы в обратном: им было, в этот момент, *вдвойне важно еще более закрепить позицию Распутина при Дворе*, чтобы иметь основания для обвинений Царя в том, что Он окружает Себя людьми, подобными Распутину...

Распутин очутился в положении затравленного зверя и, стремясь сохранить свою позицию при Дворе, сделался мнительным и подозрительным и видел в окружающих его не преданных ему учеников, жаждавших духовной пищи, а коварных предателей, искавших его гибели.

Так как дурная слава исходила из разнообразных кругов общества и фиксировалась Думою и прессою, то скоро Распутин стал в оппозицию ко всем. К Думе он питал органическую ненависть и видел в ней сборище революционеров, похитивших Царское Самодержавие и мечтавших о ниспровержении Трона и династии; к духовенству и высшей иерархии относился отрицательно, обвиняя их в том, что они не знают народной веры, не понимают своего назначения и, вместо того, чтобы составлять оплот Престола, стоят в стороне от него, точно участь его их не касается; к министрам относился скептически; общество называл стадом баранов и делал исключение только для тех, кто не вызывал в нем ни малейших сомнений со стороны своей преданности Царю. Но, считая врагов Царя своими врагами, Распутин, в то же время, считал и своих врагов врагами Царя, а так как число этих последних все более увеличивалось, то скоро в глазах Распутина все общество, с Думою во главе, стало казаться ему обществом изменников и предателей. В своем неудержимом стремлении спасти Царя и Россию от этих изменников, Распутин базировался только на личном впечатлении, забывая, что теперь его окружали уже не прежние мистически настроенные люди, а проходимцы и нравственно нечистоплотные люди, рассчитывающие на его темноту и невежество, мечтавшие о карьере и проникнутые мелкими низменными целями. Эти люди, в большинстве случаев, принадлежали к типу тех мелких департаментских чиновников, тупых и бездарных, каких везде много, специальность которых заключалась в том, чтобы интриговать против своего начальства, и вожделения которых не простирались дальше места столоначальника или начальника отделения. Некоторые из них, действительно, имели успех у Распутина; но не у министров, которым Распутин, под их диктовку, писал свои записки, с трогательными обращениями "миленький мой", хотя часто и делал это, лишь бы отвязаться от надоедливых просьб. Не нужно доказывать, что этого рода записки никогда не касались вопросов государственных или бы отражали вмешательство Распутина в сферу государственного управления. Эти обвинения были умышленно пристегнуты, что являлось последовательным и логичным со стороны тех, кто стремился доказать, что не Государь, а Распутин управляет Россией, а министры получают свои назначения лишь после предварительной рекомендации Распутина. Само собой разумеется, что не Государь, назначавший министров преимущественно из состава членов Думы, руководствовался мнением Распутина, а наоборот, Распутин старался вторить мнению Государя, предназначавшего ответственный пост тому или иному лицу, не только поздравляя это лицо с назначением, но и внушая ему мысль о своем посредничестве... Этим способом, чтобы увеличить свой удельный вес, пользовался, кстати сказать, и небезызвестный в Петербурге князь Андроников, рассылая вновь назначавшимся сановникам поздравительные письма и иконы и выражая радость по случаю их назначения. Я лично никогда не видел князя Андроникова и ни писем, ни икон от него не получал; но это не мешало, однако, интернационалу отнести и меня к числу лиц, составлявших общество так называемых "темных сил", разумеется, в тех же целях, какие преследовались и игрою именем Распутина. Не все были героями настолько, чтобы пожертвовать Государю и России свое имя и репутацию нравственно не запятнанного

человека; но все, принимавшие высокие назначения, знали, на что идут и что их ожидает, знали, что чистые вчера, они будут сегодня оклеветаны и названы "распутинцами" и погибнут во мнении общества.

Однако такое прозвище имело не только личное значение. Раньше нужно было иметь очень много данных для того, чтобы поколебать положение министра, пользовавшегося доверием Царя и общества. Теперь достаточно было назвать его "распутинцем" для того, чтобы лишить его всякого доверия, той почвы, какая, после учреждения Думы, была единственной и дававшей ему возможность осуществлять его должностные функции. В глазах Думы все министры скоро сделались "распутинцами"; их появление на Думской кафедре вызывало крики возмущения; их государственная работа обесценивалась и аннулировалась Думой под громкие аплодисменты заседавших в Думе агентов интернационала. Создалась презумпция, что Царь и правительство во власти Распутина и губят Россию... Отсюда один шаг до требования перемены не только в личном составе правительства, но и кроткий Царь так безропотно и часто отзывался, расставаясь с преданными Ему людьми, но и перемены всей системы государственного управления... В лексиконе русских слов появилось новое слово "царизм", как источник всего того зла, какое в действительности заключалось в тех, кто его выдумал.

Насколько бережно охраняли Царь и Царица репутацию Своих министров, доказывает, между прочим, и тот факт, что, будучи связаны с Распутиным только духовною связью, Их Величества никогда не вели никаких разговоров с ними о Распутине. Это была Их частная сфера, в которую Их Величества совершенно не считали возможным вводить лиц, связанных с Двором только официальными, служебными связями. Записки, какие Распутин писал министрам, касались, главным образом, вопросов мелкого чиновного обхода, перемещений, или повышений по службе, ускорения находящихся в производстве дел и пр. и были тем более безобидны, что Распутин, как доказано следствием, не пользовался ими с корыстными целями и за свое посредничество не брал денег, хорошо зная, что такое посредничество рождало часто противоположные результаты. Допустить обратное – значило бы засвидетельствовать ординарную нечестность министров; но именно к этой последней цели и стремился интернационал, ради этого и была учреждена впоследствии, после революции, Чрезвычайная Следственная Комиссия, задача которой заключалась именно в том, чтобы зафиксировать такую нечестность правительства. Однако эта же Комиссия, в лице своих достойнейших членов А.Ф. Романова и В.М. Руднева, не только не нашла "преступлений" у низвергнутого революцией правительства, но, с негодованием, опровергла взведенную клевету, приподняв и завесу, скрывавшую ее источник.

Распутин был, таким образом, только ширмой, скрывавшей интернационал, и, чем громче о нем кричали, тем больше вырастали эти ширмы, за которыми прятались действительные "темные силы" интернационала.

Глава LXX. Убийство Распутина

Кончился *третий* период. Наступил *четвертый* и последний.

События роковым образом близились к развязке. Война с Германией велась с крайним ожесточением. Настроение общества с неудержимой силой стало обнаруживать чрезвычайную ненависть к немцам, как виновникам войны, и в руках интернационала очутился еще один новый козырь. У полуграмотного мужика хватило разума настолько, чтобы громко высказываться против войны, и теперь "распутинцем" стали считать и тех, кто разделял его точку зрения. О безнравственности Распутина уже забыли: о ней никто уже не говорил, эта тема была уже исчерпана. Затихли крики и о его вмешательстве в область внутреннего управления государством, ибо фактически эта область находилась в руках Думы и прогрессивной общественности. На смену явился новый *odium* – симпатии к немцам. Положение Государя и Императрицы становилось все более тягостным, и мысль об убийстве Распутина явилась ответом столько же на желание лишить Их Величеств

одного из преданных людей, которому Они верили, сколько и по более глубоким мотивам – освободиться от того, кто был в данный момент наиболее опасным для интернационала человеком. Нужно было быть слепым, чтобы не замечать этой ловкой и искусной игры интернационала, и, тем не менее, ее не замечали даже те одураченные последним люди, которые, пропагандируя идею убийства Распутина, шли против самих себя. Конечно, предположение, что Распутин мог иметь какое-либо влияние на Государя в области внешней политики, было столь же вздорным, как и разговоры о его влиянии вообще; но, коль скоро такое убеждение существовало, настолько очевидно, что, убивая Распутина, ярый германофил Пуришкевич убивал в его лице не своего противника, а своего союзника. Что это так, доказывать не нужно, *ибо Распутин был убит не тогда, когда Дума, общество и печать возмущались его безнравственным поведением, и не тогда, когда обвиняли его во вмешательстве в область внутреннего управления Россией, а тогда, когда, под влиянием неудач на войне, возникли слухи о сепаратном мире с Германией*, созданные тем же интернационалом, и в его лице стали видеть уже агента Германии, а в лице Императрицы его союзницу. Еще не пришло время для оценки событий последних лет царствования благороднейшего Государя Императора *Николая Александровича*; но беспристрастная история скажет, насколько слухи о сепаратном мире были беспочвенны, как скажет и то, кем и с какой целью они создавались. Итак, в своем последовательном развитии, интриги интернационала, приемы, коими он пользовался для своих революционных целей в стремлении разрушить русскую государственность и уничтожить Россию, пользуясь Распутиным как орудием, имели 4 этапа.

Первый – выразился в том, чтобы, созданием Распутину славы "святого", вызвать к нему чрезвычайное доверие Царя и использовать Распутина, с помощью подкупа, для непосредственных террористических актов. Этот прием не достиг цели, ибо Распутин оказался настолько фанатически преданным Государю, что дальнейшие попытки в этом направлении были оставлены, а выданные им лица частью понесли заслуженную кару, частью разбежались.

Второй – выразился в создании противоположной славы необычайно порочного человека. Этот прием оказался удачнее, ибо Распутин сам подавал повод говорить о себе дурно, был несдержан и интересовался только мнением Двора, не считаясь с мнением прочих. Тем не менее, личность Распутина и здесь, так же, как и в первом случае, не играла никакой роли, ибо важно было доказать не то, что Распутин безнравственный человек, а то, что Государь окружает Себя безнравственными людьми. Задача сводилась к цели дискредитировать личности Государя и Императрицы.

Третий этап выразился в обвинениях Распутина, уже достаточно опороченного предыдущими усилиями, во вмешательстве в область внутреннего управления Империей. Насколько успешно была достигнута эта последняя цель, я уже указывал, когда говорил, что всякое, вновь назначаемое на высокий пост, лицо признавалось ставленником Распутина и что этот психоз принял такие грандиозные размеры, при которых никакая государственная работа была невозможна, и не потому только, что над этими лицами тяготело подозрение или открытое обвинение в симпатиях к Распутину, а прежде всего потому, что, лишенные доверия Думы, они не были в силах провести ни одного законопроекта: бойкот Думы парализовал их деятельность.

Четвертым и последним этапом интернационала было – обвинение Распутина во вмешательстве в сферу международной политики. Это обвинение решило его участь, и 17 декабря 1916 года он был предательски убит английскими агентами интернационала, избравшими палачом... германофила Пуришкевича.

Невероятное совершилось.

Невероятно, чтобы русское общество, считающее себя культурным, поверило бы гнусной клевете интернационала и оскорбило бы подозрениями в безнравственности Царскую Семью.

Невероятно, чтобы имена Распутина и Императрицы произносились бы вместе с загадочными улыбками и низменными предположениями.

Невероятно, чтобы общество поверило небылице о вмешательстве Распутина в область внутреннего управления и в сферу международной политики.

Невероятно, чтобы ярый германофил В.М. Пуришкевич оказался бы послушным орудием в руках ненавистных ему англичан, присудивших Распутина к смерти из опасения сепаратного мира с Германией, к чему Пуришкевич более чем кто другой стремился и о чем так громко кричал.

Невероятно, чтобы общество помогало интернационалу разрушить Россию и променяло благороднейшего Царя сначала на бездарного Родзянку, затем на масона князя Львова, истеричного труса Керенского и, наконец, на сатанистов Ленина и Троцкого, с тем, чтобы в муках голода, рабски, подло умирать у подножия распятой ими России...

И однако, все эти невероятности стали фактом, о котором будущие поколения будут вспоминать с краскою стыда за своих предшественников. В своем отношении к интригам интернационала, русское общество не проявило не только предусмотрительности и дальновидности, но даже обычной осторожности и ума, хотя бы в самых скромных размерах.

Распутин был самым заурядным явлением русской жизни. Это был сибирский мужик, со всеми присущими русскому мужику качествами и недостатками. Вера есть понятие субъективное и творит чудеса, безотносительно к объекту; а предшествующая слава, какую создали Распутину истеричные женщины и мистически настроенные люди, еще до его появления в Петербурге, являлась сама по себе гипнозом. Однако она не имела бы никакого значения и не сыграла бы никакой роли, если бы на Распутине не сосредоточил своего внимания интернационал, окруживший его, на первых же порах его появления в столице, своими агентами-еврейчиками и учитывавший невежество Распутина как условие успеха своей игры с ним. На фоне столичной жизни появлялись действительно святые люди, как, например, незабвенный молитвенник Земли Русской о. Иоанн Кронштадтский, который бы мог сыграть огромную политическую роль в жизни государства; однако такие люди умышленно замалчивались интернационалом, и святость их не рекламировалась ни обществом, ни печатью. Дело было не в святости, а в наделении этим качеством темного мужика, которого можно было бы легче использовать для определенных целей. Но этого не удалось делателям революции. Распутин оказался честнее, чем они думали, изменил не Царю, а жидам, и отсюда – месть, на какую способны только иудеи. Интернационал прекрасно учитывал, что в отношении такого рыцаря чести и долга и христианина такой голубиной чистоты, каким был Император *Николай II*, никакое другое орудие, с помощью которого можно было бы подорвать уважение к Государю, не достигнет цели и что нужно пустить в ход то, какое применяется в самом крайнем случае, когда нет других... клевету.

Интернационал хорошо это учитывал... Но почему не учитывало этих интриг русское общество, остается непонятным и необъяснимым. Как могло общество раздувать славу Распутина, безразлично, хорошую или худую, зная, что каждое слово о Распутине увеличивает число царских врагов? Как могло быть близоруким настолько, чтобы идти, в лице даже своих лучших представителей, рука об руку с Думою и прессой, зная действительное отношение последних к Царю и династии? Как не принимало никаких мер к замалчиванию имени Распутина, а, наоборот, противодействовало тем, кто это делал, оскорбляя их низменными предположениями, зная, что такое замалчивание является в борьбе с интернационалом единственным средством, единственным щитом, отражающим удары против Царя и Его Семьи?! Я не говорю уже об активной защите своего Государя от подлых обвинений, об активном опровержении злостной клеветы... Но, если подвиг молчаливчества являлся невыполнимым для русского общества, привыкшего критиковать и осуждать, а в последнее время рабски вторившего еврейской прессе, находившей, что в России все плохо, то каким образом общество, в лице даже своих иерархов, не понимало того, что нравственный авторитет Распутина мог быть уничтожен не полицейскими

протоколами и дознаниями о его поведении, а только более высоким авторитетом другого лица?.. Ведь высота нравственного авторитета измеряется не служебным положением, а другими мерками, и какое же значение могли иметь в глазах Государя отзывы о Распутине министров, генералов или даже представителей официальной церкви?! Слово истинного "старца", каких и доньше много на Руси, имело бы, конечно, большее значение, чем мнение всего Синода или генералитета, и сюда должны были быть направлены усилия тех, кто был наивен настолько, чтобы усматривать в Распутине "государственную опасность".

Не был Распутин в моих глазах "святым"... Не был он и тем преступником, каким сделала его народная молва... Но, каковы бы ни были преступления, он все же неповинен в том, в чем повинны его физические и моральные убийцы – в клятвопреступлении и измене присяге Божьему Помазаннику, не повинен в том страшном грехе, который навлек на праведный гнев Божий.

И всякий честно мыслящий человек скажет о Распутине то же, что говорю я, на этих страницах моих воспоминаний, и что до меня сказали А.Ф. Романов и В.М. Руднев, А.А. Вырубова, А.А. Мордвинов и многие другие чистые люди, думавшие так, как Бог велит, а не так, как приказывают думать жида.

Революция победила. Прогрессивное общество получило то, чего так страстно желало, к чему, ценою насилия и крови, так неудержимо стремилось... *Но Бог поругаем не бывает.*

По горькой иронии судьбы, как принято выражаться, а в действительности, по непреложным законам Бога, новое, "ответственное" правительство, явившееся на смену "безответственному", состоявшему, якобы, из ставленников Распутина, очутилось в плену у целой армии подлинных "Распутиных", в плену у Совета рабочих и солдатских депутатов, пред которыми действительно трепетало, веления которого рабски выполняло до тех пор, пока этот Совет не разогнал ставшее ему ненужным правительство, бросив Россию на окончательное растерзание большевикам... Интеллигенция и народ понесли заслуженную кару...

Изменники и предатели, генерал-адъютанты Рузский и Корнилов, оба вышедшие из народа, крестьянские дети, взысканные милостями Государя, зазнавшиеся хамы, предавшие своего Царя, погибли позорной смертью. Первый был зарублен шашками в Пятигорске и полуживым зарыт в могилу, предварительно им самим вырытую; второй был разорван на клочки бомбой. Зазнавшийся Гучков, о котором говорили, что он с кулаками выступал против Царя, требуя отречения, изведан не раз чужих кулаков, будучи избиваем не только кулаками, но и палками... Бездарный и глупый Родзянко, домогавшийся президентского кресла в Российской республике, примирился со скромной ролью псаломщика в Сербии, пользуясь своим зычным голосом не для громогласных речей с Думской кафедры, а для чтения Апостола в Белградском Соборе.

Нужно ли продолжать этот список?! Нет, нужно открыть свои духовные очи, чтобы понять, что значат слова Бога: *"Мне отмщение, Аз воздам"*... Центральным местом революции был не Распутин, как думали и продолжают думать наивные люди, а преступное революционное прошлое прогрессивной общественности, оторванной от Церкви, безверной, невежественной в понимании государственных задач, горделивой в своей самонадеянности... И каковы бы ни были усилия интернационала, они бы не достигли цели, если бы "прогрессивная" общественность выступила на защиту исконных начал русской государственности, на защиту своего Православия и Самодержавия. Она этого не сделала, сознательно пренебрегла своим долгом пред Богом и Царем и ввергла Россию в состояние такого ужасающего хаоса, из коего вывести ее может *только Бог и только Царь*... Святые имена Царя и Царицы и Царских Детей будут сиять вечным светом, в ореоле святости, а горделивые имена клятвопреступников, изменивших Помазаннику Божию, перейдут в историю как синонимы измены и предательства, тупоумия, бездарности и беспросветной глупости.

Глава LXXI. Аудиенция у Ея Величества. Поездка в Новгород

Возвращаюсь к продолжению моего прерванного повествования.

Следуя обычаю, от которого я не отступал в течение многих лет, я имел в виду провести Рождественские праздники где-либо в монастыре, вдали от шума столицы. Однако, накануне своего отъезда из Петербурга, я был вызван к Ея Величеству, и аудиенция изменила мои первоначальные планы. Прошло всего несколько дней после убийства Распутина, события, причинившего Государыне так много боли. Ея Величество была подавлена жестокостью убийц и в первый раз заговорила со мной о Распутине, точнее, о его убийцах.

"Подумайте, какой ужас, как жестоко, как гадко и отвратительно!.. И это совершили наши... родные, племянники Государя!.. В какое время мы живем! Нет, этого нельзя так оставить!.. Убийцы должны быть наказаны, кто бы они ни были", – говорила Императрица, волнуясь.

"Нет, нет. Ваше Величество, не надо! – вырвалось у меня. – Они получают возмездие от Бога, и осознание вины будет казнить их до самого гроба... Сейчас они слепы, ничего не сознают, и наказание создаст им только ореол мучеников; но скоро откроется у них духовное зрение, и тогда они будут чувствовать себя не героями, как сейчас, а преступниками и убийцами"...

Государыня, казалось мне, несколько успокоилась, и разговор коснулся Новгорода и тех поручений, какие Ея Величество желала возложить на меня, ради чего и вызвала к Себе. Передав мне о заготовленных иконах и лампадах для Новгородских храмов и монастырей, Ея Величество просила меня поехать в Новгород и передать Высочайшие подарки, а также вручить икону старице Марии Михайловне. В тот же день ящики с иконами были доставлены чрез курьера на вокзал, и я выехал в Новгород, предупредив архиепископа Новгородского Арсения о своем приезде и прося Владыку дать мне помещение в архиерейском доме. Само собою разумеется, что, обращаясь с этой просьбой, я имел в виду не личные удобства, а руководствовался исключительно соображениями деликатности по отношению к архиепископу, опасаясь, что мое пребывание в гостинице могло быть истолковано как невнимание к Владыке, тем более что мой приезд в Новгород имел отчасти официальный характер, как предпринятый во исполнение воли Ея Величества. Архиепископа Арсения я знал давно, ибо моя предыдущая служба протекала в Государственной Канцелярии, и в Мариинском Дворце я часто встречался с Владыкою как с членом Государственного Совета по выборам. Я привык ценить в его лице выдающегося администратора и восхищался удивительным подбором личного состава духовенства в его епархии, где чуть ли не в каждом селе были подвижники, со многими из которых я был знаком лично. Я слышал, кроме того, и лестные отзывы об архиепископе Арсении со стороны Государственного Секретаря С.Е. Крыжановского, и этого одного мнения было достаточно для того, чтобы я руководствовался в своих отношениях к Владыке чувством самого искреннего доброжелательства и расположения, даже безотносительно к его духовному сану, преклоняться пред которым меня научили с детства.

Когда поезд подошел к перрону, я увидел через окно вагона какого-то монаха, вероятно, знавшего меня, который быстро вскочил в мое купе, отрекомендовался экономом архиерейского дома и заявил, что прислан архиепископом Арсением... Выгрузив, с помощью о. эконома и носильщиков, ящики, числом около дюжины, если не больше, я направился к выходу, где стояли маленькие сани в одну лошадь, настолько узкие и неудобные, что я едва поместился в них в своей шинели...

"Чей это выезд?" – не удержался я спросить, не допуская, что Владыка мог иметь таковой, но в то же время, не решаясь еще осудить архиепископа за невнимание к его гостю, какое бы позволило ему выслать за мной такие сани.

"Мой", – смиренное ответил о. эконом...

"Что это, умысел или невоспитанность?" – подумал я, невольно задетый таким невниманием, так старательно подчеркнутым.

"Куда же мы положим эти ящики?" – спросил я отца эконома.

"Как-нибудь справимся", – ответил он и начал накладывать их на передок к кучеру до тех пор, пока кучер не огрызнулся, заявив, что из-за ящиков не видит дороги. Тогда о. эконом стал перекладывать их мне на колени и взвалил целую гору, а сам примостился кое-как на полозьях, и мы двинулись. По-видимому, не в обычае Новгородских извозчиков выезжать на вокзал к приходу поезда, ибо их не было, и я был лишен возможности облегчить свой переезд в архиерейский дом, мельчайшие подробности которого мне памяты даже до сего времени. Однако худшее было еще впереди.

Кое-как, с постоянными остановками на пути, я все же добрался к цели. На пороге архиерейского дома меня встретил послушник и провел в помещение, для меня приготовленное. Это были три комнаты нижнего полуподвального этажа архиерейского дома, по-видимому, необитаемые. Стояли трескучие морозы; однако в этих комнатах было еще холоднее, чем на дворе... В одной из комнат стояла шатающаяся во все стороны, на кривых погнутых ножках, железная кровать, покрытая белым пикейным одеялом, не первой свежести. Подле нее такой же, рыночной стоимости, умывальник, использовать который оказалось невозможным, ибо вода замерзла и превратилась в ледяную массу. Я обратил на это внимание послушника, который простодушно заметил: "Да, вот смотрите, и в графине тоже замерзла; разве здесь можно жить... Тут спокон века никто не жил, даром что комнаты"...

Не считая возможным спросить послушника, почему мне отведено необитаемое помещение в доме, но в то же время зная свою склонность к простуде, я очень волновался при мысли о том, как проведу ночь в этих "комнатах".

"Можно ли пройти к Владыке?" – спросил я послушника.

"Нет, они сами позовут", – ответил он.

И часа полтора я просидел в этом ужасном помещении, закутавшись в шубу, чтобы не окоченеть от холода. Наконец пришел гонец, возвестивший, что "Его Высокопреосвященство могут меня принять".

"Царь не заставлял Себя ждать часами", – невольно подумал я, поднимаясь на второй этаж к Владыке и весь дрожа от холода.

Однако и в приемном зале, поразившем меня своими колоссальными размерами, мне пришлось подождать не менее часа, пока раскрылись двери соседней комнаты, и на пороге появился, в каком-то страшном одеянии, не то в рясе, не то в халате, архиепископ Арсений.

"Это хитон, подарок Антиохийского патриарха Григория", – сказал архиепископ и залился своим характерным смехом.

Но мне было не до смеха. Я не мог не видеть этой понятной мне, неумной игры, какая нашла свое выражение и в посылке на вокзал саней эконома, и в предоставлении мне необитаемого помещения в доме и, наконец, в умышленной встрече в халате. Во всех этих действиях сквозили умысел и тенденция подчеркнуть свою независимость иерарха от обер-прокуратуры: все было шито белыми нитками и притом грубо-неопрятно.

Однако, в стремлении подчеркнуть эту тенденцию, Владыка забыл, что выходил за пределы самой обычной учтивости и благовоспитанности, обязательных по отношению к гостю, чем вдвойне обязал меня к соблюдению моих обязательств по отношению к нему, как к хозяину. Я даже вида не подал, что замечаю его игру, и на его вопросы ответил, что доехал благополучно и очень доволен отведенным мне помещением... Передав Владыке о цели своего приезда в Новгород, я просил распорядиться внести ящики в зал, чтобы, в присутствии Владыки, вскрыть их. Там оказались драгоценные иконы и лампы, первые с собственноручными подписями Императрицы и Царских Дочерей на обратной стороне, вторые с Царскими вензелями. Потому ли, что архиепископ был тронут этими знаками Царского внимания, потому ли, что из моего рассказа узнал, что, в день своего отъезда в Новгород, я был у Ея Величества и тепло отзывался о его деятельности, или потому, что мое смирение, не позволившее мне обнаружить свое огорчение, обезоружило его, но только Владыка стал проявлять ко мне такое внимание, какое должно было, казалось, загладить

первые неприятные впечатления. Спустя некоторое время Владыка провел меня в основанный им Исторический музей, где трудами Владыки было собрано много исторических ценностей. Я не мог не отдать должного энергии архиепископа, хотя понравился мне не столько музей, сколько тот обычай, о котором Владыка мне рассказал и которому ежегодно следовал, привозя тюремным сидельцам на Пасху красное яичко. Осмотрев музей, я отправился с визитом к губернатору Иславину, а затем объехал Новгородские монастыри, посетив и 116-летнюю подвижницу Марию Михайловну, жившую в Десятинском монастыре, которой также привез подарок от Императрицы, драгоценную икону, с собственноручной надписью Ея Величества на оборотной стороне. Старица очень засуетилась, была чрезвычайно тронута Царским подарком и, в свою очередь, стала искать глазами какого-либо подарка для Императрицы, но ничего не могла отыскать в своей убогой келье, где, кроме ветхих икон, да бутылки с лампадным маслом, не было других вещей... Ее взор остановился на древнем образе Божией Матери: не имея сил подняться с своего ложа, старица просила меня передать ей икону... Долго рассматривая образ и творя про себя молитву, старица вручила мне эту икону со словами: "Отдай ее Царице-Голубушке. Пусть благословит этой иконою Свою дочку, какая первую выйдет замуж"... Потом старица нашла подле себя жестянку с чаем, отсыпала горсть в бумажку и поручила передать чай в подарок Императрице. Долго беседовал я со старицею, которую давно знал и которую извещал в каждый приезд свой в Новгород: я расспрашивал ее о грядущих судьбах России, о войне...

"Когда благословит Господь кончиться войне?" – спросил я старицу.

"Скоро, скоро, – живо ответила старица, а затем, пристально посмотрев на меня своими чистыми, бирюзовыми глазами, как-то невыразимо грустно сказала, – а реки еще наполняются кровью; еще долго ждать, пока наполнятся, и еще дольше, пока выступят из берегов и зальют собою землю"...

"Неужели же и конца войне не видно?" – спросил я, содрогнувшись от ее слов.

"Войне конец будет скоро, скоро, – еще раз подтвердила старица, – а мира долго не будет"...

Через несколько дней старица скончалась... Правду она прорекла: "война" давно кончилась, а мира и до сего времени нет...

Был сочельник, и Владыка стал собираться к губернатору на елку, пригласив и меня с собою. К подъезду подкатила великолепная карета-возок, запряженная кровными орловскими рысаками... Я невольно улыбнулся сопоставив владычный выезд с тем, какой был выслан за его гостем, и подумал о том, как много нужно для того, чтобы, не будучи барином, сделаться им.

С большим беспокойством я возвращался домой. Мысль о том, как я проведу ночь в отведенном мне помещении, пугала меня. Я знал свою склонность к простуде и то, что достаточно только одной струи холодного воздуха во время сна, или малейшего сквозняка, чтобы свалить меня в постель... Однако, деликатность удерживала меня от того, чтобы в этом признаться хозяину, не позаботившемуся о своем госте. По возвращении домой, Владыка поднялся к себе наверх, откуда скоро вернулся обратно, неся в руках свои сочинения в нескольких томах и прося меня принять их от него в подарок.

"Что-то холодновато у Вас, как будто, – сказал Владыка, – помещение, правда, не отапливалось; но, к вашему приезду, я приказал протопить; да, видно, мало топили", – говорил Владыка, а в это время пар изо рта архиепископа так и валил, как дым от папиросы.

Я промолчал. Пожелав мне "покойной ночи", Владыка простился и ушел в свои жарко натопленные покои. На другой день я проснулся с температурой 39 градусов. Я горел как в огне.

Как я продержался на ногах первый день праздника, как выстоял литургию в соборе, а затем присутствовал на приеме архиепископом должностных лиц города, приносивших ему праздничное поздравление, – я не помню, но к вечеру мне сделалось до того дурно, что я объявил архиепископу свое решение немедленно вернуться в Петербург. "Поезд отходит в

1 час ночи... Подождите меня, вместе поедем: у меня свой вагон", – сказал Владыка, даже не осведомившись о причинах такого внезапного решения.

На другой день утром я приехал домой... Без посторонней помощи я уже не мог взойти по лестнице и, добравшись в квартиру, тотчас же свалился в постель. Градусник показывал 39, 8. Три недели я пролежал в постели и только в середине января оправился настолько, что мог сделать Ея Величеству доклад о своей злополучной поездке в Новгород. Эта болезнь имела роковые последствия не столько для меня, сколько для того дела, с которым связывалась моя служебная поездка на Кавказ, куда я должен был выехать в первых числах января и куда выехал только 25 января... Возвратясь в Петербург 24 февраля, я не успел, в виду революции, не только осуществить намеченных предположений, но даже сделать доклада Св. Синоду о произведенной мною ревизии.

Глава LXXII. 1917 год. Доклад Ея Величеству о поездке в Новгород. Высочайший рескрипт на имя начальницы Харьковского Женского Епархиального Училища Е.Н. Гейцыг

Оправившись от болезни, я испросил Высочайшую аудиенцию у Государыни и поехал в Царское Село с докладом о своей поездке в Новгород и с заготовленным для подписи Ея Величества рескриптом на имя начальницы Харьковского епархиального женского училища Евгении Николаевны Гейцыг. Это было в начале января 1917 года.

Доклад длился недолго, и, передав Императрице подарки от старицы Марии Михайловны, какие Государыня приняла и отнесла в соседнюю комнату, я стал рассказывать о деятельности Е.Н. Гейцыг и ее самоотверженной работе, закончив рассказ такими словами:

"Эти маленькие, скромные труженики всегда в тени: их никто не замечает, они и не ждут ничего; а между тем оказанное им с высоты Престола внимание так бы осчастливило их, вдохнуло бы так много энергии и новых сил. Е.Н. Гейцыг имеет уже портрет Государя Императора, с собственноручным подписанием Его Величества, и, может быть, Вашему Величеству было бы угодно пожаловать ей и Ваш портрет, при рескрипте на ее имя... Такие люди малы перед людьми, но велики перед Богом"... Мне не нужно было говорить дольше, ибо никто не был ближе и дороже сердцу Царицы, как именно эти скромные, никому неведомые маленькие люди. С материнской любовью, готовой раскрыть свои объятия каждому подобному труженику, выслушала меня Императрица и затем взяла у меня рескрипт, внимательно прочитала его и одобрила текст.

Подойдя, затем, к маленькому дамскому письменному столику, Государыня хотела подписать его, но в чернильнице не оказалось чернил.

"Сколько лакеев, а никто ничего не делает: только и умеют стоять на одном месте", – сказала Государыня благодушно и ушла в соседнюю комнату в поисках чернил.

Я невольно улыбнулся, ибо, действительно, во Дворце было много слуг, но они умели только мастерски поворачивать головы в разные стороны, не двигаясь с места, и провожать глазами проходивших мимо, но, конечно, ни для чего другого не были пригодны".

Подписав рескрипт, Ея Величество вручила его мне вместе со Своею фотографической карточкой, с собственноручным автографом...

Я был безмерно счастлив, что мне удалось порадовать старушку Е.Н. Гейцыг, и увидел в этих знаках милости Императрицы награду Святителя Иоасафа за то, что Е.Н. Гейцыг явилась первою провозвестницею славы Святителя в Харьковской епархии, одним из самых горячих сотрудников моих в деле собирания материалов для жития Святителя и последовавшего за сим прославления великого Угодника Божия.

Несколько дней спустя, не помню по какому поводу, я был снова вызван к Ея Величеству.

Я застал Государыню грустной и встревоженной. Делатели революции продолжали, с непостижимым рвением, делать свое гнусное, черное дело, забрасывая Императрицу безжалостною, жестокою клеветою и привлекая к своему "делу" все большее число

сознательных и бессознательных сотрудников, помощников и пособников. Обычно сдержанная, не ищущая извне ни помощи, ни поддержки, ни даже простого участия, Императрица, на этот раз, поделилась со мною своими горестными переживаниями и рассказала о письмах княгини Васильчиковой, члена Государственного Совета Обер-егермейстера Балашова, а также о безобразной выходке начальницы Царскосельского епархального женского училища Курнатовской, о чем я уже упомянул на предыдущих страницах.

Выходка г-жи Курнатовской до крайности ошеломила меня, и я сделал невольное сопоставление между Е.Н. Гейцг, самоотверженной провинциальной труженицей, беззаветно преданной Престолу и горячо любившей Государыню, и г-жею Курнатовскою, жившей по соседству с Царским Дворцом, свидетельницей не только подвигов, но и страданий Императрицы.

Чем дальше были люди от Престола, тем преданнее были, и чем ближе подходили к подножию Престола, чем большими милостями пользовались от Царя и Царицы, тем большими изменниками и предателями являлись. Однако, связанный запрещением Ея Величества, я мог чувствовать только презрение к г-же Курнатовской, но не имел возможности немедленно же уволить ее от должности, что, однако, хотел сделать после возвращения с Кавказа, на ревизию куда должен был уехать через несколько дней.

Это была последняя аудиенция, и после этого я уже не видел Императрицы... Уничтожив Россию, революция укрыла от ее взора Царя и Царицу, Господь отнял Своего Помазанника, и неизвестно, когда вернет Его...

Глава LXXIII. Отъезд на Кавказ. Туапсинская Иверско-Алексеевская Женская Община

Еще задолго до перехода своего на службу в Ведомство Православного Исповедания, я осаждался разного рода просителями, прибегавшими к моей помощи и заступлению. Как я ни уклонялся от этих просителей, как ни убеждал их в том, что, состоя на службе в Государственной Канцелярии и ведая только мертвое канцелярское дело, я не имею ни связей, ни влияния в "сферах" и что, в лучшем случае, мог бы ограничить свое участие к ним передачею их просьб и прошений по принадлежности тому или иному Министру, но от этого не уменьшалось ни количество поступавших ко мне письменных обращений, ни число личных посетителей. В этом случае я как бы дополнял собою графиню Софию Сергеевну Игнатьеву, в двери которой ломились эти маленькие люди в полном убеждении, что всеильная графиня, или, как ее называли эти люди, "*мать-владыка*", все может. Графиня же, нередко, направляла своих просителей ко мне, а я своих – к графине. Просьбы, с которыми к нам обращались, были самого разнообразного содержания и часто не имели никакого отношения к церковным сферам.

На этой почве рождались нередко комические эпизоды.

Пришел ко мне, однажды, какой-то иеромонах, прибывший из Ташкента, и просил меня хлопотать о разрешении использовать развалины какой-то пограничной крепости для предполагаемой им постройки монастыря. Он был так увлечен своей идеей, рассказывал о ней с таким жаром, глаза горели таким неподдельным огнем вдохновения, а перспективы видеть на месте этих развалин дивную обитель так манили его и до того пленяли, что он был всецело во власти своей идеи и произвел на меня чарующее впечатление. Я с интересом слушал его рассказ и мысленно искал путей помочь ему. Однако, по мере того, как он все более и более углублялся в подробности своего рассказа, выяснилось, что, прибыв в Петербург, он прежде всего направился к Обер-Прокурору В.К. Саблеру, от которого узнал, что, прежде чем использовать бывшую крепость под монастырь, нужно получить разрешение военного министра В.А. Сухомлинова. Иеромонах бросился к военному министру, который объяснил, что, по стратегическим соображениям, означенную крепость нельзя превращать в монастырь, и отказал иеромонаху в его просьбе.

Тогда иеромонах подал прошение на Высочайшее имя, но и там получил отказ. Выслушав его рассказ, я не удержался, чтобы не рассмеяться.

"Дорогой батюшка, да я и рад был бы помочь вам, но ведь вы обошли уже все инстанции, и даже сам Государь Император отказал вам. Что же я могу сделать?"..

Как ни резонно было мое замечание, но иеромонах не унимался и доказывал, что с самого начала дело было поведено неправильно и что если бы он не начал с В.К. Саблера, а заявился бы сначала к графине С.С. Игнатьевой, или ко мне, то и дело бы пошло по иному.

Велика была его вера, но, увы, она не спасла его дела.

Такою же дорогою дошла к дверям моей квартиры и начальница Иверско-Алексеевской обители в Туапсе, монахиня Мариам, и рассказала мне свою поистине трагическую историю.

Проживала в Екатеринодаре зажиточная мещанская семья, богобоязненная и религиозно настроенная, жившая на попечении старика отца и состоящая из трех дочерей, одна другой краше. В числе знакомых этой семьи был старец Софроний, которого молва называла великим подвижником и за которым толпы народа ходили следом, признавая его святым. Почитала старца Софрония и помянутая семья, и когда старик отец заболел и лежал уже на смертном одре, то, призвав к себе старца Софрония и указав ему на своих юных дочерей, сказал ему:

"Тебе я поручаю чистые и невинные души детей моих. Береги их и доведи до Престола Божьего". Сказав это, старик скончался, а сироты остались на попечении старца Софрония, который посоветовал им распродать все свое имущество и на вырученные деньги основать монастырь, принять иночество и подвигами и трудами спасти свои чистые души вдали от заразы мирской. Так они и сделали. Долго длились поиски удобного места, пока не отыскали подходящего, подле Туапсе, в одном из живописных ущелий Кавказских гор. Работа закипела, и не прошло и двух лет, как на купленном участке воздвигли монастырские корпуса и был заложен фундамент для каменного храма. Временно же богослужение совершалось в домово́й церкви, при покоях начальницы общины.

Все более и более ширилась слава юной Алексеевской общины, и начальница уже заручилась согласием Преосвященного Андрея, епископа Сухумского, о переименовании общины в монастырь. Как свеча пред Богом горела юная обитель среди Кавказских гор; как трудолюбивые пчелы, работали сестры-подвижницы день и ночь над Божьим делом. Монахиня Мариам и ее сестры не только отдали обители все свое имущество, но перевезли туда прах покойных родителей, самое дорогое, что имели, мечтая быть похороненными рядом с этими, бесконечно дорогими им, могилками. Старец Софроний проживал в нескольких верстах от обители, где ему построили келью и оттуда он приходил на богослужение в юную, созданную и его мыслью, и, его трудами обитель... Тихо и мирно протекала жизнь обители, пока прежний благочинный не получил иного назначения, а на его место был назначен настоятель одного из храмов г.Туапсе, священник Краснов, или Красницкий, точно не помню его фамилии.

С него и начались те ужасы, какие, в результате, разгромили обитель и развеяли сестер по всему белому свету...

Этот священник имел двух сыновей – ярых революционеров, побывавших не только в тюрьме, но, кажется, и на каторге, и сам был революционером и страшным человеком... Он вошел в доверие к епископу Андрею, также известному своими антимонархическими взглядами, и епископ, вчера создавший юную обитель, стал сегодня разрушать ее, но не своими руками, а руками своего заместителя, преосвященного Сергия Сухумского.

"Да как же это!" – взмолилась несчастная монахиня Мариам к епископу Андрею, покидавшему Сухумскую епархию и переезжавшему в Уфу: "Вы же сами помогали все время обители, а теперь наговорили столько дурного против нее новому Владыке"...

"Ничего, ничего", – утешал епископ Андрей, вооружая одновременно против обители своего заместителя и всецело доверяясь благочинному-революционеру, создавшему

непередаваемо гнусную легенду о безнравственном поведении старца Софрония и об отношениях к нему сестер молодой общины.

Как только был пущен такой слух, так Преосвященный Сергей стал буквально терзать обитель своими ревизиями и дознаниями, пока, наконец, не разогнал всех сестер, с начальницею монахиною Мариам, и назначил новую начальницу, которая привезла с собою и новых сестер, а прежних пустила по белу свету...

Рассказав историю разгрома обители, монахиня Мариам добавила, что об этой истории известно и Великой Княгине Елизавете Феодоровне, с любовью приютившей у себя часть развеванных в разных местах сестер Алексеевской общины, и графине С.С. Игнатьевой, и очень многим другим, с негодованием отвергавшим гнусную клевету и желавшим всемерно помочь ей. Рассказ монахини Мариам был так искренен, сама она производила такое глубокое впечатление своею пламенною верою, своею, не внушавшей мне ни малейшего сомнения, чистотою, а имя Преосвященного Андрея (в мире князя Ухтомского) было так хорошо мне известно как имя "передового" и путаного человека, что, выслушав этот рассказ, я немедленно же полетел к Обер-Прокурору В.К. Саблеру и горячо просил его заступиться за несчастную обитель. Я имел, кроме того, и добрые отзывы об обители и со стороны своего начальника, Статс-Секретаря Государственного Совета С.В. Безобразова, владельца небольшого имения, расположенного вблизи Алексеевской общины, также просившего меня заступиться за разоренную обитель. Поэтому я ехал к В.К. Саблеру в полном убеждении, что он был введен в заблуждение докладами епископа Сергея, о котором тоже отзывались неодобрительно...

"Что за странный обычай, – сказал я В.К. Саблеру. – Каждый раз, когда требуется оклеветать другого, пользуются непременно обвинением в безнравственном поведении... Ведь ясно, почему выбирают именно это, а не другое какое-либо обвинение... Всякое другое допускает проверку; а это труднее всего проверить, и ему легче всего верят... Кто же станет совершать безнравственные поступки при свидетелях, и, следовательно, какая цена таким свидетельским показаниям! И, притом, обвинения совершенно неправдоподобны: старцу Софронию, говорят, уже 80 лет"...

"Это ничего не значит", – многозначительно ответил В.К. Саблер и засмеялся.

Так моя миссия у В.К. Саблера ничем и не кончилась.

Как я ни убеждал Обер-Пркурора, что единственная просьба монахини Мариам заключается в командировании кого-либо для производства тщательной ревизии на месте, для ознакомления с революционной деятельностью благочинного обители; как я ни доказывал, что нельзя же подвергать таким непосильным испытаниям веру создателей обители, отдавших последней все свое имущество и изгнанных из обители, брошенной в руки тем, кто теперь глумится над этой верою, но В.К. Саблер был непреклонен и сказал лишь, что я всегда всем верю и всегда во всем ошибаюсь, что у него имеются бесспорные доказательства виновности как старца Софрония, так и сестер обители, в том числе и монахини Мариам. Прошло несколько лет...

Я вошел в Синод в качестве Товарища Обер-Прокурора и немедленно же заявил, что дело Иверско-Алексеевской общины должно быть расследовано, ибо нельзя делать выводов только на основании одних письменных донесений с места, не проверив их и не увидев даже старца Софрония... Мое заявление встретило оппозицию со стороны иерархов, признававших донесения Преосвященных безапелляционными и усматривавших в проверках их чуть ли не оскорбление епископа. С этим взглядом я не согласился и настоял на своей личной поездке, правда, только в январе 1917 года, ибо моя поездка, под разными предлогами, затягивалась. 25 января я выехал на Кавказ, заехав по пути, в Харьков для вручения Величайшего рескрипта начальнице женского епархиального училища Е.Н. Гейцыг.

Тормозилась моя поездка не только Синодом, но и... А.Осецким, задерживавшим выдачу прогонных денег и мстившим мне за многое, в том числе и за то, что я не допустил его поездки в Москву на праздники Рождества Христова. Ссылаясь на необходимость

обревизовать какое-то Синодальное училище, – не помню теперь в точности какое, – А.Осецкий намерен был выехать в Москву во главе целой комиссии чинов Хозяйственного Управления и подал соответствующий рапорт Обер-Прокурору, который и разрешил поездку, о чем и предупредил меня. В качестве Товарища Обер-Прокурора, я, не имея права входить в рассмотрение вопроса по существу, должен был ограничиться лишь утверждением вопроса ассигновки на поездку. Когда А.Осецкий явился ко мне за этим и представил мне эту ассигновку, начисленную им в несколько тысяч рублей, то эта сумма была признана мною чрезмерной, и я не только не утвердил ассигновки, но и сообщил Н.П. Раеву, что в такой поездке нет ни малейшей надобности, ибо Москва имеет Синодальное управление, какое и может обревизовать училище и донести о своей ревизии Св. Синоду. Н.П. Раев не был мелочным и не только не обиделся на меня, но даже выразил благодарность и взял свое разрешение назад.

Слухи об этой поездке проникли в печать, и в газетах появилась статья под заглавием: "Увеселительная поездка А.Осецкого в Москву", в которой хорошо осведомленный о вопросе автор высмеивал А.Осецкого и доказывал, что, как ни хитро была задумана и обставлена поездка, однако А.Осецкому не удалось обойти Товарища Обер-Прокурора.

Все это до крайности взбесило А.Осецкого и, в результате, при исчислении прогонных денег на мою поездку на Кавказ, рассчитанную на месячный срок, мне было отпущено всего около 700-800 рублей, если не ошибаюсь. Такой была мелкая месть мелкого человека! Отпущенная сумма, конечно, не смутила меня, и перерасход был покрыт моими личными средствами, ибо, разумеется, я не считал для себя возможным входить в пререкания по этому вопросу с г. Осецким.

Глава LXXIV. Евгения Николаевна Гейцыг

Трудно передать то настроение, тот духовный подъем, какой, по милости Ея Величества, благодетнейшей Государыни Императрицы Александры Феодоровны, охватил всю Харьковскую епархию, склонившуюся перед начальницею женского епархиального училища Евгенией Николаевной Гейцыг в признании ее великих заслуг перед епархией, нашедших трогательную оценку с высоты Престола. В летописях епархиальной жизни именной Высочайший рескрипт скромной провинциальной труженице был, конечно, событием необычайным, не имевшим примера, и неудивительно, что это торжество было залито не вином и шампанским, а слезами умиления, исторгавшими горячие молитвы к Богу о здравии и благоденствии Императрицы. Прибыв, вместе с архиепископом Антонием, 28 января 1917 года, в епархиальное училище, я застал там начальницу Е.Н. Гейцыг, окруженную детьми, учительским персоналом и местным духовенством.

Прочитав Высочайший рескрипт и вручив его Е.Н. Гейцыг, я обратился к ней с такими словами:

"Глубокоуважаемая Евгения Николаевна, приветствую Вас с великою радостью. Ваша деятельность, проникнутая смирением и любовью, не укрылась от любящего взора Царицы-Подвижницы, сердцу которой так близки те скромные труженики, какие не ищут славы людской, какие в безмолвии и тишине совершают свое великое дело служения ближним пред очами Вы избрали себе подвиг воспитания и образования дочерей православного духовенства, с великою любовью и самоотвержением несете этот подвиг свыше 33 лет, свидетельствуя своим примером о том, как много могут сделать силы одного человека, проникнутого любовью к делу, той любовью, которая низводит благодатную помощь на всякое дело Божие. Может быть, и Вы встречали препятствия на пути; может быть, и Ваша душа скорбела, изнемогая под бременем тяжелой ноши; но Вы донесли свое бремя до конца, до той минуты, когда оно перестало быть бременем и сделалось благом, сделалось для нас радостью. "Иго Мое благо и бремя Мое легко": если этих слов Христа не понимают, если им не верят, то только потому, что люди нетерпеливы и часто сбрасывают с себя иго, на них Христом возложенное, *раньше срока, predeterminedного Богом*, не хотят донести его до того момента, когда самое тяжкое иго, самое нестерпимое страдание превращается в

радость, рождая живую связь с Богом, вызывая слезы благодарности. И для Вас настал этот момент. Ея Величеству Государыне Императрице Александре Феодоровне было угодно осчастливить Вас высокомиловитым рескриптом, пожаловать Вам Свой портрет с собственноручным начертанием и повелеть мне лично вручить Вам эти знаки Высочайшего к Вам благоволения. Я счастлив исполнить волю Ея Величества, счастлив тем более, что вижу здесь выражение неисповедимых Путей Божиих, вижу в этом знаке источник не только немой радости, но и благословение небесное. О, если бы поскорее открылись у людей очи духовные, и они научились бы видеть в своей жизни и в окружающем отражение Путей Божиих, отражение этой вечносушной связи, которая соединяет небо и землю! Не Вы ли явились первой провозвестницей славы Святителя Иоасафа, угодника Божия, особенно близкого сердцу каждого из нас, особенно любимого и дорогого?! Сколько любви вложили Вы в дело прославления его, когда это дело только начиналось! Не Он ли, Святитель, вдохновлял Вас в Вашей работе, подкреплял в трудах, нашедших такую трогательную оценку с высоты Престола, со стороны нашей возлюбленной Царицы?!

Храните же этот дорогой рескрипт как благословение свыше; храните на память о Государыне, вся жизнь которой проникнута пламенной любовью к Богу и Его святым угодникам. И да будет Ваша радость радостью для всех, кому дорого то святое дело, какое Вы делаете, кто понимает святую миссию православного духовенства".

Вслед за мною обратился с приветствием к Евгении Николаевне архиепископ Антоний, сказавший следующую речь:

"Со своей стороны должен заявить, уважаемая Евгения Николаевна, что радость Ваша является радостью всех нас, от души сочувствующих и Вам, и училищу, и призываемым здесь галичанам, потому что все мы, т.е. Харьковское духовенство, равно и Ваши сослуживцы и сослуживицы, наблюдая Ваше самоотверженное, исполненное материнской любви служение Богу и ближним, хотя и выражали Вам неоднократно благодарность, любовь и уважение, но всегда сознавали, что Ваша исключительная ревность ко врученному Вам святому делу далеко не оценена по достоинству в современной жизни, и последняя остается в отношении к Вам несправедливо до тех пор, пока за Ваши исключительные труды не последует исключительно необычное в Вашей скромной доле воздаяние, далеко превышающее пределы нашей епархии. Вот почему, можно сказать, вся епархия радовалась, когда Вы два года тому назад удостоились получить портрет Государя Императора с собственноручною подписью. Сегодня высокий сановник вручил Вам такой же портрет Государыни Императрицы, но еще при милостивом рескрипте с торжественным признанием Ваших заслуг по разным отраслям вашей деятельности. Только теперь все мы, непосредственные свидетели последней, можем утешить себя словами: "наконец-то наша Евгения Николаевна награждена по достоинству". Мы видим Вашу радость, но знаем и Вашу скромность, и потому не погрешим, если скажем, что духовенство и Ваши питомцы и присутствующие здесь галичане радуются больше Вас самих, ибо то, что исполнить мы не имели сил, совершенно теперь Высочайшей властью. Радует нас еще и то, что в прочитанном рескрипте благоволительный Высочайший взор пал и на дорогое нам скромное училище, и на любезных нам беженцев-галичан, и на опекаемых местным духовенством наших страдальцев воинов. Напутствуемая молитвами благодарных Вам старых и молодых друзей, идите же бодро вперед в служении любви и милосердия, под благоволительным покровительством Их Императорских Величеств".

Не могу не использовать случайно сохранившихся газетных вырезок и не привести ответных речей глубоко растроганной Е.Н. Гейцыг. К сожалению, текста Высочайшего рескрипта, напечатанного в "Церковных Ведомостях" за 1917 год, мне не удалось отыскать.

Обращаясь ко мне, Е.Н.Гейцыг сказала:

"Князь Николай Давыдович! Приношу Вам мою глубочайшую, горячую благодарность за доставленную мне радость и счастье снова получить Высочайшее благоволение. Ея Императорское Величество Государыня Императрица, как мать и воспитательница, сочувственно отнеслась, по докладу Вашему, к трудам старой

воспитательницы и удостоила меня Высочайшей награды. В далекой молодости, в начале службы моей, я была удостоена высокомилоостивого пожелания Его Величества Государя Императора Александра Александровича, тогда Наследника, *нести легко обязанности* воспитательницы; и вот теперь, на закате жизни моей, я осчастливлена Высочайшей оценкою почти полувековой деятельности моей Их Императорскими Величествами. Что выше радости моей?!

В сентябре месяце Вы, князь, доставили мне большое удовольствие, посетивши училище. Едва взглянули Вы на детей и на нашу обстановку, Вы сразу оценили труды нашей училищной корпорации и обратили большое внимание на мой доклад о моих ближайших помощниках – воспитательницах, на их тяжелый труд в нашем обширном и многочисленном училище... Возвратившись в Петроград, Вы немедленно откликнулись и выразили сердечное желание пойти навстречу воспитательницам и воспитанницам... Все, что Вы могли заметить в среде детей симпатичного и хорошего, в час Вашего пребывания у нас, все это достигнуто далеко не легкими трудами моих чудных, дружных, идеальных сослуживцев и сослуживиц, и в эту счастливую минуту, имея в руках Высочайший милостивый рескрипт и драгоценный портрет Ея Величества, я разделяю с ними этот высокий Царский дар и горячо благодарю их всех за помощь мне. От всего сердца благодарю моих достойнейших, дорогих воспитательниц, сотрудниц по призрению детей-галичан, заботою и участием которых дети чувствуют себя в училище как в семье родной; благодарю и великих подвижниц милосердных сестер... Не их ли содействию и усердию я обязана милостивым вниманием Ея Величества к нашим галичанам и раненым?!

Ваше Сиятельство! Еще раз осмеливаюсь просить Вас, просить и молить, не забывайте моих дорогих воспитанниц, помогите им все с той же любовью стремиться в родное им училище, все с тем же самоотвержением нести великий труд воспитания детей, святую службу Царю, Царице, Церкви и Отечеству, и Вас, глубокоуважаемый князь, мы назовем своим благодетелем. Моя же благодарная молитва о Вас, князь, Святителю Иоасафу. Да сохранит Он Вас и да поможет Вам на новом пути Вашей деятельности. От имени всей училищной корпорации, моих бывших и настоящих воспитанниц, имею честь просить Ваше сиятельство повергнуть наши верноподданнические чувства к стопам Их Императорских Величеств".

Затем, обращаясь к архиепископу Антонию, Е.Н. Гейцыг сказала:

"В нынешнем торжественном дне моем я снова вижу Вас, Высокопреосвященнейший Владыка, вижу Ваше участие, Ваше содействие, Ваше архипастырское благоволение. Никакие слова не способны выразить моих душевных чувств благодарности... Примите мой глубокий, земной поклон, Владыка святой".

И Е.Н. Гейцыг преклонила колена пред архипастырем, Я видел радость, но видел и волнение Евгении Николаевны и, чтобы приободрить ее, сказал ей:

"Я вижу Вашу радость и радость всего Харьковского духовенства, для которого Вы так много сделали, и испытываю чувство величайшего нравственного удовлетворения от сознания, что Вы приобщили и меня к Вашей общей радости. Да послужит же для Вас эта радость источником новых духовных сил в деле, какое, в своем конечном итоге, увенчает Вас и наградой небесной, а для нас всех – свидетельством того, что верная служба Богу и Царю никогда не укроется от взора ни Царя Небесного, ни Царя земного. Всякий путь труден только тогда, когда человек смотрит вниз, считая камни, о которые спотыкается, или назад, измеряя пройденное расстояние... Там же, где смотрят вперед, видя пред собою идеал, где идут с верою в дело и любовью к нему, окрыленные надеждою дойти до цели, там не замечают препятствий, как бы велики они ни были... Вот Вы дошли к цели и теперь, верно, и не вспомните о тех преградах и препятствиях, с которыми вели борьбу, точно их и не было вовсе. Теперь отдохните от трудов Ваших, с сознанием честно выполненного долга. Я знаю о верноподданнических чувствах Ваших и всей корпорации Вашей и, конечно, с чувством особой радости засвидетельствую о них перед Их Величествами".

После моих слов, выступил на середину ректор Харьковской Духовной Семинарии, председатель совета училища, протоиерей И.П. Знаменский, обратился ко мне с нижеследующей речью:

"Ваше Сиятельство! Пользуюсь настоящим обстоятельством, чтобы выразить свое и корпорации Харьковского епархиального училища удовольствие по поводу того, что Ваше Сиятельство в свое двухкратное посещение училища имели возможность ознакомиться с состоянием училища, оценить достоинства начальницы училища, Евгении Николаевны Гейцыг, и исходатайствовать ей высшую награду – изъявление Монаршаго благоволения Ея Императорского Величества, Государыни Императрицы Александры Феодоровны, выраженное в Высочайшем Ея Величества Рескрипте и пожалованием портрета Ея Величества.

Евгению Николаевну я знаю 23 года, со времени своего перехода в 1894 году в г. Харьков на должность ректора Харьковской Семинарии. В течение этих 23 лет, я имел возможность хорошо ознакомиться с деятельностью Евгении Николаевны как начальницы училища, так как в епархиальном училище, под ее руководством, у меня воспиталось 6 дочерей.

Но особенно близко я узнал сложность и многосторонность работы Евгении Николаевны и ее энергию в исполнении своих обязанностей с 1913 года, когда я назначен был председателем совета училища. Я увидел, что труды начальницы Харьковского Епархиального училища естественно осложняются с каждым годом вследствие расширения училища и увеличения в нем числа воспитанниц, которых при вступлении Евгении Николаевны в училище было 300-350, а в настоящее время их около 900... Тогда было только в одном классе по 2 отделения, а всего не более 7 классов, а в настоящее время только в 7 и 8 классах по два отделения, а всего 20 отделений, Всякому должно быть совершенно понятно, какое должно быть громадное напряжение силы воли и энергии в деятельности начальницы такого многолюдного учебного заведения, чтобы держать его на такой высоте в нравственно-воспитательном отношении, какою отличается Харьковское Епархиальное женское училище, воспитанницы которого охотно и без всяких испытаний принимаются в Харьковские высшие учебные заведения – высшие женские курсы, медицинский и коммерческий институты, а также усиленно приглашаются земскими учреждениями, уездными училищными советами и инспекторами народных училищ не только Харьковской, но и других соседних губерний, и Харьковским Епархиальным училищным советом и его отделениями, преимущественно пред другими кандидатами, на должности сельских учительниц.

И несмотря на эту громадную тяжесть своих прямых обязанностей на должности начальницы училища, в последние годы, когда над нашим отечеством разразилась страшная, кровопролитная война, когда во внутренние губернии потянулись массы беженцев, как русских, так и из несчастной разоренной Галиции, Евгения Николаевна нашла в себе достаточно силы и энергии, чтобы принять самое деятельное участие в устройении этих несчастных людей, которые должны были покинуть свои разрушенные жилища. Она состоит деятельным членом епархиального беженского и прикарпатского комитетов, из которых в последнем она исполняет даже обязанности казначея. Но с особою силою ее материнская заботливость и теплота чувств проявились в отношении к детям галичанам, потерявшим на родине отцов и матерей. Еще в декабре 1914 г. первая партия детей-галичан направлена была в г. Харьков и нашла теплый приют в епархиальном училище. Евгения Николаевна приняла их как самая нежная и заботливая мать. Она встретила их на вокзале, доставила их в училище, в количестве около 100 человек, обмыла, одела, обула, нашла добрых благодетелей, которые некоторых из детей приняли к себе или взяли на себя обязанность их воспитания в учебных заведениях, разместила их, по указанию высокопреосвященнейшего архипастыря, по духовным учебным заведениям, причем на долю епархиального училища осталось до 15 девочек-галичанок, по гимназиям, институтам, кадетским корпусам, чем вызвала с их стороны ответные горячие чувства,

выражающиеся доселе в их благодарственных к ней письмах. Евгения Николаевна несет на себе также главную тяготу заведывания лазаретом епархиального духовенства, помещающимся в больнице епархиального училища.

На основании всего высказанного мною, я беру на себя смелость заявить, что Ваше сиятельство отметили своим вниманием и испрошением Высочайшей награды достойнейшую.

Выражая все это пред Вашим Сиятельством, принося Вам глубокую благодарность за высокую честь, оказанную нашей начальнице, я присоединяюсь к только что выраженной Вам просьбе Евгении Николаевны: не оставьте, Ваше Сиятельство, своим высоким вниманием Харьковское духовенство, которое напрягает все силы к тому, чтобы обеспечить духовно-учебные заведения Харьковской епархии всем необходимым, и корпорацию служащих в епархиальном училище, которые с полным усердием трудятся, чтобы держать училище на должной учебно-воспитательной высоте.

Вам же, достоуважаемая Евгения Николаевна, от лица Харьковского духовенства, за все Ваши труды по благоустройению училища приношу глубокий поклон".

Как билось мое сердце, как искренно и глубоко я воспринимал каждое слово этих тружеников, возлагавших на меня так много надежд и упований!.. И, всем сердцем сочувствуя нуждам обездоленного духовенства, я думал только о том, как бы не посрамить этих упований, как бы оправдать возлагаемые на меня надежды...

Отвечая на речь протоиерея И.П. Знаменского, я сказал:

"Глубоко чтимый отец протоиерей!

Вступив в отправление своих обязанностей, я вменил себе в долг с особенным вниманием следить за работой тех самоотверженных тружеников, которые часто ведомы одному только Богу, тех смиренных делателей дела Божьего на земле, которых заслоняют собою люди сильные и недобрые, которые делают свое дело не напоказ, не для славы людской, или собственной, а для славы Божьей, которые малы пред людьми, но велики пред Богом. Отыскивать этих людей, подкреплять их силы, поддерживать их бодрость духовную, какую часто неоткуда брать этим обессиленным людям, защищать их, помогать бороться с препятствиями извне – это не только долг моей совести, не только одна из задач моей службы, но и прямое повеление нашего благочестивейшего, возлюбленного Государя Императора, какое я обязан выполнять. И я, с своей стороны, прошу вас всех помочь мне в этом. Несправедливости на земле много, и мы все одинаково должны бороться с нею и приходить на помощь не тогда, когда о ней уже громко кричат, а гораздо раньше, когда о защите еще не смеют, не решаются просить. Только тогда мы получим и возможность подкреплять вовремя невидных работников на ниве Божьей, увеличивать их веру в тяжелый труд, выпавший им в участь, давать им нужные силы, вдохновлять к работе. Ваша просьба не оставлять без внимания интересов духовенства и, в частности, сельского – наполовину уже исполнена. Положение духовенства, и особенно сельского, мне хорошо ведомо. Не без участия Промысла Божьего, первые годы моей службы протекли в деревне, и я не только хорошо знаю нужды сельских пастырей, но знаю и то, как много государство им обязано. Там впервые на местах я научился и любить, и уважать нашего пастыря-подвижника; там впервые я познакомился и с той красотой его духовного облика, какая и сейчас стоит так живо перед моими глазами. Смирение – великая сила; но пользоваться ею не умеют. Истинное смирение неразлучно с чистотою, и тогда оно всепобеждающая сила, перед которой склоняется и власть. И деревня являла мне эту силу в лице тех немощных, скромных пастырей, которые даже в своем приходе не всем были заметны. Сердечному участию Обер-Прокурора Св. Синода Н.П. Раева к нуждам духовенства вы обязаны тем, что важнейшие мероприятия в области нашей церковно-государственной и жизни уже на пути к осуществлению. Возглавляемая митрополитом Питиримом комиссия заканчивает свои работы по вопросу о материальном обеспечении духовенства, а состоявшая под моим председательством междуведомственная комиссия о выработке пенсионного устава духовенству уже внесла выработанный проект в законодательные учреждения. Вы можете

быть твердо в том уверены, что ваши нужды составляют предмет горячей заботы Обер-Прокуратуры, свято выполняющей предуказания Государя Императора".

Не успел я кончить, как из толпы выпорхнула какая-то приветливая и очень бойкая девица, оказавшаяся одною из бывших воспитанниц училища, и, подбежав вплотную к Е.Н. Гейцыг, засыпала ее звонкими словами, полными неподдельного воодушевления. Нисколько не смущаясь обстановкой, Лидия Загоровская отчетливо и ясно передала начальнице приветствие от имени воспитанниц училища и сказала следующее:

"Дорогая и любимая Евгения Николаевна!

Что солнце в небе красное – то Государь наш батюшка со своей Царицей-радостью. Ласкает, греет солнце – так свет, любовь и животворная радость льются с высоты Монаршего трона... Это мы видим, с восторгом чувствуем и переживаем сейчас в светлые минуты вашего праздника, собравшего нас всех сюда. За Ваши великие труды – Вам новая милость от Ея Императорского Величества Государыни Императрицы. Мы, бывшие воспитанницы Ваши, случайно узнав об этом выдающемся событии в Вашей жизни, поспешили к Вам, чтобы разделить с Вами Вашу радость.

Всегда для всех нас Вы были нежная, любящая, заботливая мать. Всегда все мы воспитанницы любили и любим Вас, как могут любить дети свою дорогую мать. Поэтому сегодняшний день – день радости и для Вас и для нас. Правда, Вам некогда оглянуться на ниву Вашей жизни. Вы в неустанном труде: то в работах по училищу, то у постели больных, то в хлопотах об обездоленных галичанах, о беженцах несчастных, в труде честном, высоком, благородном – по заветам Христа...

И в эту минуту высокой радости, невольно хочется нам оглянуться на все сделанное Вами, на все то доброе, к чему так идут слова Спасителя: "Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве, так что сеющий и жнущий вместе радуются"...

Кончилось торжество... Гостям был подан чай, после которого я, вместе с архиепископом Антонием, уехал из училища, увозя о нем самые светлые воспоминания... Посетив, затем, несколько мужских гимназий, где я присутствовал на уроках Закона Божьего, сделав визиты преосвященному викарию и Харьковскому губернатору, я на другой день, утром, уехал в Ростов, с сознанием выполненного нравственного долга перед училищем и его начальницей.

Это торжество было и лебединою песней Е.Н. Гейцыг.

Вскоре после него, Евгения Николаевна скончалась, с благодарною молитвою за Царя и Царицу на устах. Я вспомнил заключительные слова приветствия Лидии Загоровской:

"Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве"...

Глава LXXV. Прибытие в Ростов. Депутация галичан. Проф. П. Верховский. "Самый плохой ученик"

Хотя поезд прибыл в Ростов поздно вечером, однако в царских комнатах Ростовского вокзала собрались для моей встречи не только должностные лица, но и группа проживавших в Ростове беженцев-галичан. Отпустив первых, я занялся последними, устроил нечто вроде маленького заседания, на котором выслушал обращенные ко мне просьбы, сводившиеся, главным образом, к заботе о помещении детей в местные гимназии и ограждении их от влияния униатского духовенства, борьба с которым становилась все более трудною, ввиду того, что униаты располагали большими средствами и, пользуясь бедствиями православных галичан, переманивали их в унию. Жалобы эти раскрыли предо мною очень тонкую и сложную игру католического епископа графа Шептицкого и составили содержание специального доклада Св. Синоду, в котором я ходатайствовал об отпуске средств на борьбу с униатской пропагандой и доказывал, что, сберегая лишнюю копейку, Св. Синод теряет чад Православной Церкви. Доклад был иллюстрирован разительными примерами, свидетельствовавшими о тех приемах, коими гр. Шептицкий и его агенты пользовались для уловления православных галичан в лоно католической церкви.

Из дальнейшей беседы я узнал, что среди профессоров эвакуированного в Ростов Варшавского университета находится и профессор П.В. Верховский, и я передал ему приглашение явиться ко мне утром следующего дня.

Было уже поздно; я отпустил галичан и направился в свой вагон.

На другой день утром, обер-секретарь Ростовский, сопровождавший меня в поездке, доложил мне о приходе профессора П.В. Верховского.

Предо мной предстал маленький, невзрачный человек, с нервными движениями и характерным выражением глаз. Я почти безошибочно определял по этому выражению людей "ищущих", но ничего не нашедших. Еще в более резкой степени было выражено такое "искание" в глазах прославившегося иеромонаха Антония Булатовича, наделавшего столько шума своею книгою об Имени Божиим, создавшей Афонскую ересь имябожников.

Я очень любезно принял профессора П.В. Верховского и, указав ему на то, что был очень огорчен его статьею, появившейся вслед за моим назначением, и просил его объяснить мне ее мотивы и основания.

Профессор стал мне что-то говорить, не помню теперь уже что; я же, воспользовавшись короткой паузой, спросил его:

"Помните ли Вы, Павел Владимирович, ту семью, в которой вы жили в раннем Вашем детстве и юности; среди членов этой семьи были и лютеране. Помните ли Вы, как эти лютеране заразились Вашею пламенною детскою верою и приняли православие; как Вы не пропускали ни единого богослужения в храме, прислуживали епископу, держа пред ним евангелие; как, следуя голосу своей чуткой детской души, Вы стремились к иночеству, проживая на Валааме, пребывая в теснейшем общении со старцами и подвижниками..."

Скажите мне, профессор: когда Вы были ближе к Богу, спокойнее, счастливее, – тогда ли, когда без критики, слепо, по-детски, верили и тянулись к Богу, как цветок к солнцу, или теперь, когда это бывшее раньше тяготение рассматривается Вами как детское увлечение, даже больше, как нечто ненужное и вредное... Неужели же Вы разорвали эти самые лучшие, самые дорогие страницы Вашей жизни?!"

Профессор был ошеломлен: мои слова застали его врасплох. Он недоумевал, откуда мне известны эти, быть может, им самим забытые, страницы его жизни и... он не знал, что ответить. Мне казалось, что, воскресив их в его памяти, я задел самое больное его место, и мне стало его жалко.

"Не думайте, Павел Владимирович, – продолжал я, – что я обижен Вашею статьею. Заблуждались Вы добросовестно; писали о том, что искренно исповедовали, не зная меня лично – обижать меня умышленно не собирались. Но значение Ваших статей – широкое; они обижают чувства каждого человека, верующего просто, не по-ученому; вносят соблазн и сумбур в умы, отягощают их сомнениями... И я в детстве и в юности не выходил из храма; и я провел всю свою юность в кельях старцев, и не было монастыря, которого бы я не посетил; нет и теперь дня, чтобы я не тосковал по Валааму, по Оптиной или Сарову... Не привелось мне там остаться навсегда; но я не изменил правде детских восприятий и ощущений и вижу в них единственный ответ на все те вопросы, какие Вы разрешаете теперь эмпирическим путем... Вы пробуете переустраивать церковную жизнь рационалистическими способами, хотите ввести ее в несвойственное ей русло. Но Церковь не должна смешиваться с государством, а должна стоять над ним; не должна ассимилироваться с "новыми" требованиями жизни, а должна всегда стоять на одном месте, как скала, как маяк; "прогресса" в области религии, из которой церковь черпает, свое начало и животворную силу, – не может и не должно быть; наоборот, нам нужно повернуть церковную жизнь назад, к требованиям забытой всеми "Книги Правил"..."

Не помню, что мне сказал в ответ проф. П.В. Верховский. Помню лишь, что мы дружески расстались с ним. Крепко пожимая мне руку, он на прощание заметил, что, если бы был знаком со мною раньше, то не написал бы своей статьи.

Расставшись с ним, я, в сопровождении нескольких галичан, объехал мужские гимназии и посетил реальное училище, где присутствовал на уроках Закона Божия. Жалкие я вынес оттуда впечатления. Одна рутина, а жизни – не было.

Один из законоучителей, представляя мне учеников выпускного класса, сказал мне: "вот этот – самый лучший в классе; а вот этот – самый плохой". Меня передернуло от такой бестактности: я недоумевал, спрашивая себя, неужели пастырь церкви, пред которым раскрываются десятки тысяч душ его пасомых, так мало изучил человеческую душу; неужели он не понимал того, что, аттестуя так своего ученика перед всем классом и в присутствии того, пред которым трепетали не только запуганные дети, но и их начальство, он терзал душу ребенка, создавал одно из тягостных, неизгладимых впечатлений, какие будут, быть может, всю жизнь давить сознание ошельмованного, сконфуженного юноши...

И, подойдя к нему, желая загладить неприятное и тяжелое впечатление от слов батюшки, я спросил "самого плохого ученика":

"А Вы посещаете Церковь в праздники и воскресения?"

"А как же; и накануне хожу на всенощную", – бойко ответил он.

"А случалось ли Вам, идя по улице, встречаться с нищими?"

"О да, часто, теперь их особенно много", – последовал ответ.

"Что же Вы делали, когда встречались с ними? Подавали ли им милостыню, сколько можно?" – продолжал я спрашивать.

У мальчика заблестели глаза, и он живо ответил:

"Всегда давал, когда были деньги"...

"Тогда Вы – самый лучший ученик в классе", – ответил я ему.

Священник был несколько сконфужен, а весь класс торжествовал. "Самый плохой ученик" тоже сиял от радости. Позорное клеймо было с него снято.

По выходе из класса, я посоветовал законоучителю бережнее относиться к впечатлительной детской душе.

Глава LXXVI. Прибытие в Туапсе. Главноначальствующий Сорокин. Монахиня Мариам. Священник Краснов. Старец Софроний

Из Ростова я направился в Туапсе. Поезд прошел чрез Екатеринодар ночью, и я только позднее узнал, что на вокзале ждали моего прибытия местные власти и духовенство, получившие, без моего ведома, извещение о моем отъезде из Ростова в Туапсе. Я рассчитывал заехать в Екатеринодар лишь на обратном пути, по окончании сложного дела ревизии Иверско-Алексеевской общины.

Стояли жестокие морозы; снежная вьюга замела железнодорожные пути: я с трудом доехал до Туапсе. Еще сложнее было добраться до обители, скрытой в глубоком ущелье Кавказских гор и буквально задавленной снегом. Мудрые основатели монастырей обычно создают их в местах неприступных и нередко даже умышленно портят дороги, чтобы оградить обитель от какого бы то ни было общения с миром. Добраться до обители можно было только пешком, по узенькой тропинке, что зимою представлялось вдвойне затруднительным... В это время обитель в буквальном смысле слова была отрезана от мира.

Несмотря на ужасную метель, меня встретили, по прибытии в Туапсе, местные власти, во главе с военным, откомендовавшим мне "главноначальствующим Сорокиным".

Отрапортовав мне по-военному, Сорокин стал говорить... Я не помню его имени, звания и чина; не уверен и в том, не перепутал ли я его фамилии; но то, что он говорил, я слышу еще сейчас.

"Вот уже скоро 10 лет, как Иверско-Алексеевская община плачет горькими слезами, а еще и до сих пор никто не утер ее слез... Но, видно, услышал Господь молитвы обиженных; знаем мы, ради чего Вы приехали и с чем уедете от нас... Разбойники получают свое, и половина их уже попряталась: они знают, что Вы спуску им не дадите... Знаете ли Вы, где зараза? Она сидит в священнике Краснове: сам он революционер, да и сыновей своих по-своему воспитал, и не раз уже они по тюрьмам сидели. Как явился сюда Краснов, так и

пошли у нас разгромы, да бунты, да разные революционные вспышки не в одном, так в другом месте... А я этих революционеров – нагайкою. Они ведь смелы тогда, когда власть труслива; а как видят, что власть их не боится, так они сами в трусов превращаются... Сделал я на них облаву раз, сделал другой раз, переловил их, да пустил в ход нагайку раз, пустил ее два, для третьего раза и надобности уже не оказалось... Присмирели, да в глаза стали смотреть... Тогда я их на работу...

Чтобы у меня здесь *все* было, – сказал я им. – И чтобы серебряная звонкая монета была, и продовольствие чтобы было, и чтобы никаких очередей подле лавок не стояло, и чтобы в изобилии крупчатую муку, какую контрабандой жида вывозят, достали... Живо! – скомандовал я, – а не то опять под нагайку поставлю... А чрез неделю все и получилось; а мне никто из этих разбойников даже угрожать не осмелился", – закончил свой рассказ Сорокин.

В том, что Сорокин говорил правду, а не величался своими подвигами – у меня сомнений не было... Об этом свидетельствовал не только он сам своим видом смелого, решительного человека, привыкшего к стремительным действиям и никогда не опаздывавшего, умевшего мастерски ловить момент и пользоваться им, но и то, что я увидел, приехав в Туапсе, где ровно ничего не напоминало не только о том, что Россия была уже на самом кануне революции, но где не было даже признаков переживаний военного времени, где никто не говорил о войне и не испытывал ее последствий, где всего было вдоволь и царил образцовый порядок... Я сопоставил мысленно провинцию со столицей и, в ответ на слова Сорокина, похвалил его за необычайную энергию.

"Не я, – все более воодушевляясь, сказал Сорокин, – а моя нагайка навела тот порядок, какой Вы изволили отметить. Что такое власть без нагайки?" – скептически спросил себя Сорокин и сделал безнадежный жест рукою. И он был тысячу раз прав!

Обер-Секретарь Ростовский доложил мне о приходе монахини Мариам, а Сорокин откланялся, заявив, что на вокзале будет ждать моих дальнейших распоряжений. Я же воспользовался его уходом, чтобы занести его имя в общий список тех лиц, о которых намерен был сделать специальный доклад министру внутренних дел.

Давно я не видел матушку Мариам и был рад снова встретиться с нею. Я видел, как трепетало ее сердце надеждою на скорый конец выпавших на ее долю тяжких испытаний; видел ее слезы, скрывавшие неуверенность в исходе ревизии; видел опасение, что я могу запутаться в густых сетях интриги, что мне будет трудно разобраться в тех ловких хитросплетениях, какие вкладывали в инкриминируемые ей факты иное содержание... Путаница была, действительно, большая, следы и нити преступлений были давно замечены, и разобраться в деле, возникшем 10 лет тому назад, законченном и сданном в архив, было бы трудно, если бы в нем не был замешан священник-революционер, о котором я не слышал ни одного доброго отзыва ни с чьей стороны и которого все огульно осуждали, если бы революционная пресса не раздувала бы моей поездки на Кавказ и не клеймила меня за попытки заново пересмотреть все дело злополучной Иверской общины... Эти привходящие обстоятельства, в связи с отзывами Статс-Секретаря Государственного Совета С.В. Безобразова и других лиц, говорили мне, что мое чутье меня не обманывало, и что матушка Мариам и ее обитель сделались жертвой какой-то очень сложной интриги, и что их нужно спасти...

Вместе с матушкою Мариам вошел в мой вагон-салон и старец Софроний. Ему я особенно порадовался и, выслав остальных, остался с ним наедине. Предо мною стоял старец, с длинной, белой, как снег, бородой, на редкость благолепный и располагавший к себе. Его движения, полные достоинства, величаясь поступь, чудные глаза и ясный взор говорили мне, что он не может быть тем, кем его сделали те, кто оклеветал его.

"Знаете ли Вы, что говорят о Вас, – спросил я, – в каких блудодеяниях Вас обвиняют, в каком страшном грехе развращения обители Вас уличают?"...

"Как не знать, батюшка, знаю, – твердо, смотря на меня в упор своими темно-карими, бархатными глазами, ответил старец. – Да, ты, батюшка, и сам-то не веришь тому, что говорят; иначе бы сюда и не приехал; что же мне-то говорить!"

"От Бога правды не укроешь, – сказал я, – вот за нею я и приехал, чтобы узнать, по правде ли вы страдаете в рассеянии, после разгрома вашей обители, или за правду терпите, и враг позавидовал вам, да наказал вас за то, что воздвигли лишний престол Божий, на котором Бескровная Жертва стала приноситься Господу"...

"Истинным путем подходить изволите к делу", – вставил старец.

"Чем-нибудь же нужно объяснить то, что стало слышно уже по всей России, – продолжал я, – что Вас сестры обители и в ванну сажали, и купали Вас, и разные бесчинства проделывали с Вами и над Вами. Не подобает таким слухам витать вокруг благочестивой жизни старца..."

Хотя я и догадываюсь, в чем тут дело, а спросить Вас мне нужно по долгу охраны славы монашеской от поругания"...

"Вот, батюшка, именно то, о чем ты догадываться изволишь, именно это и есть самая настоящая правда, ибо ты догадываешься, что я и точно сидел в ванне, да без намерений гнусных... Тебе я скажу все и ничего не утаю; а другим не говорил, ибо не хотел тешить дьявола. Изнемогать я стал от болезней, а наипаче от суставного ревматизма... Проживал я в поле, спал часто на сырой земле, а хоть и случалось иной раз иметь келию, добрыми людьми в дар приносимую, но и там, бывало, не согревался... Так и застудил плоть свою грешную... А поворачивать в мир, коли я бежал из него, не подобало; и в пустынях, вдали от людей, протекала жизнь моя... Под старость же болезнь стала пригибать меня к земле все больше; только и спасался от нее, когда залезал высоко на нары и парился в бане... Знали это сестры обители, да всякий раз, когда я приходил к ним в обитель, на богослужение, они и натапливали жарко баню, куда я и уходил после церкви... Оно точно, но провожали меня до порога бани не одна сестра, а чуть ли не все вместе, но *только* провожали и *только до порога*; а дальше провожала уже клевета людская, сатанинскими кознями порожденная. Так-то, батюшка мой, так было дело, а другого ничего не было. Обвиняли меня и в том, что я деньги собирал на обитель, да себе их в карман клал. Что я ходил за сбором денег, а люди добрые их давали мне, то правда; а что клал их себе в карман, то неправда; по записям расходным монастырским видно, сколько я принес денег и на какой предмет они израсходованы. Будешь проверку делать – посмотри. Вот, батюшка мой, ты сам первым о кознях сатанинских заговорить изволил... Диву дивишься, что о них даже вельможи Царские упоминают, а пастыри церковные забывают!.. Что ему, дьяволу, наша малая обитель, скудельному сосуду уподобляемая, коли он своими кознями весь мир опутал, а первое всего всю святую Русь, со всеми ее обителями и святынями, сокрушить собирается!.. Разве око духовное не постигает, где он, каким вихрем налетает, какую радость тешится, взирая на беззаботность людскую?! Не прозревающий его козней слепым прозываться должен; а спотыкнется вожатый, то попадают и все, кого он ведет за собою... Что повелишь, батюшка родимый, еще сказать тебе?.. Коли сумеешь распознать его козни, то сразу же до правды доберешься, и обитель сию возвеличишь, и виновников проучишь, и Бога своими деяниями прославишь, и врага посрамишь"...

Старец Софроний поклонился мне низко в пояс и величавою поступью вышел из вагона.

Поручив Обер-Секретарю вызвать священника Краснова, я перерывом, чтобы записать свою беседу со старцем Софронием и приобщить ее к протоколам дознания...

Сомнений в правдивости рассказа старца Софрония у меня не было никаких. Не менее очевидна была и полная его невиновность, ибо очевидно, что с целью разврата, более возможного и менее рискованного в миру, никто монастырей не строит и из мира не бежит... Но мое личное убеждение в его невиновности требовало обоснования фактическими данными; не мог я также связать с разгромом обители и революционную деятельность священника Краснова, и все дело продолжало казаться мне невыясненным,

несмотря на то, что чутье подсказывало мне правду и настойчиво опровергало взведенную на обитель клевету.

В вагон вошел священник Краснов и поздоровался со мною. Он держал себя так же свободно и непринужденно, как и старец Софроний; он сохранял такое же сознание личного достоинства; а между тем какая получалась разница во впечатлении... Быть честным с самим собою значит – не иметь никакого предубеждения, значит – проявлять абсолютное беспристрастие; я не мог упрекнуть себя в том, что в тот момент грешил против этого положения. Но я не мог не видеть, что каждое движение, каждый жест Краснова отражал какое-то внутреннее бурление, какой-то протест, враждебность, какую-то уверенность в том, что, как бы отчаянна ни была его борьба со мною, но победителем в ней останется он... Я улавливал его мысли, и это производило на меня неприятное впечатление...

"Да и что вам расследовать, – сказал он достаточно развязно, – сколько уже этих ревизий и дознаний ни производилось, а фактов никому не удалось опровергнуть. Что было, то было, и несправедливости в отношении обители никакой не было учинено"...

"Да, батюшка, факты имеют значение, – ответил я, – как оправдание, так и обвинение строятся на фактах... Но, ведь, и то нужно помнить, что не всегда заглавие отвечает содержанию главы; не всегда факты, имеющие одинаковую наружность, имеют и одинаковое содержание... За примерами ходить не приходится: каждому из нас приписывают, нередко, и то, чего нет", – сказал я, сделав намек на его репутацию революционера.

"Это-то так; если Вы сделаете личное дознание, то убедитесь в беспристрастии предыдущих", – ответил Краснов.

"За этим только я и приехал", – сказал я, приступив к допросу священника и записав его показания...

Простившись с ним, я распорядился, чтобы Сорокин сопровождал меня в обитель, куда я немедленно же и отправился.

Глава LXXVII. Иверско-Алексеевская община. Дознание

В сопровождении Сорокина и Обер-Секретаря Ростовского, я, кое как, добрался на автомобиле до подножия горы, в ущелье которой укрывалась от мирского взора Иверская обитель. Дальше нужно было уже карабкаться по узеньким тропинкам, перейдя предварительно на противоположный берег протекавшего у подножия горы ручья... Это препятствие казалось мне настолько непреодолимым, что у меня опустились руки... Ручей превратился в широкую, бурливую реку; бушующие волны пенились и вздымались и напоминали собою стремительный бег водопада, один вид которого вызывал у меня головокружение. Ни перейти, ни переехать этого ручья не было возможности. Сообщение с обителью поддерживалось только очень рискованным веревочным, качающимся во все стороны, мостиком, без перил, прикрепленным на тонких палках сомнительной крепости к обоим берегам... Стоило только ступить ногою на этот мостик, чтобы он закачался во все стороны, напоминая собою сетчатый гамак... Много попыток делал я для того, чтобы перейти этот мостик, но ни одна не удалась, и я не знаю, чем бы все кончилось, если бы ко мне не подбежал шофер автомобиля и, взяв меня на свои богатырские плечи, не перенес меня на берег. Облегченно вздохнул я, очутившись на берегу; но еще более обрадовался, увидев там дроги в одну лошадь, каким-то чудом туда прибывшие, по распоряжению всюду поспевавшего Сорокина.

Хотя обитель и знала о моем прибытии, но меня никто не встретил, и я, вместе с Обер-Секретарем, довольно долго блуждал, прежде чем нашел какую-то сестру, которая и привела нас в гостиницу... Выюга, между тем, не унималась: мы были буквально засыпаны снегом и изрядно продрогли.

Вскоре, по вызову моему, явились в гостиницу игумения и сестры, и началось дознание. Я не буду останавливаться на скучных подробностях, на сбивчивых и заведомо ложных показаниях, на попытках виновных сестер во что бы то ни стало опорочить

матушку Мариам и оправдать себя. Я скажу лишь об одной из них, если не ошибаюсь, монахине Дарии, или Дорофее – не помню точно ее имени, – исполнявшей обязанности казначеи обители. Это была женщина примечательная во многих, если не во всех, отношениях. Огромная, сильная, мужеподобная, с чрезвычайно наглядно выраженной мускулатурой, она производила впечатление подавляющее.

В ней не только не было ничего женского, но даже просто человеческого. Глядя на нее, я невольно вспомнил слышанный отзыв о монахах одного из профессоров Московской Духовной Академии, сказавшего, что, принимая ангельский чин, монахи нередко теряют человеческий образ.

"Итак, матушка казначея, что Вы можете сказать по поводу клеветы, разгромившей эту обитель?" – спросил я эту удивительную, неестественного вида женщину.

"Что я могу сказать! Говорила и буду говорить то, что и все говорят. Спросите лучше бывшую начальницу нашу Мариам... Красавицу" ... – резко ответила мать-казначея, с какою-то непередаваемою едкостью подчеркнув последнее слово.

"А Вы давно казначеей? – спросил я. – Были ли вы казначеей и при тушке Мариам, или стали нести это послушание только при новой начальнице?" Мать Дария запнулась и не сразу ответила мне: это ничтожное обстоятельство направило мои следы в совершенно другую сторону.

"Я застала матушку Дарию казначеей, когда прибыла сюда в качестве начальницы общины, назначенная Преосвященным", – скромно и тихо сказала игумения.

"Кто же Вас назначил казначеей?" – спросил я матушку Дарию...

"А известное дело кто... Архиерей. Не сама же я себя назначила", – ответила она резко.

Из допроса сестер прежнего состава, живших в обители при матушке Мариам, выяснилась совершенно иная картина, чем та, какую отражали все бывшие раньше дознания. Обнаружилось, что монахиня Дария всячески добивалась получить место казначеи и интриговала против своей предшественницы; что на этой почве происходили частые препирательства с начальницею, матушкой Мариам, кончившиеся угрозой удалить ее из обители... На этот факт почему-то не было обращено должного внимания; однако он и явился ключом к разгадке всей путаницы, приведшей к разгрому обители. Для меня уже было ясно, с какой целью монахиня Дария добивалась казначейского места, и мне нужно было только найти ее любовника. Потребовалось свыше недели, чтобы разобраться в хорошо запрятанных следах; однако они были найдены и блестяще подтвердили мои догадки. Любовником казначеи оказался один из ростовских лавочников, поставлявший провиант для обители, заинтересованный не столько "прелестями" маститой казначеи, сколько сбытом своего товара. Раньше ему этого не удавалось: товар брали в другом месте. Со вступлением Дарии в обязанности казначеи, счастье повернулось в его сторону.

Я до сих пор недоумеваю, каким образом этот факт, удостоверяемый так выпукло и несомненно счетами обители, допускавшими полную возможность проверки, ускользнул от наблюдения тех, кто по поручению Сухумского епископа производил дознания и ревизии...

Революционная деятельность священника Краснова не нашла ни малейшего отражения в разгроме обители, и этого рода обвинения не подтвердились, но священник Краснов, будучи благочинным обители и производя дознание, по поручению епископа, был сугубо виноват в том, что не только не обратил на указанный факт внимания, но, как оказалось, сам же назначил монахиню Дарию казначеей, всячески ее поддерживал и руководствовался исключительно ее точками зрения. Поставил я в вину и епископу Сергию то легкомыслие, какое позволило ему всецело довериться протоколам дознания священника Краснова и послать соответствующее донесение в Синод, не сделав попытки предварительно лично проверить полученное им дознание.

Закончив производство дознания, выслушав еще прибывшего в Туапсе местного старожила, корреспондента "Нового времени" г. Кривенко, горячо заступавшегося за

обитель и за невинно пострадавшую матушку Мариам, я отправился в Сухум, к Преосвященному Сергию.

Страшно при мысли, как близок к нам Господь Бог, как трогательны Его заботы, с какою любовью Господь оберегает и охраняет человека на каждом шагу и как мало замечают это люди!..

И понятно, почему не замечают. Потому что для того, чтобы заметить попечение Божие, нужно сначала научиться видеть козни сатанинские, видеть, с какой силой и злобой, с какой непостижимой хитростью дьявол опутывает человека своими сетями, как влагает в те или иные факты иное содержание, с каким мастерством подменивает истину, наконец, с какой силой непрерывно, безостановочно, набрасывается на немощного человека.

Я знал, что дело, ради которого я приехал в Туапсе, было угодно Господу Богу, но не было угодно дьяволу, и я ждал его нападений, ждал его мести... И она не замедлила придти... Но милосердный Господь спас меня...

Стояла дивная погода... Солнце светило так ярко, и небо и море ласкали взор своей синевой... У берега стояла моторная лодка...

Я и сказал Сорокину, что предпочел бы доехать хотя бы до Гагр в этой лодке... Ко мне присоединились еще какие-то генерал с женой и сели в лодку. Сорокин же заметил, что, во всяком случае, распорядится, чтобы автомобиль следовал по берегу и не упускал бы из вида лодки, чтобы я в любой момент мог бы им воспользоваться...

Так мы и сделали... Я никогда не ездил на моторных лодках и в первый момент испытывал удовольствие... Однако это был только момент. Когда лодка выехала в открытое море, то поднялся такой ветер, что несчастную лодку заливало водой и большую часть пути она плыла не на поверхности, а под водой, вызывая панику у генеральши, оглашавшей лодку душу раздирающими криками... Нас бросало во все стороны, и даже опытный машинист чувствовал, что ему не справиться с разбушевавшейся стихией. Я уже был вдвойне подавлен и особенно страдал при мысли о том, что погибну и мне не придется спасти Иверскую обитель...

Каким образом мы пристали к берегу, я не помню... Помню лишь, что большая толпа крестьян вброд направилась к лодке и каждого из нас на руках повыносили на берег, где меня ожидал автомобиль, куда сел и генерал, с полумертвою от страха генеральшей...

Возблагодарили мы Господа за свое спасение и поехали, разбитые и перепуганные, дальше, пока не добрались до Гагр, где я и остался ночевать, ибо не имел уже сил ехать дальше...

В это время пребывал в Гаграх принц Александр Петрович Ольденбургский, но я застал его больным, лежавшим в постели, и не мог его видеть.

На другой день утром я выехал в Сухум и поделился с Преосвященным Сергием результатами произведенной ревизии, по-видимому, озадачившими Владыку. Однако я хорошо помню, что Преосвященный отстаивал прежние точки зрения, заступался за благочинного, священника Краснова, и весьма неодобрительно отзывался о монахине Мариам.

Такова уже власть клеветы! Пустить ее легко, поверить – еще легче; а освободиться от ее гипноза трудно.

В тот же день, взяв у Преосвященного Сергия протоколы прежних дознаний и всю переписку по делу Иверско-Алексеевской общины, я уехал в Туапсе, а оттуда в Новороссийск.

Встретился я в Гаграх и с Новороссийским губернатором, стяжавшим себе добрую славу умного и энергичного администратора. С ним я и провел большую часть дня. К сожалению, я забыл его фамилию.

Глава LXXVIII. Новороссийск. Екатеринодар и Ставрополь

В Новороссийске меня встретил вице-губернатор г. Сенько-Поповский, известный мне, по отзывам, за человека церковного и религиозного, и повел меня в город. Не помню

подробностей своего пребывания в Новороссийске. В памяти осталось лишь посещение начальной церковно-приходской школы, состоявшей из крошечных детей, где на мой вопрос, почему Христос-Спаситель любит детей, один из учеников, самый маленький, ребенок лет 6-7, ответил мне:

"Потому, что и мы всех любим"...

Какой мудрый ответ! Я залюбовался этим ребенком, готовым тут же проявить свою ласку и доказать правду своих слов, и подумал о том, до чего чиста детская душа и сколько мудрости заключал бы в себе этот ответ, если бы выражал не бессознательное детское чувство, а исповедание взрослого человека...

Из Новороссийска я отправился в Екатеринодар. На перроне меня встретил епископ Иоанн, с духовенством, и Наказной Атаман, генерал Бабиш (расстрелян большевиками в начале революции) с местными властями.

С епископом Иоанном я уже раньше встречался. Это был добрый, хороший, робкий и смиренный человек, живший, однако, не в ладу со своим духовенством, обвинявшим Владыку в излишней мягкости и нерешительности, а главное – в неумении проповедовать. Это последнее качество никогда не являлось в моих глазах достоинством, и к подобного рода обвинениям я относился скептически... Но достаточно и самого незначительного обвинения для того, чтобы запугать робкого человека и держать его в страхе; и я понимал, почему епископ Иоанн чувствовал себя неуверенно и, понимая это, старался приободрить и поддержать его.

Прекрасное впечатление произвел на меня и бравый Наказной Атаман генерал Бабиш. Я помню, с каким восторгом он отзывался о последнем призыве новобранцев, как искренно восхищался молодыми солдатами, их безудержной смелостью и дисциплиной... И точно, прибыв в Екатеринодар, я застал на вокзале большую толпу новобранцев, веселых, радостных, беззаботно плясавших и распевавших песни... Но стоило только генералу Бабишу, шедшему ко мне в вагон, показаться на перроне, как эта огромная толпа новобранцев мгновенно стихла и, с застывшими на лицах улыбками, вытянулась перед ним во фронт, сияющая и радостная.

"О, преступники-кадеты, – подумал я, – зачем вы разлагаете русский народ, зачем отравляете своим ядом этих простодушных парней, с огромными руками, с широкими улыбками до ушей, с телячьим выражением глаз на глупых лицах".

"Нет, генерал, – ответил я Наказному Атаману, – изверился я в этой толпе. Сегодня она с нами, а завтра пойдет против нас... Был я Земским Начальником, погружался в толщу народа и вынес заключение, что эта толпа тогда только хороша, когда боится... а, если потеряет страх, то растерзает своих же благодетелей. Жил в моем участке богатый помещик, купец Паневин, человек богобоязненный, одинокий, содержавший на свой счет церковь и школу, что обходилось ему ежегодно не менее 5-6 тысяч рублей. Задумал он жениться, поехал в Москву и должен был скоро вернуться в свое имение, с молодой женой... Это было в 1905 году, в начале революции... И вот, в ожидании его приезда, крестьяне собрались на сходе для решения такого вопроса: нужно ли убивать только его одного, или, вместе с ним, и его молодую жену... Голоса разделились... Одни говорили, что не стоит убивать женщину; а другие, наоборот, доказывали, что, если убивать, то убивать обоих сразу, а имение разделить поровну между крестьянами... Донесли мне об этом замысле, и я выехал в село и созвал сход... Учитывая крестьянскую психологию, я спросил сход, за что же село собирается убивать своего благодетеля, да вдобавок и его молодую, ни в чем не повинную, жену, и кто же будет содержать церковь и школу, и получил буквально такой ответ:

"Оно точно, что некому будет; а про то сказывают, что нужно поубивать обоих, а за что – мы и сами не ведаем: люди мы темные"...

Хотя я и знал о революционной пропаганде, особенно развившейся в то время в Полтавской губернии и терроризировавшей население, однако этот ответ не удовлетворил меня, и я подверг село жестокому наказанию, за что в награду получил анонимные письма

с проклятиями и угрозами. Пока толпа в наших руках, она идет за вами, а как очутится в руках наших врагов, – пойдет против нас, ибо не имеет никаких убеждений и не исповедует никаких принципов", – закончил я.

Генерал Бабич тяжело вздохнул, видимо согласившись со мной.

После скромного завтрака у епископа, я, вместе с Преосвященным Иоанном, епархиальным миссионером, протоиереем Розановым и другими лицами, посетил женское епархиальное училище, а затем, расставшись с духовенством, поехал в мужскую гимназию, где меня ожидали.

Встреченный директором, учительской корпорацией и учениками, я прошел в классы, где присутствовал на уроках, а затем, прощаясь с учениками, обратился к ним с нижеследующей речью:

"Милые дети!

Если бы вы знали, какой чистой радостью наполняется мое сердце всякий раз, когда я встречаюсь и беседую с такими же детьми, как вы; сколько дорогих воспоминаний давно минувшего детства и юности воскресает у меня в памяти при встрече с вами! Вот и сейчас, глядя на вас, собранных здесь в рекреационном зале по случаю моего приезда, я вновь переживаю былые ощущения. Много лет назад, в бытность мою воспитанником Коллегии Павла Галагана в Киеве, я стоял в таком же рекреационном зале и, вместе с прочими воспитанниками и учебным персоналом Коллегии, ожидал приезда директора департамента Министерства Народного Просвещения И.М. Аничкова. Я помню, как вошел директор в зал и поздоровался с нами; помню, как суетились директор Коллегии и воспитатели, озабоченные должным приемом высокого гостя, и как мы, воспитанники, пересмеивались между собой, подвергая жестокой критике каждый жест и каждое движение сановника. Все это я хорошо помню даже сейчас... О том же, что говорил нам сановник в своей пространной речи, я совершенно не помню: до того наше внимание было отвлечено внешностью. И вот теперь я сам очутился в положении этого сановника и признаюсь, что мне бы не хотелось, чтобы в вашей памяти сохранилась только внешняя картина моего посещения вашей гимназии, а хотелось бы, чтобы вы запомнили и те мои слова, какие я намерен сказать вам.

Всякая школа есть прежде всего школа жизни, и всякая наука должна давать вам не только знания, но и умение ими пользоваться во благо церковной, государственной и личной жизни. Однако эта цель никогда не будет достигнута, если в вашем распоряжении будут одни только знания. Для того чтобы использовать приобретенные в школе знания для общего блага, нужно еще одно условие, о котором часто забывают, но которое является краеугольным камнем всякого знания. Это условие было предъявлено Самим *Господом* еще первым людям в раю, наделенным величайшими знаниями и мудростью; это условие предъявляется *Господом* даже Ангелам на небе, бесплотным духам, одаренным высшими свойствами, и называется оно *послушанием*. Вдумайтесь глубже в сущность этого требования и вы увидите в нем то основное начало, которое определяет характер отношения людей между собой. Приучайтесь прежде всего владеть собой, т.е. находиться в послушании у своей собственной совести; повинуйтесь требованиям, предъявляемым к каждому человеку заповедями *Божьими* и нравственным законом; выполняйте требования долга и чести, вежливости и, где бы вы ни находились и что бы ни делали, не забывайте никогда, что есть старшие, коим вы обязаны послушанием. В этом основа законов общежития, сущность конституции человеческого рода. Если вы вырастаете и сделаетесь взрослыми, а вступив в жизнь, начнете осуществлять на разнообразных поприщах свою деятельность и войдете в отношения с окружающими вас людьми, то вы увидите, что главным ядом, разрушающим нашу государственность, общественность, семейную и личную жизнь, являются своеволие и непослушание; что этот яд впитывается человеком в самую раннюю пору его жизни, и что дьявол, с величайшей хитростью и обманом, продолжает дурачить людей теми же способами, какими пользовался в отношении первых людей в раю. Сначала дети не слушаются родителей, затем своих учителей и воспитателей, затем, делаясь взрослыми и вступая в жизнь – своих начальников и, наконец, восстанут

против всякой власти, против всякого закона и порядка, губят государство и общество, семью и себя самих, т.е. делают именно то, чего от них требует дьявол. Козни дьявольские разнообразны, и нужно иметь великий духовный опыт, чтобы их заметить, а тем паче бороться с ними. Однако, пока человек остается смиренным и послушным, он еще вне сетей дьявольских. С того же момента, когда у него впервые заронилось сомнение в своем долге к старшим, и он начал сначала критиковать предъявляемые к нему требования, а затем перестал повиноваться им, с этого момента он уже во власти дьявола. Мы все чаще и чаще слышим возражения о том, что не всегда требования, нам предъявляемые, справедливы, что не всегда нужно выполнять их... Однако, как бы убедительны ни были такие возражения, нужно знать раз навсегда, что подсказаны они дьяволом. Как бы несправедливы ни были эти требования, но ни дети не имеют права судить своих родителей, ни подначальные своих начальников. Всякая власть, *от Бога данная*, есть власть *безусловная*, и повиноваться ей без критики и рассуждений обязан каждый из нас; ибо тот, кто получил такую власть, тот сам будет отвечать пред *Богом* в том, как он ею пользовался. Наше же дело – только повиноваться. Удерживаясь на этой позиции, повинаясь даже требованиям, кажущимся несправедливыми, исходящим от представителей *законной власти*, вы сделаете меньше зла, чем тогда, когда станете противиться им. В этом не только требование нашей совести, но и требование мировой гармонии; нарушение его приводит к неисчислимым бедствиям. Бесконечная любовь *Божия*, наделяя человека благами, среди которых знанию отведено одно из первых мест, обставила пользование этими благами известными условиями. Я указал вам на то, какое благо обеспечит вам наибольшую пользу от приобретенных вами в школе знаний, и прошу вас помнить, что, как бы велики ни были ваши знания, но они не дадут вам блага, если вы не научитесь умению ими пользоваться, и как бы велико ни было это умение, но вне требований *послушания* – не будет пользы от ваших знаний ни для вас, ни для окружающих, ни для церкви, ни для государства. Ибо только то знание есть знание действительное, какое в результате дает *не гордость и кичливость, а смирение, кротость и незлобие, всецелое предание себя воле Божией и послушание*".

В тот же день, 16 февраля, я проехал из гимназии в собор, а оттуда в нововоздвигнутый великолепный храм Екатеринодарского общества трезвости, где меня встретили трезвенники, с протоиереем В.Розановым во главе, поднесшим мне хлеб-соль на деревянном резном блюде и приветствовавшим меня пространною речью. Отца протоиерея я знал уже давно... Это был один из пламенных защитников правды, смело заступившийся за разгромленную Иверско-Алексеевскую общину и тотчас после моего назначения прибывший в Петербург, с ходатайством о производстве ревизии и личном моем приезде в Туапсе... Обращаясь ко мне с речью, он говорил не столько о деятельности трезвенников, сколько о вопиющем деле Иверской общины и благодарил меня за исполненное мною обещание и произведенную ревизию, раскрывшую правду...

Я восхищался превосходным храмом в древнерусском стиле, созданным трудами о. протоиерея, восторгался его кипучей деятельностью и, отметив ее в своей ответной речи, закончил ее такими словами:

"Глубокопочтимый отец протоиерей!

Благодарю Вас за любезные слова, с которыми Вы обратились ко мне; благодарю и за хлеб-соль... Каждому человеку Милосердный *Господь* даст возможность сделать в жизни хотя одно маленькое доброе дело и испытать радость нравственного удовлетворения, источник коего кроется в сознании исполненного долга к *Богу* и ближнему. Вам угодно было остановиться на цели моего приезда в Екатеринодар, связанной отчасти с печальным делом Иверско-Алексеевской общины в Туапсе, и выразить надежду, что, рассеянные по разным местам, обиженные сестры вернутся в созданную ими обитель, в свое родное гнездо, и утрут моими руками свои слезы. Скажу откровенно, что, если это и случится, то я не вправе буду приписать себе такую заслугу, ибо явился к Вам спустя почти 10 лет после разгона сестер из разрушенной вражескими кознями обители Иверской, после того как Вы не побоялись стать на защиту обиженных, угнетаемых сильнейшими, раскрыть эти козни и

их источник, довести о них до сведения Св. Синода и тем создать почву для моего участия в этом печальном деле. Моя заслуга лишь в том, что я откликнулся на Ваш призыв; но в этом – мой долг. Я могу только сердечно благодарить Вас за предоставленную мне возможность отстоять вместе с Вами поруганную правду и пресечь дальнейшие интриги торжествовавших донныне врагов. Вы хотели бы, чтобы я вышел утешенным из этого храма *Божия*. Я выхожу отсюда растроганным, ибо вижу, что Вы ведете борьбу не только за трезвость, понимаемую в обычном значении этого слова, но и за духовное трезвение. И тем дороже Ваши труды, что Вы совершаете великое дело Божие без шума, без поддержки и помощи сверху, а сами здесь, на месте рождаете святые начинания и осуществляете их. Мне дороги именно эти невидные, скромные труженики, и я уже имел случай высказывать, по иным поводам и в других местах, свои мысли о том, что вменяю себе в особый долг службы своей находить этих тружеников и всеми доступными мне способами поддерживать их силы и увеличивать запасы духовной бодрости и энергии".

Вечером того же дня я уехал в Ставрополь, не вспомню сейчас за каким делом. Посетив престарелого архиепископа Агафодора и его викария, епископа Михаила, я направился в обратный путь, захав, по дороге, в Таганрог.

Глава LXXIX. Таганрог. Легенда о старце Феодоре Кузмиче

С Таганрогом связана легенда о старце Феодоре Кузмиче, а эта легенда, одна из красивейших и глубоких, до того занимала, так захватывала меня, а после исторического труда генерала Н.Шильдера, склонного видеть в ней исторический факт, так влекла меня в Таганрог, что я использовал представившийся мне случай и остановился на день в этом городе, живущем и донныне воспоминаниями о незабвенном Императоре Александре I Благословенном. Трудно выразить словами, почему имя этого Государя так дорого, так близко моему сердцу, почему каждая строка из жизни его волновала и пленяла меня, почему я чувствовал к Нему, вернее – к Его блаженной памяти, такую же горячую любовь, как и к родному Ему по духу Императору Николаю II. Оба были мистиками, оба были Благословенными, и души обоих тяготились короною и порфиroy и стремились к небу... Я хорошо знаю, чем *должна быть* власть, как знаю и то, почему тяжко ее бремя, почему она обречена на то, чтобы всегда смотреть вниз, и не вправе оглядываться по сторонам, тем более парить под небесами, как не вправе это делать укротитель диких зверей, подчиняющий их гипнозу своего пристального взора, иначе будет разорван на части... И, однако, сколько драматизма при встрече с сочетанием нежной психики тонко одаренной природы и грубой власти!

Не знаю почему, но поезд прибыл в Таганрог только поздно ночью... Я, однако, еще бодрствовал, занятый составлением разного рода докладов; не спал и Обер-Секретарь Ростовский. Встречи я не ожидал, тем более в такой поздний час. Каково же было мое удивление, когда, выглянув в окна вагона, увидел, что подле него толпилось чуть ли не все местное духовенство, при орденах и в камилавках... Едва поезд остановился, как в мой вагон вошел благочинный и стал усиленно добиваться приема, ссылаясь на приказ своего епископа. Обер-Секретарь не менее категорично заявлял, что приема в этот поздний час не будет, что я, не желая никого беспокоить ночью, приеду к Преосвященному Иоанну утром, к 8 часам... Однако батюшки буквально ломились в двери вагона и усиленно настаивали на личном свидании, ссылаясь на какие-то весьма срочные вопросы... Пропустив благочинного, Обер-Секретарь уже не мог справиться с остальными, и скоро весь вагон наполнился представителями Таганрогского духовенства, заставившими меня принять их... Благочинный заявил мне, что Преосвященный Иоанн ожидает меня и не ляжет спать, пока я не приеду. К нему присоединились прочие, и как я ни отбивался, однако батюшки чуть не силою вытащили меня из вагона, усадили в автомобиль и повезли по темным улицам погруженного в глубокий сон Таганрога в ярко освещенные покои Преосвященного. Однако, привезя меня туда, они мгновенно куда-то скрылись и оставили меня и Обер-Секретаря Ростовского в огромной приемной архиерейского дома. Не сразу показался и

Преосвященный Иоанн. Я недоумевал, чтобы это означало... Вскоре, однако, мое недоумение объяснилось. Владыка заказал своему повару такой ужин, что бедняга никак не мог с ним справиться... Прошло не менее часа прежде, чем меня позвали в столовую, где стол буквально ломился под тяжестью расставленных на нем блюд. Я никогда не видал такого подавляющего количества яств и питей и был уверен, что стол не выдержит тяжести и рухнет. Это было нечто совершенно невообразимое и ни с чем несообразное... Даже самому хозяину, епископу-монаху, было зазорно глядеть на эту картину, рождавшую не аппетит, а самое искреннее негодование, от проявления которого меня удерживало только нежелание конфузить Владыку в присутствии его подначальных... Однако же этот ужин испортил мое настроение, и я ждал только момента, чтобы поскорее вернуться в свой вагон.

На другой день Владыка, пребывая безотлучно подле меня, возил меня по всему городу, по местным церквям, гимназиям и училищам. Поехали мы с ним и за город, на кладбище, где был погребен местно чтимый за святого Таганрогский подвижник, и, наконец, в дом, где скончался Император Александр I.

Самый убежденный скептик, войдя в этот дом, поверит легенде о старце Феодоре Кузмиче. Объяснить почему – трудно; но это чувствуется. И нет в Таганроге никого, кто бы этой легенде не верил. И внешность этого дома, и его стены ничем не отличаются от прочих домов Таганрога; а между тем, всякий входящий в этот дом испытывает то же, что и входя в церковь, или в хибарку преподобного Серафима, где, казалось, всякая вещь пропитана святостью, насыщена неземными элементами.

О многом нужно было бы написать, останавливаясь на "святости неодушевленных предметов", или "флюидах святости", но это завлекло бы меня слишком далеко; скажу лишь, что легенда о старце Феодоре Кузмиче никак не являлась в моих глазах "легендой", а после посещения Таганрога стала казаться мне несомненным историческим фактом.

Глава LXXX. Возвращение в Петербург и первые впечатления

Возвратясь в Петербург 24 февраля 1917 года, я застал в столице необычайное возбуждение, которому, однако, не придавал никакого значения. Русский человек, ведь, способен часто прозревать далекое будущее, но еще чаще не замечает настоящего. Менее всего я мог думать, что те ужасные перспективы, о которых я предостерегал своими речами и которые чуяло мое сердце, уже настали и что Россия находится уже во власти революции... Я не хотел, я не мог этому верить. Проехав перед тем тысячи верст, я видел не только полнейшее спокойствие и образцовый повсюду порядок, но и неподдельный патриотический подъем; я встречался с высшими должностными лицами, со стороны которых не замечал ни малейшей тревоги за будущее; все были уверены в скором и победоносном окончании войны и, в откровенных беседах со мною, жаловались только на то, что один Петербург, точно умышленно, создает панику, а Государственная Дума разлагает общественное мнение ложными сведениями о положении на фронте. Видел я и возвращавшихся с фронта солдат, и направлявшихся на фронт новобранцев, и любовался их бодрым настроением и веселыми лицами, их уверенностью в несомненной победе, их молодцеватым видом и выдержкою. Не испытывало никаких лишений и население. Всего было вдоволь; цены на предметы первой необходимости и пищевые продукты, по сравнению со столичными ценами, ничем не отличались от довоенных; в обращении была даже звонкая монета; никаких "очереди" на юге России не существовало вовсе, и на обратном пути в Петербург я сделал даже запас тех продуктов, достать которых в столице было уже невозможно. Везде царили примерный порядок и дисциплина, и мой салон-вагон следовал из Туапсе до самого Петербурга совершенно беспрепятственно, несмотря на то, что прибыл в столицу лишь за три дня до самой страшной революции, какую видел мир. Так же спокойно переехал я с Николаевского вокзала на Литейный проспект, N 32, в свою квартиру, где меня встретили заявлением, что за время моего месячного отсутствия не произошло ничего особенного и что все благополучно.

Правда, со стороны курьера Федора, приставленного ко мне А.Осецким, всегда смотревшего на меня исподлбья, лукавого и неискреннего, я встретил какое-то особенное чувство радости по случаю моего приезда домой, заставлявшее его с каким-то особенным умилением засматривать мне в глаза; но этого курьера я уже хорошо знал и объяснял себе его поведение новым желанием выманить у меня деньги, что ему уже два раза удавалось... Первый раз, когда, заливаясь слезами, он получил от меня деньги на поездку домой, под предлогом навестить больного брата; и второй раз, когда прилетел ко мне, убитый горем, с заявлением о том, что его отец находится при смерти, а у него нет денег, чтобы поехать домой и хотя бы перед смертью проститься с отцом... Оба раза он получил от меня деньги, но никуда не ездил... Когда же его отец умер, и я пристыдил его за такое хамское отношение к умиравшему старику, то Федор, несколько не смущаясь и тем, что обманул меня, цинично ответил: "все равно, я ничем бы не помог, а только истратил бы деньги *напрасно*"...

И теперь, видя его умильную морду, я думал, что он и в третий раз собирается под каким-нибудь новым предлогом выманить у меня деньги... Наскоро разложив свои вещи и успев лишь протелефонировать Обер-Прокурору Н.П. Раеву о своем приезде, я отправился на заседание в Св. Синод. Настроение иерархов было бодрое и спокойное: никто из них не выражал тревоги, и только один митрополит Московский Макарий передал, что его карета была застигнута на Невском толпою хулиганов, не желавших ее пропустить на Сенатскую площадь; но подоспевшая полиция разогнала толпу, и он благополучно доехал в Синод. Этот рассказ вызвал лишь остроты со стороны прочих иерархов, увидевших в этом эпизоде указание на то, что пришла пора старцу уйти на покой. Как и всегда, заседание Синода закончилось в обычное время; члены Синода разъехались по домам, а я остался в своем служебном кабинете для текущих дел и приема посетителей. Через день было назначено новое заседание Синода: дела своим обычным порядком, и ничто не предвещало ужасной катастрофы, разразившейся через два дня. Однако, признаки ее становились уже заметными. Возвращаясь домой, я видел скопища народа на перекрестных улицах, причем все отмалчивались, и никто не хотел объяснить мне, в чем дело. Я слышал ружейные выстрелы; не мог не заметить отсутствия трамвайного движения, но не придавал этому значения, тем более что везде говорилось о каких-то незначительных беспорядках на Выборгской стороне, к которым, за последнее время, все успели уже привыкнуть. Вечером, в блаженном неведении совершавшегося, я вышел из дому по направлению к Владимирскому проспекту и здесь увидел бежавших в панике людей, разгоняемых дворниками, сносивших какие-то бревна на мостовую и устраивавших заторы... Выполняли ли они чужие задания, или действовали по собственной инициативе – узнать не удалось...

"Что вы делаете, зачем загромождаете проезд?" – спросил я одного из них.

"Проходи, проходи! скоро узнаешь", – последовал грубый ответ.

То и дело раздавались полицейские свистки; но стоило городовому подойти на свисток, как его окружала большая толпа самого разнообразного люда и лишала его возможности установить порядок.

Из предосторожности, я взял извозчика, желая вернуться домой... Однако я вынужден был скоро отпустить его. Толпа не пропускала извозчика, и проехать на Невский оказалось невозможным. Я сделал огромный круг, дойдя переулками до площади Зимнего Дворца, и вышел на Литейный проспект с противоположной стороны, у набережной Невы. Ночь прошла тревожно: слышались беспрестанные ружейные выстрелы, трещали пулеметы... Однако, не только мирные жители, но даже власти не отдавали себе, по-видимому, отчета в том, что в действительности происходит.

Глава LXXXI. Первые шаги революции

Следующий день был еще грознее предыдущего.

Распространились слухи, что беспорядки на Выборгской стороне не только не подавлены, а, наоборот, все более усиливаются, что к рабочим примкнуло население, и полиция бессильна навести порядок, что, пожалуй, придется вызвать на помощь войска... В

то же время робко высказывалась и мысль, что войска ненадежны, и можно ожидать осложнений... Все, в один голос, повторяли, что население до крайности возбуждено недостатком продовольствия и все более увеличивающейся дороговизною в столице. Но те, кто с раннего утра лично дежурил часами в "очередях" подле магазинов и лавок с пищевыми продуктами, говорили иное и, со слов лавочников и торговцев, передавали такие факты, которым нельзя было не верить и выдумать которых было невозможно. Так, например, указывалось на то, что первые 10-20 человек, составлявших "очередь", были агентами Государственной Думы, скупавшими, под угрозой насилия, за большие деньги, весь товар в магазинах и лавках, какой, затем, свозился в подвалы Таврического Дворца или же распродавался по спекулятивным ценам другим лицам. В связи с недостатком керосина, приводились факты, когда в частных квартирах тех же агентов керосином наполнялись даже суповые чашки, стаканы и кухонная утварь. Что эти факты не были измышлены, засвидетельствовали следующие дни революции, когда, тотчас после падения власти, появились огромные запасы хлеба, а цены на пищевые продукты настолько понизились, что достигли почти нормальных довоенного времени: Дума приписала такое явление своей распорядительности и участию к народным нуждам, остававшимся, якобы, в пренебрежении у "царского" правительства.

Верю я этим фактам еще и потому, что всякая "революция" есть ложь: она начинается и проводится надувательством и обманом, ибо есть порождение дьявола – отца лжи. Только одураченные люди вносят свои имена в историю революционных течений; истинные же главари и руководители никогда никому неизвестны, ибо скрываются под чужими именами. Беспокойство росло. Слухи, самые разнообразные слухи, долетали до меня со всех сторон. И эти слухи нервировали меня еще больше, чем то, что их вызывало. Я слышал отовсюду ружейные залпы и характерные звуки пулеметов; видел перед собой бегущих в панике людей, с растерянными лицами и широко раскрытыми от ужаса глазами, и испытывал то ощущение, какое охватывает каждого, в момент приближающейся грозы, когда, гонимые ветром, зловещие тучи и отдаленные раскаты грома вызывают состояние беспомощности и так смиряют гордого человека. Вечером, чтобы разогнать тоску, я поехал к своей кухне, баронессе Н.С. Бистром, жившей на Марсовом поле, в доме принца Ольденбургского, № 3. С отпечатком ужаса на лице встретил меня барон Р.Ф. Бистром.

"Неужели же Вы не видите, что происходит? – волновался он, – это не беспорядки, какие могут быть подавлены полицейскими мерами; это – революция, угрожающая Престолу и династии... Знаете ли Вы, что говорят?! Говорят, что наш местный гарнизон ненадежен и откажется стрелять... Если это случится, тогда конец всему... Вам, на Литейном, не видно того, что происходит здесь, на Марсовом... Здесь с раннего утра митинги и процессии, с красными флагами. Здесь ведь Павловские казармы!"..

И действительно, с каждой минутой положение становилось все более грозным. У подъезда стоял автомобиль барона, и я воспользовался им для того, чтобы поскорее вернуться домой.

"Что это происходит у вас? – спросил я шофера, – я только что вернулся из провинции; там везде спокойно; все знают, что не сегодня-завтра конец войны; все работают; а здесь вот чем занимаются, устраивают забастовки, беспорядки, сами ничего не делают и правительству мешают"...

"Как что! – ответил шофер, раньше всегда учтивый и великолепно дрессированный, считавшийся на отличном счету у барона. – Есть ведь нужно не только господам! Что же делать, коли правительство не только обманывает народ, а даже стало уже голодом морить его... Нет, уж этого мы не допустим, постоим за себя"...

Я точно очнулся и понял все... По возвращении домой, я немедленно протелефонировал барону: "Будьте осторожны с Вашим шофером: он распропагандирован и, при первой возможности, предаст Вас".

В то же время я телефонировал министру внутренних дел, подробно рисуя свои впечатления и делаясь своими тревогами.

А.Д. Протопопов ответил: "Если революция и будет в России, то не раньше, как через 50 лет"...

Кому же и знать, что происходит в действительности, как не министру внутренних дел!.. Ответ был так ясен и прост, так уверен и категоричен, что я заснул эту ночь совершенно спокойно, не обращая внимания ни на ружейные выстрелы, раздававшиеся под окнами квартиры, ни на возбуждение на улице, не прекращавшееся в течение целой ночи.

Эта уверенность в невозможности революции явилась впоследствии большим козырем в руках врагов А.Д. Протопопова, указывавших на то, что со стороны министра внутренних дел такая неосведомленность являлась, во всяком случае, непростительной. Я думаю иначе и объясняю ответ министра тем, что он более, чем кто другой, был убежден в невозможности бороться с революционерами мерами администрации, знал объем и размеры революционной пропаганды и видел единственный выход в применении военной силы, какая ни в ком не вызывала сомнений со стороны своей лояльности и преданности Престолу.

Того же, что Петербург, со всем своим военным округом, находился уже в руках предателя Рузского, а столичный гарнизон выполнял директивы последнего, шедшие в разрезе с распоряжениями местной власти, того, конечно, никто не знал... Не знал и сам Государь Император, доверчиво отдавшийся в руки этого гнуснейшего из изменников, генерала Рузского.

Глава LXXXII. Памятное заседание Св. Синода, 26 февраля 1917 года

На 26 февраля было назначено заседание Св. Синода, и я раньше обыкновенного вышел из дому. То, что я увидел на улицах, заставило меня очень усомниться в словах, сказанных накануне министром внутренних дел. Ни трамваев, ни извозчиков уже не было, и я, с большим трудом, вынужден был пробираться через толщу крайне возбужденной и озлобленной толпы, собиравшейся на улицах, в разных частях столицы. Встречались по пути и процессии, с красными флагами и революционными плакатами, с надписью: "Да здравствует Интернационал!" Попадались навстречу и жидки, с сияющими лицами, явление для столицы не обычное... Движение было стихийным; но в то же время замечалась опытная рука, руководившая им. Казалось, что каждый выполнял полученное задание. Так, например, идя переулками, ибо путь к Невскому был уже загражден, я видел, как не только подростки, но и малые дети ложились на мостовую при виде приближавшегося извозчика с седоком и преграждали ему путь, заставляя поворачивать его обратно, но в то же время свободно пропускали грузовики с вооруженными до зубов солдатами... Я не мог отрешиться от недоумений и спрашивал себя, отчего же власть позволяет разрастаться этому стихийному движению и не останавливает его, отчего в течение этих трех дней со времени моего возвращения в Петроград не предпринималось ничего для того, чтобы обуздать эту толпу, чувствовавшую себя хозяином положения и державшую в панике все население столицы... И глядя на эти бесчинства, я, идя в Синод и еще не отдавая себе ясного отчета в происходившем, намечал программу тех мер, какие могли быть приняты Синодом в помощь администрации, с целью воздействовать на сбитую с толку, обезумевшую толпу...

С большим трудом я добрался до Сенатской Площади, к зданию Св. Синода. Из иерархов не все прибыли... Отсутствовал и Обер-Прокурор Н.П. Раев. Перед началом заседания, указав Синоду на происходящее, я предложил его первенствующему члену, митрополиту Киевскому Владимиру, выпустить воззвание к населению, с тем, чтобы таковое было не только прочитано в церквях, но и расклеено на улицах. Намечая содержание воззвания и подчеркивая, что оно должно избегать общих мест, а касаться конкретных событий момента и являться грозным предупреждением Церкви, влекущим, в случае послушания, церковную кару, я добавил, что Церковь не должна стоять в стороне от разыгрывающихся событий и что ее вразумляющий голос всегда уместен, а в данном случае даже необходим. "Это всегда так, – ответил митрополит. – Когда мы не нужны, тогда нас не замечают: а в момент опасности к нам первым обращаются за помощью". Я знал, что

митрополит Владимир был обижен своим переводом из Петербурга в Киев; однако такое сведение личных счетов в этот момент опасности, угрожавшей, быть может, всей России, показалось мне чудовищным. Я продолжал настаивать на своем предложении, но мои попытки успеха не имели, и предложение было отвергнуто. Принесло бы оно пользу или нет, я не знаю, но характерно, что моя мысль нашла свое буквальное выражение у католической церкви, выпустившей краткое, но определенное обращение к своим чадам, заканчивавшееся угрозой отлучить от Св. причастия каждого, кто примкнет к революционному движению. Достойно быть отмеченным и то, что ни один католик, как было удостоверено впоследствии, не принимал участия в процессиях с красными флагами.

Как ни ужасен был ответ митрополита Владимира, однако допустить, что митрополит мог его дать в полном сознании происходившего, конечно, нельзя. Митрополит, подобно многим другим, не отдавал себе отчета в том, что в действительности происходило, и его ответ явился не отказом высшей церковной иерархии помочь государству в момент опасности, а самым заурядным явлением оппозиции Синода к Обер-Прокуратуре, с которым я, несмотря на кратковременность своего пребывания в должности Товарища Обер-Прокурора, имел случаи часто встречаться.

С тяжелым чувством сознания этой неспаянности и разъединенности людей, призванных к одному и тому же делу, идущих к одной цели и мешающих друг другу вместо того, чтобы оказывать взаимную поддержку, я возвращался домой... Возбуждение на улицах, между тем, все более разрасталось. Предположение, что войска откажутся повиноваться и присоединятся к бунтовщикам, превратилось в факт, ужасные последствия которого трудно было даже учесть. Серые солдатские шинели все чаще и чаще стали появляться в толпе; вместо вчерашней стрельбы из-за угла, шла открытая перестрелка вдоль и поперек улиц, и каждый прохожий чувствовал себя точно в западне, не зная, как выбраться из опасного места... Я то и дело сворачивал то в один переулок, то в другой, и затем возвращался обратно, скрываясь в подворотнях. Прошло много времени, пока я добрался до Литейного проспекта, пользуясь всевозможными потайными ходами и внутренними дворами. Ночь прошла крайне тревожно. В различных частях города виднелись зарева пожаров; Литейный проспект был окутан густыми облаками дыма: горело здание Окружного Суда... Трещали пулеметы, гудели мчавшиеся в карьер грузовики, с высоко поднятыми красными флагами.

Глава LXXXIII. Облавы

День 27 февраля явил уже подлинную картину революции, бывшей вначале только мятежом горсти взбунтовавшихся солдат... Появились грузовики, развозившие по всем частям города революционные прокламации, какие разбрасывались на улицах и жадно подбирались населением. Определенно называлось имя английского посла сэра Бьюкенена как одного из главных руководителей революции... Из окна моей квартиры я видел, как мои курьеры то и дело бросались на мостовую, ловили разбрасываемые прокламации и жадно их читали. Я не мог не заметить, в связи с этим, перемены их настроения и того, как прежнее подбострастие сменялось грубостью и развязностью. Прошел слух об аресте высшего сановника Империи, бывшего министра юстиции, ныне председателя Государственного Совета, И.Г. Щегловитова. Слух скоро подтвердился. В этот же день вышел первый номер "Известий солдатских и рабочих депутатов", с перечнем арестованных, среди которых имя Ивана Григорьевича значилось первым. Я вызвал к себе жившего по соседству со мной директора канцелярии Обер-Прокурора Св. Синода В.И. Яцкевича, и спросил его:

"Не пора ли и нам приготовиться к аресту? Посмотрите, что происходит", – сказал я, не допуская, в то же время, даже мысленно этой возможности...

"Что Вы, что Вы! – засмеялся В.И. Яцкевич. – Кому Вы сделали что-нибудь дурное? Кого-кого, а Вас уже наверное не тронут", – повторил Виктор Иванович мои собственные мысли. Я был так уверен в себе, сознавал, что относился к своему служебному долгу с такой щепетильностью и добросовестностью, что никто, и при умышленном желании, не нашел

бы на моей совести даже тени повода к моему аресту... Но я не сознавал того, что именно это отсутствие поводов и являлось самым главным поводом и что в моем положении находились все, входившие в состав правительства...

Совершенно ошибочно предположение, что момент опасности мгновенно рождает стремление к бегству, с целью от нее укрыться. Эти соображения обыкновенно являются задолго до наступления опасности; а, при встрече с нею лицом к лицу, рождается, наоборот, удивительная покорность судьбе, исчезает всякое желание противиться ей, наступает какая-то чрезвычайная апатия ко всему окружающему...

Не успел В.И. Яцкевич уйти, как ко мне вбежал, весь запыхавшись и дрожа от волнения, мой преданный слуга и сообщил мне, что мои казенные курьеры предались на сторону бунтовщиков, грозят мне и могут ежеминутно меня выдать разбушевавшейся черни, и что я должен немедленно скрыться. "Куда?" – мог только спросить я, указав на стрельбу на улицах и на совершенную невозможность выйти из квартиры...

"Нет, уж, положимся на волю Божию: бежать некуда; да и не подобает мне скрываться бегством; да и народ, может быть, скоро образумится, и все пойдет опять по-прежнему", – говорил я, все еще не допуская безнадежности положения.

В этот момент послышался громкий, непрерывный звонок и неистовый стук в дверь...

"Открывать?" – спросил меня лакей, поблдевав как мел и растерянно смотря на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса.

"Открывай", – сказал я, перекрестившись. В квартиру ворвалась толпа пьяных солдат, под предводительством жидка, лет 16-ти, и разбрелась по комнатам, рассматривая вещи и любясь убранством квартиры. Один из них начал грубо, с помощью штыка, открывать шкафы и, увидев в одном из них два кулька белой, пшеничной муки, привезенной мною с Кавказа сестре и еще не отправленной по назначению, поднял страшный крик... Подле него суетился жидок, готовый обвинить меня в сокрытии предметов первой необходимости, что в тот момент являлось самым ужасным преступлением... Вдруг раздался крик из моего кабинета: "Товарищи, расходись, здесь нам делать нечего: это присяжный поверенный"... Оказалось, что один из солдат, забравшись ко мне в кабинет, увидел висевшую на стене бронзовую, позолоченную цепь Земского Начальника, долго рассматривал ее, вертел в руках во все стороны и, признав ее за цепь адвоката, перед сословием которых, как творцов революции, обязан был благоговеть, бережно повесил ее обратно на стену, а затем скомандовал расходиться... Солдаты мгновенно убрались и в образцовом порядке вышли из квартиры; но жидок, все же, отобрал муку и взвалил ее на плечи здоровенному детине, послушному, как баран и глупому, как осел... На площадке лестницы стоял перепуганный В.И. Яцкевич; за ним его жена и дети.

"Где здесь живет генерал?" – спросил один из солдат.

"Я генерал, только штатский", – ответил Виктор Иванович.

"Нам штатских не нужно; где военный?"

"Здесь нет военных", – последовал ответ.

И пьяная компания стала спускаться с лестницы, провожаемая подобострастными курьерами.

"Слава Богу, – осенил я себя крестным знамением, – что-то будет дальше!".

Я положительно не знал, что делать. Один советовал бежать, ни теряя ни одной минуты, но как и куда – не объяснял; другой, наоборот, советовал непременно оставаться на месте, говоря, что иначе будет еще хуже; третий заверял, что опасность уже миновала, что у меня уже был обыск и что ко мне никто не придет... Я лично ни в чем не разбирался и чувствовал такое состояние безразличия ко всему окружающему, что утратил самую способность желать чего-либо. Я знал только, что нужна перемена, безразлично в какую сторону, к лучшему или худшему, ибо это томительное состояние подавленности пред неизвестным, таинственным грядущим было уже настолько тяжелым и до того угнетало меня, что отнимало все мои силы...

Глава LXXXIV. Торжество хама

Наступило 28-ое февраля. Кабинет почти в полном составе был уже арестован. Председатель Совета министров, министры, их товарищи, начальники отдельных частей, командующий Петроградским военным округом, градоначальник и многие другие, после ареста, были увезены в министерский павильон Государственной Думы, где содержались под стражей... Не значились в списке, опубликованном в "Известиях солдатских и рабочих депутатов" лишь министр земледелия А.А. Риттих, Государственный Секретарь С.Е. Крыжановский и Обер-Прокурор Св. Синода Н.П. Раев. Последнему я много раз телефонировал; но телефон не отвечал... Для меня было вполне очевидно, что очередь дойдет и до меня, и я даже удивлялся тому, что еще не арестован. Всякий стук в дверь, всякий звонок нервировал меня ужасно; между тем, они раздавались непрерывно, и в квартиру являлись незнакомые люди то за сбором провизии для солдат, то за пожертвованиями на революцию, с громкими призывами к гражданскому долгу... Все эти люди были в большинстве случаев студентами университета или технологического института, одураченная зеленая молодежь, разукрашенная красными бантами. Не отдавая себе отчета в последствиях, я пробовал вступать с некоторыми из них в беседы, но, конечно, безуспешно. Они были убеждены, что являются апостолами правды, и меня не слушали. Пользуясь промежутками между выстрелами, почти непрерывно раздававшимися на улице, я то и дело подходил к окну своей квартиры и вот что я увидел. Перед окнами проходила одна процессия за другою. Все шли с красными флагами и революционными плакатами и были увешаны красными бантами... Вот прошла процессия дворников; за нею двигалась процессия базарных торговков; отдельную группу составляли горничные, лакеи, приказчики из магазинов... Все неистово кричали и требовали увеличения жалованья; все были пьяны, пели революционные песни и грозили "господам"; все были куплены, наняты за деньги, все выполняли данное им задание... К ним примыкала уличная толпа, дети и подростки, визгом и криками создававшие настроение крайней озлобленности и безграничной ненависти. Это была типичная картина массового гипноза; это было нечто непередаваемо ужасное. Стоило бы крикнуть какому-нибудь мальчишке: "бей, режь", чтобы эта обезумевшая толпа взрослых людей мгновенно растерзала бы всякого, кто подвернулся бы в этот момент, и сделала бы это с наслаждением, с подлинной радостью. На лицах у всех была видна эта жажда крови, жажда самой безжалостной, зверской расправы, все равно над кем... Это было зрелище бесноватых, укротить которых можно было только пальбою из орудий.

И, глядя на эти ужасы, я боялся не столько ареста, сколько этой зверской расправы обезумевшей толпы, тем более что, по слухам, уже многие сделались ее жертвами, и кровь лилась безостановочно... Так, передавали, что на Выборгской стороне какого-то генерала разрубили на куски и бросили в Неву; на Обводном канале зверски замучено несколько офицеров и пр. А мои казенные курьеры ходили возле меня, смотря злобно, исподлобья, с определенным намерением чем-либо задеть меня и нарваться на мое замечание. Раньше трепетавшие, подобострастные, они теперь сами начали вступать со мною в разговор, громко одобряя революцию, а курьер Федор цинично заявил даже: "Оно, конечно, господа нас раньше обманывали, а мы, темные люди, того не замечали... Ну, а теперь, как открыли нам глаза, так мы и взаправду все увидели"...

"Если останешься жив, так и не то еще увидишь", – не утерпел я. В этот момент послышался стук в дверь, и Федор как стрела вылетел в переднюю, не спросив даже, открывать ли дверь, или нет. Через несколько минут в мою квартиру входила громадная толпа вооруженных до зубов, полупьяных солдат, в шапках и папиросах во рту, а Федор, злорадно улыбаясь, увивался подле меня, особенно громко выговаривая "Ваше Сиятельство" и переглядываясь с солдатами, конечно, с целью еще больше вооружить их против меня.

Я резко прогнал его и приказал не смей больше показываться мне на глаза... Может быть, этой резкости я был обязан тем, что солдаты несколько приосанились и в первый момент, будто, даже растерялись.

"Что вам надо?" – спросил я солдат. Солдаты замялись, и один из них неуверенно и нерешительно спросил: "Где здесь живет офицер?"

"В моей квартире нет офицеров", – ответил я громко, и толпа в 20-30 человек, правда, на этот раз без провожатого-жида, разбрелась по комнатам, улыбаясь и переглядываясь между собою, не делая ни угроз, ни попыток ограбить мою квартиру, а проявляя даже благодущие. Растерянно бродили они молча по комнатам, с любопытством рассматривали картины и портреты и чувствовали себя, по-видимому, в глупейшем положении, не зная, зачем пришли... Некоторые из солдат останавливались перед зеркалами и, снимая шапку, приглаживали волосы гребенкою... И, глядя на этих парней, еще так недавно смиренных и безропотных, я сознавал, что не могу изменить к ним своего прежнего, любовного отношения, не могу смотреть на них иначе, как на "денщиков", прославившихся своей преданностью офицеру и его семье, своим трудолюбием, способностями и усердием... И не может же быть того, чтобы их успели в несколько дней испортить настолько, что они превратились из прежних парней в жестокосердных зверей... Нет, этого не может быть, – думал я: нужно только найти удобный случай, чтобы заглянуть к ним в душу, попробовать раскрыть им, глупым, глаза... Переходя из комнаты в комнату, один из солдат очутился в моем рабочем кабинете, стены которого были уставлены драгоценными иконами-подношениями разного рода обществ и депутатий, от сел и городов, от бывших сослуживцев, крестьянских сходов и проч.

И вновь совершилось чудо милости Божией.

Из кабинета раздалась команда:

"Расходись... Здесь, верно, святой человек живет: нам тут делать нечего"... – И покорная этому голосу солдата, обезоруженного ликами Спасителя, Матери Божией, Святителя Николая, Святителя Иоасафа и Преподобного Серафима, глядевшими на него и проникавшими в его душу, толпа, виновато улыбаясь, почтительно удалилась из моей квартиры, ничего не тронув.

Избежал я опасности и в этот раз.

Глава LXXXV. Мой арест

Страшный день 28 февраля, унесший, как передавали, так много жертв, окончился настолько благополучно для меня, что, убедившись в бесполезности дальнейшего пребывания в Петрограде, я стал собираться с отъездом к сестре, жившей на расстоянии нескольких станций от столицы. Я обдумывал лишь способы добраться с вещами до вокзала, решив взять с собою и свою личную прислугу, а ключ от квартиры сдать директору канцелярии Обер-Прокурора В.И. Яцкевичу, в безопасности которого был уверен.

Два раза являлись ко мне вооруженные солдаты и в третий раз, наверное, более не придут: так думал я, оправдывая свое решение и ссылками на отсутствие поводов к аресту. На другой день я проснулся раньше обыкновенного, и к 7 часам утра уже был готов к отъезду.

В этот момент раздался пронзительный звонок, и в квартиру ворвались вооруженные солдаты, причем один из них, спросив у курьера, где Товарищ Обер-Прокурора, направился ко мне и передал мне приказ Керенского о моем аресте. На мое требование предъявить мне приказ, солдат ответил, что приказ был устный, что автомобиль ждет у подъезда, и всякое сопротивление бесполезно. Я был не столько испуган, сколько подавлен унижением своей личности. Краска стыда перед прислугой, свидетельницей этого унижения, перед своими подчиненными, со злорадством, любопытством и удивлением рассматривавшими своего начальника, перед которым они еще вчера пресмыкались и которого сегодня готовы были закидать камнями, заливала мои щеки. "Скрыться, скрыться куда-нибудь подальше, чтобы никто не видел этого позора, никто бы не радовался моему унижению!" – эта мысль была

единственным содержанием моих ощущений и переживании в момент моего ареста. А тут, как нарочно, из всех дверей высунулись и чиновники канцелярии, и курьеры, и каждый по-своему оценивал событие, впиваясь глазами в своего главного начальника, спускавшегося с лестницы под конвоем солдат, униженного и поруганного... У подъезда никакого автомобиля не было, и меня, как арестанта, повели посреди улицы, сквозь толпы до крайности возбужденной, озлобленной, разъяренной черни.

Толпа ревела, гоготала, грозила кому-то и чему-то и бросала камнями в каждого, кто казался ей подозрительным... Я не сомневался, что буду разорван на части, но в то же время опытно познал, что самые страшные моменты рождают самое невозмутимое спокойствие. Насколько велико было мое волнение, когда я спускался с лестницы своей квартиры, настолько велико было спокойствие теперь. Я не знал, куда меня ведут, и не интересовался этим. Никогда еще я не испытывал такой невозмутимости духа и крепости веры, как в этот момент. И, если бы толпа стала рвать меня на части, то я был убежден, что не почувствовал бы даже физической боли, до того чудесно дух господствовал тогда над плотью, до того далеко было от меня все, вокруг меня происходившее... Толпа, между тем, кричала: "Кого ведете? фараона? бей его! чего смотришь"... И в этот момент огромный камень пролетел мимо меня, задев конвойного солдата. Тот взял на прицел и собирался выстрелить в толпу, но его удержали другие. "Магометанина повели. А еще управлял нашей Церковью!" – неслось с другой стороны. Я невольно улыбнулся...

"Кого ведете?" – раздалось снова при повороте на Фурштадскую.

"Проваливай! Нечего спрашивать: кого ни вести, да вести. Не твоего ума дело" – отвечали конвойные...

"Именно, – подумал я, – лишь бы только вести, а кого – все равно"...

Эти ответы солдат, полные природного русского юмора, до того располагали меня к ним, что я даже желал услышать еще какой-нибудь вопрос и интересовался, какой получится ответ...

Но я приближался уже к Таврическому Дворцу, и чем ближе я подходил к нему, тем скопление народа было больше, и как я, так и мои конвойные, скоро затерялись в толпе. При желании, мне легко было бы скрыться, и, конечно, ни один из конвойных меня бы не нашел. Но эта мысль даже не приходила мне в голову: напротив, я отыскивал в толпе затерявшихся конвойных, спрашивая их, куда мне идти и что делать с собою...

Десятки тысяч народа, главным образом рабочие и солдаты, окружали здание Государственной Думы... Сквозь толщу этой толпы, с большими усилиями, медленно продвигались грузовики, с вооруженными солдатами и арестованными генералами, в шинелях на красной подкладке, при виде которых толпа приходила в неистовство и забрасывала несчастных генералов камнями... С помощью конвойных, я кое-как пробрался к фронту здания Думы и вошел в вестибюль. Конвойные, признав свою миссию законченной, оставили меня; а я, очутившись в вестибюле, не знал, что делать дальше. Я сознавал только одно: что моя дальнейшая участь зависит только от меня одного... Ни порядка, ни системы, ни малейшей организации во всей этой вакханалии не было. Я мог бы остаться в Думе, где меня мало кто знал, и никто бы не спросил меня, зачем я явился; я мог бы также свободно выйти, с помощью какого-либо знакомого члена Думы, из Таврического Дворца, и, конечно, никакой погони за мною бы не было. Но самая мысль об обмане казалась мне недопустимой; а опасение, что вместо меня арестуют моих близких, было так велико, что, увидев перед собой какого-то штатского, я рассказал ему об обстоятельствах своего ареста и просил его указать мне, куда я должен идти.

"Идите в Министерский Павильон; там все ваши товарищи по заключению; а, впрочем, как знаете", – сказал он на ходу и быстро куда-то скрылся.

Я обратился к другому: тот тоже указал на Министерский Павильон, причем дал мне в помощь солдата, который и провел меня в этот павильон, ибо я не знал дороги.

Нет слов передать, во что превратился Таврический Дворец!.. Базарная площадь провинциального города, в дни ярмарки, в праздничный день, казалась чище, чем залы

этого исторического дворца, заплеванные, покрытые шелухой подсолнухов, окурками папирос и утопавшие в грязи...

Я встретился по пути с Милюковым и его быстро бегающими, хитрыми глазами крысы... Он был окружен жидками, солдатами и рабочими, у которых заискивал и перед которыми принимал умильные, предупредительные позы. "Преступник и предатель!" – подумал я, глядя на него с презрением.

Я видел знакомых членов Думы, еще так недавно искавших моего расположения, а теперь сделавших вид, что меня не замечают...

"О, люди, люди! Как вы подлы и лукавы! А между тем все вы требуете, чтобы вас считали героями, и обижаетесь на тех, кто вас таковыми не считает", – думал я, глядя на этих членов Думы, сегодня отрекавшихся от того, у кого вчера заискивали... Видел я и пастырей Церкви, членов Думы; но ни один из них не сделал даже движения в мою сторону; а между тем еще так недавно они приносили мне горячие благодарности за проведение пенсионного Устава духовенства; еще так недавно величались моим вниманием к их нуждам...

Было 9 часов утра 1-го марта, когда я вошел в Министерский Павильон Государственной Думы.

Глава LXXXVI. Первый день заключения

"Министерским Павильоном" называлась одна из пристроек к Таврическому Дворцу, соединяющаяся крытым коридором с главным зданием. Там обыкновенно собирались приезжавшие в Думу министры. Я ни разу не бывал в этом помещении и вошел в него впервые лишь в день своего ареста. Пройдя коридор, разделявший павильон от главного здания, я очутился в небольшой, почти квадратной, очень светлой комнате, с двумя высокими окнами, выходившими в сад. Окна и двери были увешаны тяжелыми бархатными драпировками; посреди комнаты стоял длинный стол, вокруг него кресла, а вдоль стен узенькие диванчики, без спинок, стоявшие раньше в аванзале Дворца.

В этой комнате находились: Военный Министр Беляев, Начальник Главного Управления Уделов, Генерал-Адъютант князь Кочубей, Министр Статс-Секретарь по Финляндским Делах генерал Марков, финляндский генерал-губернатор Зейн, командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов, Петроградский градоначальник генерал Балк, со своим помощником, директор Морского кадетского корпуса, вице-адмирал Карцов, бывший член Государственного Совета В.Ф. Трепов, сенатор М.М. Боровитинов член Государственного Совета Г.Г. Чаплинский, начальник жандармского управления, имени которого не припоминаю, Петроградский полицмейстер генерал Григорьев и еще несколько лиц, с коими я раньше не был знаком и имена которых исчезли из моей памяти.

В соседних комнатах находились Председатель Совета Министров князь Голицын, министр финансов Барк, министр народного просвещения Кульчицкий, сенатор Утин и многие другие... В каждой комнате, а также у дверей стояли часовые. В течение дня прибывали все новые лица, и при мне были доставлены, под конвоем, министр Торговли и Промышленности князь Шаховской и бывший министр Внутренних Дел Н.А. Маклаков, причем, у последнего голова была разбита и забинтована... Передавали ужасные подробности о том, как солдаты едва вырвали несчастного Маклакова из рук озверевшей толпы, желавшей растерзать его только за то, что он был раньше министром. Подле арестованных сустились жидки, семинаристы, выпущенные на свободу политические преступники. Каждый из них старался быть отменно и изысканно вежливым, внимательным и предупредительным. Обращаясь к арестованным, они говорили: "когда мы сидели в тюрьмах, то вы надевали на нас кандалы; а вот мы угощаем вас папиросами"; и тут же появлялся огромный деревянный поднос с табаком и папиросами, которые предлагались желающим и от которых все отказывались. Откуда-то явились и сестры милосердия, с белыми платочками на голове. Были ли это настоящие сестры милосердия,

или же переодетые курсистки, с уголовным прошлым, я не знаю, но одна из них завоевала самые искренние симпатии со стороны арестованных, коим оказывала весьма ценные услуги. Она открыто возмущалась чинимым насилием, была посредницею в переписке заключенных с родными, с большим искусством и самоотвержением выполняла разного рода поручения, а по выходе моем на свободу, даже писала мне, обещая свою помощь моим товарищам по заключению. К сожалению, ее письма исчезли в общей массе бумаг и документов, похищенных у меня большевиками, и ее имя не сохранилось в моей памяти.

Тотчас по моем приходе был принесен чай, причем сестры извинялись за скромную сервировку и жаловались на то, что солдаты растащили салфетки, ножи и вилки... Все это говорилось шепотом, с оглядкой на часовых. Все чувствовали себя сконфуженными и были в крайне подавленном состоянии духа. Над каждым тяготело обвинение в страшных государственных преступлениях: многие, в том числе и я, наивно ждали суда над собою, в чем нас заверяли... Но в чем именно будут обвинять нас, какие обвинения будут предъявлены – никто не знал, ибо никто не сознавал за собою даже тени каких-либо служебных правонарушений; все были не только добросовестными, но и самоотверженными работниками, проникнутыми самыми глубокими идейными побуждениями.

Тихо, вполголоса, беседовали мы друг с другом, делясь своими впечатлениями и рассказывая об обстоятельствах своего ареста.

В этот момент послышались какой-то шум и суeta за дверьми, и в нашу комнату пожаловал Керенский. За ним, семеня ногами, как-то вприпрыжку, двигалась целая свита, его адъютанты и солдаты.

"Господа, – обратился к нам Керенский, именовавший себя тогда министром юстиции и Генерал-Прокурором, – никто из вас не должен считать себя арестованным. Как министр юстиции, я отдал приказ о выезде вашем из ваших квартир только потому, что желал сохранить ваши жизни. Народный гнев против слуг прежнего режима столь велик, что каждый из вас, оставаясь на своей квартире, рисковал своей жизнью и легко мог бы сделаться жертвой народной расправы. Кто же будет арестован, тот в этом помещении не останется, а будет переведен в другое. Надеюсь, что нет жалоб на условия, вас окружающие? Ваши нужды мною предусмотрены"...

Речь была порывистая, нервная; каждое слово сопровождалось выкриками и жестикациями, причем Керенский ударял пальцами правой руки о стол с такой силой, что пальцы были окровавлены... В последующие разы он являлся уже с забинтованной рукой. Ответом на эту речь было гробовое молчание.

И не потому мы молчали, что нам нечего было сказать Керенскому в ответ, а потому, что все, в равной мере, испытывали величайшее презрение к нему, видели эти гнусные приемы, эту его ложь и недоумевали, зачем ему нужно было оправдываться перед нами и прикрывать свою ложь трескучими фразами, рисоваться своим великодушием. Была ли с его стороны только глупость, или Керенский и в самом деле, отдавая приказ о нашем аресте, желал укрыть нас от народного гнева?.. Но тогда, почему же он не давал нам возможности спастись, без его помощи, от озверевшей массы, какую сам же натравил на нас? Почему не разрешил свободного выезда из Петербурга, хотя бы тем, кого хватали, без разбора, а затем, продержав в Думе, или в иных местах, выпускали на улицу?.. Не мог же он не знать того, что мы оставались на своих квартирах, рискуя каждое мгновение быть растерзанными толпою, только потому, что были честными людьми и не считали возможным "удирать", чтобы тем самым не подвергать опасности своих родных и близких или каждого, случайно зашедшего к нам на квартиру, знакомого... Не мог он не знать, что, руководствуясь этими благородными мотивами, мы не только не делали попыток к бегству, а даже сами являлись в Думу, как сделали А.Д. Протопопов и другие, отдавая себя в руки палачей, сознательно принося себя в жертву горячо любимой нами России. Преступником никто из нас не был; укрываться от преследований никто не учился: такие приемы претили нашему

нравственному чувству, и вот почему Керенскому не стоило ни малейшего труда арестовать всех нас... Но величаться такой победой, конечно, мог только глупый человек.

С Керенским я не был знаком, но встречал его в Думе. Это был типичный еврей-неврастеник. По бумагам он значился православным, но в действительности, как утверждали, был внебрачным сыном еврейки Кирбис, вышедшей замуж за православного, который и усыновил младенца Аарона, дав ему имя Александр... Внешний облик Керенского, его манера говорить и держать себя, его однобокая идейность, фанатизм и трусливость – все это обличало в нем подлинного еврея. Он был весь на пружинах, упивался славой и верой в себя и свое призвание. Безмерно честолюбивый, он не сознавал, что производил впечатление глупого, бездарного актера провинциального театра и что над ним смеялись даже те, кто создавал ему его славу. Это был совершенно невменяемый человек, производивший до крайности гадливое впечатление...

Окинув взором Наполеона присутствовавших, Керенский гордо вышел из комнаты, но был остановлен князем Кочубеем, который, с чувством величайшего достоинства, заявил, что арестован по "ошибке", и потребовал освобождения. Хотя все арестованные находились в таком же положении, но Керенский точно очнулся и, подобострастно извиняясь перед сановитым князем, быстро заговорил: "Да, да, я знаю, произошла досадная ошибка. Я сейчас же сделаю распоряжение, сейчас, сейчас"... Смерив презрительно жалкую фигуру Керенского, величественный князь Кочубей отошел от него... С таким же заявлением обратился к Керенскому и В.Ф. Трепов и также получил обещание быть выпущенным на свободу. И, действительно, в этот же день оба оставили павильон. Вместо них привели Олонецкого губернатора, случайно захваченного по пути в Петроград и ехавшего с докладом к министру Внутренних Дел, не зная о разыгравшейся революции, и какого-то полковника, над которым Керенский жестоко издевался, обвиняя его в сопровождении политических преступников на виселицу; в порыве крайней злобы, он сорвал с полковника орден Св. Владимира III степени, что до крайности возмутило всех. Подумать только, какая наглость! Жид Керенский срывает царский орден у русского полковника!

Подали обед... Подле меня сидел вице-адмирал Карцов, и мы вспомнили что еще в октябре 1915 года сидели рядом за Царским столом в Ставке, в день тезоименитства Наследника-Цесаревича... Казалось, так недавно это было, а теперь... Вице-адмирал был очень бледен и ничего не ел, а вместо этого опорожнял одну солонку за другой, что обратило мое внимание и встревожило меня. Не мог он и сидеть спокойно в кресле, а постоянно вставал и часами шагал по комнате... День стал склоняться к вечеру. Наступила ночь, но никто не спал: все как-то замерли, сидя в креслах, на подоконниках... Усталые солдаты стояли на часах...

Глава LXXXVII. Наблюдения и заметки

Хотя заключенные и принадлежали, в большей или меньшей степени, к одному обществу, но по рангу и положению отличались друг от друга, и такое невольное уравнивание их на почве общего бесправия, позора и унижения давало психологу обширный и интересный материал для наблюдения. В этой обстановке раскрывалась подлинная сущность каждого, не прикрытая ни высотой положения, раньше занимаемого, ни служебными правами, раньше принадлежавшими. Здесь были уже не прежние начальники и подчиненные, не прежние сановники и скромные чиновники, а были люди, отличавшиеся друг от друга только своим нравственным содержанием.

Как относились эти люди друг к другу? Как держали себя вне рамок своего прежнего положения?

Защищали ли они те принципы, какие исповедовали и против которых воздвигнуто теперь гонение, или, по трусости и малодушию, отрекались от них? Все ли остались верными долгу совести и присяги, или, в минуту личной опасности, изменили ему?!

Все ли сохранили чувство собственного достоинства, или, наоборот, стремились заручиться расположением новой власти?!

Эти вопросы напрашивались сами собою при встрече с поведением каждого отдельного заключенного, дававшим мне интересный материал для заметок. В противоположность тем изменникам и предателям, как на фронте, так и в тылу, которые вызвали революцию, и о которых нечего говорить, все заключенные держали себя с величайшим достоинством и своим поведением вызывали даже недоумение у насильников, ожидавших, что, лишённые власти и обезоруженные, прежние сановники сдадут свои позиции и будут искать их расположения, хотя бы только затем, чтобы облегчить свою участь...

Но они этого не дождались. Как ни хорохорился Керенский, какими бы званиями себя не облакал, но он хорошо знал, что импонировал только жидам, а в наших глазах, да, пожалуй, и в глазах масс, оставался тем же бездарным присяжным поверенным, без практики, каким и был раньше. Он мог переломить нас, но заставить согнуться не был в силах, а между тем добивался только этого последнего, полагая, что благоволение прежних сановников укрепит его власть и оправдает его преступления... Вот почему он отдал распоряжение, чтобы приставленные к нам для наблюдения жидки и бывшие тюремные сидельцы ни в чем бы нас не стесняли и старались бы вызвать наше доверие и расположение к новой власти. Когда же этого не удалось, а каждый из нас продолжал оставаться на своей прежней позиции, или вовсе уклоняясь от бесед с этими приставленниками, или исповедуя свои прежние убеждения, то Керенский, из чувства мелкой мести, запретил всякие разговоры между заключенными... Но и этой жестокой, безжалостной мерой он ничего не достиг и, видя ее бесцельность, вскоре отменил ее. Психология наших ощущений и переживаний совершенно не понималась им. Керенский убежден был, что, лишив нас свободы, он заставит нас идти на какие угодно жертвы, чтобы вернуть ее обратно, тогда как на самом деле никто из нас не делал даже попыток уходить из Министерского Павильона, одни потому, что и уходить было некуда, ибо их квартиры были разграблены чернью и солдатами, другие потому, что боялись даже показаться на улице, из опасения быть растерзанными озверевшей толпой... И, когда Керенский появлялся к нам в последующие разы, а заходил он в нашу комнату каждый день, несколько раз, предлагая некоторым пропуски из Думы, то принимали эти пропуски только те, кто имел возможность выехать из Петрограда; прочие же отказывались, предпочитая оставаться в Думе, вместо того, чтобы подвергаться риску вернуться в свою прежнюю квартиру.

Я уже сказал, что заключенные держали себя с величайшим достоинством, не обнаруживая ни малейших поползновений облегчать свою участь сделками со своей совестью... Но особенное впечатление произвел на меня Военный Министр генерал Беляев. Я раньше мало знал его: встречался с ним раза два в Мариинском Дворце; но в первый же день своего заключения почувствовал к нему величайшее уважение. Он держал себя не только с достоинством, но и с чувством оскорбленного достоинства, чего и не скрывал от тех, кто прислуживал ему, стараясь заручиться его вниманием. Он сурово отклонял всякие попытки жидков вступать с ним в разговоры, и на его лице было написано такое отвращение ко всему происходившему, такая горечь оскорбления, нанесенного ему самим фактом его ареста, что вертевшиеся перед ним жидки видели в нем не заключенного, а министра, который был и остался министром.

Много геройства проявил и Петроградский полицмейстер генерал Григорьев, который, на сделанное ему часовым замечание, так распек этого солдата, что тот схватился за ружье, с намерением выстрелить... На крик прибежал Керенский, на которого генерал Григорьев, не учитывая возможных последствий, также порядком накричал, указывая на распушенность солдата... Однако раздражение генерала только смирило Керенского, который ограничился лишь призывом к порядку. "Скоты, мало им арестовать человека; еще издеваются над ним!" – пронеслось вслед уходившим; однако как Керенский, так и его свита должны были сделать вид, что не слышат этих слов генерала Григорьева. А задевший генерала часовой стал проявлять двойную почтительность.

Генерал Григорьев был прямым, честным, смелым и преданным Царю служакой, и запугать его было трудно. "Будь все такими, – подумал я, – революция бы не удалась. Керенские держатся лишь малодушием и трусостью окружающих". Не могу без уважения вспомнить и прочих товарищей по заключению...

Шпионы и провокаторы усердно следили за нами, однако ничего не достигли. И чем более резко мы отвечали им, тем более они смирялись. Я заметил, что один из приставленников, какой-то юноша 18-19 лет, не сводил с меня глаз и точно ждал удобного момента, чтобы вступить со мной в разговор. И, действительно, улучив этот момент, он подошел ко мне вплотную и выпалил:

"Ваш Синод вдвойне виноват перед народом, так как умышленно тормозил его развитие"...

Я посмотрел на болвана и спокойно спросил его:

"Почему вы пришли к такому несправедливому заключению?"

"Как почему! – запальчиво спросил юноша, оказавшийся семинаристом. – А зачем вы насильно загоняли народ в церкви и школы?.. Ведь это насильственное обучение Закону Божию детей, даже не христианских вероисповеданий, каких, я слышал, много на Кавказе, где есть и евреи, и магометане, ведь это же возмутительное издевательство над свободой!"

Я не мог не улыбнуться, глядя на этого болвана, и сказал ему:

"В первый раз слышу, чтобы народ насильно загоняли в церкви или евреи и магометане насильно обучались бы Закону Божию... Об этом вам нарочно наговорили, а вы и поверили"...

"Как наговорили! – вспыхнул семинарист. – Мой отец сельский священник, и я это лучше знаю, чем вы"...

"Несчастный отец!" – подумал я. Последние слова семинарист сказал громче, чем позволяла обстановка, где разговор велся вполголоса, и, потому, в мою сторону оглянулись некоторые из заключенных.

Ко мне подошли Г.Г. Чаплинский, сенатор М.М. Боровитинов, мой прежний сослуживец по Государственной Канцелярии, и приставленный для наблюдения за нами еврей Барош. Разговор продолжался.

"Вот князь говорит, что Синод не чинил никаких насилий над народом", – сказал семинарист, обращаясь к подошедшим.

"В чем они выразились, могу ли узнать?" – любезно спросил сенатор Боровитинов.

"В обидительстве народа", – ответил семинарист, с пафосом.

Спокойно, толково и умно начал сенатор Боровитинов указывать глупому семинаристу значение религии в государстве; но тот твердил свое:

"Государство не имеет права тратить народные деньги на содержание попов; а кто желает, тот пусть на свои собственные деньги заказывает себе обедни, молебны или панихиды и все, что там себе захочет", – повторял семинарист заученные фразы, насвистанные теми, кто ликвидацию христианства ставил своей целью.

"А сколько, полагаете вы, нужно будет заплатить священнику за обедню?" – не удержался я.

"Как сколько?! Ну, 50 рублей, пожалуй"...

"Значит, только богатые будут ходить в церковь; а бедным-то как быть?" – донимал я семинариста.

Он огрызнулся и сказал:

"Я же вам сказал уже, что мой отец священник и что я лучше вас знаю, что делается в селах. Народу церковь не нужна; все это выдумки попов, чтобы обирать народ"...

"Вот, если вы это действительно докажете, – ответил я, – тогда можно будет говорить и о прекращении государственной помощи церкви; а теперь, наоборот, нужно ее удвоить именно для того, чтобы не было жалоб на священников. Но вы этого никогда не докажете, ибо какие бы нововведения ни вводили, а все же не заставите русский народ есть колбасу в Страстную пятницу"...

Семинарист, недовольный, отошел. Слушавший, с интересом, наш разговор, еврей Барош улыбался. Семинарист, однако, вскоре вернулся и, точно вспомнив о чем-то, сказал: "Государство перекраивается. Мы делим его на совершенно новые клетки... Возможно, что мы используем и некоторых прежних старорежимных чиновников; но в какую клетку садить вас и вам подобных, мы решительно не знаем. В новой России вам места не будет", – закончил он торжественно...

"А вы создайте ее сначала, а потом уже распределяйте наши роли", – ответил я семинаристу, обезоружив его улыбкой, какой не мог сдержать, при виде, как закатился смехом от слов семинариста еврей Барош, державшийся, кстати сказать, очень корректно и учтиво по отношению к каждому из нас.

Семинарист, раздосадованный, ушел.

Глава LXXXVIII. Отречение Государя

Весть об отречении Государя Императора от Престола дошла к нам сравнительно поздно. Мы узнали о ней только 3 марта.

Как ни феерична была декорация "бескровной" революции, залившей потоками крови всю Россию, как ни дико было это безумное ликование масс и велико упоение властью бездарных проходимцев, явившихся на смену прежней власти, как ни трескучи были их громовые речи, их истерические выкрики о завоеваниях революции, с призывами углублять эти завоевания, однако не нужно было быть психологом, чтобы заметить, что вся эта декорация, вся эта шумиха и приемы, коими пользовались "завоеватели", скрывали за собой не силу, а слабость, и что творцы революции, до момента отречения Государя от Престола, чувствовали себя не героями дня, а кандидатами на виселицу.

Правда, прежнее правительство, почти в полном составе, было в их руках и, обезоруженное, содержащееся под стражей, опасности не представляло. Но был Царь, была миллионная армия, в подавляющем числе преданная Царю... И не без основания эти "избранники народа" боялись этой армии, ибо знали, что рота преданных Царю солдат была бы в силах разогнать их и вздернуть на виселицу. И знали об этом не только активные деятели революции, но и все, кроме тех, кому об этом ведать надлежало.

Иначе почувствовали себя творцы революции после отречения Государя.

Еще так недавно в Ставке царили полное спокойствие и уверенность в победе; еще так недавно оттуда неслись жалобы на Петербург и его растлевающее влияние на тыл; но теперь измена охватила и Ставку, и всякое сообщение из Петрограда учитывалось не как интрига Думы, а как свидетельство такого положения, единственным выходом из которого являлись уступки наглым требованиям зазнавшегося Родзянки.

Свершилось то, чему суждено было свершиться; однако история скажет, что не революция вызвала отречение Государя, а, наоборот, насильственно вырванный из рук Государя акт отречения вызвал революцию. До отречения Государя была не революция, а солдатский бунт, вызванный честолюбием глупого Родзянки, мечтавшего о президентском кресле. После отречения наступила подлинная революция, каковая, в первую очередь, смела со своего пути того же Родзянку и его присных.

С момента отречения Императора, временное правительство облегченно вздохнуло. Оно добилось не только отречения, но и своего признания Высочайшею Властью, и еще вчера пресмыкавшееся перед чернью, бросавшее ей на растерзание верных слуг Царских, укреплявшее свое положение ценою унижительных и преступных уступок временное правительство сегодня решило стать на путь законности и твердости, сознавая необходимость, из одного только чувства самосохранения, обуздать озверевшую массу, в которой видело уже не детей богоносного народа, а взбунтовавшихся рабов.

Я, с любопытством, наблюдал эти попытки, ни минуты не сомневаясь в том, что они не будут иметь успеха. Все, совершавшееся перед моими глазами, все поведение временного правительства и его приемы, все эти безостановочные речи, приказы, распоряжения, декреты, вся эта ни с чем не сообразная суэта, эти ночные заседания, с

истерическими выкриками, громогласные речи с портиков и балконов, увешанных красными тряпками, – все это казалось мне до того глупым, что я недоумевал, каким образом взрослые люди могут ставить себя сознательно в такое глупое положение и как они не сознают, что им вторят другие только страха ради иудейска, только потому, что толпа была уже терроризирована и боялась громко думать...

Значит, там была не только одна глупость, но были и сознательный умысел, стремление к определенной, заранее намеченной цели, применение заранее выработанных средств, осуществление определенной программы...

Конечно! Но об этих "программах" знали только те немногие, кто связывал революцию с еврейским вопросом; кто видел в этой вакханалии только способ достижения вековечных еврейских целей, сводившихся к мировому владычеству, к уничтожению христианства и порабощению всего мира. Но таких людей было мало, и даже в составе временного правительства было больше глупцов, чем активных деятелей революции... Они тешились своим званием министров, наивно воображали себя таковыми; а на самом деле были только глупенькими пешками в руках тех, кто, играясь с ними, вел свою собственную линию, насмехаясь над ними.

Погруженный в свои думы, я не заметил, как вошел к нам в комнату генерал Ренненкампф. Каким образом он очутился в Министерском Павильоне, был ли он арестован раньше и содержался в другой комнате, или же был в этот только день доставлен к нам – я не знаю.

Представительный, сановитый, с Георгием на шее, генерал Ренненкампф, в противоположность всем остальным заключенным, не только не чувствовал себя подавленным, а, наоборот, был точно доволен своим арестом, держал себя свободно, уверенно, совершенно не реагируя на обстановку и вызывая даже улыбки со стороны окружавших... Он, с большим воодушевлением, рассказывал о своих победах на фронте, лишь изредка, мимоходом, останавливаясь на катастрофе под Сольдау, если не ошибаюсь, в которой его обвиняли. В этот момент откуда-то появился злодей Кирпичников, тот самый унтер-офицер или фельдфебель, который взбунтовал Волынский полк, за что от Керенского или Гучкова, не знаю точно, получил Георгиевский крест. С видом и сознанием героя, он стал рассказывать, захлебываясь от удовольствия, о своих подвигах... Я не видел человека более гнусного. Его бегущие по сторонам, маленькие, серые глаза, такие же, как у Милюкова, с выражением чего-то хищнического, его манера держать себя, когда, в увлечении своим рассказом, он принимал театральные позы, его безмерно наглый вид и развязность, – все это производило до крайности гадливое впечатление, передать которого я не в силах. Желая обратить на себя внимание бывших сановников, с каким-то лихорадочным вниманием следя за производимым впечатлением, он переходил из одной комнаты в другую и рассказывал заключенным о своих преступлениях, рассчитывая получить похвалу и поощрение...

Этого добивался, впрочем, не только унтер-офицер Кирпичников, но и главковерх Керенский, воплощавший в тот момент всю полноту власти. Как ни безоружны были представители прежней власти, но они были сановники и в глазах пришельцев таковыми и остались...

Кирпичников не ошибся в расчете. Не успел он еще закончить рассказа о своих предательстве и измене, как к нему подошел генерал Ренненкампф и, дружески трепля его по плечу, стал хвалить его за геройство. Кирпичников, умиленный словами генерала, сиял от восторга и только и мог выговаривать за каждым генеральским словом: "Так точно, Ваше Высокопревосходительство", глотая буквы и произнося эти слова характерною солдатскою скороговоркою...

В порыве взаимного умиления, генерал-от-кавалерии и унтер-офицер бросились, затем, друг другу в объятия и... трижды облобызались...

Эта сцена произвела на окружавших такое угнетающее впечатление, что с генералом Ренненкампфом перестали разговаривать и сторонились от него. Кирпичников, как

известно, был впоследствии расстрелян добровольцами... Какова дальнейшая судьба генерала Ренненкампа, я не знаю. (Расстрелян большевиками.)

"Видите ли, – сказал мне мой сосед, – теперь генералы от кавалерии братаются с солдатами, которым сами же отдали свою власть"...

"Был один Распутин, а теперь что ни рабочий и солдат, то Распутин. Перед каждым из них и министры, и генералы гнут спины и ломают шапки", – сказал другой.

"Сравнение, для Распутина обидное, ибо, во-первых, ни министры, ни генералы перед ним и шапок не ломали, и спины не гнули, а во-вторых, Распутин, хотя и любил выпить, а после выпивки пускаться в пляс, но он и в церковь ходил, и в Бога веровал, и Царя почитал", – сказал третий.

"Правильно", – подумал я.

Глава LXXXIX. Страшная ночь

С каждым днем настроение заключенных становилось все более нервным. Никаких обвинений никому не предъявлялось; разговоры о предании суду оказались выдумкою; а между тем каждую ночь из нашей комнаты увозили, неизвестно куда, то одного, то другого обреченного... Одни говорили, что в Петропавловскую крепость, другие – что в Выборгскую тюрьму. Каждый из нас ждал подобной же участи, ибо все находились в одинаковом положении, не сознавая за собой никаких преступлений, и никто не знал, чем руководились новые власти, применяя к арестованным различные приемы отношения. Самочувствие наше отягощалось еще и тем, что, вслед за отречением Государя Императора от Престола, отношение к нам резко переменялось: началось тонкое издевательство над нами; явился фотограф, сделал группу, какая вскоре появилась в журнале "Огонек", с подписью "Арестованные сановники в Министерском Павильоне Государственной Думы". К тому же Керенский запретил нам разговаривать друг с другом.

Мы сидели молча, испытывая чрезвычайную нервную усталость. Только один вице-адмирал Карцев беспрестанно шагал по комнате, обращая на себя внимание. Вдруг он неожиданно сел подле меня и шепотом сказал мне:

"Великое дело – молчание: оно имеет чрезвычайное воспитательное значение. Мудрецы были подвижники-монахи!"..

"Да, – ответил я, – если это добровольный подвиг, а не насилие, не истязание, не пытка"...

"Нет, все равно, это важно", – ответил вице-адмирал и стал довольно пространно развивать свою мысль.

Я не помню подробностей его речи, но хорошо помню, что все время, с крайним беспокойством, следил за логическими скачками ее, сознавая, что вице-адмирал дошел уже до тех пределов нравственного изнеможения, при которых мысль отказывается служить ему.

Внезапно, прервав свою речь на полслове, вице-адмирал быстро сорвался со своего места, схватил стоявшую на столе солонку, быстро опорожнил ее и стал шагать по комнате, забыв о начатой и неоконченной беседе со мною". Мне сделалось жутко.

Начало смеркаться... Наступила ночь...

Заключенные просили разрешения погасить электрический свет в комнате, горевший все предыдущие ночи и мешавший сну. Просьба была уважена. Так же, как и раньше, мы разместились на своих прежних местах, причем мне посчастливилось занять узенький диванчик, стоявший в глубоком проходе в смежную комнату, между двумя массивными дверьми... Стены были так толсты, что диванчик почти помещался в проходе, и только незначительная его часть выступала в нашу комнату. Спускавшаяся с дверей тяжелая драпировка образовывала нечто вроде шатра, и я чувствовал себя там довольно уютно... В этом укромном месте и велась та примечательная беседа с солдатом, о которой я расскажу ниже... Рядом со мною, на таком же диванчике, помещался Г.Г. Чаплинский, великий мастер рассказывать жидовские анекдоты, и мы еще долго болтали, прежде чем заснули...

Вдруг, часа в три ночи, внезапно раздался выстрел, а вслед за ним душу раздирающий крик вице-адмирала Карпова, смешанный с плачем и стенаниями: "Дайте мне умереть! За что вы мучаете меня, за что издеваетесь надо мною... всю жизнь свою я был богобоязненным человеком, честно служил Богу и Царю; за что же такое наказание!.. О Господи, за... что же". Мы не успели очнуться, как в комнату ворвались вооруженные солдаты и, при абсолютной темноте, стали стрелять во все стороны... Только и видны были огоньки, вылетающие из дул ружей... Было что-то невообразимо ужасное. Не сознавая, что происходит, я приподнялся на диване... По мелькнувшему предо мною силуэту я видел, что солдат направил дуло своего ружья в меня... Я инстинктивно наклонил голову и закрыл лицо руками... В этот момент пуля пролетела на волосок от моей головы и пробила насквозь дверь, куда упирался диванчик, на котором я сидел... Я не знал, ранен ли я, или нет... Но прошла минута, за ней другая; выстрелы продолжали раздаваться, а я не чувствовал боли... Значит, Господь спас меня – подумал я; а как другие... Есть ли убитые, раненые?..

Кто-то открыл свет... Глупые солдаты не сделали этого раньше...

Вице-адмирал Карцев продолжал стонать, и вокруг него суетились другие... Оказалось, что несчастный вице-адмирал, не выдержав нравственной пытки, сделал, в припадке острого помешательства, попытку лишить себя жизни, для чего набросился на часового, желая пронзить себя насквозь острым штыком ружья... Часовой, не предполагая покушения на самоубийство, а думая, что вице-адмирал желал его обезоружить, выстрелил в него в упор, и между ними завязалась борьба... Выстрел часового, в связи с просьбою погасить на эту ночь свет в комнате, был понят, как сигнал к вооруженному восстанию заключенных, к которым, якобы, явилась помощь, с целью освободить их из заключения, в результате чего трусливый и перепуганный Керенский, не разобрав, в чем дело, отдал приказ стрелять в нас... Такова была одна версия; другие же говорили, что солдаты по собственной инициативе начали стрельбу.

Господу Богу было угодно чудесным образом сохранить жизни всех узников. Несмотря на то, что солдаты, коих было не менее десяти человек, стреляли в абсолютной темноте, в разных направлениях, в комнате небольших размеров, где находилось около 20 человек, ни один из нас не был ранен... И только на стенах, дверях и окнах виднелись следы ружейных пуль...

На крик вице-адмирала Карцева прибежал Керенский, а за ним доктор, называвший себя графом Овером, и сестры... Нужно было зашить раны вице-адмирала, из коих одна была штыковая, а другая пулевая, к счастью, обе не опасные для жизни, а затем сделать перевязку. Однако, как ни старался молодой доктор, почти юноша, приступить к операции, ему никак не удавалось проткнуть иглу и сделать шов. Своими неумелыми приемами он мучил вице-адмирала, причиняя нестерпимую боль и вызывая отчаянные крики. Отстранив его, сестры милосердия кое-как перевязали раны, из которых кровь лилась ручьями, и несчастный адмирал был увезен в госпиталь. Впоследствии обнаружилось, что юноша, выдававший себя за доктора, графа Овера был фельдшерским учеником, беглым каторжником...

Каким образом он очутился в Думе и втерся в доверие Керенского, никто не знал... Когда все стихло, мы снова улеглись, удивляясь прочности человеческого организма, подвергавшегося таким испытаниям и продолжавшего здравствовать...

Однако, не успели мы забыться, как раздался громкий голос:

"Чаплинский..."

Бедняга вскочил, задрожав от волнения.

"Одевайтесь!" – скомандовал голос.

"Боже мой, что же будет", – шептал он дрожащими губами, стараясь быстро одеваться и не находя, от волнения, нужных вещей.

"Помолитесь обо мне", – просил он...

Я дал ему иконку Божией Матери, изящную, миниатюрную, какую всегда носил при себе, и Г.Г. Чаплинский, с умилением приложившись к ней, взял ее с собою.

Мы простились, и он, в сопровождении конвойных, был увезен, как передавали, в Петропавловскую крепость, чтобы, быть может, разделить участь своего покровителя, И.Г. Щегловитова. Больше я его не видел, и дальнейшая его участь мне неизвестна. Никогда не забуду этого страшного момента разлуки... Насколько покойно себя чувствовали пребывавшие в Министерском Павильоне, настолько ужасно было самочувствие увозимых в крепость и тюрьмы... Там их участь зависела всецело от настроения зверей-часовых, которых боялось даже так называемое временное правительство, не имевшее силы справиться с озверевшими солдатами и в угоду им бросавшее в крепость ни в чем неповинных людей...

Я уже не мог заснуть больше в эту кошмарную ночь... Я чувствовал, как силы начинали покидать меня... Начало светать...

Но мысль о том, что, еще несколько часов тому назад, я находился на волосок от смерти и что Господь так явно, так чудесно спас меня, поддерживала мои силы, и я молил Бога не о жизни, а о том только, чтобы хотя перед смертью удостоиться Св. Причастия Христовых Тайн.

В эту самую ночь, как я потом узнал, моя святая мать также не спала и в течение всей ночи читала акафист Святителю Николаю, молясь Угоднику Божию о моем спасении...

Глава ХС. Беседа с солдатом

Опасаясь, что заключенные не выдержат более того режима, какой, при прежнем правительстве, не практиковался даже среди каторжан, напуганный несчастным случаем с вице-адмиралом Карцевым, Керенский отменил свой нелепый, жестокий и безжалостный приказ, запрещавший заключенным разговаривать между собой... В то же время и отношение караульных солдат и прочих наблюдающих за нами изменилось, и они старались, будто, загладить впечатление прошедшей ночи...

Я сидел в своей нише, куда ежеминутно заглядывал то один, то другой. Приподняв драпировку, заглянул ко мне и один из караульных солдат. Эти последние, в отличие от часовых, стоявших как истуканы, подле дверей и окон, свободно расхаживали по комнатам и, бравируя развязностью с бывшими сановниками, подходили то к одному, то к другому, вступая в разговоры.

"Можно?" – спросил меня солдат, собираясь садиться на диванчик, напротив меня...

"Садитесь", – ответил я.

"Вы, я слышал, князь... Что ж, это ничего", – сказал он.

"Дурак", – подумал я.

"Вы, говорят, управляли нашей Церковью?" – продолжал он, желая завязать разговор.

"Церковью управляет Дух Святой", – ответил я.

"Оно-то так, – возразил бородатый детина, – а про то, значит, законы писались людьми, да писались так, что батюшки, и, он сделал ударение на "и", ограбляли мужичка, вон оно что", – самодовольно сказал солдат.

"Что-то я про это не слышал", – ответил я. – А в какой губернии или в уезде, примерно в каком селе производились такие грабежи? Расскажите, пожалуйста... Что грабежами занимались крестьяне и часто за это под суд попадали – это всем известно, а чтобы батюшки грабили народ среди бела дня, да оставались без наказания, я что-то не слышал об этом... Что-нибудь да не так здесь"...

"Оно не то, примерно сказать, чтобы производилось ограбление, а, так сказать, вымогательство, потому, значит, как не заплатишь, так тебя и не повенчает, али чего и другого не совершит; потому, значит, что ты сначала дай, а потом получай; иначе и производить ничего не станет, а еще скажет – иди себе туда, откуда пришел... Вот они попыто какие у нас: без денег и обедни править не станет... Я ему говорю – выправьте мне, батюшка, молебен, али панихиду, а он мне – а ты сколько мне дашь за то, что я выправлю?... Вот тут и пойдет торговля; я ему полтинник, а он мне – подавай целковый... Как же тут не

входить в соблазн? Ну, и выругаешь его, да с тем и пойдешь, потому что и не резон все это"...

Вопрос о положении и нуждах сельского духовенства имел в моих глазах настолько исключительное значение, являлся до того важным, что, с первого же момента своего вступления в должность, я провел в междудеомственной комиссии, под своим председательством, законопроект о пенсионном Уставе духовенства и принимал самое горячее участие в работах, подготовлявших законопроект о жалованье духовенству... Оба законопроекта были уже готовы, и только революция погубила их, так же как погубила и многие другие благодетельные начинания... Вот почему, в ответ на слова солдата, я, забыв обстановку, забыв условия, в каких находился, и свое положение узника, не зная, с какими намерениями пришел ко мне беседовать этот солдат, не удержался, чтобы не раскрыть ему глаза и вразумить его.

Я уже говорил, что никак не мог себя заставить поверить в искренность той метаморфозы, которая превратила нашего благодушного и дисциплинированного солдата в дикого зверя. Я был убежден, что в данном случае было не превращение, а рабский страх перед поработившей солдата силою, которой он подчиняется по принуждению, а не по убеждению. И та замечательная беседа, которая приводится мною ниже, блестяще оправдала мои предположения. На общем фоне момента такая беседа была явлением до того необычайным, что не только содержание ее, но даже самый факт ее возможности может показаться маловероятным, если принять во внимание душевное состояние заключенных и те условия, в которых они находились, когда сотни глаз следили за каждым их движением, когда они были терроризированы настолько, что даже боялись громко думать...

Станным может показаться и внезапная метаморфоза с солдатом, начавшим свой разговор со мною революционером, дерзко восставшим против духовенства, и, после первой же моей фразы, превратившегося в убежденного монархиста...

Этот факт легко объясняется тем, что в описываемое мною время каждый человек видел в другом изменника, шпиона и предателя; все были буквально поработаны ложью и говорили не то, что думали, а то, что, по их мнению, нужно было говорить в тот момент... Когда же люди, истомленные этой вынужденной ложью, встречались с теми, кому верили, тогда разверзались их уста, и со дна их души выплывали их истинные убеждения, какие они высказывали тем с большею откровенностью, чем с большими усилиями их раньше скрывали... То же случилось и с солдатом, который подошел ко мне ощупью, точно зондируя почву, а, убедившись в том, что я не выдам его, раскрыл предо мною свою душу, с ее подлинным содержанием. Я привел эту примечательную беседу в свидетельство истинного отношения народа к "народным избранникам" и в доказательство того, насколько гнусна была пущенная Керенским клевета о каком-то народном гневе против Царя и царских министров... Не доверием народа было избрано и первое время держалось Временное Правительство, а террором, ложью и обманом... Что касается приводимого в беседе факта воскресения умершего мальчика, то об этом факте мне рассказывал иеромонах Памва в Оптиной Пустыни, называя и имя мальчика, и село, где он жил...

К сожалению, имена, за давностью времени, исчезли из моей памяти; но самый факт запечатлелся в ней...

Приспосабливаясь к уровню его развития, я, излагая свои мысли понятным ему языком, сказал ему следующее:

"Скажите мне, пожалуйста, слышали ли вы когда-нибудь, чтобы еврей бранил своего раввина, а магометанин своего муллу?... Не спрашивали ли вы самих себя, почему это только православные христиане бранят своих священников? Не подозрительным ли вам кажется, что и бранят-то не старые, разумные люди, а молодые, чуть ли не мальчишки... Почему это так?... И для магометанина его Коран, и для еврея его Талмуд являются самыми священными книгами, а их пастыри самыми уважаемыми людьми, которых они содержат не так, как православный народ своих священников... Там что ни раввин, что ни мулла, богачи, в сравнении с которыми наши сельские священники – нищие; а между тем никто из них не

кричит, что их пастыри грабят народ... А попробуйте вы, православные, сказать только одно дурное слово против муллы, или раввина, и вас на части разорвут, ибо эти люди для магометан и евреев неприкосновенны. Вы же не только позволяете другим глумиться и издеваться над вашими священниками, но еще и сами это делаете, не замечая даже того, кто вас этому учит... Посмотрите хотя бы теперь, кто сейчас вас окружает, как жидки подняли свои головы и сколько их даже здесь, в Думе...

"Тсс, тсс, – прошептал солдат и, наклонившись ко мне, шепотом произнес, – еще услышит поганый; их как чертей в болоте развелось здесь: так и норовят, сукины сыны, вынюхать что-нибудь"...

"Вот видите, до чего вы дожили, что приходится пархатого жида бояться. А посмотрите на Керенского, разве не видно, кто он?"..

"Да, оно точно; сейчас видно, что жид... И визжит же как жид, да и в паршах весь, так от него и несет, как от чумы, холера паскудная, а как куражится; все в свои руки прибрал, а почему... Потому, что сопротивления, сукину сыну, не оказали; а я бы сам с ним справился, задавил бы как собаку, да еще бы сапогом морду ему растоптал, чтобы и на том свете не осмелился бы показать свою жидовскую морду Пречистому". Я чуть-чуть не рассмеялся, любуясь образной речью своего собеседника, и, уверившись окончательно в его лояльности, продолжал:

"Так вот и знайте же, кто натравляет вас и на Царя, и на помещика, и на священника... Еще с первого дня Рождества Христа Спасителя жид Ирод задумал убить Спасителя, издав приказ об избииении младенцев... Вот с каких пор идет эта страшная война против Иисуса Христа и христианства... А как же жида могут уничтожить христианскую веру на земле, когда христиан сотни миллионов, а жидов только небольшая горсть, капля в море..."

Вот они и начали дурманить христиан, да понемногу прибирать в свои руки сначала деньги, ибо за деньги всегда можно было купить все, что нужно, даже совесть людскую"...

"Это точно, – перебил меня солдат, – теперь деньги разбрасываются страсть как..."

У каждого солдата чуть не по тысяче в кармане; а известное дело, что деньги эти жидовские, сами же солдаты признавались"...

"Значит, я правду говорю?" – спросил я...

"Как можно, святую правду изволите говорить, Ваше Сиятельство"...

"Ну, так слушайте же дальше... Когда они прибрали себе в свои руки деньги, тогда стали издавать газеты, и скоро весь мир стал думать так, как хотелось жидам... А чуть что было не так, не по-ихнему, то они убивали своих противников, натравливали один народ на другой, устраивали революции и войны, какие разоряли народы; а жида от этих войн и революций наживались... Затем начали они свергать царские престолы и устраивать республики... А зачем?... Затем, чтобы начальниками республик ставить своих же ставленников... С Царем, ведь, справиться жиду трудно; а президент республики в его руках и делает то, что жид приказывает... Вот, когда во Франции свергли царский трон-то, сейчас же, по приказу жидов, стали гнать Церковь, выбрасывать из квартир крест христианский, запретили обучать детей Закону Божию и пр. То же будет и у нас... Потому-то и страшен жиду Царь, что стоит ему поперек дороги".

"Это точно, – вставил солдат, – Царь наш Батюшка стоял пархатому поперек дороги и не допускал святынь до осквернения... Известно же, недаром был Царский Манифест, чтобы не допускать вхождения жидам в православные храмы, чтобы, значит, не оскверняли их"...

Хотя я и сомневался в существовании такого манифеста, но, не опровергая этого факта, ответил солдату:

"Видите ли, как заботился Помазанник Божий о своем народе, как оберегал святую веру православную? Жида даже близко к храму не допускал... теперь что?! Жида не только входят в наши храмы, но входят в шапках, с папиросами в зубах; а вы, православные, молчите, и не только молчите, но и сами им помогаете... Видели ли вы когда-нибудь, чтобы рота жидов, под предводительством православного христианина, шла бы осквернять или

разрушать еврейскую синагогу?! А вот роту православных солдат, под предводительством жидка, идущую осквернять и громить православные храмы – вы все видели. Вот откуда идет зараза, вот кто учит вас восставать и против ваших батюшек; а вы верите хитрости и повторяете их слова... Мыслимое ли дело, чтобы горсть жидов могла командовать целыми армиями православных солдат и их руками свергнуть Престол даже самого Царя?!"

"То разве мы сделали! – сказал солдат. – То было дело господское"...

"Хорошо господское дело! А что бы сделали господа, если бы не опирались на солдат!.. И между господами были и будут хриstopродавцы и жидовские прислужники; но сколько бы их ни было, но без вашей помощи они ничего бы не могли сделать. Вы должны иметь свою голову на плечах и знать, что нет ничего дороже на земле, как наше Православие, что потому-то сам Бог и помазал Царя на царство и назвал *Своим* помазанником, что вручил охрану Церкви и Веры Православной Одному Царю... И пока есть Царь, до тех пор не страшны никакие нападки на веру христианскую, а как не будет Царя, тогда некому будет заступиться за Церковь, и будут тогда жида изгонять вас из ваших храмов, и тогда явится антихрист... И не будет вам тогда помощи ни от Бога, ни от людей, и Господь отступится от вас, отымет Свою благодать, ибо нет большего греха, как посягательство на Священное Имя Царя.

И вот этот ужасный грех, это величайшее преступление уже совершилось. Царя уже нет на Престоле... Остались лишь верные Царские слуги, которые вот здесь заперты и не могут уже и рта раскрыть, ибо их со всех сторон караулят жида; да вот священники, которые бы могли еще сказать вам правду, да глаза ваши открыть... За что же вы поносите их?.. Ведь священник – самый нужный вам человек!.. Он посредник между Богом и вами, он вас крестит и венчает и хоронит, и грехи с вас снимает, и таинства Христовыми к Богу приобщает, и молится за вас... Что же вы будете делать без него?! Кто же научил вас называть его грабителем?"

"Да, известное дело, кто", – ответил до крайности взволнованный солдат.

"Ведь и он – человек, – продолжал я, – и ему нужно прокормиться и накормить семью... И разве бы он просил у вас копейку, если бы вы доброхотно ему давали ее и заботились бы о нем, берегли его, шли бы навстречу его нуждам... Вот я был три года Земским Начальником в Полтавской губернии, жил в селе; а в своем участке, где была сотня сел, если не больше, видел только святых батюшек, а о грабителях так и совсем не слышал... Неправда это, клевета, жидовские все это штуки, а вы темные, одурманенные люди, им верите, да еще сами разносите дурную славу о ваших собственных батюшках, вместо того, чтобы покрыть какой-нибудь грех, если он и в самом деле был... Не все же батюшки плохи: были и есть между ними и очень хорошие... Но почему же о хороших никто не говорит? Почему, чем лучше священник, тем сильнее замалчивается его имя? Почему о таких газеты ничего не писали и не пишут?! Потому, что жида боятся Православия и его силы... Знаете ли вы о священнике Егоре Косове, Спас-Чекряковском... Это сельский священник села Спас-Чекряки, Тульской епархии.

"Нет, слышать не приходилось", – ответил солдат.

"Много, много лет тому назад, отец Егор был назначен приходским священником в это село. Приход был очень бедный, всего 14 дворов; так себе, хуторок маленький. Церкви там настоящей не было, а стояла ветхая, покосившаяся часовенка, шелевками сбита, где и отправлялось богослужение, и так было в ней холодно, что даже Св. Дары в Чаше замерзали... Семья у о. Егора была большая, а прокормиться было нечем... И милостыни было подать некому... Вот и взмолился батюшка Егор к Богу и поплелся пешком в Оптину Пустынь, к великому старцу Амвросию Оптинскому, с жалобой на свою горемычную жизнь и за благословением переменить приход.

Старец Амвросий выслушал о. Егора, долго смотрел на него, а потом как замахнется на него палкой, да как ударит ею по спине о. Егора, так тот чуть без оглядки не убежал от него...

"Беги, беги назад! – кричал Амвросий, – беги, слепой... На тебе вот какая благодать Божия почивает, а ты вздумал бежать от прихода... За тобою скоро будут бегать люди, а не тебе бежать от людей"...

Вернулся о. Егор домой и затворился в своей убогой церковке, и денно и ночно взывал к Царице Небесной, Матери Божией, о помощи... И скоро прошла о нем молва по всей Русской Земле, как об Угоднике Божьем, великом прозорливце и молитвеннике. Дошла и до меня его слава. И потянулись к о. Егору и простолудин, и знатный, и богач, и бедняк, и простец и ученый... А вместо ветхой церковки, стоял уже, ко времени моего посещения села, храм величиною с нашего Исаакия, а вокруг него каменные корпуса... И чего там только не было... И гостиницы для приезжающих, и богадельни для стариков, и всякого рода ремесленные мастерские, и школы для детей; да и село разрослось так, что вместо 14 дворов стало уже больше сотни... Свыше трех миллионов было затрачено на все эти постройки, как мне говорили. И не было дня, чтобы к о. Егору не приезжали со всех концов России. Простой народ ходил к нему пешком чуть ли не из Сибири.

Вот, приехал я к о. Егору и хотел по душе с ним поговорить. Приехал нарочно в будний день, чтобы у батюшки было бы больше свободного времени и чтобы не тревожить его в воскресный день. Нужно было из Белева шестьдесят верст проехать на таратайке, и, выехав в 6 часов утра, я только к вечеру доехал. Прихожу к нему в домик, а мне говорят – батюшка в церкви. Иду в церковь, а она битком набита народом, все то с бутылками, то с кувшинами, то с какими-то банками, стоят. Спрашиваю, почему это, и мне говорят, что батюшка освещает воду, после чего она становится целебной, и больные выздоравливают.

И точно, это была правда, иначе бы не ездили к нему за водою...

Пробираюсь я ближе к батюшке, через толпу, и вот слышу:

"Батюшка, у меня на прошлой еще неделе корову украли; где мне ее искать?" – спрашивает о. Егора мужик. А о. Егор отвечает: "Вот подожди, спрошу Бога; приди завтра, завтра скажу"... Приходит этот человек на другой день, и батюшка говорит ему: "Твою корову увел такой-то в соседнее село! – и называет батюшка и вора, и то село, – пойдь к уряднику и заведи корову: она невредима"... Слышу и такой вопрос: "Батюшка, за меня сватаются двое, да не знаю, за кого выходить; за кого скажешь, за того и пойду"...

Батюшка тут же отвечает: "Сохрани Боже выходить за Степана, он душегуб; а выходи за Петра; он, хотя и бедный, но с ним спокойно проживешь", – и счастливая девка почти бегом выбежала из храма...

Видите ли, что делает благодать Божия, какая сила у молитвы!.. Так вот о таких-то священниках газеты не пишут, а знают о них только те, кто сам ищет их...

А о священнике Алексее Гневушеве, села Бартсурман, Симбирской губернии, Курмышского уезда, ничего не слыхали?" – спросил я.

"Нет, тоже не слышал", – ответил солдат.

"О.Егор и поныне здравствует, а о. Алексей Гневушев скончался 85 лет еще в 1848 году. А был он современником Преп. Серафима, который говорил про него: "Вот труженик, который, не имея обетов монашеских, стоит выше многих подвижников. Он как звезда горит на христианском небосклоне"... Так вот этот о. Алексей был истинно святым... Однажды даже он воскресил мертвого", – сказал я.

"Да не будто?" – изумился солдат.

"Теперь этому могут и не поверить; так далеко ушли люди от Бога; а, между тем, Сам Господь наш Иисус Христос сказал, что если люди будут иметь веру хотя бы в горчишное зерно, то станут творить даже более того, что творил Сам Спаситель... Святые это и доказали своею жизнью и подвигами; они и по водам ходили, и мертвых воскрешали, и из огня невредимыми выходили, и стихии земные укрощали, и никто-то тогда не удивлялся этому, потому что все знали, что Господь был и остался тем же, а переменяются только люди... А для верующего все возможно, по слову Спасителя"...

"А кого же воскресил батюшка?" – спросил солдат.

И в ответ на его вопрос, я рассказал ему об этом необычайном факте, переданном мне иеромонахом Памвою в Оптиной Пустыни и сохранившемся в мельчайших подробностях в моей памяти.

Глава ХСІ. Воскрешение мальчика

"Умер в приходе священника Гневушева мальчик лет двенадцати...

Он точно родился ангелом; так его все и считали за ангела... Куда бы он ни приходил, он везде приносил с собой небо... Прибежит он в какую-либо избу, а там мужики дерутся, или бабы таскают одна другую за волосы... Постоит он молча на пороге и слова никому не скажет... Только из лучистых глаз его точно свет небесный так и искрится во все стороны. И как увидят его, так мигом все стихают... А как стихнет все, он и улыбнется... Да как?... Так, будто вспыхнет весь и озарит своим сиянием и сделается сам таким ясным, да светлым, что тьма греховная, людская пред ним и растает, точно ее и не было, и начнут люди обниматься, и плакать, и просить прощения, перед тем чуть не убив друг друга... А мальчик вспорхнет и побежит к другому куда-нибудь... И заметили люди, что он неспроста бегал и не наугад выбирал тех, до кого бегал, а всегда являлся туда, где шли споры, да драки; заметили они и то, что стоило мальчику показаться, чтобы водворялся мир... Вот и прозвали они его ангелом... Он и точно был похож на ангела: золотые кудри свисали ему на плечи; а глаза были большие, синие; как улыбнется, так весь и засияет; только не было крыльев, а то совсем был бы ангел, тоненький такой и стройный... К тому же он и никогда ни с кем не разговаривал, а только молчал, да смотрел пристально, точно насквозь все видел...

И порхал он из одной избы в другую; только от винной лавки убегал и даже близко к ней не приближался... И никто не слышал от него ни одного слова, разве родителям своим что-нибудь скажет... А родители его были простые крестьяне, ничего не понимали, что он говорил, а только молились на него, как на святого... Да и мудрено было его понять, когда он говорил о небе, а не о земле, рассказывал, что ему говорили ангелы...

Вот случилось в селе какое-то торжество... Перепились мужики, и пошел разгул по всему селу, и продолжался он чуть ли не целую неделю, и кончился он как всегда, побоищем; летели чубы и космы во все стороны.

А мальчик взял, да и умер... Тут только протрезвились мужики, и поднялся такой вопль, что хмеля как не бывало... Рвали они себе волосы на голове, винили себя за смерть мальчика; бабы выли и причитали, и все село, окружив избу родителей мальчика, днем и ночью не расходилось, а все каялось перед Богом, забыв и о работе, и о своем хозяйстве... А мальчик, точно живой, лежал в гробике, и сквозь закрытые глазки его светилась улыбка... Как посмотрят на него, так то одного, то другого без чувств и вынесут из избы... И целую неделю не хоронили его, пока не показались уже признаки разложения, и на ручках появились зеленые пятна... Тогда понесли гробик в церковь... Началось отпевание... От слез и рыданий не могли ни священник служить, ни певчие петь... Только к пяти часам можно было начать подходить к последнему целованию... Что творилось в Церкви, передать невозможно... Все стояли с зажженными свечами, точно на Пасхальной заутрене... А как взглянет кто-нибудь на мальчика, да как увидит его улыбку, так и взвизгнет и пластом упадет на пол, без чувств... Каждый ведь обвинял себя в его смерти; а на тех, кто пьянствовал, да дрался, так даже жалко было смотреть...

Вдруг из алтаря раздался крик священника... Стоя перед престолом, с высоко поднятыми к небу руками, он, с величайшим дерзновением, зывал к Богу, громко на весь храм:

"Боже мой, Боже мой! Ты видишь, что нет у меня сил дать отроку сему последнего целования... Не попусти же меня, старца, раба Твоего иерея, уйти из храма сего посрамленным, да не посмеется надо мною, служителем Твоим, враг рода человеческого, что я, по немощи своей, прервал требу сию... Но не по силам она мне... Внемли стенаниям и плачу раскаявшихся, внемли страданиям родительского сердца, внемли моему старческому воплю... Не отнимай от нас отрока сего, Тобою нам данного во исправление,

для вразумления, для прославления Имени Твоего Святого... Не Ты ли, Господи, сказал, что дашь нам все, о чем мы с верою будем просить Тебя! Не Ты ли, Милосердный, сказал нам: "Просите, и дастся вам"... О, Боже Праведный, в храме сем нет никого, кто бы смог подойти к отроку сему с целованием последним... Нет этих сил и у меня, старца... Боже наш, помилуй нас, услыши нас, Господь мой и Бог мой"...

И вдруг в алтаре все стихло...

Несколько мгновений спустя, слышно было, как священник упал на колени, перед Престолом, с громким воплем:

"Так, Господи, так, но воскреси же отрока сего, ибо Ты все можешь, Ты наш Господь и Вседержитель... по смирению своему, а не по гордости дерзаю"... И как в страшную грозу, за ослепительною молнией, раздается оглушительный удар грома, так в ответ на вопль поверженного пред Престолом Божьим старца раздался пронзительный крик из церкви...

Оглянувшись, священник увидел, что мальчик сидел в гробу, оглядываясь по сторонам"...

Я не кончил... Рыдания бедного солдата прервали мой рассказ...

"Спасите мою бедную, окаянную душу, научите детей моих, чтобы не погибли их души", – говорил он, громко всхлипывая... И вдруг, порывисто схватив меня за руку, поцеловал ее, заливая ее горячими слезами...

"Вот он, наш подлинный русский народ, – думал я, глядя на него... – И какую клевету взвели на него, несчастного! Как жестоко обманули и посмеялись над ним"...

Когда солдат несколько успокоился, я сказал ему:

"Так вот, брат, какие на Руси бывают сельские священники"...

Солдат продолжал всхлипывать и вытирать слезы своими мозолистыми, заскорузлыми руками...

И как дороги были мне в тот момент эти руки; как легко было использовать их и для героического подвига, и для преступления...

"А с мальчиком что, жив ли он, бедненький? Послала ли ему Матерь Божия здоровьица?" – спросил меня солдат. "А старичок-то Божий, пошли же ему Господь Царствие Небесное, еще долго прожил в селе?"..

"А я вот, все договорю по порядку", – ответил я.

"Как увидел священник, что мальчик сидит в гробу, так он опять упал на колени перед Престолом и, тихо плача, стал благодарить Бога за чудо, а потом, опираясь на руку дьякона, молча подошел к гробу; а возле гроба-то что творилось, нельзя и передать даже, целое столпотворение... Женщины наперерыв тянулись, с плачем, к мальчику, чтобы завязать ему глаза, а он даже не отбивался от них и молча глядел на них своими глазками, точно пеленою подернутыми... И только к одной из них наклонился и сказал ей на ухо: "Не надо"... А она так на всю церковь и закричала: "Голубочек мой, ангелочек наш, не надо, так и не надо"... Насилу протиснулся священник к гробу, взял мальчика на руки, отнес в алтарь и, опустившись на колени, посадил его на стул, да так, стоя на коленях, и причастил его Св. Тайн, ибо от потрясения уже не мог стоять на ногах; а затем передал воскресшего отрока родителям, которые и увезли его домой...

А священник не только не ушел из храма, но потребовал на середину церкви стул, сидя отслужил молебен Спасителю и прочитал акафист Божией Матери... От крайнего потрясения и волнений, священник уже не мог ни стоять, ни выйти из храма... Так на этом же стуле его и принесли домой и уложили в постель, где он с неделю пролежал... После этого чуда, батюшка прожил еще три года, и теперь над его могилой творится столько чудес, что прихожане возбуждают ходатайство о его прославлении и причтении к лику святых. А мальчик, после своего чудесного воскресения, прожил еще шесть лет и умер на девятнадцатом году...

Это не сказку я рассказывал вам, а то, что было. Еще и сейчас живы люди, которые помнят и батюшку Гневушева, и мальчика...

А кто знает об этом чуде?... Только те, кто его видел, да десятка два других, кому о нем рассказали... В газетах об этом не писали, да и никогда не напишут"...

"Небось, коли бы жид воскрес, так написали бы, – сказал солдат с досадою, – всему бы свету стало известно; так загалдели бы, что и в ушах бы зазвенело"...

"То-то и есть, – ответил я. – А разве это единственное чудо в Православной Церкви? Мало ли было чудес по молитвам Оптинских старцев Амвросия, Анатолия, Иосифа, или Варнавы Гефсиманского, Исидора Виованского, или, хотя бы, нашего дорогого батюшки отца Иоанна Кронштадтского?... О них не только не писали, а нарочно замалчивали; а если и писали, то не для того, чтобы прославить веру христианскую, а чтобы надругаться над нею. Откуда же повыходили эти святые люди?... Все они вышли из ваших же сел и деревень... Кто же поносил этих людей?"

"Да уж известное дело кто, – ответил солдат, – а не даром-то они, чтобы их на том свете черти на куски разодрали, рассказывали солдатам, что нашу веру христианскую господа выдумали, чтобы, значит, себя прославлять, да нас в темноте держать, что у нас что ни святой, то князь... И Александр Невский – князь, и Владимир Святой – князь, и благоверная Ольга – княгиня, и Анна Кашинская – княгиня, и Борис и Глеб – князья... А, вестимо, солдаты, развесив уши, слушали, ну и, конечно, грозили господам".

"В том-то и беда, что люди вы темные, а жида умнее вас..."

Святых князей и княгинь по пальцам можно перечесть; а вот святых, что вышли из народа, и ученые не пересчитают. Начиная со Св. Апостолов и кончая преподобным Серафимом, все были простого звания, большей частью даже неграмотные... А почему же жида натравливают вас на князей, да на образованных, на господ?"...

"Вестимо, по зависти... Он, хочь и миллионщик, а жид; а тут, значит, барин настоящий, хотя и без состояния"...

"Нет, не потому; а потому, что образованного человека им одурачить труднее, чем темного... Потому, что они нас боятся и знают, что мы одни учили вас уму-разуму и открывали вам глаза и защищали вас, чтобы вы не попались им в руки. Вы сами виноваты, что нас не слушали... Мы берегли Царя, Веру Христианскую, вас самих берегли; а они все разрушали... Вот мы и стояли им поперек дороги и мешали им. Значит, им и нужно было избавиться от нас. Они и работали годами, десятилетиями, и вооружали вас же, коих мы защищали и на пользу которых работали, против нас; а вы им верили... А теперь уже дошло до того, что стоит только крикнуть на улице: "князь", чтобы толпа разорвала его на куски... И чего только не валили на нас: мы и такие, и сякие, и хриstopродавцы, и враги народа, и, чем больше на нас клеветали, тем больше вы верили... Вот, когда меня, как арестанта, вели под конвоем в Думу, то толпа гоготала: "магометанина повели, а еще нашей православной Церковью управлял, нехристь"... Хорошо, еще, что никто не крикнул "князь", а то бы разорвали на куски... Им, жидам, значит нужно было заверить народ, что Царь приставляет к церковным делам не только не православных, но даже не христиан, а дураки этому и верили; и сейчас всему дурному поверят, а правду так и слушать не хотят... Вот нас и заперли сюда, как самых страшных ваших врагов... А вот вы возьмите, да и присмотритесь хорошенько, где ваши враги, а где друзья... Может быть тогда вместо нас посадите тех, кто нас сюда запер, да теперь и командует вами... Верьте мне, что здесь самые настоящие друзья ваши, хорошие, разумные богобоязненные люди, которых жида заперли сюда только потому, что их боятся, а главное – боятся, чтобы они не открыли вам глаза и не сказали бы вам того, что я вот сейчас вам говорю... Посмотрите, хотя бы, вот на этого жандармского генерала; какая у него светлая, святая душа: он на груди, под своим мундиром, икону Святителя Николая носит и с нею никогда не расстается; шагу, без молитвы к Угоднику, не ступит... Или вот градоначальник, генерал Балк; подойдите к нему, да поговорите с ним, откройте ему свою душу и вы увидите, что он вам то же самое скажет, что вы и от меня слышите. Подойдите к любому, каких вы здесь видите, да совестью своею испытайте их и проверьте их; тогда скажете, где ваши друзья, а где – враги..."

"Нет, не попустит Господь, чтобы вы здесь остались; не должен попустить", – убежденно сказал солдат.

"Да что толку теперь, если и выпустят, – сказал я, – куда я пойду, коли и идти некуда; кому я буду служить, когда нет ни Царя, ни народа? Разве мы можем служить вот этим жидам, разве совесть позволит нам изменить Царской присяге?.. Вы только подумайте, каким нужно быть злодеем, чтобы поднять руку на Царя! Подумайте только, что вы наделали, отдавшись им в руки... Работали-то эти преступники своей головой, но вашими руками, и без вас они ничего бы не добились... Понимаете ли вы, что я говорю?"..

"Как не понимать, все чувствуем, – ответил солдат, – да разве только я это понимаю? Все понимают"...

"Как все? – удивился я. – Разве бы мне поверили, если бы я вот вышел на улицу, да сказал бы солдатам то, что вам говорю? Разве бы меня не разорвали на клочья?"...

"Да то они больше от страха; а в одиночку все бы поверили, потому что правду и дурак видит; статочное ли дело, куда ни глянь – везде жид... Разве не видно, что ж уж разве мы и в самом деле не понимающие?! Да им от нас не уйти! Еще вспомнят нас", – говорил солдат с досадой.

"Ну, вот я все рассказал вам... Что же будете теперь делать?" – спросил я.

"Как что? – удивился солдат. – Пусть мне ночью повстречается жид, хоть бы сам Керенский, я так набью ему морду, да столько ребер переломаю, что и лечить уже не нужно будет, и докторам провожать его на тот свет не придется, сам пойдет к чертям"...

"Потому я и спросил вас, что знал, что вы так скажете, – ответил я, – а я скажу вам, что это никак невозможно, потому что грех всегда будет грехом"...

"А как же нам избавиться от этой чумы? Передавит она нас, холера"...

"Хорошо. Ну, а чем жида брали?.. Больше деньгами заманивали?.. Вот вы и не берите от них денег, в жидовских лавках ничего не покупайте, даром, что там дешевле; компании не водите с ними, обходитесь без них, не слушайте того, что они говорят вам и чему вас учат, не верьте им ни одному слову, держитесь за начальство, Царем поставленное, а главное – за вашего священника, от которого, кроме добра, вы ничего не увидите, если будете уважать его... Вот тогда жид и увидит, что ему нечего будет делать у вас; он себе и уйдет, откуда пришел, и вреда вам от него никакого не будет... А что толку, если набьешь ему морду, или переломаешь ребра?! Пользы не будет, а грех будет"...

"Звиняйте, Ваше Сиятельство; так нам и офицеры на войне говорили, чтобы не смели, значит, жида трогать, а он во как голову поднял... А по-нашему, по-простонародному, их бы нужно было передавить всех, до единого, да бросить в канаву, а в христианском государстве такой нечисти больше не заводить... Уж больно господа-то нянчились с жидами, уж будто они и в самом деле люди"...

"Так-то оно так, да теперь уже поздно даже говорить об этом, – ответил я, – коли они успели одурачить русский народ, отнять от вас Царя и Царских слуг, ваших верных друзей и защитников... Теперь уже некому защищать вас, теперь вы сами должны защищаться... Вот я и хочу, напоследок, сказать, как это нужно делать... Все вы запуганы теперь и думаете не так, как нужно думать, и делаете не то, что совесть велит делать... Вот, взять хоть бы вас!.. Вы зачем сюда приставлены?.. Чтобы присматривать за нами и выдать нас Керенскому, в случае бы кто-либо из нас его выругал или бы не так о новой власти отозвался, как бы им хотелось... Так?"

"Так точно. Да не дождется он, сукин сын, чтобы я вас ему выдал". – "Вот, значит, и выходит, что вашу-то душу, христианскую, православную, я знаю лучше, чем Керенский, если вступил с вами в этот разговор". – "Да куда же ему, жидюге, знать Рассейскую душу", – с крайним отвращением, сплюнув, сказал солдат...

Я едва не рассмеялся не столько даже от слов, сколько от того чрезвычайного отвращения, с каким они были сказаны.

"Именно, – ответил я, – но вот такую же душу православную имеете не только вы один, но все эти дурни, с ружьями в руках, которые гонятся теперь за нами, господами, потому,

что жида научили их это делать. Сумейте добраться до нутра этой загубленной души, как я добрался до вашей, научите их тому, чему нужно научить, а главное – научите держаться друг за друга, чтобы, значит, куда один идет, то чтобы за ним и другие шли. То, чего не сделаешь в одиночку, то осилишь вместе, и тогда не страшно будет... Пусть себе жид говорит, что хочет, а когда начнет кидаться на Церковь, то вы разом и прикрикнете: "Не смей, ибо Церковь – дом Божий". Когда он начнет поносить Царя, то вы все разом крикните: "Не смей, ибо Царь – Помазанник Божий". Когда начнет глумиться над священниками, то вы крикните: "Не смей, ибо священник – служитель алтаря Божия". Когда начнет натравливать вас на властей, то вы скажите, что власти от Бога поставлены, а когда жид будет вооружать вас против помещиков, то вы скажите ему: "Не твой это помещик, а наш; он нам и заработок дает, и учит нас, и Церкви и школы содержит, и в нужде помогает"... Вот и завертится жид и ни с какого конца к вам не зайдет, плюнет себе и пойдет в другое место искать дураков, которые его будут слушать, развесив уши... Вот как нужно бороться с жидками... То же самое нужно вам делать и сейчас... Слушайте, что будут говорить вам жида, но ни одному их слову не верьте и ни одному приказу их не подчиняйтесь. Когда вас наберется много, когда откроете всем глаза, тогда идите – вызволяйте Царя. Пока же Царя не будет, никто ничем вам не сможет помочь; а как освободите Царя, тогда мы все вернемся на свои прежние места и по-прежнему будем служить вам"...

"А разрешите ли Вы явиться к вам на фатеру, значит, когда Вас отсюда выпустят?" – спросил солдат.

"Когда же это будет!" – ответил я, безнадежно махнув рукой.

"Будет бесприменно", – сказал солдат.

"Когда выпустят, тогда в тот же день и приходите, ибо здесь мне делать нечего, и я, верно, уеду из Петербурга".

"Бесприменно приду", – ответил солдат и, записав мой адрес, протянул мне свою мозолистую руку и вышел из комнаты.

Глава ХСII. Освобождение

Бросая вокруг себе молниеносные взоры, Керенский торжественно вступил в нашу комнату... За ним плелась его свита, штатские и военные, окруженные со всех сторон вооруженными солдатами. Оглянувшись по сторонам, Керенский стал в театральную позу и, гордо подняв голову вверх, громко крикнул:

"Жевахов, Вы свободны"...

Вручив мне пропуск, он так же величаво вышел из комнаты. Меня обступили со всех сторон и начали поздравлять... Подошел и бородатый солдат и, уже не стесняясь присутствовавших, истово перекрестился и громко сказал: "Слава Богу"... Вместе со мною получили пропуска министр Финансов Барк, министр Торговли и Промышленности князь Шаховской и сенатор Утин. Когда мы собрались покинуть нашу комнату, к нам подбежал еврей Барош, о котором я уже упоминал, отмечая его, достойного всякого уважения, отношение к заключенным, и обратился к нам с просьбой дать ему на память наши автографы, что некоторые из нас и сделали... Откуда-то появилась и та сестра милосердия, о которой я уже вспоминал, и тоже выразила радость по случаю нашего освобождения, обещая мне хлопотать за оставшихся и даже писать мне письма, что она и сделала... В сопровождении Бароша, мы, вчетвером, и вышли из здания Думы, с трудом протискиваясь через толпы солдат, заполнившие все залы и проходы Таврического Дворца, и очутились на Шпалерной улице, где и расстались друг с другом... Взяв извозчика, я благополучно прибыл к себе в квартиру на Литейный Проспект, № 32. Это было утром, 5-го марта 1917 года.

Как преступник, скрывающийся от погони, ехал я закоулками, прячась от взоров знакомых... Поруганный и обесславленный, сгорая от стыда, я думал о том, как покажусь на глаза своим бывшим подчиненным, своей прислуге... Подъехав к квартире, я быстро вбежал по лестнице и нервно нажал электрическую кнопку... На звонок выбежали мои

преданные слуги и со слезами бросились мне на шею, благодаря Бога за мое избавление. Перебивая друг друга, они начали рассказывать обо всем, что происходило в мое четырехдневное отсутствие.

"Как только Вас увели, – начали они, – сейчас же ворвались пьяные солдаты и стали громить квартиру, а курьер Федор водил их по всем комнатам и показывал, где Ваши собственные вещи, а где казенные. Он и серебро Ваше подсунул им, хотя мы и запрятали его так, что и найти его было трудно. Казенных вещей они не тронули, а Ваши собственные забрали... Насилу отвоевали иконы, а то бы и иконы взяли. Рылись они и в столах, по ящикам, но ничего там не нашли; только столы штыками испортили... А деньги и бумаги мы раньше взяли и носили в карманах... Как только они ушли, мы стали паковать вещи, чтобы отправить их Вашей сестре... Вот и чемоданы почти готовы"...

И они повели меня в кабинет, где, среди комнаты, стояли корзины и чемоданы и лежали повсюду разбросанные вещи. Я прошел в другие комнаты. Везде были следы разрушения... Дорогая казенная, позолоченная мебель была частью уничтожена, и опрокинутые кресла, с изломанными ножками, лежали на полу; шелковые драпировки на окнах были изорваны; книги и дорогие альбомы разбросаны в беспорядке; окурки папирос валялись на дорогих коврах... Я не знал, что делать, к чему приступить, за что приниматься... А директор Хозяйственного Управления А.Осецкий, которого я собирался предать суду, будучи крайне озлоблен против меня и торжествуя, благодаря революции, победу надо мною, всячески мстил мне, предъявляя через курьеров требования немедленно очистить квартиру для нового Обер-Прокурора В.Львова... Однако исполнить этого требования не представлялось возможным, ибо одна библиотека, состоявшая из нескольких тысяч томов и занимавшая целую комнату, не могла быть вывезена, столько же потому, что я и не знал, куда увозить ее, сколько и потому, что такая перевозка стоила бы огромных денег, каких у меня не было... У меня опускались руки, и я не знал, что делать...

В поисках выхода из положения, я протелефонировал члену Думы, В.П. Шеину, с которым меня связывала давнишняя дружба, прося его немедленно приехать. Он жил тогда по соседству, на Бассейной. Чрез полчаса В.П. Шеин прибыл и, увидя картину полного разгрома моей квартиры, опустился в изнеможении в одно из уцелевших кресел и заплакал.

"Василий Павлович, – сказал я, – здесь отчасти и Ваша вина. Вы ли не знали меня. Вам ли не были известны даже тайники моей души?! Не мы ли вместе мечтали с Вами о монастыре, о бегстве из мира, не мы ли одинаково тяготились вот этой самой мишурой, какая еще вчера так ярко блестела, а сегодня превратилась в мусор?! Кто же лучше Вас знал о том, как мало она привлекала меня, как преступна была пущенная против меня клевета, какой сатанинской ложью было окутано мое имя?! Не одни ли и те же причины держали нас в миру и не пускали за ограду монастырскую, подле которой мы с детства блуждали с мыслью укрыться за ее стенами?!"

"Да, – глубоко вздохнув, сказал В.П. Шеин, – я все, все знал"...

"Но отчего же Вы не заступились за меня?! А я, ведь, так крепко надеялся на Вас; я был так уверен, что Вы удержите безумца от его преступлений, не позволите его забросать меня клеветой... Я ли стремился вот в эту квартиру, когда из своей собственной два раза бежал, когда два раза просил об отставке, разоряя собственное гнездо? Вспомните, о чем я писал Вам из Боровского монастыря!"

"Я обо всем говорил Львову; да разве его можно было уговорить; разве Вы думаете, что он имел в виду Вашу личность... Там была система, а не он, шалый человек" – ответил В.П. Шеин...

"Нет, Василий Павлович, Вы не герой"...

"Да, князь, я не герой", – тихо сказал В.П. Шеин.

"Помогите же мне теперь, – взмолился я, – я не знаю, что делать, куда я заберу свою библиотеку... Может быть, ее можно будет оставить в квартире?"

"Нет, нет, – горячо возразил В.П. Шеин, – Львов так озлоблен против Вас, что ни за что не согласится"...

"Да за что же он так озлобился? Что я ему сделал? Я ведь почти не знаком с ним, только раз и видел у Вас?" – удивился я...

"Ах, княже, княже, Вы все свое... Поймите же, что Ваша личность не причем. Вы его политический, а не личный враг. Вы были членом Правительства, а он членом оппозиции к Правительству; вот и весь сказ... Хотите я спрошу сенатора Утина? У него большая квартира, может быть, он возьмет библиотеку"...

"Хорошо, спросите" – ответил я. Однако сенатор Утин до того перепугался взять на сохранение библиотеку того, кто только сегодня, одновременно с ним, был выпущен из Думы, что категорически отказал просьбе В.П. Шеина.

Такой же страх проявили и мои родные, бароны Бистром, которые и слышать не захотели о моей библиотеке, сказав, что, чего доброго, и их за это арестуют. Горе доброго В.П. Шеина было едва ли не больше моего...

Я знал его искреннее расположение ко мне, его глубоко честную натуру, содержание его духовной сущности, и был одним из немногих, которые его понимали. И он знал это и отвечал мне самой искренней преданностью; но, будучи смиренным и безгранично деликатным, он не в состоянии был часто оказывать должного сопротивления там, где бы следовало, ибо не рожден был для борьбы. Это был прирожденный монах в самом высоком значении этого слова. Связала меня с ним сначала общая служба в Государственной Канцелярии, где он был помощником Статс-Секретаря Государственного Совета и одновременно профессором Гражданского Права в училище Правоведения, пока не перешел на должность Начальника Законодательного Отдела Думы, а затем был выбран членом Думы... Но главное, что меня связывало с ним, были общность наших духовных стремлений и общность тех препятствий, какие стояли на пути к ним... Вскоре после революции, В.П. Шеин принял иноческий постриг и в сане архимандрита управлял Троицким Подворьем на Фонтанке, в Петрограде, а затем, вместе с Петроградским митрополитом Вениамином, расстрелян большевиками.

Посмотрели мы вопросительно друг на друга, не зная, что делать и что предпринимать, чтобы спасти библиотеку, и... простились друг с другом. В.П. Шеин ушел домой, а я обещал навестить его перед своим отъездом из Петрограда...

Между тем агенты Львова и курьеры Осецкого то и дело являлись в квартиру, торопя меня очистить ее. Отложив попечение о библиотеке, я стал упаковывать другие вещи, главным образом иконы... В приемном зале находился очень ценный образ Святителя Иоасафа, кисти знаменитого Верещагина, писанный масляными красками на кипарисной доске, высотой около двух аршин, в массивной золотой раме, весом свыше двух пудов...

Уступая моей просьбе, директор канцелярии Обер-Прокурора В.П. Яцкевич согласился поместить его временно в канцелярии и прислать четырех курьеров, чтобы вынести из моей квартиры... Это была моя первая встреча с курьерами после возвращения из Думы... Наглые и развязные до ареста, они теперь еще менее церемонились со мною и относились ко мне, как к подлинному арестанту... Один из них, старик, с длинной, седой бородой, увешанный золотыми и серебряными медалями, внушавший к себе своим видом и осанкою невольное почтение и пользовавшийся особым вниманием с моей стороны, сказал в пространство, ни к кому, в частности, не обращаясь: "Оно точно, в молодости, я был пропащий человек, пьяница; как свинья под заборами валялся я; а вот, с возрастом пришел в себя, остепенился, почет и уважение приобрел... А тут что?! Пообвешали себя иконами да, сидя в своих хоромах, нас обманывали. А еще господами прозывались, да министрами себя поделали, да власть всякую к рукам своим поприбирали, и не подступись, значит"...

"Делай, что приказано, а не хочешь – убирайся прочь отсюда!" – не утерпел я.

Как лютый зверь посмотрел на меня курьер, злобно сверкая глазами, но тотчас же принялся за работу и присмирел... И вспомнил я отзыв крестьянина о своем соседе, добром, безгранично мягком человеке: "И что же это за барин, коли никому из нас ни разу в морду не дал"...

Глава ХСIII. Сестра

Должен сознаться, что, не только после своего освобождения из заключения, но и долгое время спустя, я все еще не сознавал того, что происходит в действительности... Свое освобождение я истолковал как свидетельство своей реабилитации и был уверен, что нахожусь в полной безопасности и застрахован от каких-либо посягательств на свою личность. Казалось мне также, что уже и революция закончилась, ибо Дума, стремившаяся к перевороту и свергнувшая с престола Царя, достигла того, чего хотела, и держала власть в своих руках. Вот почему я испытывал только щемящую боль сердца от сознания содеянного Думой преступления против Помазанника Божия, горел негодованием против изменников, нарушивших присягу, но в отношении личной безопасности был совершенно спокоен и строил планы на будущее, собираясь ехать в Царское Село, а затем к матери, в Киев. Мысль о Государе не покидала меня ни на одно мгновение. "Что должен думать Государь, глядя на окружающую Его измену даже со стороны тех, кто пользовался Его милостями... Что должен думать о тех, кто из трусости и малодушия, опасаясь за свою собственную участь, отрекается теперь от Царя, как Апостол Петр от Христа, кто спасается бегством из столицы, даже не оглянувшись в сторону Царского Села, где томится, лишенный свободы, под надзором солдат, Государь Император!"..

"Нет, – говорил я себе, – я не буду в этом числе: я докажу Тебе, Государь, что был Твоим верным слугою, и не покину Тебя в минуту опасности"...

И, охваченный этими мыслями, я спокойно вышел на улицу, с целью узнать на вокзале о часах отхода поезда в Царское Село... Однако, не успел я дойти до угла Бассейной, как услышал в нескольких шагах от себя отчаянную перестрелку и увидел толпы бегущих из Эртелева переулка людей, увешанных красными бантами... К моему удивлению, я заметил в этой толпе и своих знакомых, которые, при встрече со мной, стыдливо прикрывали рукой красные тряпочки в петлицах и продолжали бежать дальше... Я вернулся домой... Прислуга моя, занятая упаковкой вещей, не заметила, как я вышел из квартиры, и была очень удивлена моим звонком.

"Да разве можно выходить на улицу! – всплеснула она руками. – Стреляют и днем и ночью, без умолку; патронов бы на две войны хватило; а еще жаловались, что нечем воевать... Вот уже скоро неделя, как мы точно в тюрьме: никуда не выходим и, если бы не под боком лавочка, то с голоду бы перемерли. Да и в лавочку без солдата нельзя пройти: того и гляди, кто-нибудь прицепится"...

"Зачем же они стреляют? – наивно спросил и. – Ведь все уже получили, что хотели; чего же им еще нужно?"...

В этот момент раздался звонок, и в дверях показалась моя сестра. Стараясь казаться спокойной, сестра сказала: "А я думала, что ты в Петропавловской крепости: газеты так писали... Ко мне доходили такие ужасы, что я уже не могла выдержать и сама приехала, чтобы узнать о тебе. Думала, что даже в живых тебя не застану"...

И сестра начала рассказывать о том, как, в течение нескольких часов, она, в сопровождении носильщика, с вещами, шла пешком с Николаевского вокзала на Литейную, ежеминутно скрываясь от выстрелов в подворотнях, а там, где их не было, прислоняясь к стенам домов...

"Как просвистит над самой головой пуля, и немножко стихнет, я опять сделаю два-три шага: а затем снова спрячусь в каком-нибудь проходе и опять пойду... Так и дошла благополучно до Литейной... Здесь уже немножко тише стало"...

"Как тише! – с ужасом вскрикнул я. – Я сам только что вернулся и, если бы не спрятался в лавочку, то наверное убили бы"...

"А что творится на Знаменской площади, так и передать невозможно, – продолжала сестра. – Вся площадь залита кровью, и трупы валяются на мостовой; много раненых, которые лежат в снегу и стонут"...

"Но как же ты решилась на такой страшный подвиг? Теперь все бегут из Петрограда, а ты едешь сюда, в этот ад?! Революция, как оказывается, не только не кончилась, а только

еще больше разгорается, и неизвестно, чем все это кончится... Уезжай, ради Бога, скорей; а я, если успею, то приеду к тебе или сегодня вечером, или завтра, если нельзя будет пробраться в Царское Село, а если будет можно, то несколькими днями позже... Но как же ты дойдешь до вокзала?" – спросил я с беспокойством...

Сам Господь пришел к нам на помощь... В этот момент явился проведать меня мой бывший лакей Иван, взятый в солдаты: под его охраною, сестра тотчас же ушла обратно на вокзал...

Проводив сестру, я пригласил к себе В.И. Яцкевича, имея в виду посоветоваться с ним о том, как пробраться в Царское Село.

Из беседы с ним я узнал, что как он, так и Осецкий, тоже были арестованы и препровождены в Думу, но скоро были выпущены... Я не столько слушал, сколько смотрел на Виктора Ивановича... Предо мною стоял совсем не тот человек, какого я раньше знал: до того, в течение этих четырех дней моего отсутствия, он изменился и похудел... Я с трудом скрывал свое изумление, глядя на то, во что его превратили пережитые им волнения... Узнал я и о том, что арестован был, но также скоро выпущен из Думы, митрополит Петроградский Питирим, и что ему было разрешено выехать, согласно его просьбе, на Кавказ, куда Владыка и уехал... Позднее уже я узнал подробности ареста митрополита и то, при каких обстоятельствах совершился его переезд из Александро-Невской Лавры в Думу...

Когда автомобиль, с конвойными солдатами, охранявшими Владыку, встретился с озверевшей толпой, то последняя, окружив автомобиль, остановила его, а один из солдат, вскочив на подножку, раскрыл дверцу и стал вытаскивать митрополита из автомобиля с тем, чтобы бросить Владыку на растерзание толпы. Раздирая рот, безумец кричал во все горло, обвиняя митрополита в разных преступлениях... В этот момент шальная пуля попала ему в самый рот: заливаясь кровью, солдат замертво упал у ног митрополита... Толпа словно очнулась, мгновенно расступилась, и автомобиль последовал дальше...

В.И. Яцкевич был в чрезвычайно удрученном состоянии духа и испытывал то, что в эти дни испытывали все честные верноподданные, коим предъявлялось требование о присяге новому правительству...

Колебаниям не было конца... Прежняя присяга Царю связывала; а манифест об отречении Государя от престола точно разрешал новую присягу...

"Никогда никому я не присягну, – ответил я. – Отречение Государя недействительно, ибо явилось не актом доброй воли Государя, а насилием. Лично для меня не существует ни малейших сомнений на этот счет... Кроме законов государственных, у нас есть и законы Божеские, а мы, с вами, знаем, что, по правилам Св. Апостолов, недействительным является даже вынужденное сложение епископского сана: тем более недействительным является эта узурпация священных прав Монарха шайкою преступников. Для меня Государь был и навсегда остается Государем и, конечно, ни Керенским, ни Родзянкам я присягать не стану", – сказал я.

"Я тоже так думаю", – ответил В.И. Яцкевич. Из дальнейших бесед, как с В.И. Яцкевичем, так и с другими лицами, выяснилась абсолютная невозможность, минуя Керенского, добраться до Царского Села. Пропуск к Государю был строжайше запрещен, и новая власть сделала все для того, чтобы отстранить от Государя преданных Его Величеству людей, а всякого рода попытки проникнуть в Царское Село вызывали новые репрессии по отношению к Государю и Царской Семье.

Этого одного факта было, конечно, достаточно, чтобы эти попытки прекратились... Одни только солдаты были хозяевами положения, и на этих-то солдат я возлагал все свои надежды, с нетерпением ожидая прихода из Думы моего собеседника...

Глава ХСІV. Солдат и его племянник

Каждый час моего пребывания в квартире, на Литейном, убеждал меня, что мое личное положение ни в чем не изменилось и что я могу быть снова схвачен и уведен в ту же Думу, или куда-либо в другое место... Под окнами моей квартиры пьяные солдаты громили

винные погребца Удельного ведомства, помещавшиеся в здании Уделов; по улицам двигались те же процессии, с красными флагами, что и раньше; не прекращалась перестрелка; и никаких признаков власти, способной укротить продолжавшую бесчинствовать озверевшую толпу, я не замечал... Где же эта власть и в чьих она руках? – спрашивал я себя и не находил ответа... Против кого же бунтует толпа теперь, если получила все, что хотела, если нет больше ни Царя, ни Царских министров?

"Какие-то два солдата спрашивают вас", – доложили мне.

Я вздрогнул... "Кто такие, что им нужно?" – спросил я.

"Говорят, из Думы"...

В кабинет вошел мой думский собеседник, с каким-то другим солдатом, совсем еще юным парнем, с огромнейшими руками.

"Племянник мой, – сказал солдат, – сестры моей сын; ничего себе парень; а зовут, значит, Лександром"...

"Брат, значит, моей матери, – пояснил парень, указывая на солдата, и улыбнулся во весь рот... Эти две фигуры явились так кстати, внесли в мою душу столько мира и тишины, что я несказанно обрадовался их приходу и усадил их на диван, как самых дорогих гостей..."

"Ничего, мы постоим", – отказывались они, смущенно оглядываясь по сторонам.

"Нет, нет, садитесь, – сказал я, – не вы первые сидели на этом диване; а настоящие господа никогда не гнушались народа и не только сажали его рядом с собою, но еще и чаем угощали"...

"Что и говорить, – ответил солдат, – на руках у барина своего, дай ему Господь Царствие Небесное, я и вырос, можно сказать, почти что в комнатах".

"Ну а ты, Александр, где рос, что таким большим вырос?" – спросил я парня, любуясь его молодцеватым видом...

"Известное дело, в деревне", – ответил он, ухмыляясь и показывая свои зубы, белые как у негра...

"А в школе обучался?" – спросил я.

"А как же, церковную превзошел", – ответил он.

"А после школы что делал? Верно, так, без дела, в деревне болтался?"..

"Нет, зачем: я в экономию поступил, да там, значит, на месте был, пока в солдаты не забрали"...

"Что же ты делал в экономии, доволен ли был местом?"..

"Все делал: и в саду работал, и дрова колол, и воду возил... Только раз один, как заставили меня колодезь рыть, так я и бросил работу к чертям: нахальная была работа, ну ее к черту; я, значит, и погнушался ею"...

"Чего же ты погнушался? – спросил я, улыбаясь. – Работа, как работа"...

"Да девчата, значит, начали чипляться... Как залезешь в самую-то яму, так не та, так другая ушат воды и выльют на голову, и вылезешь из ямы весь в грязи, как черт... Да я на них без унимания; но сама работа нахальная была; и я доложил барину, барин и отставил".

И глядя на это дитя природы, этого бесхитростного, чистого парня, с безграничной добротой сердца, природными кротостью и смирением, я страдал при мысли о том, какое великое преступление совершали те, кто систематически, планомерно вооружал народ против помещиков... Как разительно отличались крестьяне, оставшиеся в селе, от тех, кто соприкасался с помещичьими усадьбами и проникался, хотя поверхностно, царившим в них духом!.. Какая клевета заключалась в том, что народ, якобы, развращался в этих усадьбах!.. Нет, эти усадьбы были продолжением сельской школы и они-то спасали народ от развращения и хулиганства. Гибель деревни началась с бегства крестьян в города и на фабрики за заработками, а это явление шло параллельно с разорением помещиков...

"Ну, говорите, зачем пришли? – сказал я солдатам. – Говорите начистоту все; здесь никого нет, никто не услышит... Александр, – обратился я к парню, – ну, вот, скажи мне, что ты думаешь, глядя на все, что происходит?.. Жалко тебе Царя?"

"Как не жалко! – ответил парень. – С эдакой высоты, да стягли ни за что, ни про что"...

"Вы же сами и стащили" – сказал я.

"Дозвольте слово сказать, – вмешался солдат, – не мы это сделали, и такого страшного греха, не приведи Матерь Божия, никогда бы на свою душу не взяли... А, хотя и точно в этом грехе повинны солдаты, что за господскими спинами стояли, но те солдаты не братья нам, а душегубы, от коих нам, первым, житья никакого не было... Разве то были солдаты, войско Царское, да еще гвардейское... То были новобранцы, черт знает что, а не солдаты; озорники деревенские, над которыми расправы никакой не чинилось, даром что жалобы поступали... Еще как была по деревням розга, тогда еще боялись; а как и розгу отменили, тогда и пошли сыны, да внуки, отцов и дедов по зубам бить, и некому стало жаловаться... Бросишься, бывало, к Земскому, а он и присудит либо к штрафу, либо к аресту... А им разве что, штрафы да аресты, коли они и в тюрьму сами набивались, потому, значит, что работать не хотели, а в тюрьме задаром и кормили и поили, а еще и заработок, по шести гривен в день, давали, что двор подметут, или что другое сделают... А сколько их было, озорников-то?.. И десятка по селам не набиралось, а про то все село в страхе держали, душегубы... А то так и еще хуже бывало: пойдешь к Земскому, а он и оправдает такого... Вот эта-то жалость начальственная и распустила деревню: отвык народ от наказания и делал, что хотел, и никого не боялся... А будь строгость настоящая, то ничего бы и не случилось", – закончил солдат...

Я вспомнил свои былые впечатления и либеральный Уездный Съезд, отменявший всякое строгое наказание; вспомнил, как либеральная интеллигенция нянчилась не с народом, а с его отбросами; как власти безнаказанностью развращали деревню, объясняя природный консерватизм русского крестьянина его жестокостью; вспомнил, как, однажды, волостной суд, в полном составе, явился ко мне, тогда Земскому Начальнику, и на коленях умолял не отменять приговора о телесном наказании; как осужденный в тюрьму на полтора месяца просил меня продлить срок наказания до трех месяцев, желая уклониться от тяжелой полевой работы... и я ответил солдату:

"Правду вы говорите, святую правду... Все это я не только сам видел и хорошо знаю, но даже писал об этом в газетах и журналах; ("Письма Земского Начальника" печатались на страницах издававшегося князем В.П. Мещерским журнала "Гражданин", за 1902-1905 гг.) да мне не верили, а еще говорили, что я не люблю народа... Потому и писал, что любил... И всякий, кто действительно любит народ, тот знал, что нужно было дать всему селу защиту от горсти хулиганов, которые все село держали в страхе... А если бы в свое время давали мальчишкам розги, то спасли бы их души, удержали бы от преступлений"...

"Истину изволите говорить", – сказал солдат...

"Но, – возразил я, – правда и то, что вы сами не помогали вашим начальникам, а покрывали своих хулиганов, и, иной раз, и поймать их было трудно"...

"Справедливо, – ответил солдат, – бывало и это... А почему?.. Потому значит, что народ уже изверился в начальстве и знал, что хулигана или оправдает начальство, или оштрафует на гривенник; а тот и начнет тогда свою месть совершать... Вот и боялись, потому и покрывали... А знай народ, что вышел настоящий закон, что такого хулигана или из села вышлют, или настоящее наказание предпишут, то на другой день ни одного хулигана в селах не оказалось бы, и полиции бы делать нечего было"...

Кто знал деревню и жил в ней, тот знал и то, насколько глубоко прав был солдат...

"Вообще, порядка не производилось", – вставил парень, заставив солдата с недоумением посмотреть на него...

Я тоже невольно улыбнулся в ответ на такое глубокомысленное замечание парня и ожидал, что он скажет дальше...

"Взять бы, примерно, позапрошлый год, – продолжал парень, – я только одним один раз дал жиду легонько по морде, а он как почал меня таскать по судам, так я деньгами от него не мог откупиться... И деньги мои пропали, и на целую неделю на отсидку, значит, под арешт, пошел, даром что жиду заплатил, чтобы ослобонил меня... Разве можно христианскую душу за жидовскую морду под арешт сажать?!"...

Я посмотрел на его огромные руки и, невольно улыбаясь, сказал ему:

"Ты верно такого тумака дал, что ему и скулы своротил"...

"Да нет же: так легонько только поцарапал; да он, нечистая сила, начал уже кричать, когда я только подходил к нему и бить еще не начинал".

"Пред законом все равны, и если бы тебя жид побил, то и его бы наказали по закону", – сказал я.

"То-то и есть, что равны; а разве можно равнять жида с православным? Какое же здесь равенство, коли он жид, а я крещенный", – негодовал парень.

Я с любовью посмотрел на него, глубоко понимая психологию русского народа, в понятиях которого не укладывается представление о возможности равенства с иноверцами и особенно евреями, к коим крестьянин чувствует органическую ненависть, как к врагам Христа-Спасителя.

"Нет, брат, непорядки точно были, и много их было, да не там, где вы их видели, – сказал я. – А заключались эти непорядки, главным образом, в том, что слушались вы не тех, кого нужно было слушаться. Я сам был Земским Начальником и хорошо знаю вашу деревню. Вот как было дело: на одной стороне стоял Сам Царь-Батюшка, а за ним первым стоял ваш сельский священник, а за священником – Земский, потом полиция: все эти Царские слуги были приставлены для вас, чтобы порядки наводить, да вас от зла оберегать... А против Царя и Его верных слуг стояли враги ваши, которые и мешали работу производить, рыскали по селам, вооружали вас то против священника, которого вы обижали, то против Земского, которому вы смертью угрожали, то против помещиков, которых вы жгли и разоряли, то против станowego, которому отдыха не давали, заставляя его даже по ночам рыскать по селам и ловить негодяев и злодеев. Вот три года я оставался Земским, да вся моя работа только в том и состояла, что я ловил революционные прокламации по селам, подавлял бунты, умирнял, судил, да рядил вас; а для настоящей-то работы и времени не было. Одних судебных дел в моем участке было до двадцати тысяч ежегодно; где же тут было думать о чем прочем?! Вот за то, что не слушались вы Царских слуг, Господь и отнял их от вас, а теперь хочешь – не хочешь, а придется слушаться врагов... Царские слуги, по доброте своей и жалости к вам, иной раз, и точно прощали виноватого; а вот это-то начальство, какое пришло нам на смену, будет казнить и правого и наведет такую строгость, что вы стонать будете и не будете знать, куда деваться".

"Оно точно, – ответил мне солдат, – истину говорите; а про то, я еще раз скажу, коли бы по деревням была настоящая власть, то ничего бы и не случилось, и народ жил бы по-Божьему. Там, где власть, взять бы Земского, была смелою да строгою – там все шло по иному. Мужик ищет правды, а строгости не боится"...

Что я мог возразить солдату, если он указал на первопричину всех причин, родивших зло, разложивших нравы, опустошивших народную душу, указал на Либерализм, доведший Россию до гибели, на Безверие, лежавшее в основе этого либерализма, искавшего дешевых эффектов, но такого далекого, такого чуждого пониманию нравственных начал и ответственности перед ним?!

"Что же нам теперь делать, – научите нас, – мы за тем и пришли?"..

"Вас мне учить нечему, ибо, если бы все солдаты были на вас похожи, то не было бы и революции... Идите в свои казармы, да говорите другим то, что знаете сами; открывайте глаза тем, кого одурманили: а, когда вас наберется много, идите в Думу и требуйте назад Царя, ибо без Царя не будет порядка, и враги передают вас"...

"Оно-то так, да как бы нам зацепиться за кого-нибудь старшего, кто, значит, повел бы нас; а мы хоть и сейчас пойдем вызволять Царя и прогоним нечистую силу", – сказал солдат.

Несчастные, обманутые люди! Что я мог сказать им в ответ, когда знал, что их распропагандированные товарищи разорвали бы на куски каждого, кто решился бы пойти к ним спасать их, когда психоз проник уже в самую толщу народа, и вся Россия превратилась в сумасшедший дом!

"Ну, идите себе с Богом, – отпустил я их, – но помните, что без Царя России нет и не будет".

Вот каков он в действительности, наш подлинный русский народ, – подумал я, смотря вслед уходящим солдатам... – Будут его проклинать, будут называть христопродавцем, будут жестоко казнить за содеянные им преступления, коим имени нет, так они страшны. Но станут обвинять его те, кто будет судить о нем по действиям его отбросов, по всему тому, что отражало его темноту и малодушие, его природный страх пред всяким начальством, а не его сущность духовную... Не виноват был народ, что ощупью добирался до правды, что был отгорожен высокою стеною от каждого, способного проникнуть в его душу и заглянуть в нее; не виноват в том, что поддавался внушениям тех, кто вооружал его против интеллигенции и вызывал недоверие к ней. Но стоило ему отыскать подлинного барина, стоило увериться в доброжелательстве и искренности последнего, чтобы он раскрыл бы перед ним свою душу так, как раскрывал ее перед духовником своим, или пред старцами в обителях монастырских. И тогда обнаруживалась вся красота его души, его беспомощность в борьбе с темнотою, какая давила и мучила его, его настоящее отношение к подлинной интеллигенции, от которой он ждал себе помощи потому, что чутьем угадывал ее любовь к нему, потому, что гораздо более верил ей, чем разночинцу... И если разночинцы взяли верх и завладели народом, то виновата сама интеллигенция, изменившая своему долгу перед Богом и Царем и увлекшая и народ за собою... Но, завладев его темнотою, эти разночинцы не могли завладеть душою народа, в глубинах которой осталась и любовь к Богу, и преданность Царю... Неправда и то, что народ изменил присяге Царской. Там была измена не народа, не простого солдата, с заскорузлыми, мозолистыми руками, а измена его начальников, использовавших его рабское послушание, его темноту и неспособность к самостоятельной мысли, скованной вековым невежеством, и, притом, начальников, вышедших из его же крестьянской среды, каких народ, чутьем отличающий подлинного барина, тем больше боится, чем больше ненавидит...

Нет, не погибла еще Россия! Может быть, и долго еще будет она корчиться в страданиях, и много времени пройдет, пока она снова, омытая слезами, возродится к новой жизни, и засияет в ней престол Царя, Помазанника Божия; но это время наступит, ибо нет той силы, которая бы могла убить сердце России, искоренить дух народа, его инстинктивное чутье правды и влечение к ней... И, как бы ни мудрили с народом, какие бы идеи ни прививали, но придет время, когда он, с негодованием, сбросит с себя чуждое ему ярмо и слезами раскаяния загладит свои грехи пред Богом и пред Царем, вне Которых нет жизни, нет правды...

На другой день, наскоро собрав свои вещи, я уехал к сестре... Я мог это сделать только благодаря той помощи, какую мне оказали эти солдаты.

Заключение

Какие, же картины рисует нам описанный период времени с высоты птичьего полета? Что видно тем, кто замечает не только единичные факты повседневной жизни, но и концепцию их, и причины, их родившие?!

Сведение политических счетов между Россией и Германией варварскими способами, безмерные ужасы войны, кровь, заливавшую все большие пространства?! Или революционное брожение внутри страны, измену исконным русским началам, ряд преступлений против Бога, Царя и династии, Распутинскую эпопею?!

Нет, это все видели даже неосмысленные дети. Духовное око наблюдателя проникало глубже и видело не только то, что лежало на поверхности, но и то, что находилось под нею и прикрывалось ею; видело следующие картины:

I. Безверие

Ни прозрачная область веры, ни отчетливые веления Божии, руководствуясь которыми человечество могло бы выработать совершенно ясную программу жизни и обеспечить

прочные законы общежития, ни безчисленные примеры людей, следовавших этим велениям, доказавших их реальную силу и достигших пределов святости, не устранили того непонятого с первого взгляда факта, что каждый человек верит по-своему, что христианская религия не объединила человечества в общности идеалов, в единстве целей, в защите возведенных Христом-Спасителем истин от поругания и забвения.

На смену архаическому богопониманию явилось новое богопонимание, которое, отвергнув старое, не создало ничего нового и в результате, человечество, оторванное от своего религиозного центра, стало катиться по наклонной плоскости и очутилось в тупике, из которого имеется только один выход – *Возвращение к Старому*.

Истина, которую везде ищут и не находят потому, что не знают, в чем она заключается, живет не в миру, а вне мира, за тою оградой, где скрывались и сейчас скрываются люди "не от мира сего", знающие эту истину и громко кричащие о ней.

Пусть были и будут мистификаторы и обманщики, эксплуатировавшие не столько веру, сколько суеверие народное, его склонность ко всему таинственному и мистическому: но они бессильны умалить значение грозных предостережений Преподобного Серафима, иеросхимонаха Глинской Пустыни Илиодора или о. Иоанна Кронштадтского... Слишком нежное это творение – Истина, слишком свято ее содержание, чтобы она могла оставаться в миру, на его базаре; слишком грешными стали люди, чтобы ее видеть своими грешными очами... И видят ее и познают те, кто подвигами, слезами и страданиями обостряют свое духовное зрение, кто, хотя и живет в миру, но сам "не от мира сего".

Всякая религия, а православная по преимуществу, есть религия опыта; а опыт часто противоречит выводам и заключениям горделивого ума. И даже такие великие люди, каким был Н.В. Гоголь, проведенный только короткое время в Оптиной Пустыни, в общении с Оптиными старцами, и опытно познавший Истину, пришел в ужас от своих писаний и уничтожил то, что бы могло еще более закрепить за ним славу гениального писателя. Это потому, что никакому уму не дано придти к выводам религиозного опыта, ибо дороги у них разные. Проведите, например, параллель между Винэ, Берсье, Ренаном и Гарнаком, с одной стороны, и нашими православными учителями Церкви и богословами, – с другой: сравните толкования Евангелия иностранных богословов с толкованиями Св. Иоанна Златоустого, Феофилакта Болгарского или епископа Михаила... У первых все толкования разнятся друг от друга, тогда как написаны почти в одно время; у последних – все сходно между собой, хотя и писались разными людьми, на протяжении разных веков... И это потому, что первые влагали в свои толкования выводы ума, а вторые – фиксировали выводы религиозного опыта, проверяли евангельские истины личными подвигами. Это понятно, ибо, если Истина едина и пути к ней едины, то и впечатления и ощущения будут едиными.

Русский человек знает это лучше, чем кто-либо другой.

Здесь берет свое начало и хождение по монастырям, и розыски старцев, и священный трепет перед "юродивыми", и припадание к Св. мощам, словом все то, что признается теперь отжившими формами архаического богопонимания...

Но это не пережиток той эпохи, когда люди думали, что Бога можно умолить, задобрить, уклонять так же, как это делают в отношении своенравного и сердитого человека; что к Богу полезно найти протекцию в лице Угодника, забежать с черного хода через приближенных; здесь не отражение Средних веков, когда торговали Св. мощами, амулетами, индульгенциями, истекавшее, в свою очередь, из обрядов и обихода времен язычества и первобытных религий, с их фетишами и тотемами.

Нет. Здесь – тоска по идеалу, инстинктивное тяготение к чему-то лучшему и совершенному, рождаемое сознанием своей скверны; здесь одно из выражений сознания своей виновности перед Богом.

"Хотя я и грешен и мерзок в очах Божиих, но я сам это сознаю и страдаю от этого сознания, силуюсь вырваться из грязи и не могу. Но ты лучше, чище меня, ближе к Богу, ты знаешь, как сделаться лучше: так научи же меня", – вот психология хождения русского по старцам, по святыням. Найдет русская душа такого старца – и перед нами картины,

известные каждому, знакомому с жизнеописанием подвижников благочестия, и какие видели все, кто знал Амвросия Оптинского, о. Иоанна Кронштадтского и многих других. Не найдет живого старца – потянется к Угоднику Божьему, и к новопрославленному побежит еще скорее, чем к прежним, и по вере своей получает просимое, возрождается духовно, набирается новых сил для борьбы с житейскими невзгодами, встречается с подлинными чудесами. Какое же значение имеет случайная встреча с обманщиками и мистификаторами, злоупотреблявшими такою верою? Как бы часты ни были примеры таких злоупотреблений и эксплуатации религиозного чувства верующих, они все же не сделают такую веру – суеверием. Нет, здесь не суеверие, с каким нужно бороться, а самая подлинная вера, выражение самой подлинной живой связи с Богом, какую нужно всемерно возгревать и всемерно поддерживать.

И вот эту-то связь образованная интеллигенция в своем большинстве и утратила, и не только утратила, но и разорвала ее у народа, уча его новому богопониманию, над чем так усердно трудилась литература 40-х и 60-х годов, воспитавшая ряд нигилистических поколений, и в результате – одни перестали верить в Бога по гордости своего ума, другие – по лени, третьи потому, что было некогда верить, некогда выполнять свои обязательства к Богу. Жизнь была загнана в такое русло, где она протекала вне какой-либо связи с Богом, где люди обходились без Бога, где каждый шаг этой жизни отражал глумление над Божескими законами, попрание заповедей Божиих, дерзкие вызовы Богу.

Куда девалась самая идея спасения души? Каким стало действительное содержание человеческой жизни нашего времени? Грубый материализм, удовлетворение низменных страстей, безмерное лицемерие и лукавство, поражающая нечистота во взаимных отношениях – взаимное надувательство, безграничная злоба, ненависть и презрение друг к другу и... ложь, как единственный регулятор этих отношений...

Какие люди стали выплывать на поверхность жизни, кого стали окружать ореолом славы, за кем шла толпа?..

Это все были восставшие против Бога, сознательные и бессознательные служители сатаны. Уделом же прочих людей были гонения и клевета.

Люди разделились на два враждебных лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом... Не так просты причины, их разделившие: дело вовсе не в отдельных "вопросах", в несходстве точек зрения, в расовой ненависти, а в том, что люди стали расти и развиваться на разных фундаментах, на подмененных ложью нравственных понятиях и началах.

С точки зрения мечтателей-революционеров, нередко искренних и добросовестных людей, преследовавшие их представители законной правительственной власти казались такими же преступниками, как этим последним – революционеры. Каждая сторона действовала в полном убеждении, что защищает правду и борется с неправдой.

Недавно появились воспоминания В.Н. Фигнер, с крикливым заглавием: "Когда часы жизни остановились". Об этой книге издатель газеты "Руль" Й.Гессен дал, не помню в каком номере, восторженный отзыв, вырезки которого у меня случайно сохранились... Приведя несколько выдержек из книги, г. Гессен закончил свою рецензию такими словами:

"Рассказ об этой потрясающей борьбе духа и воли захватывает своим эпическим спокойствием, благородною простотой и чарующей искренностью и подымает читателя на те горные высоты, на которых душа очищается от житейской грязи и пошлости... Эта книга должна получить самое широкое распространение"...

Где же эти горные высоты, и в чем усмотрел их г. Гессен?

Вот одна из них: "... Когда наступила расплата, – пишет В.Н. Фигнер, – то искренность моих убеждений и могла доказать только твердым приятием, перенесением всей возложенной на меня кары"...

"Это приятие, – поясняет г. Гессен, – выразилось и в том, что, когда, после свыше двадцатилетнего заключения, она получает известие о Высочайшем помиловании (замена вечной каторги двадцатилетней), она рассматривает это как несчастье, ибо, при

расставании с матерью, последним обещанием было, что мать не будет просить о помиловании.

И через 20 лет В.Н. Фигнер готова порвать с горячо любимой матерью за то, что та своего слова не сдержала". (*Курсив наш.* – Н.Ж.)

"Однако, – говорит дальше Й.Гессен, – "приятие" кары *не есть смирение*". Главное содержание книги – это история двадцатилетней борьбы, на два фронта – внешний и внутренний. Борьба с тюремным начальством была тяжелой и стоила страшных жертв, но, как это ни странно с первого взгляда, беззащитные, от всех сторон отрезанные узники голыми руками умели одерживать победы над своими мучителями. Главный интерес, однако, представляет борьба внутренняя, борьба с самим собою. "Бороться, преодолевать, победить себя, победить болезнь, безумие, смерть... Преодолевать – значило разогнать темноту души, отодвинуть все, что темнит глаз"...

Чем же хвастается В.Н. Фигнер?

Своим безграничным самомнением, уязвленным самолюбием от сознания непризнаваемой за нею общественной стоимости, тою сатанинскою гордостью, какая толкала ее не только на борьбу с Помазанником Божиим, но даже ставила перед нею такие безумные цели, как победу над "болезнью", "безумием", "смертью", т.е. победу над Господом Богом?!

Что хотела сказать В.Н. Фигнер своею книгою? Что злая и неумная женщина может повесить себя назло другому, или стремилась убедить читателя в том, что ей не были даже знакомы те неуловимые, нежные, тонкие движения женской души, какие дают в итоге величайшее нравственное достижение – смирение?

А что В.Н. Фигнер была до конца искренна с собою, она доказала тем, что до конца оставалась во власти непомерной гордыни и не сумела познать Христа даже в течение 20 лет одиночного заключения... Но какая же цена такой искренности, с точки зрения христианских требований, предъявляемых человеку Богом? Все фанатики и изуверы, все гонители и распинатели Христа были искренними.

Погубили В.Н. Фигнер гордость, безмерное самолюбие, абсолютное невежество в области христианской мысли.

Не менее характерно и признание другого революционера, А.Амфитеатрова, уже нами цитированного.

"Монархическую позицию я сдал не сразу, – говорит он, – почти три года прометался в самых мучительных сомнениях (А.Амфитеатров. Из воспоминаний. Руль, № 599, 11 ноября (29 октября 1920 г.)) перед загадками политической и социальной правды, шатаюсь маятником между зовом *прирожденного демократизма* (*курсив наш.* – Н.Ж.) и воскресших уроков свободолюбивой юности, с одной стороны, и монархической привычкой и суеверием, с другой".

Нет никакого сомнения в искренности и А.Амфитеатрова; но он такая же жертва собственной гордыни и самомнения, как и В.Н. Фигнер.

Все эти мечтатели-революционеры, хотя и были добросовестными искателями, но сами, часто того не сознавая, искали только собственной славы, не удовлетворяясь заглавием, с которым родились, и стремясь часто или к самым прозаическим целям, или, подобно В.Н. Фигнер, пытались переделать по-своему весь мир, включительно до законов мироздания.

В основе – все те же *гордость и безверие*.

Когда мысль отрывается от религиозного центра и бросается в хаос человеческих измышлений, тогда она неизбежно попадает в расставленные дьяволом сети и, одурманенная рукоплесканиями невежественной толпы, жадно вкушает ядовитую сладость человеческой славы, начинает служить дьяволу в полном убеждении, что служит Богу.

Такой переход вызывает, конечно, "самые мучительные сомнения", и "загадок" на пути, конечно, много.

Но для истинного христианина, самым характерным признаком которого является именно это *смирение*, столь ненавистное дьяволу, не существует никаких загадок в области политической и социальной правды, и голоса совести он *не смешивает* с зовом "прирожденного демократизма".

И вот эти ослепленные гордостью и самомнением люди стали один за другим попадать в расставленные сети и тащить за собою других. Только безверием одних, нравственным безразличием других, невежеством, мечтательностью и сентиментальностью третьих, объясняется тот факт, что еврейство, разделяющее весь мир на евреев и не-евреев, возвестившее, что только одни евреи происходят от Бога, все же прочие люди от дьявола, что "евреи более приятны Богу, чем ангелы", – так умело, на протяжении веков, подчиняло своему влиянию христианские народности, пользуясь то платными агентами, то горячими головами идеалистов-мечтателей, не потрудившихся даже заглянуть в Талмуд, чтобы ознакомиться с его моралью, с тем фундаментом, на котором еврейство строит свои планы завоевания всего мира. В свое время архиепископ Саратовский и Царицынский Алексей написал замечательный по глубине научный трактат "Мораль Талмуда", прошедший совершенно незамеченным ("Церковные Ведомости" за 1913 г., N 44); между тем, этот трактат мог бы образумить вовремя не одну увлекавшуюся горячую голову и спасти добросовестных мечтателей от разочарования. Таких разочарований было много, но они тщательно замалчивались. Широкая публика знала биографии лишь закоренелых, упорных революционеров, но не посвящалась в биографии той несчастной, сбитой с толку молодежи, которая сводила концы с жизнью самоубийством или же становилась жертвою наемных убийц.

Оторванные от Бога, люди стали бродить впотьмах, не зная, куда идти и что делать с собою.

При этих условиях, какое значение могли иметь предостерегающие голоса тех немногих людей, какие составляли исключение на этом черном фоне, если люди перестали слышать голос Самого Бога, если считали, что переросли Бога, а загробную жизнь, нравственные начала и ответственность перед ними стали признавать выдумкою, бесполезною, как полицейская мера, для обуздания дикарей, но для прочих необязательною?

Что же удивительного, если был отвергнут и предостерегавший голос Святителя Божия Иоасафа, а поверивший этому голосу был признан сумасшедшим и посажен в дом для умалишенных?!

Но Бог поругаем не бывает!.. Недремлющий враг, избравший еврейство своим орудием, только использовал уже готовую почву, рожденную *безверием*...

Разразилась война 1914 года, а за нею революция 1917 года.

II. Результаты

И война 1914 года не была войною между русскими и немцами, а была войною между *Монархией* и *Анархией*, между *Христианством* и собирательным *Антихристом* – еврейством. И революция не была выражением "народного гнева против Царя и Его правительства", а была она лишь плодами *Безверия*, самомнения и гордости людской.

Несовременным стало говорить теперь об антихристе, о кончине мира, о втором пришествии Христа Спасителя...

Если люди настолько далеко ушли от правды, что перестали узнавать ее; если в явлениях повседневной жизни не прозревают промыслительных путей Божьих, ведущих к предопределенным Господом целям; если ниспосылаемые Богом испытания, для пробуждения и вразумления людей, всегда застают их врасплох и кажутся тем более неожиданными, чем более они ужасны, то кто же способен рассмотреть признаки приближения кончины мира, явления антихриста и Суда Божия над миром?! И кто же поверит пророку, если бы он даже явился в наше время?!

А между тем пророки были и сейчас живут среди нас, и один из них поведал всему миру "тайну беззакония", издав свою замечательную книгу "Сионские протоколы". Можно

с уверенностью сказать, что судьба всего мира зависит от того, как мир отнесется к этим "протоколам".

Поверит предостерегающему голосу Божию, примет милующую Руку Господню, и Милосердный Отец Небесный, в Своем безмерном милосердии, отсрочит уготованные сроки Суда Своего над миром и помилует людей...

Не поверит этому голосу – и тогда наступит всеобщая гибель...

Однако, признаков такой веры все еще нет, изумление духовно-зрячих людей при виде всеобщего ожесточения, охваченного неимоверною злобою мира, становится все большим.

Изумление вызывает не то, что в своей совокупности рождает у Западной Европы убеждение в некультурности России, ее отсталости и дикости, а изумление вызывает Западная Европа, *помогающая Антихристу* и своими усилиями содействующая своей *Собственной* гибели и ликвидации мирового начала – христианства.

Изумление вызывают не попытки еврейства поработить Россию, а то, что Западная Европа уже давно поработочена евреями и этого *не замечает*, что утратила национальное чутье и очутилась в цепких руках интернационала, выжидающего только гибели России для того, чтобы пожрать Европу как свою добычу.

Великая столько же пространством, сколько и своей духовной мощью, но смиренная и кроткая, Россия прозревает грядущие судьбы Европы, видит неумную и близорукую игру Англии и Франции, но не осуждает ни той, ни другой, ибо знает, что эти несчастные страны обречены на гибель, в порядке очереди, установленной интернационалом, так же, как и Россия, что программы интернационала столь же необъятны, как и гениальны, и сводятся к одной цели – ликвидации христианства как единственного препятствия для завоевания мира и достижения вековых целей еврейства. В чем же заключаются эти цели?

Стремление вернуть себе первенство среди народов и истребить ненавистных христиан никогда не покидало евреев, и история всего мира есть история тех чрезвычайных усилий, с которыми евреи добивались достижения этой цели. Медленно, но упорно, настойчиво и дружно идут евреи к цели, и если цивилизованный мир не остановит этого страшного натиска, то в скором времени от христианской культуры ничего не останется, и весь мир, вся вселенная будет стонать под игом этого отверженного, проклятого Богом, жестоковыйного народа. Нужно только пристальнее всмотреться в грядущие перспективы, чтобы содрогнуться от ужаса при мысли о возможности поработочения христиан народностью, которой чужда и ненавистна христианская мораль... Нужно оглянуться назад, в область истории, чтобы убедиться в том, насколько эти перспективы уже близки...

Свою работу по завоеванию мира и истреблению христианских народностей евреи обставили такою глубокою тайною, прикрыли такой непроницаемой завесой, обеспечили ее успех такими гениальными способами, что только очень немногие замечали истинную природу этой преступной работы. Поверхностный взор наблюдателя не мог заметить отражения этой работы ни в первые века христианской эры, когда гонение на христиан было открытым и узаконялось правительственной властью, ни позднее, в философских и социалистических теориях XVIII-XIX века, рожденных еврейством. Идеология еврейства черпала свои корни в недрах библейской морали, искаженной Талмудом, проводилась в жизнь под лозунгами, наружно отражавшими высокие идеалистические стремления и имевшими большой успех у молодежи и у так называемых передовых, но мало образованных людей, служивших дьяволу в полном убеждении, что служат Богу. Как много было тех, кто в лозунге – свобода, равенство и братство – видел высокий христианский идеал, и как мало было тех, кто прозревал за этим лозунгом его действительное содержание – свободу для революционной пропаганды стесненного в своих действиях неравенством с другими народами и лишенного братского общения с ними еврейства... Впрочем, я не буду распространяться... Каждый христианин обязан знать наизусть книгу С.А. Нилуса "Великое в малом"... Там, во второй части ее, он найдет "Протоколы Собраний Сионских Мудрецов", которые откроют ему глаза на роль и задачи еврейства во всемирной истории человечества... Цитировать эту книгу – значит переписать ее всю целиком. Достаточно

сказать, что в первый год революции в России эта книга скупалась агентами революции за десятки тысяч рублей, а позднее она была конфискована, и хранившие ее предавались безжалостным мучениям и казни.

Я ограничусь здесь выдержками из другой книжки. Это брошюра ныне проживающего в Италии А.В. Амфитеатрова: "Происхождение антисемитизма. II часть. Еврейство – как дух революции". Брошюра составляет содержание лекций, читанных автором в Париже, осенью 1905 года, в самый разгар первой революции в России, вероятно, еврейчикам-эмигрантам...

Исходя из принципа, что антисемитизм – откровенный и неразлучный спутник монархического начала и что гибель извечного антисемитического зла может и должна воспоследовать только в том республиканском союзе народных народовправств, который создает пролетарская победа в современной борьбе классов, Амфитеатров, с пафосом, восклицает:

"Да, евреи делали революцию, всегда ее делали, делают и будут делать, до тех пор, пока революция не победит мира социалистическим переустройством, пока старые деспотии и буржуазные конституции не падут в прах под дыханием тех демократических равенств, во имя которых гений еврейских эбионов за VIII столетий до Р.Х., исправлял старые кочевые Моисеевы законы социалистическими статьями Второзакония... Евреи не могут не делать революции активной и пассивной, потому что социальная революция во имя закона справедливости – их характер, их назначение, их история среди народов...

Еврейство – единственный народ, которого союз опирается не на искусственную политическую лепку тех или иных границ и условий управления, но на огромные философские идеи, независимые от границ и превосходящие все условия управления... Еврейство разлилось по Европе и странам, воспринявшим ее цивилизацию, как живой закон социальной совести. В этом весь смысл его исторического расселения, в этом его международная заслуга и отсюда его жуткие международные страдания...

Два раза социальная совесть, воплощаемая еврейством, торжествовала над миром огня, меча и золота. Первый раз, когда она родила и выделила из себя евангельский идеал. Второй период переживаем мы. Период, когда пробуждающаяся совесть Европы вооружилась догматами великих социалистов, рожденных и воспитанных еврейством, чтобы разрушить свои церкви, государства, сословия, неравенство классов для того Нового Иерусалима, о котором первые сны рассказал нам еврей Исаия, а последние систематические планы – еврей Маркс. Да, еврейство – революционная сила в мире... И это не потому только, что евреям худо живется среди народов в своем рассеянии и что они изнемогают в бесправном страдании от подозрительных гонений... Еврейское революционерство далеко не простой и грубый ответ на преследования еврейства. Те, кто угадали в погромах в чертах оседлости, в разновидностях гетто – с одной стороны, в еврейском революционерстве – с другой, элементы классовой борьбы, глубоко правы... Еврей осужден на революционерство потому, что в громах Синая ему заповедано быть социалистическим ферментом в тесте мира, видоизменяющего типы буржуазного рабства. Евреи никогда не были довольны ни одним правительством, под власть которого отдавала их историческая судьба. И не могут они быть довольны и не будут, потому что идеал совершенной демократии, заложенный в душе их, нигде еще не был осуществлен. А борьба за этот идеал – вся их история...

... В голосах Лассаля, Маркса, в революционных действиях русско-еврейских вождей освободительной эпохи мы слышим неизменными вопли старых эбионитов, грома Исаии, плач Иеремии, благодатную уравнительную утопию Гиллела и Иисуса... Еврейство, как таковое, никогда не может стать ни буржуазным целым, ни сознательным орудием буржуазной силы..."

Казалось бы, этих выдержек достаточно для того, чтобы понять психологию каждой революции и предостеречь народы Европы от опасности того социалистического рая, из которого бежал этот же Амфитеатров... Но слепое и глухое человечество, отдающее себя

добровольно в рабство еврейству, продолжает пребывать в том состоянии опьянения, или, точнее, сатанинского обольщения, из которого его не выводят даже еще более откровенные признания интернационала, нашедшие свое отражение в дальнейших положениях невежественного Амфитеатрова.

"Если Павлово христианство, – говорит Амфитеатров, – вошло в мир, чтобы выработать союзы, теорию и этику буржуазного строя, то иудейство, со всеми его потомственными подразделениями в религиях и философии, осталось жить и терзаться в мире, чтобы сохранить ему социализм".

"Церковное христианство, будь оно Пия X, будь оно Победоносцева, потому и не христианство, что оно отрелось от Иисусова иудаистического социализма"...(!)

"Маркс лишь доказывает, утверждает и развивает Исаию, Гиллела, Иисуса".

"Поздно строить новые государства, когда социализм работает в миллионы рук, чтобы разрушить старые; и именно еврейские руки в работе этой – *на первой очереди, на первом счету*"...

... "Социальная энергия еврейства неизменно обращалась с враждой к каждой государственной власти, к каждой форме правления, какие вырабатывала для Иудеи и Израиля эпоха их самостоятельности. Вопрос отечества, как территориальности, никогда не играл для еврейства роли решительного "быть или не быть": он, в лучшем случае, оставался лишь возможностью, которая может быть, может и не быть, а еврейство с нею и без нее все равно останется бессмертным"...

... "Территориальная роль самостоятельного еврейского государства всегда была очень ничтожною сравнительно с еврейским распространением и влиянием между иными народами"...

... "Из всех территориальных идей сионизма народною может быть только палестинская, освященная историческими преданиями и мессианическими мечтами. Но между нею и действительностью стоят тысячи непреодолимых преград, построенных политикой, историей и, наконец, самой природой, в течение двух тысяч лет соревновавшейся с людьми в безжалостном убийстве злополучной страны обетованной. В древности идея Иудеи была идеей храма. Такой она осталась и в воображении средневекового еврейства, увлекавшегося десятки раз мессианическими призывами разных то энтузиастов, то помешанных, то шарлатанов; такую живет и сейчас в темных и нищих хатах Западного и Юго-Западного края, где стучат паяльниками старики, с библейскими бородами, облитыми слезами в часы ритуальных воспоминаний об Иерусалиме... Но ведь дети и внуки этих седых бород – это уже Бунд, это социал-демократия, это – сознательный пролетариат. Очень может быть, что уже не далеко время, когда они бросятся, в рядах всепролетарской армии, на великолепные христианские и мусульманские здания нынешнего Сиона, чтобы заменить их побежденные эмблемы красными знаменами и девизами: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь"...

... "Христос и Яхве одинаково умерли, а имя мертвых сильно только над мертвыми; живые думают о живом и работают на жизнь. Будущее жизни не за государственным зиждительством, но за социалистическим смерчем, сметающим с лица земли границы государств. Социализм – религия настоящего, творящая будущее. Ну, а святым этой религии ни храмов, ни курений, ни жертв не понадобится"...

... "Неутомимый и едкий разлагатель государственности, еврейство – концентрация освободительной идеи в человечестве. Оно никогда не могло и никогда не сможет вместиться ни в какую государственную клетку"...

... "Не еврейству надо бежать из среды народов, которые обязаны ему лучшими и чистейшими вдохновениями своей мысли, а народы, освобождающиеся из-под старых государственных форм, должны заботиться, чтобы еврейство было гарантировано и убережено от последних злобных натисков этих отживающих форм, которые отрицать и побеждать еврейство учило Европу со времен Царя Езекии и, наконец, выучило и победило. В дни приближающихся *пролетарских побед еврейству надо быть не тридцать земель в*

своем домашнем углу, а на пире победы, на почетном месте, как старейшему из бойцов торжествующей армии".

(А.Амфитеатров. Происхождение антисемитизма. II часть. Еврейство, как дух революции, стр. 39-53. Берлин, 1906 г.)

Итак, революция, как откровенно признаются евреи и их прислужники, есть прежде всего бунт против Христа-Спасителя, тот бунт, который так глубоко и верно был понят Достоевским, сказавшим, что "жида погубят "Россию". В основе всякого революционного движения лежит прежде всего религиозный элемент, а социальные факторы всегда и везде являлись лишь декорациями для отвода глаз толпы. И можно только удивляться недомыслию тех людей, которые не сумели рассмотреть сквозь толщу социальных и философских идей еврейства их глубочайшей ненависти к Христу, пролитая кровь Которого была проклятием этих пособников сатаны, сынов погибели. Вот та единственная почва, которая вызвала эту общую ненависть к еврейству со стороны всех народов мира, и эта ненависть не только не уменьшается, а увеличивается по мере роста христианской культуры, несмотря даже на то, что христианство является религией любви и всепрощения... Еврейство поставило всему миру альтернативу – "за или против Христа" – и мир разделился на два лагеря, ожесточенно враждующих друг с другом и даже до наших дней не разрешивших этой проблемы. История всего мира была, есть и будет историей этой борьбы, и второе пришествие Христа-Спасителя застанет эту борьбу в той стадии, когда уже не будет сомнений в победе еврейства, ибо к тому времени сила сопротивления христианства будет окончательно сломлена, и не останется веры на земле. Отдалить этот момент еще в наших силах, но для этого мы должны во всей глубине изучить еврейский вопрос и уметь различать в природе христианства элементы, запрещающие ненависть к ближнему, от элементов, обязывающих к борьбе с дерзкими хулителями Христа и гонителями Церкви. *Мы должны стряхнуть с себя тот религиозный индифферентизм, который открыл еврейству так много широких возможностей и позволил ему, под видом социалистических и философских теорий, искоренять евангельский идеал, смысл и идею нашей жизни.*

Революция, таким образом, всегда опыт, всегда проба сил кагала, всегда определенное задание той международной организации, которая сумела, с помощью своих огромных капиталов, взять судьбы мира в свои руки. Но этот опыт до того глубоко и тонко задуман, что исполнителями его часто являются идейные и чистые люди, не подозревающие всей гнусности побуждений, низменности и предательства со стороны тех, во власти которых они находятся и чьи веления исполняют. Народ же, как таковой, никогда революции не делает: народ всегда остается стадом, идущим за тем, кто ведет его. Я не хочу сказать этим, что народ всегда, при всяких условиях жизни, доволен и безропотен и вовсе не реагирует на политическую жизнь страны. Обобщений, конечно, быть не может...

Но даже в наиболее культурных странах недовольство народа вызывается чаще местными причинами, чем характером политического курса страны, и чем народ культурнее, тем бережнее относится к своему законодательному аппарату, тем более боится порчи государственной машины.

Революция же *всегда* направлена к одной определенной цели – ломке законодательного аппарата и разрушению государственной машины.

Повторяю, не только каждая революция, где бы она ни возникала и какими бы мотивами ни объяснялась, но и каждая социалистическая теория, как подготовительная стадия к революции, отражает не недовольство народа, в широком смысле, а недовольство еврейской части народа, борьбу еврейства с христианством. Вот почему революция удастся там, где подорваны нравственные устои общества и, наоборот, не имеет успеха там, где они крепки. Вот почему всякой революции предшествует долголетняя и сложная подготовительная работа, которая начинается с колебания нравственных устоев, разрушения моральных принципов, с проповеди нигилизма, продолжается всевозможными социалистическими утопиями, рассчитанными на невежество и аморальность населения, и

заканчивается открытыми гонениями на Церковь. Таким образом, в основе успеха революции лежит религиозный индифферентизм народа, и, следовательно, только пробуждение религиозных понятий человечества в состоянии противодействовать злобному натиску еврейства на весь христианский мир.

Народы Земли!.. Вы были предупреждены об опасности совершенного истребления еврейством... Час вашей гибели близок!..

Милосердный Господь во всякое время готов спасти вас: дьявол во всякий момент – погубит вас. Свободная воля человека не стеснена в выборе и может склониться к Христу или к антихристу.

Вот почему о дне и часе гибели мира, который будет и часом второго пришествия Христа-Спасителя, не знают даже Ангелы на небе...

Не знают потому, что приблизить или отдалить этот страшный час – во власти свободной воли человека.

Забудьте национальную и политическую роль, объединитесь во Христе и вокруг Христа, ибо только организованная христианская армия вселенной будет в силах, именем Креста Господня, победить еврейство, армию сатаны...

III. Суд Божий

Одним из способов, коим творцы революции пользуются для достижения своих целей, является так называемый гнев народа.

Этот гнев берется у народа напрокат, только на известное время, и вызывается искусственным внедрением в сознание народных масс убеждений в том, что революция есть наказание за преступление.

Делатели революции всегда выдвигают на первый план такое объяснение, какое должно оправдать в глазах народа зверства, допускаемые якобы для искоренения неправды, для защиты угнетенного народа от произвола его поработителей, для раскрепощения его из оков рабства, словом, для торжества правды и высоких идеалов. Такой подоплеке революции, как массовому протесту "народа" против чинимых над ним насилий, всегда верили глупые люди, верят и сейчас.

Неудивительно, если и до сих пор, на страницах всякого рода газет и журналов, конечно, только еврейских, все еще продолжают писать об этих ужасных преступлениях и совершенно понятной "мести народа".

В Сербии, например, я не встречал ни одного человека, считающего себя образованным, который бы не постарался выразить своего гадливого отношения к России, где, по его мнению, революция была необходима, чтобы освободить народ от издевавшейся над ним аристократии; где на одной стороне были только князья и графы, а на другой – мужики, рабы этой аристократии. Думают так не только в одной Сербии, а везде, где желают жиды, чтобы так думали...

Нечего говорить о том, что главная тяжесть преступлений перед народом обрушивалась на Государя Императора и на Государыню Императрицу. Не подлежит сомнению, что этим "преступлениям" в предреволюционное время верили даже люди независимой мысли...

Но вот нашелся честный человек, В.М. Руднев, коему было поручено произвести дознание об этих "преступлениях" и коего ни в каком случае нельзя было заподозрить в пристрастии, ибо, будучи товарищем прокурора провинциального окружного суда, он мог быть скорее предубежденным против Царя и верить распространяемой клевете, разобраться в которой было в провинции трудно... И вот этот честный человек крикнул на весь мир:

"Я просмотрел все архивы Дворцов, Личную переписку Государя и могу сказать: *Император – чист как кристалл*".

И голос этого одного мужественного и честного человека заставил замолчать миллионы враждебных Государю голосов, и теперь о "преступлениях" Государя никто не смеет и подумать.

Появились кощунственно опубликованные "Письма" Государыни Императрицы к Государю Императору: бросили воры украденный ими драгоценный ящик с письмами в толпу, и.... пристыженная толпа смолкла, ибо увидела, что и Императрица – чиста как кристалл.

Осталось Царское правительство... Многие из министров погибли ужасной смертью только за то, что были министрами; многие, оставшиеся в живых, продолжают еще подвергаться травле и злостной клевете. Но в чем же заключались "преступления" этих министров, кто из обвинителей выдвинул против них хотя бы одно конкретное обвинение?

Но, если бы даже и были такие преступления, то за что же "гнев народа" обрушился на всю Россию, за что погибли десятки миллионов ни в чем неповинных людей? Весь мир содрогнулся от неслыханных размеров этого гнева, от ужасного наказания, ниспосланного на Россию...

Но в чем же ее преступление?!

Да, революция есть действительно *наказание за преступление*, но наказание не делателей революции за преступления против народа, *а наказание Божие за преступления против заповедей и законов Божиих*.

И где бы мы ни искали причин обрушившегося на Россию великого горя, где бы ни искали следов этих преступлений, какие бы чрезвычайные комиссии ни собирали и в каких бы архивах ни рылись, но найдем мы эти причины только в одном месте – в Библии.

Не только мы, но весь мир спрашивает, за что так глубоко страдает Россия; но, верно, мало кто знает, что даже этот вопрос является буквальным исполнением слова Божия:

"...И скажут все народы: за что Господь так поступил с сею Землею? Какая великая ярость гнева Его! И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих"... (Второзаконие, гл. 29, ст. 24-25).

С наименьшей определенностью указывает на непреложные законы возмездия и пророк Иеремия.

"...И если вы скажете: за что Господь Бог наш делает нам все это, то отвечаю: так как вы оставили Меня и служили чужим богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей"... (Иерем. 5, 19).

Это – не гнев Божий в представлении первобытного человека, это лишь напоминание о том, что законы Бога вечны и нарушение их неизбежно вызывает определенные последствия. Поясняя эту мысль, пророк Иеремия говорит далее:

"...Слушай, земля: Вот Я приведу на народ сей пагубу, *плод помыслов их*, ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли" (Иерем. 6, 19).

Нет, всегда столько же греховными, сколько и бессмысленными будут попытки объяснять мировые несчастья гневом или карой Божией, когда они являются лишь результатом нарушения установленных Господом законов мироздания, подмены ясных, отчетливых и благих велений Божиих человеческими измышлениями. Наоборот, в законах возмездия отражается величайшее благо: иначе люди давно бы перерезали друг друга...

"...Когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде"... (Исаия, 26, 9).

Прочитаем *внимательно* главу 26 Левит, гл. 28 Второзакония, книгу пророка Исаии, главы 3, 6, 9, 10, 24, 33, 43, 58, 59, 65, книгу пророка Иеремии, Плач Иеремии, книгу пророка Иезекииля, – и мы поймем, за что страдает Россия. Велики, безмерно велики эти страдания; но милосердие Господне еще больше. Израненная и растерянная мысль ищет выхода, обращает пробудившаяся совесть свой взор к Богу и с высоты небесной слышит глас Божий:

"...Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою невнятной речью, *с языком странным, непонятным*" (Исаия, 33, 19).

Слышит раскаявшийся человек и глас Бога к этому свирепому народу:

"...Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты; когда прекратишь грабежи, разграбят и тебя"... (Исаия, 33, 1).

И, слыша эти обетования Божий, успокаивается человек, и воскресает у него заря надежды на милость Божью, и крепнет эта надежда...

По существу вера есть подлинное, истинное знание. По форме же, вера есть вера, и бесплодны попытки утверждать ее в сердцах тех, кто не имеет ее. Вера есть дар Божий, с которым рождается каждый человек. Неверующих младенцев и детей не существует. Те, кто утратил этот дар, пусть обратятся к Богу и получают его. Я же считаю лишним вдаваться в полемику с неверующими, а ограничусь лишь указанием на то, что Библия, несмотря на несомненные талмудические наслоения, есть самая замечательная из всех книг на земле, ибо олицетворяет собою тот подлинный нравственный закон – *lex scripta*, какой дан Богом для руководства людям в их земной жизни. Это – кодекс нравственных понятий и наставлений, изложенных в форме обязательных отношений человека к Богу и ближнему, и содержащий в себе всю полноту законов и постановлений Божиих, с указанием последствий за несоблюдение их. Тот, Кто создал законы природы и законы эволюции, подчинив их действию все сущее на земле. Тот постепенно возводил и человека от простых понятий к более сложным, а потому, и вмещал Свою волю в формах доступных пониманию людей в разные эпохи их развития. Совершенно понятно, что библейские формы откровения Божия кажутся нам устаревшими; однако тот, кто присмотрится к содержанию, сокрытому за этими формами, тот увидит, что Новый Завет не только не отменил Ветхого, но что многое из ветхозаветных откровений и донныне еще не исполнилось, а рассчитано на последующие времена. Ограничивать, посему, значение Библии только пределами Библейского времени или относить ее содержание только к ветхозаветному Израилю, – не то же ли, что признавать всеобщие мировые законы, открываемые на пространстве веков учеными разных национальностей, имевшими значение лишь для тех, кто открыл их, или для их соотечественников?! С точки зрения своего внешнего содержания, Ветхий Завет Библии распадается на три отдела, из коих один, наименьший, посвящен истории Израильского народа, другой, более значительный, откровению Божию, данному Израилю и рассчитанному как на ближайшее, так и на последующее время, а третий, самый значительный отдел – откровению Божию, данному всему роду человеческому на весь период существования мира, до конца времен, явления антихриста и второго пришествия Христа-Спасителя.

И, черпая свои выводы из откровения Божия, я думаю, что истекают уже уготованные Господом сроки возмездия, и загорается заря новой жизни, новой не по форме и своему укладу, а по духу, по силе преданности, верности и любви к Помазаннику Божию, возлюбленному Господом Государю Императору Николаю Александровичу и Его святой Семье.

"Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу тебя" (Исаия, 43, 5).

Не верю я, что Господь навсегда отнял от нас нашего Царя, ибо иначе Пророк Божий не сказал бы:

"*Отведет* Господь тебя и Царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои"... (Второзаконие, 28, 36).

Думаю, поэтому, что Господь лишь отвел, укрыл Помазанника Своего до той поры, пока, омытая слезами раскаяния, очистившаяся от своих греховных язв, освободившаяся от тех своих *Помыслов*, какие довели ее до нынешнего ее состояния, Россия будет помилована Богом.

Но, если верно, что беспримерное в истории злодеяние в Екатеринбурге действительно совершилось, то Россия не имеет права молить у Господа пощады... Пусть не все были виноваты в преступлении, которому нет имени; но ни один чуткий человек не должен укрываться от его последствий. Все должны приобщиться к страданиям Праведников и

личным горем, и страданиями, и слезами, искупить страшный грех пред Богом, пред Помазанником Божиим и Его Святым Семейством.

"Мне отмщение – Аз воздам".